

П О Э З И Я

Наталья ЛАЙДИНЕН «ПАХНЕТ ПАМЯТЬ СОСНОВЫМИ ИГЛАМИ...» (12+) **3**

Владимир ШЕМШУЧЕНКО «ПОЗЁМКА ПИШЕТ АКВАРЕЛИ...» (12+) **29**

Эмма МЕНЬШИКОВА «И ПЕЧАЛЬНО И БЛАГОСТНО...» (12+) **101**

Константин ЛУКЪЯНЕНКО «С ЛЮБОВЬЮ ПОЧТИ НЕЗЕМНОЙ...» (12+) **219**

2016-й – ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Максим МАРКОВ СТРАНА ЧУДЕС ИЛИ СТРАНА ОБМАНА: ОБРАЗ ОТЧИЗНЫ В РОССИЙСКОМ КИНО (12+) **5**

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Артём КУЛЯБИН «СИРОТСКИЙ СМЫСЛ СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ» (12+) (война в лирике Н.Рубцова) **12**

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Владимир БОНДАРЕНКО ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я СЕВЕРЯНИН (12+) **16**

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Владимир БОНДАРЕНКО ГЕНИЙ СЕВЕРА (12+) **22**

ПРОЗА

Людмила БАСОВА ОТКРОЙТЕ ФОРТОЧКУ, ГОСПОДА!, психологический детектив (16+) **32**

Георгий ГОРЬКИЙ АМЕРИКА, рассказ (12+) **80**

Ирина ЛЬВОВА СОН И СНОВИДЕНИЕ, повесть (12+) **84**

Наталья РОМАНОВА ЦЫГАНСКАЯ ДОЧЬ; СВАДЕБНЫЙ КОСТЮМ, рассказы (16+) **103**

Борис ГУЩИН МУЗЕЙНОЕ ТАНГО, рассказ (12+) **112**

Андрей ФАРУТИН ВО ИМЯ ТВОЁ, историко-этнографический роман (журнальный вариант) (12+) **134**

Виктор КУТКОВОЙ ПОД ЗНАКОМ ВЕЧНОСТИ, рассказ (12+) **187**

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил ГОЛУБКОВ САТИРА ЮРИЯ ПОЛЯКОВА **71**

СЕВЕР

ПОИСКИ И НАХОДКИ

ОНЕЖСКИЕ ЧЕРТОГИ ЦАРЯ

Михаил (о тайнах «попутного» (12+)
ДАНКОВ дворца Петра Алексеевича) **126**

ДЕБЮТ В «СЕВЕРЕ»

Марина «ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА (12+)
КАКСИМКОВА УСТАЛАЯ...», стихи **185**

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

«И КОМИССАРЫ В ПЫЛЬНЫХ
ШЛЕМАХ» (революция и граждан-
ская война в русской прозе

Вячеслав 1920–30-х годов: Д. Фурманов,
САВАТЕЕВ Ю. Либединский, И. Катаев) (12+) **196**

Литературный конкурс журнала «Север» СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

Елена (12+)
ТУЛУШЕВА ЧУДЕС ХОЧЕТСЯ, рассказ **210**

МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА

Вениамин В КРАЮ ВОДОПАДОВ (12+)
СЛЕПКОВ И ЛЕБЕДЕЙ **220**

ТАЙНЫ ИСТОРИИ

«ЗАГОВОР ФИНСКОГО ГЕН-
ШТАБА» – ПОЛИГОННОЕ ИСПЫ-
Константин ТАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К «МАС-
БЕЛОУСОВ СОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ» (12+) **236**

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ **240**

При оформлении обложки
использованы фото ледовых и снежных скульптур
Международного фестиваля «Гиперборея»
в г. Петрозаводске

Журнал «СЕВЕР»

идет по подписке во все регионы России.

Журнал поступает в администрации
областей и республик Северо-Запада.

Содержание журнала не обязательно
отражает точку зрения редакции
на затронутые темы.

За точность фактов и цифр
ответственность несут авторы.

Редакция пока не имеет возможности
платить авторский гонорар.
Авторам высылаются журналы
с их публикациями.

Редакция оставляет за собой право
не вступать в переписку с авторами,
произведения которых не будут
опубликованы.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

При использовании материалов,
опубликованных в журнале, просим
непрерывно ссылаться на «СЕВЕР».

Главный редактор **Е.Е. Пиетияйнен**

 (8142)

гл. редактор **78 47 36**

отв. секретарь. **78 47 36**

отделы: **78 48 05**

прозы,
поэзии,
публицистики

E-mail:

sever@karelia.ru

Для рукописей:

sever-journal@mail.ru

Наша страница в Интернете:

http://sever-journal.ru

Адрес редакции: **185035, г. Петрозаводск,**

Пушкинская, 13, журнал «Север»

Адрес издательства: **185035, г. Петрозаводск,**

Пушкинская, 13, «Север»



АУ редакция журнала «СЕВЕР»

Формат 84x100 1/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 23,4. Уч.-изд. л. 29,66 Заказ 1688. Тираж 1000 экз.
Типография ООО «4+4». 185007, г. Петрозаводск, пр. Лесной, 51. Верстка выполнена в компьютерном центре журнала «Север».

Подписано в печать 25.12.2015: по графику 12.00, факт. 12.00. Дата выхода в свет: 20.01.2016

г. Петрозаводск, «СЕВЕР», 2016 г.

Наталья ЛАЙДИНЕН

родилась в Петрозаводске.

Поэт, журналист.

Живет и работает в Москве.

Исполнительный директор

ООО «Карельское землячество в Москве»,

член Московского отделения

Союза писателей России.



**Наталья
ЛАЙДИНЕН**

г. Москва

«Пахнет память

сосновыми иглами...»

* * *

На щеках серебрится изморозь —
седина.
Оба мы здесь к служенью призваны,
старина.
Не спасают ни страсть, ни почести,
ни погост.
Через душу струится творчество —
память звезд.
Посмотри на меня. Нездешние
жгут глаза.
Мы вернемся, провидцы нежные,
в сад — назад.
Обретенье, молитва, праведность —
путь земной.
Только крылья шумят, расправлены,
за спиной...
Мы навеки вдвоем и порознь:
сотни лет
Вдохновляем друг друга в образах —
дарим свет...

* * *

Долгий вечер подернулся инеем,
Размышленьем о счастье былом...
— Расскажите, где тихая Ингрия,
Строгих предков утраченный дом?

Там, где кости лежат под обломками,
Опаленные вихрем войны?
Там, где призраки вдовьи с котомками,
Без семьи, без любви, без страны?

Обернулась — и стала невидимой,
Лишь круги по земле разошлись,
Озаряют схороненным именем
Кочевую тревожную жизнь.

Пахнет память сосновыми иглами,
На озерах становится лед.
— Расскажите, где тихая Ингрия?
— В родословной отцовской живет...

* * *

Раздвигая завесы туманные,
Как серебряный снег в феврале,
С неба медленно падали ангелы,
Чтобы трудно прожить на Земле.

Укрывая крыла под одеждами,
Пряча свет сострадания в груди,
Согревали прохожих надеждою,
Помогали уснувших будить.

Из миров, называемых высшими,
Протянулась незримая нить,
Чтобы голос единственный слышали,
Призывали прощать и любить.

Столько раз были изгнаны, ранены,
Сожжены, но таков наш удел...
По ночам с неба падают ангелы,
Превращаются в добрых людей.

* * *

Снова севера сны: серебрится озерная заводь,
Шалью белая ночь шелестит на пустом берегу.
В нашем городе я оказалась твоими глазами:
На знакомых местах никого разыскать не могу.

Между старых домов в переулки сверну по привычке,
Не узнает никто, сколько слез упадет вдалеке.
За короткую жизнь ты сменил слишком много обличий,
А душа все грустит и на флейте свистит в сосняке.

Остаюсь за двоих, пусть меня перемучает память,
На кругах площадей застывают признаний следы.
Я целую карельскую землю твоими губами,
И меня обнимают вершины обрывов седых.

* * *

В забвеньи, где ты коротаешь бесславное время,
Под пальмовый шелест о главном, заветном молчишь,
Ты слышишь, как сумрачный ветер над реками веет,
Скрипит на болотах, тревожно вздыхает камыш?

В бесцветной пустыне, дыханьем земли обожженной,
Где в пенные волны забытые царства легли,
Поют ли тебе ввечеру калевальские жены
О тайнах суровой и страстной карельской земли?

В краю, где под солнцем сгораешь, как будто под рампой,
Где с разных сторон наступают на горло пески,
Намелет ли досыта слез тебе щедрое Сампо,
Очистят ли душу огнем ледяным родники?

Ты южной страны примеряешь привычно доспехи,
Но как оторваться от северных властных корней!
Тебя настигает ли в детях волшебное эхо,
Ты можешь ли сердцем любви отдаваться шальной?

В чужой тишине кто нам новую жизнь напроорочит?
Плачь, кантеле, громче, забытую боль бередя!
Признайся, ты видишь безлунные заводы ночью?
Ты помнишь, как пахнет черемуха после дождя?..

* * *

Воскресив для потомков весну,
Плач сменяется песней застойной.
Провожать сыновей на войну
В каждом веке мучительно больно.

В нас живут голоса матерей,
Чья тоска переполнила вены:
— Только ты возвращайся скорей,
Мой любимый, родной, незабвенный...

Среди тысячи волн узнаю
Незнакомых бойцов переключку.
Даты смерти: декабрь, июнь,
А других не осталось различий.

Я молюсь, а в душе немота,
Пустыри зарастают травой.
Где же та роковая черта,
За которой закончатся войны?..

* * *

Без веры иллюзорен мир,
В нем нет стремления и смысла,
Сознаньем управляют числа,
Начетчики безгласной тьмы.

Пробуждены колокола —
Жив голос, что рождал начала!
Я в одиночестве молчала:
Свиданья столько лет ждала!

Молитвой сердце вдохнови:
По воле Бога ты был создан!
И мы оттаявшие звезды
В священном космосе любви.

Максим МАРКОВ

г. Москва



2016 год объявлен в России Годом российского кино. Подразумевается, что высшее внимание, оказанное «важнейшему из искусств», позволит выправить ситуацию на фронте, где побед – как творческих, так и коммерческих – год от года становится всё меньше.

Они есть, эти победы, но радость от них половинчата: одни фильмы отмечаются международными кинофестивалями, но остаются практически незамеченными в прокате, другие становятся хитами «на час» – и тут же забываются, не претендуя на место в истории. Событийных лент, о которых говорила бы «вся страна», мало. Вернее, опять же: сами по себе картины, которые могли бы стать предметом широчайшей общественной дискуссии, есть – но зачастую их просто не видит тот самый зритель, который готов был бы увиденное обсудить.

Кинотеатрам брать «серьёзное кино» невыгодно: считается, что «смотреть не будут». Почему не будут – вопрос болезненный, односложно ответить на него невозможно. Вот некоторые возможные варианты.

– Кинозал за последние полтора-два десятилетия утратил статус площадки для размышлений, превратившись в своеобразный «парк аттракционов», куда ходят в первую очередь за зрелищем, за развлечением.

– Доверие к российскому кино подорвано в принципе, виной чему – низкое качество ряда «прогремевших» лент: заплатив единожды за билет и разочаровавшись, во второй раз зритель лишнюю минуту подумает, нужно ли ему собственным рублём поддерживать отечественного производителя. И скорее выберет иностранный фильм, нежели наш.

– Сама цена на билет не вписывается в среднестатистический семейный бюджет, что и рождает распространённое мнение: если уж ходить в кино, то только на что-то громкое, о чём говорят, что рекламируют. Но в том-то и дело – о большинстве достойных российских лент можно услышать разве что в дни фестивалей (и ещё смотря какой фестиваль). Когда же дело доходит до проката, их информационно-рекламная поддержка – минимальна. Мало картину снять и выпустить – кроме этого, о ней нужно расска-

зять так, чтобы заинтересовать, заинтриговать зрителя; и это мировая практика. А у нас с этим – проблема не меньшая, чем с качеством самого фильма.

Так и получается, что качественное (и не только российское) кино постепенно «вымывается» на телеэкраны, уходит на цифровые платформы – легальные интернет-кинотеатры, пиратские торренты. Зритель, конечно, есть и там – но даже в совокупности речь не идёт о тех цифрах, которыми могло похвастаться родное кино в советское время. Величие отрасли, которая некогда (по ряду оценок) сопоставлялась по прибыльности с нефтяной, осталось далеко в прошлом. Лишь единицы из продюсеров рискуют снимать фильмы без государственной поддержки, а государство, спонсируя кино, в финансовом плане остаётся в очевидном убытке.

Вот в этой точке и возникает ключевой вопрос: раз о самоокупаемости кинопроектов в большинстве случаев остаётся только мечтать, не должно ли государство отказаться от отведённой ему в какой-то исторический момент роли «дойной коровы» и вернуть себе утраченное где-то с четверть века назад право диктовать художникам, что снимать, о чём и как? Шаги в этом направлении делаются последние несколько лет, но вот, кажется, настало время окончательно с этим определиться.

Для того, возможно, и нужен этот Год российского кино. Не столько для того, чтобы увеличить финансирование на производство и поддержку в прокате. Не для того, чтобы вернуть на экраны детское кино и увеличить число дебютных проектов. Не для того, чтобы помочь кинотеатрам, готовым предоставлять залы отечественным новинкам... Хотя разговоры обо всём этом ведутся, и определённые действия предпринимаются, и будет прекрасно, если вскоре можно будет наблюдать успешную реализацию задуманного.

Но в большей степени выгода Года кино, вероятно, в том, чтобы закрепить руководящую роль государства в создании кинематографического, выражаясь современным языком, контента. Или, говоря проще, перевести на кино формулу из народной пословицы: кто девушку ужинает, тот её и танцует.

А то ведь что снимают?... Ладно, если безделицу, которой побалуется народ – и бросит. Но ведь у некоторых художников откуда-то взялось (или осталось) стремление выписать на своём кинополотне образ Страны – и зачастую ведь

далеко не самый солнечный, не самый положительный. Закрепившийся лет тридцать назад термин «чернуха» востребован и сегодня: им очень удобно клеймить то кино, в котором указываются не наши достижения, а наши проблемы. Распространённое мнение: «Ну а зачем об этом снимать? Сами в этом живём и без того видим. В кино людям надобно отдохнуть. О том, что вокруг делается, им и телевидение в нужном объёме да к тому же бесплатно расскажет».

И тем не менее фильмы, в которых родная сторона предстаёт далеко не самым идеальным местом на планете, появляются. Их, опять же, далеко не всегда видит широкий зритель, но они есть – и своим существованием мозолят, конечно, глаза, мешают созерцать безукоризненно оптимистичную картинку.

Возьмём для примера последние два-три года – и только картины, рассказывающие о сегодняшнем дне. Показателен в этом отношении 2014 год, когда практически одновременно – сперва на фестивалях, а позднее в прокате – появились две ленты, различные в частности, но до боли схожие в общем: «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Дурак» Юрия Быкова.

Первый фильм рассказывал о том, как Власть в лице негодяя мэра при одобрении (и даже под давлением) Церкви за копейки отнимает у простого работника-труженика дом, не просто выкидывая хозяина на улицу, но «закрывая» его долгим сроком тюремного заключения. Второй был посвящён проблемам ЖКХ: другой работника-труженика во внеурочный час шёл на поклон к той же Власти, дабы предотвратить катастрофу с многочисленными людскими жертвами, – но выяснял, что и мэр, и его окружение предпочтут спасти себя, а не ближнего.

Обе картины резюмируют: эта власть – преступна. И не важно, что действие фильмов разворачивается в небольших провинциальных городах: без кивка наверх, в сторону губернаторской, а то и всероссийской столицы не обходится.

Уникальность «Левиафана» и «Дурака» на нынешнем кинополе не только в их чисто кинематографических достоинствах (пускай это произведения и разного калибра). Персонажи, облечённые властью, – большая редкость на экране. Киношники словно подчиняются негласному закону: о чиновниках – либо хорошо, либо ничего, критика в адрес государственных структур решительно не приветствуется.

Названным фильмам повезло: их увидели. А

вот «Белая белая ночь» Рамиля Салахутдинова значится в списке «пропавших». Сюжет здесь, правда, ни при чём, свою роль сыграли обстоятельства, частично озвученные выше. Но сюжет всё-таки таков: частный детектив расследует в Санкт-Петербурге исчезновение молодого человека – и выясняет, что ниточка тянется в правительственные кабинеты, что юноша стал случайной жертвой расправы над противниками градостроительных планов. Мало шума о застройках исторического питерского центра было в новостях – так ещё и кино появилось! Интересно государству продвигать такого рода картину? Смеётесь?..

Иная судьба могла сложиться и у «Майора» того же Юрия Быкова: в форме жёсткого триллера здесь раскрыта цепочка полицейского террора, произвола и беззакония. В первых кадрах фильма замначальника РУВД сбивает на пустой дороге ребёнка; в последних он вынужден убить его мать – уж слишком далеко зашло это «пустяшное» дело, легче взять на себя лишнюю кровь, нежели разгрести все последствия.

И в «Майоре», и в «Дураке» Быков заметно утрирует, намеренно сгущает краски, сваливая в кучу едва ли не всё, что можно высказать по теме. Так ведь он и снимает не документальное кино, а игровое, признавая, что в полном объёме, от и до, так, быть может, нигде и не происходило, но не отступаясь от уверенности, что все эпизоды по отдельности имели место быть на территории необъятной России...

«Майор» в итоге не прогремел и был показан на телеканале, где подобного «ментовского добра» и без того навалом. Смешав яркое талантливое высказывание со стандартным ширпотребом, его смысловую нагрузку таким образом попросту обнулили – и дискуссии не получилось.

Зато глянцева дилогия Романа Прыгунова «Dухless» не только добралась до экранов, но и оказалась весьма успешна в коммерческом плане. Важна оказалась интонация – обличительная, но в меру, без пресечения допустимых границ, а даже будто бы с одобрения высшего начальства: президент РФ является лирическому герою в первой серии в виде галлюцинации, а во второй – уже самолично, хоть и инкогнито.

«Dухless 2» позволяет себе даже «шокирующие» вольности – обвиняя, например, в жульничестве и воровстве тех, кто получает миллиарды от правительства на инновации, а правоохранительные органы – в коррупции. «Вот из-за таких

карьеристов жизнь в стране через ж...» – в сердцах кричит персонаж обаятельного Данилы Козловского, и кажется: вот ведь оно, возможно же правдивое слово!.. Но задним умом понимаешь, что эта война – с тем, с кем надо война. Пессимистичное предупреждение, чтоб «без сильной уверенности в завтрашнем дне – всё-таки в России живём», произносит внутренний враг, зато оптимистичное послание «У меня есть мечта» герой озвучивает не абы где, а на проправительственном митинге. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы, критика – налицо, и так ли уж важно, в чей именно она адрес.

Не столь однозначен «Географ глобус пропил» Александра Велединского, но эта педагогическая поэма вроде как и не критикует ничего, а тихо подмечает нюансы. И пусть чиновник в исполнении Александра Робака – очевидный прохвост, готовый и галочку там где нужно поставить, и друга в нужный момент предать. Да больно вкусно, по-человечески он сыгран, так и хочется его пожалеть и даже оправдать: ежели работы никакой другой нет, то и такой вариант – не самый позорный.

Да и в целом фильм весьма удачно балансирует на грани, с одной стороны – не обманывая зрителя, а с другой – и не высказывая ничего особо «крамольного». Обойдясь в критический момент без учителя, герои-старшеклассники отважно показывают, что и дальше смогут принимать самостоятельные решения, без оглядки на тех, кто повыше. Или не смогут – всё зависит от того, в чьих руках впоследствии окажется столь сырой и податливый материал...

Любопытно, что на минувший Новый год в прокат вышло сразу две картины, названия которых – не без доли иронии и язвительности – представляют отчизну сказочным краем: это «Страна чудес» (реж. Дмитрий Дьяченко, Максим Свешников) и «Страна ОЗ» Василия Сигарева. Оставим на минутку предлагаемую трактовку сегодняшнего дня, обратим внимание на выписанные тут и там фигуры чиновников.

Появляясь в «Стране чудес» карикатурой на собственного же персонажа в «Левиафане», Роман Мадянов в образе очередного мзра легко и быстро соглашается с намерением инопланетян устроить новый всемирный потоп: «Утопить всех – и начать всё заново!.. {...} Смыть всю эту мерзость с матушки-России!» Однако за столь либеральным настроением сильна уверенность, что лучшие представители общества уцелеют, обязательно выплывут. Финал комичного эпи-

зода: мэр сдаёт своего собеседника в психушку, проявляя тем самым заботу о населении, которому вовсе не обязательно знать о неминуемом бедствии.

Совсем другой мэр, заботливый и благодушный, в «Стране ОЗ», благо и играет его (роль от силы на минуту) настоящий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Заметив на глухой дороге одинокую женщину, он готов предложить свою помощь и подбросить её до города. Но тут уже сам народ, представленный непутёвой героиней Яны Трояновой, отворачивается от него, предпочитая уйти в темноту, но своею дорогой.

Название этого фильма, кстати, может читаться двояко, не зря ведь и пишется «ОЗ» большими буквами – которые при желании обращаются цифрами. И тогда намёк на давнюю сказку вдруг превращается в «ноль – три» – в страну, жителям которой требуется скорая медицинская помощь...

Остаётся немного подождать и увидеть, какой будет комедия Александра Баршака «День выборов 2», в которой «Квартет И» продолжит шутить на те же «острые» темы, что были обозначены восемь лет назад первым фильмом. Там группа пиарщиков продвигала во власть заказанного им кандидата – теперь ему необходимо переизбираться... Постер особой остроты, правда, не обещает: на нём красивые и успешные люди просто идут зрителям навстречу. Совсем не то, что в 2007-м, когда афиша картины представляла из себя пародию на репинских «Бурлаков на Волге» – и злую, и точную. Но чем сравнивать плакаты, сравним лучше в феврале сами «Выборы» – тем более что новая лента входит в число самых ожидаемых премьер Года российского кино.

Но, увлечшись поиском в лентах последних лет «государственных мужей», разве не забыли мы, что бывают герои и других профессий, не столь «опасных» для начальственного уха и глаза?... Даже без конкретики – разве не заслуживает Человек Труда того, чтобы именно ему посвящали фильм за фильмом? Странно, но нет. В том же «Дураке» честный сантехник необходим как движущая сила сюжета, но запоминается не столько профессиональными, сколько личными качествами. А частная автомастерская герою «Левиафана» нужна лишь для того, чтобы подчеркнуть: Власть отнимает не только дом, но и бизнес.

Заводские рабочие в заметных картинах – редкость. В «Восьмёрке» Алексея Учителя они –

лишь протестующий фон, ведущий заведомо проигрышную борьбу против быстро наводящего порядок ОМОНа; впрочем, там дело происходит под самый занавес 1990-х, ещё при Ельцине – так что не считается. Пролетариат как по-прежнему весомая и значимая часть общества представлен Светланой Басковой в фильме «За Маркса...» – но я не удивлюсь, если окажется, что читатель увидел сейчас это название впервые. Рассказ про то, как рабочие создали независимый профсоюз, дабы противостоять сокращениям, снижению зарплаты и в конечном счёте – вконец потерявшему честь и совесть олигарху, хозяину завода, постарались не заметить даже профессионалы киноиндустрии: уж слишком не по «теме дня», уж больно глубоко копнули авторы! Ну а как было его заметить широкому зрителю?..

Без проката остался и «Комбинат «Надежда»» Наталии Мещаниновой, официально – по причине нецензурной лексики, неофициально... Так ли уж необходимо нам знать, как и чем живёт молодёжь в суровом промышленном городе за Полярным кругом? Ещё во время съёмок власти Норильска не без оснований опасались, что картина нанесёт непоправимый репутационный ущерб их округе, выживающей за счёт работы на металлургическом заводе. Конечно, нанесёт, если главная мечта поставленной в центр повествования героини – поскорее выбраться из этого опостылевшего места, в котором не хочется жить ни сейчас, ни потом, никогда... Но как легко оказалось всё «поправить»: не саму жизнь, нет, а отражение этой жизни. Вроде бы и есть фильм, но на деле – нет: кто его видел, кто о нём знает?..

Таких последствий – и, соответственно, такого разговора, серьёзного, осмысленного, вызывающего, – наши кинематографисты боятся как огня: как бы не сказать ненароком чего лишнего – отлучат ведь от госкормушки! О наболевшем можно только издали, крайне осторожно. А стоит кому-нибудь проговорить вслух реально острые и по-настоящему значимые российские вопросы, так это даже не всегда признают за подвиг: ну, бросился, дурак, на амбразуру, а ведь можно было ползком да сбоку проползти – глядишь, и не заметили бы.

Поэтому далеко не каждая картина о современности оказывается злободневной: ведь не одни проблемы существуют в стране, немало есть и положительных явлений! Да и болевые точки можно порой лишь обозначить пунктиром:

важно не нажимать на них постоянно, не выставлять напоказ, не спекулировать их наличием. Взять вот коммерчески заточенный «Воин» Алексея Андрианова. Поверхностно суть фильма можно прочитать так, что необходимые на операцию тяжелобольной дочери средства добываются исключительно в драке, их волком следует вырвать из зубов погрязшего в пороке богача. Но если взглядеться в сюжет с правильной стороны, то быстро выяснится, что кино это – о семье, о любви, о негаснущей братской дружбе. Проще надо смотреть на вещи, не держа спрятанной фиги в кармане.

А в «Стране чудес» вскользь упомянуто, что у героев из Костромы зарплата – восемь и двенадцать тысяч рублей; зато московские жители только за такси готовы выложить по двадцать пять тысяч с носа, лишь бы в нелётную погоду побыстрее добраться до столицы. Налицо гнетущее социальное расслоение – но разве об этом речь? Ну что вы, кино о том, что в Новый год все люди – братья, и не важно, сколь ты беден – был бы человеком хорошим.

Большими хитами стали две залихватские комедии Жоры Крыжовникова: «Горько!» – про свадьбу, «Горько! 2» – про похороны. Можно так понять (и автор это подтверждает), что лишь эти два события в жизни нашего человека представляют его во всей полноте, с максимальной эмоциональностью, с той самой открытостью, что позволяет постичь загадочную русскую душу. Каков человек – такова и его родина; кому и как жаловаться на этот портрет, на это отражение в зеркале?.. Мы – вот такие, и сконцентрированный здесь образ страны отрезвляет прямо пропорционально тому, как в кадре вдрызг напиваются герои.

«Ты и я – мы Родину защищаем!» – говорит штампующий паспорта таможенник увязшему в неудачах футболисту в беззубой «между народной» (так в рекламе) комедии «Без границ» (реж. Резо Гигинеишвили, Карен Оганесян, Роман Прыгунов). Вот, оказывается, кто сегодня наши герои, наши защитники! Неужели они, а не подлинники солдаты?.. Но о настоящих служивых снимать кино сейчас неудобно, обстановка меняющаяся. И из недавнего о недавнем – пожалуй, только «Жажда» Дмитрия Тюринина о «мирной» жизни после войны и «Стыд» Юсупа Разыкова о жёнах подводников (зато о Великой Отечественной – несколько картин в год).

Необыкновенным исключением выглядит фильм-предупреждение (тоже определение ав-

торов) «No comment» Артёма Темникова, герои которого воюют в Чечне: только один – наш боец, а второй – аккуратно завербованный боевиками молодой немец. Но эта драма – исключение и в нашем обзоре, ибо больше рассказывает не о стране, а о самом процессе обращения в ислам заурядного европейского юноши. Смелость создателей ленты безусловна – и остаётся только размышлять, для чего им было необходимо отстраниться и показать вербовку в буржуазной Германии, а не прямо у нас под боком.

Между тем даже не предчувствием, а именно ожиданием новой войны проникнута работа Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками», основное действие которой разворачивается в самом ближайшем будущем, в год столетия русской революции. Солдат в кадре нет (на съёмки задуманной военной новеллы не нашлось, говорят, достаточных средств), но главная героиня сама, плача, заряжает автомат: если что, если вдруг...

Обращённая в отнюдь не прекрасное далёко, картина Германа проникнута вместе с тем и символами ушедшей (?) советской эпохи. Всё ли было правильно там, в то чистое и незамутнённое время, когда всё было просто и понятно?.. И как жить сегодняшним днём, который так стремительно и неуклонно оборачивается вчерашним?.. На эту тему рефлексировать «Пионеры-герои» (фильм Натальи Кудряшовой), заставшие распад великой страны школьниками. Об этом отчасти и «Кино про Алексея» (реж. Михаил Сегал), в котором восстановленная по крупицам жизнь заглавного персонажа оборачивается сплошным обманом, сладкой ложью самому себе.

О том, как похожи вчера и сегодня, свидетельствуют и новые киноверсии произведений советских классиков: приживаются и «Райские кучи» (пересказанная своим языком «Утиная охота» Вампилова в постановке Александра Прошкина), и «Ещё один год» (фильм Оксаны Бычковой по мотивам «С любимыми не расставайтесь» Володиной), и «Находка». Режиссёру последней Виктору Дементу вообще не пришлось ничего менять в повести Тендрякова – и только современная телефонная будка указывает, что действие на самом деле происходит не полвека назад, а прямо сейчас.

Без особых проблем поддались адаптации «Дубровский» (реж. Александр Вартанов и Кирилл Михановский) и «Анна Каренина» – за лентой Светланы Проскуриной «До свидания мама»

(заголовок намеренно пишется без запятой) последуют также осовремененные экранизации Юрия Грымова и Карена Шахназарова. И уж совсем «влитым» оказалось свежее прочтение горьковской пьесы «На дне», автор которого Владимир Котт поместил со школьной скамьи знакомых героев на городскую свалку. Так под видом обращения к классическим текстам некоторым удаётся относительно свободно говорить о волнующих их темах: в случае чего всегда есть чьим портретом прикрыться.

А можно всё свалить на детей, и тут одно из двух: либо «малы ещё, чтобы правду увидеть» – либо «устами младенца...». В ситуации, когда практически умерло детское кино для детей, найдутся фильмы о подростках, которым зачастую ставят вовсе не подростковые возрастные рейтинги. Самый скандальный пример – «Деточки» Дмитрия Астрахана, страшная «сказка» о юных мстителях, вынужденных искоренять зло там, где за него не решаются (или боятся) Взрослые. Стандартный школьный класс показан в вышеупомянутом «Географ глобус пропил», нестандартный – в «Классе коррекции» Ивана И. Твердовского. Неожиданные повороты в теме «учитель и ученики» заявлены в «Училке» Алексея Петрухина и в «Клинче» Сергея Суякеплина.

Своих противников в рядах «общественников» нашла невинная и целомудренная повесть о первой любви «14+» Андрея Зайцева, в которой даже суровые блюстители строгих школьных «законов» пасуют перед силой и искренностью зародившегося чувства. Сиропный «Призрак» Александра Войтинского на этом фоне – образец почти бесконфликтного кино, хотя и там школьный троллинг смешан с мошеничеством в области передовых технологий.

Портрет ребёнка, в буквальном смысле оказавшегося на обочине жизни, выписан в горькой драме Ильмара Раага «Я не вернусь»: эстонского режиссёра специально пригласили поработать в России, чтобы он взглянул на наш быт не изнутри, а снаружи. Взгляд получился вполне объективным – но это единичный случай.

Другой эксперимент проделал Пётр Буслов, назвавший свой фильм «Родина», хотя всё его действие (за исключением крохотного эпизода в финале) разворачивается необычайно далеко от России. «Здесь люди живут, а там, в Рашке, выживают», – говорит на берегу Индийского океана один из героев, злой ухмылкой поминая и московский снег, и московские пробки. Поче-

му же такое громкое, пафосное название? Потому что Родину легко не любить, когда она рядом. А когда далеко...

Страна у нас большая, и вон сколько места занимает даже простое перечисление картин, авторы которых в последние три года попытались показать её по-своему правдиво. А ведь не сказано ещё про редчайший на наших просторах образец «деревенского кино»: Андрей Кончаловский в своих полудокументальных «Белых ночах почтальона Алексея Тряпицына» увидел ту глубинку России, о существовании которой, казалось, давно забыл уже наш кинематограф.

Куда чаще у нас всё-таки снимают кино городское – и через запятую можно назвать здесь отрывную комедию Романа Каримова «Всё и сразу», ленту Антона Борматова «Околофутбола» (слитно) о неистовстве футбольных болельщиков, историю мести Артёма Аксёненко «Неуловимые», лубочную мелодраму Веры Сторожевой «9 дней и одно утро», новогодние альманахи про «Ёлки» (группа режиссёров под продюсерским руководством Тимура Бекмамбетова), наиболее громко прозвучавшие (как правило, в фестивальной среде) фильмы о разных проявлениях любви: «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Да и да» Валерии Гай Германики, «Зимний путь» и «Метаморфозис» Сергея Тарамаева и Любви Львовой, «Звезда» и «Про любовь» Анны Меликян...

Особняком стоят малобюджетные ленты Арсения Гончукова: «1210», «Полёт. Три дня после катастрофы», «Сын», «Последняя ночь»; им не хватает кинематографического блеска, но режиссёр изначально взял курс на остросоциальное кино – и берёт зрителя за душу не профессиональным качеством, а жизненным (и всегда трагическим) сюжетом.

За бортом данного обзора остались и поиски кинематографистами некой духовной опоры: «Пациенты» Эллы Омельченко, «Наследники» Владимира Хотиненко, «Иерей-сан. Исповедь самурая» Егора Баранова. Отдельного анализа заслуживают участвовавшие напоминания о том, что Россия – страна многонациональная: тут и «Небесные жёны луговых мари» Алексея Федорченко, и «Белый ягель» Владимира Тумаева, и «Чайки» Эллы Манжеевой (русский язык в этих лентах звучит закадровым переводом), а также «Она» Ларисы Садиковой, «Ч/Б» Евгения Шелякина, «Норвег» Алёны Званцовой, «Побег из Москвабада» Дарьи Полторацкой.

И опять – перечислены не все заслуживаю-

щие того ленты, и это, напомним, при том, что мы изначально вынесли за скобки картины, рассказывающие не о современности, а о событиях давно минувших, показывающие Россию не такой, какой она известна нам сегодня, а такой, какой она была раньше, когда-то (и тут уже встанёт вопрос, насколько честны бывают подобные «воспоминания»).

Разумеется, всё это – кино разного качества. Одни работы лучше, другие сильно хуже, но в совокупности они и представляют большой отечественный кинематограф, который почему-то, в силу «загадочных» причин, остаётся практически незнаком широкому зрителю. На поверхности чаще всего оказываются бросовые комедии, не представляющие ни культурной, ни исторической ценности. Конечно, они тоже создают определённый образ страны, там тоже делаются попытки изваять героя нашего времени. Возможно даже, что именно этот продукт коллективного бессознательного и является наиболее точным – и если так, то когда-нибудь и это «рыночное кино» найдёт своего исследователя.

Пока же хочется надеяться, что в Год российского кино профессионалы во главе с чиновниками сделают ставку на фильмы, которые тянули бы зрителя за собой – а не опускались бы до уровня весьма условно понимаемой «массы». Мы ждём подтверждения бытовавшего некогда мнения, что кино по-прежнему может влиять на умы и общественное сознание, делая жизнь свободнее и лучше. Ведь чем дружным строем выступать против произведе-

ния, указывающего на нечто «плохое», разве не лучше принять его как указание к действию – и приложить все силы, чтобы избавиться от этого «плохого», заменив на «хорошее»?..

Лучше, но не проще. Поэтому если в ближайшее время на экраны станут выходить сплошь «Кубанские казаки», красочно рассказывающие о том, чего нет, останется только желать, чтобы хотя бы сделаны они были столь же талантливо, как в советское время.



Максим МАРКОВ

родился в 1979 году,

*детские и школьные годы провёл в Петрозаводске,
публиковался в карельской прессе («Северный курьер»,*

«Петрозаводск», «Молодёжная газета», «Лицей»).

*Окончил Российский университет дружбы народов,
живёт и работает в Москве.*

*В последние годы сотрудничает
с онлайн-изданиями «Ридус» и «Настоящее кино».*

В «Севере» публикуется впервые.



Артем КУЛЯБИН

г. Сокол, Вологодская область



*«Сиротский смысл
семейных фотографий»*

(война в лирике Николая Рубцова)

Творчество Николая Рубцова стало заметным явлением ещё при жизни поэта. И после смерти интерес к его лирике продолжал расти: осмысление литературного наследия с годами приобрело последовательный и системный характер, убедительно доказывая несостоятельность всех скептических прогнозов относительно будущего рубцовского творчества. Слово поэта живёт и продолжает волновать читателя. Это движение не является искусственным навязыванием «извне», оно естественно и вполне отвечает нравственным запросам современного общества.

Однако есть и обратная сторона памяти. Печально, но факт: личность и наследие поэта нередко оказываются в плену субъективных суждений, заблуждений, растиражированных до уровня мифа. Например, активно внедряется в читательское сознание мысль об отсутствии гражданственности в рубцовской поэзии. Причём происходит это как со стороны «ревнителей» слова, приверженцев «искусства для искусства», так и со стороны тех, кто усматривает в «чистой» лирике ограниченность и считает это скорее недостатком.

В числе последних, к примеру, – авторитетное мнение Сергея Викулова, назвавшего Николая Рубцова в одном из своих интервью т о л ь к о лириком (*разрядка моя. – А.К.*) и заявившего в этом контексте, что «настоящего великого русского писателя не может быть без любви к своему народу». Бесспорно. Но неужели Рубцов, живший, по его собственному признанию, «в своём народе», не был обеспокоен судьбой поколения, страны? Вряд ли. Уже в 1976 году в первой книге о поэте её автор Вадим Кожин справедливо рассуждал о подлинной народности поэзии Рубцова.

Сергей Викулов последователен в своих суждениях: ещё в начале 80-х в его предисловии к рубцовским книгам «Избранное» (1982 г.) и «Посвящение другу» (1984 г.) пусть и не столь категорично, но звучит упрёк в недостаточно выраженной социальной направленности творчества поэта. В частности, Викулов задаётся вопросом о том, почему у Рубцова практически не представлена военная тематика.

Ответить на этот небесспорный вопрос отчасти помогает точка зрения Валерия Дементьева: «Минувшая война осталась вроде бы за «кад-

ром» лирических стихотворений Рубцова. <...> Но грозное дыхание военных лет ощущается в поэзии Рубцова во всем – и в природе, и в облике деревни, и в характере жителей Севера. По малолетству он почти не помнил и не знал войны, однако ее помнили и знали односельчане, помнил и знал народ. <...> Особая проникновенность поэта в чужую боль, в чужие страдания, его способность сопереживать с другими – все это выявила <...> война».

Очевидно, что война в художественном пространных литературного произведения может быть представлена по-разному. Это вовсе не обязательно батальные сцены, описание трудовых подвигов в тылу, слёзы прощания и триумф Победы (таких стихов у Рубцова действительно нет). Это может быть внутренняя трагедия отдельного человека, которая оказалась родственна целому поколению и потому общественно значима. Сиротство как следствие войны – вот тот личный фактор, через призму которого смотрело на окружающий мир поколение, к которому относился и герой Рубцова. И в этом смысле тема войны имплицитно представлена в значительной части лирики поэта.

Восприятие войны рубцовским лирическим героем соответствует народному мироощущению. С одной стороны, это данность, свершившийся факт, приведший к катастрофическим последствиям: «мать умерла, отец ушёл на фронт» («Детство»), «на войне отца убила пуля» («Берёзы»). С другой стороны, это страх перед новой войной («Русский огонёк») и преклонение перед героикой минувшего («Видения на холме»). Объём и содержание понятия «война» в разных стихотворениях неодинаковы. Наряду с упоминающимися или подразумевающимися конкретными историческими событиями (Великая Отечественная война – «Вспомню, как жили мы...», «Детство», «Берёзы»; Отечественная война 1812 года – «О Московском Кремле»; набеги хана Батыя – «Видения на холме» или Чингисхана – «Шумит Катунь») Рубцов пишет о войне как народном горе в контексте общечеловеческих ценностей («Море», «Русский огонёк»). Интересная деталь: практически все упоминаемые поэтом исторические фигуры имеют непосредственное отношение к военным действиям: Чингисхан, Батый, «грозный Иоанн», Емельян Пугачёв, Наполеон, Ленин, Гитлер.

* * *

В одном из своих самых ранних стихотворений (по предположению Вячеслава Белкова, это был первый поэтический опыт Рубцова) автор по-детски наивно, но предельно чётко обозначит грань, отделяющую войну от мирной жизни:

*Вспомню, как жили мы
С мамой родною –*

*Всегда в веселе и тепле,
Но вот наше счастье
Распалось на части –
Война наступила в стране.*

Финал стихотворения обнадеживающий: не потеряна вера в восстановление родственных связей, «счастливое и весёлое» будущее. Много лет спустя эти же трагические факты найдут художественное воплощение в стихотворении «Детство». Здесь мотив прощания приобретает черты обречённости: расставание уже не предполагает скорой встречи:

*...Туман покрыл
Разлуки нашей след...*

Взгляд мальчика и взгляд взрослого поэта: в одном – трогательная непосредственность, в другом – трагическая обыденность: «военная мороза», «детдом на берегу» и оскорбляющее слово «сирота».

...Начало 60-х годов (время вступления Николая Рубцова в большую литературу) – «в поэзии – пора эстрады» (К.Ваншенкин). В этот период активно работает поколение поэтов-фронтовиков, стимул для творчества даёт «оттепель», развенчавшая «культ личности». Многие авторы возвращаются к ранее созданным текстам, корректируя их с учётом изменившихся условий. «Эстрадная» поэзия с её декларативным пафосом пополняется новыми произведениями о войне, в числе которых, например, известное стихотворение Е.Евтушенко «Хотят ли русские войны» (1961) и не менее известная поэма Р.Рождественского «Реквием» (1962). По-другому военная тема представлена в поэзии «тихой». Но даже в близких по стилистическим особенностям текстах (А.Прасолов «Тревога военного лета» (1963), А.Жигулин «В округе бродит холод синий...» (1963) и др.) трудно найти что-то похожее на рубцовский взгляд.

А этот взгляд хорошо просматривается, например, в хрестоматийном «Русском огоньке»

(1964). Конечно, вряд ли можно проводить прямые параллели между стихотворением и конкретными военно-политическими событиями, но, принимая во внимание время написания (разгар «холодной» войны), отрицать подобную связь вообще неправомерно. Эту мысль подтверждает рубцовский эпиграф, сопровождавший одну из газетных публикаций «Русского огонька»:

*Огромный мир
По-прежнему не тих.
Они грозят,
Мы сдерживаем их.*

Сегодня, спустя несколько десятилетий, трактовать оппозицию «мы» – «они» можно предельно широко, но читателю тех лет, вероятно, угроза новой войны представлялась вполне конкретной.

Короткий диалог хозяйки и героя о войне является смысловым центром стихотворения. Об этом можно судить по ранним редакциям «Русского огонька», в которых диалогическая часть текста остаётся неизменной. Разговор этот повсюду необычен: два человека, оказавшиеся вместе среди оцепеневших снегов и деревьев, обсуждают не бытовые, хозяйственные проблемы, а угрозу войны. Ощущается какая-то недоговорённость, но герой и хозяйка без слов понимают друг друга. Их объединяет «сиротский смысл семейных фотографий», запечатлённый как в памяти отдельных людей, так и в исторической памяти русского народа в целом. Не случайно, видимо, собеседники ведут разговор не от себя лично, а от имени своего поколения:

*– Господь с тобой! Мы денег не берём,
– Что ж, – говорю, – желаю вам здоровья!
За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...*

Душа – одно из ключевых понятий в стихотворении. С одной стороны, «близких всех душа не позабудет», с другой – русский огонёк горит «как добрая душа». Следовательно, пока горит этот огонёк, память (а значит – преемственность поколений) не оборвётся.

В «Видениях на холме» – другом не менее известном стихотворении этого периода – угроза войны просматривается ещё более отчётливо:

*Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили...*

Кто же это – «иных времён татары и монголы»? Предпринимались попытки «разгадать» рубцовскую метафору (кто-то даже усматривает в черном кресте фашистскую свастику), но, думается, здесь, как и в «Русском огоньке», связывать текст с конкретными событиями было бы недальновидным упрощением, хотя и не учитывать ситуации в стране и мире начала 60-х нельзя. Образ креста в лирике Рубцова многогранен: если в этом стихотворении «чёрный крест» олицетворяет некие (или определённые?) злые силы, то во многих других – крест связывается с судьбой, долей человека или вечным покоем.

В «Видениях на холме» угроза войны представлена в историческом контексте: через «страдания и битвы». В ранних вариантах стихотворения помимо «скуластого Батыя» упоминаются и «бег татар на поле Куликовом», и крах наполеоновской армии. Контраст между светлыми и черными силами, миром и войной усиливает умиротворяющий пейзаж как символ сильной России, способной дать отпор врагу.

Подобную функцию пейзаж выполняет и в стихотворении «Шумит Катунь», где герой слушает, как могучая река

*Поёт <...> таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, –
Они топтали эти берега!*

Примечательно, что близкая Рубцову водная стихия в некоторых его ранних стихотворениях («Море» («Я у моря ходил...»), «Море» («Ветер. Волны с пеной...»), «Сердце героя», «Баренцево море», «Матросская юность») связывается с событиями военных лет, хранит память о погибших героях. Шум океана у поэта – «вечное эхо войны», море – братская могила. Очевидно, Рубцов, служивший дальномерщиком на эсминце Северного флота, имел хорошие представления о морских сражениях. Но если в ранней лирике (50-е годы), во многом ученической и преимущественно одностемной, война, главным образом, – героическое прошлое народа, то в зрелых стихотворениях на первый план выходит её трагедийный смысл.

* * *

*Меня война солдатом не застала.
Чтоб взять винтовку, был годами мал.
Но тоже рос голодный и усталый
И тоже груз на плечи поднимал!
Своим крылом безжалостное время
Махало так, что мой мутился взгляд, –
Недетских слез и всех лишений бремя
Я тоже нес, как будто был солдат!..*

Так звучит стихотворение осетинского поэта Хазби Дзаболова в переводе Николая Рубцова. Дзаболов, чья короткая жизнь была в чём-то сходна с рубцовской, здесь подчёркивает сопричастность к событиям военных лет. Это же самое мог сказать о себе Рубцов, родившийся за пять лет до начала самой смертоносной в истории русского народа войны. Она отняла у поэта всех близких людей, он в полной мере ощутил бремя лишений: и длинные ночи томительного ожидания, и скудный детдомовский паёк. Не будь войны, судьба Рубцова (и поколения Рубцова) сложилась бы иначе. Но война была. Причём не только на полях сражений...

В стихах, лишённых дидактизма и ура-патриотизма, поэт сумел понятными словами выразить настроение и судьбу русского человека, его архетипические представления о добре и зле, жизни и смерти, о преходящем и вечном, о родной земле. В этом гражданственность и народность Рубцова.

Литература

- 1 Белков В.С. Жизнь Рубцова. – Вологда. 1993.
- 2 Викулов С. От Белозерска до Белокаменной: Интервью // Вологодская неделя. – 2002. – 9-16 мая.
- 3 Дементьев В.В. Мир поэта: Личность. Творчество. Эпоха. – М. 1980.
- 4 Рубцов Н. Русский огонёк // Сокольская правда. – 1966. – 21 июля.
- 5 Рубцов Н.М. Собрание сочинений в 3-х т. – М. 2000.

Артём Михайлович КУЛЯБИН

родился в 1983 году.

Окончил филологический факультет

Вологодского государственного педагогического университета,

аспирантуру при кафедре литературы ВГПУ.

Кандидат филологических наук.

Сфера научных и творческих интересов – литературный процесс

и публицистика периода Великой Отечественной войны,

литературное краеведение.

Публиковался в газете «Российский писатель»,

журналах «Вологодский лад», «Север»,

других периодических изданиях.

Живёт и работает в городе Соколе Вологодской области.





Владимир БОНДАРЕНКО

г. Москва

Горжусь тем, что я северянин

Беседует **Вениамин Слепков**

В феврале 2016 года 70-летие отмечает известный российский литературный критик, публицист, писатель Владимир Бондаренко.

Владимир Григорьевич родился в Петрозаводске, окончил Государственную лесотехническую академию в Ленинграде, затем – Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Работал заведующим литературным отделом в Малом театре, во МХАТе им. М. Горького у режиссёра Татьяны Дорониной.

С 1990 года он стал заместителем главного редактора газеты «День», с ноября 1993 года – заместителем главного редактора еженедельной газеты «Завтра». С мая 1997 года – редактор приложения к газете «Завтра» – «День литературы».

Член Союза писателей России с 1991 года. Публиковался во многих газетах и журналах, выпустил немало книг, в том числе биографии М.Ю. Лермонтова и И.А. Бродского в серии «ЖЗЛ».

Первые публикации Владимира Бондаренко состоялись в журнале «Север». И по сей день он остается постоянным автором журнала.

Редакция журнала «Север» поздравляет Владимира Григорьевича с юбилеем и публикует беседу с ним о проблемах современной российской литературы и о его творчестве.

– Владимир Григорьевич, ваши статьи и книги о литературе выходят начиная с шестидесятых годов, и немногие критики и публицисты могут сказать, что наблюдают за развитием литературы на протяжении более полувека. В последнее время приходится слышать такое мнение читателей, что современная российская литература уступает прежней советской – по качеству текстов, по масштабу поднимаемых проблем. Согласны ли вы с таким мнением, и если да, то почему, на ваш взгляд, это происходит?

– Дорогой Вениамин, я согласен, нынешняя российская литература во многом уступает прежней советской. Прежде всего потому, что она как бы сама себя лишила идеологии, величия замысла, как говаривал Иосиф Бродский. Впрочем, вся наша страна уже много лет лишена по новой Конституции идеологии, лишена национальной идеи в любом ее воплощении. Можно быть блестящим стилистом, сочинять замысловатые сюжеты, но если в книге нет никакой идеи (любой – белой, красной, голубой, советской, антисоветской, имперской, этнической), никакой мысли, о политике, о любви, о своем народе, то книга становится ни о чем, она превращается в лучшем случае в читиво, в случае с беллетристикой, или в скучнейшее занудство, в случае с филологической прозой. Возьмите всех русских титанов XX ве-

ка, от Михаила Шолохова до Александра Солженицына, от Юрия Кузнецова до Иосифа Бродского, от Есенина до Маяковского, от Андрея Платонова до Михаила Булгакова. Даже в самом мелком сюжете у них было заложено величие замысла. Как писал Владимир Маяковский: «В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела, близкой мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть». Нет ни масштабности темы, ни масштабности замысла.

Увы, к тому же и в самом обществе сейчас отсутствует масштабность, всех увлекла потребительская идея бытового благополучия, тут не до чтения. Чтобы всколыхнуть наше общество, нужны новые сильнейшие импульсы. Впрочем, сегодня появилась группа молодых сильных писателей, таких как Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Михаил Елизаров, которые и по качеству своих текстов, и по напору острейших социальных тем не уступают мастерам советской литературы.

Большая беда еще и в том, что сейчас литература потеряла свою главенствующую роль в жизни общества. К сожалению, Россия перестала быть литературоцентричной страной. Появись сегодня «Война и мир» или «Евгений Онегин», могли бы и не заметить.

Думаю, в период перестройки власти осознанно вывели литературу на обочину, они боялись влияния и русской, и советской литературы на общество. Им нужна была литература как развлечение, как хобби, некая забава. «К штыку приравнять перо» – это не для них. Для того чтобы вернуть литературу на пьедестал, нужна мудрая государственная воля.

– Не секрет, что на содержание советской литературы во многом влияло государство. Конечно, с одной стороны, устранение государства от влияния на литературу можно только приветствовать, тем самым обеспечивается свобода автора писать так, как ему диктует сердце. С другой стороны, мы наблюдаем, как часто «варятся в собственном соку» многие талантливые региональные, да и не только, авторы, чьи имена не входят в обоймы раскрученных. Наверное, можно обозначить и еще ряд проблем, вызванных устранением государства от серьезной поддержки литературы. Что вы думаете по этому поводу? Должно ли государство играть какую-либо роль в литературном процессе или же только рынок должен все расставлять по местам?

– На мой взгляд, Российское государство, увы, предало свою национальную литературу. Я удивился, когда в прошлом году на общем литератур-

ном собрании в Москве услышал от президента, что книга – это всего лишь товар, который должен быть продаваемым. Я-то считаю, что коммерческая литература – это просто не литература, это как колбаса или сосиски, как трусики или косметика. Вот там рынок и расставляет все по местам. Хорошая литература, и прежде всего поэзия, как правило, убыточна. Во все времена во всем мире национальные лидеры всячески поддерживали свою национальную литературу, ибо без литературы нет и идеологии, а без идей исчезает и сам народ, становится лишь массой, потребителями хлеба и зрелищ, исчезает и государство. Можно по-разному относиться к событиям на Украине, в Чечне, к Исламскому государству, но все эти трагические события происходят именно от подъема национальных и религиозных идей. Не случайно же Иосиф Сталин зимой 1941 года, когда немцы стояли под Москвой, читал новинки литературы, ту же пьесу «Фронт» Корнейчука, и срочно приказывал печатать в «Правде». Он понимал, солдату нужна национальная идея, за что воевать, ради чего жизнь отдавать за Родину. Сейчас, боюсь, наши лидеры вообще ничего не читают. Закрываются по всей стране книжные магазины и библиотеки. Если так пойдет и дальше, это приведет к распаду России на множество осколков. Посмотрите, как в Америке государство мощно поощряет через фонды и гранты необходимую им идеологическую направленность и в Голливуде, и в литературе. Помню, в Америке я вначале поразился развитию книжной торговли, в самом маленьком городке прекрасные двухэтажные книжные магазины, с кафе на втором этаже, где можно сидеть весь день и читать книги. Да, там как бы свобода во всем, ничтожными тиражами, в маленьком формате, ты можешь издавать и троцкистские, и расистские, и сталинистские, и крайне левые или крайне правые книжонки, смотреть в маленьких студиях какие угодно фильмы, но для того, чтобы выйти на широкий экран или широким тиражом – нужна лицензия, и она дается лишь тем направлениям, которые поддерживают американскую идеологию.

Нам не нужны прямые надсмотрщики былых советских времен, запреты и предварительная цензура, но, естественно, государство обязано щедро поддерживать необходимое ему национальное искусство. У нас же пока все наоборот, на международные книжные ярмарки и фестивали ездят за счет государства и налогоплательщиков исключительно крайне либеральные, русофобски настроенные литераторы. Когда за откровенно антирусскую публицистику присуждают

Нобелевскую премию, автора дружно поддерживают те же государственные издания в России, которые писательница поливает грязью. Сплошной садомазохизм. Есть поговорка: если ты не поддерживаешь свою армию, то на ее место придет чужая армия. То же самое и с литературой, если государство не ценит свои литературные традиции и национальные идеалы, то к нам в страну придут другие чужие литературные традиции и чуждые нам идеалы.

Европа, давно не занимающаяся своей литературной и культурной политикой, сейчас начинает понимать, что скоро на улицах и площадях европейских городов будет царить другой порядок, по законам шариата. Свято место пусто не бывает. Константинопольский православный собор превратился в главную мечеть Стамбула, в Иерусалиме тоже знаменитая мечеть Аль-Акса стоит на месте христианского храма. И, как предчувствие, наша русская писательница Елена Чудинова написала пророческий роман «Мечеть Парижской Богоматери». Все так будет и у нас, будет и Мечеть Василия Блаженного на Красной площади или лютеранская кирха, если наше государство не будет поддерживать свою национальную литературу. Осмотритесь вокруг себя: все вывески на английском языке, обложки журналов тоже, да и мы сами выглядим как витрина заморского магазина. Я специально зашел в метро летом и подсчитал, прошла по эскалатору тысяча человек, и все как один без исключения в майках с яркими иностранными надписями, ни одной русской. А государство по-прежнему не хочет поддерживать свою национальную культуру. Мне кажется, власть не понимает важность литературы и культуры в целом. У нас в Советском Союзе была самая могущественная армия, но когда наша культура увлеклась диссидентством, страна рухнула. Можно построить лучший в мире танк, но что будет в голове у танкиста, это и определит, куда он будет стрелять.

– *Давайте обратимся к вашему творчеству. Как литературовед вы обращаетесь к очень разным российским поэтам. Вышла книга о Лермонтове, затем – о Бродском, теперь готовится к выходу труд о Северяnine. Чем вызван глубокий интерес к таким разным – и во времени, и в творчестве – авторам? Есть нечто, что их объединяет? Почему именно эти личности вызвали ваш интерес?*

– Прежде всего, героев моих книг объединяет огромный талант. Во-вторых, не менее важно то, что и Михаила Лермонтова, и Игоря Северянина,

и Иосифа Бродского объединяет любовь к России. Все они были по-настоящему независимы, часто спорили с властями, но всегда оставались истинными патриотами России.

Меня часто наши полуобразованные русачки спрашивают: ну какой же патриот Иосиф Бродский? И еврей, и из России уехал. Приводят два-три его скабрёзных стихика, на самом деле не украшающих поэта, типа «Набросок» или «Представление», но умалчивают о его подлинных шедеврах. Или же сводят все к мимолетному северному эпизоду, когда поэт увлекся русской экзотикой.

*В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам...*

Эти его деревенские стихи, написанные в архангельской ссылке, на самом деле замечательные, но не на них я хочу заострить свое внимание, а на стихах, определяющих его русскость. Я каждый раз привожу три стихотворения, отделенных друг от друга десятилетиями. Вот первое, написанное в декабре 1964 года, стихотворение «Народ», названное Анной Ахматовой гениальным. Стихотворение, посвященное русскому народу.

*Пусть возносит народ – а других я не знаю судей,
Словно высохший куст, –
самомненье отдельных людей.*

*Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,
Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.*

*Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.*

Это пламенный восторженный гимн русскому народу, это стихотворение я бы печатал в «Родной речи» с первого класса до последнего. Написано оно в ссылке в деревне Норенская. Иные либералы ныне стараются его назвать паровозиком. Мол, написал его поэт, надеясь на снисхождение властей. Но такой силы паровозики не пишутся. И к тому же Иосиф Бродский никогда не писал паровозных стихов. Он сам был паровозом русской поэзии. К примеру, из-за этого якобы паровозика отказались печатать уже после ссылки Бродского в журнале «Юность» подборку стихов. Не понравилась строка «Пьющий, песни орущий, вперед...». Мол, наш народ не пьет.

Прошло добрых десять лет. Уже в эмиграции, когда поэта практически насильно выдворили из страны в течение трех дней, он в 1974 году в европейской гостинице услышал по телевидению о смерти маршала Жукова и сразу же написал эпитафию «На смерть Жукова». Георгий Жуков еще при жизни получил негласный титул маршала Победы, опальный поэт посвятил этому выдающемуся человеку свою оду:

*Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей...*

Это настоящая Ода великому полководцу и спасителю России:

*Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта
громко свисти на манер снегиря.*

Блестящее подражание державинскому «Снегирию», посвященному другому русскому военному гению Суворову. Позже Иосиф Бродский говорил, что с таким стихотворением можно было пойти в газету «Правда». Он не скрывал его державность.

И вот еще через восемнадцать лет, в 1992 году, узнав о том, что незалежная Украина подписала соглашение с НАТО, от имени всех кацапов проживающий уже добрых 20 лет в вынужденной эмиграции в США поэт страстно и эмоционально, с болью за распад своей родины напишет ныне широко известное стихотворение «На независимость Украины»:

*Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плунуть, что ли, в Днипро: может,
он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.*

*Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам – подавись мы жмыхом и потолком – не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.*

Он не за Брежнева или за советскую власть переживает, а за свою родину, за «мой народ», он

считает, что нельзя было отрывать от России ее кровную часть – Украину. К тому же малую родину самого поэта. Он гневно заканчивает это стихотворение напоминанием о том, что перед смертью те же самые хохлы будут хрипеть, «царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса». Можно критиковать поэта за несдержанность, неполицоректность, но все эти десятилетия главным для поэта была русская имперская державная идея. Он был оппонентом власти, но не народа, не государства. Он говорил: «Я русский поэт, хотя и евреец».

То же самое было и с Лермонтовым. Так же и у Михаила Лермонтова, тоже неоднократно ссылаемого царям и его окружению свои упреки за смерть Пушкина, мы находим непреходящую любовь к России, к своему народу.

Они и впрямь были, и Бродский, и Лермонтов, да и тот же Северянин, гонимые миром странники, но все они служили русской литературе, служили России.

*Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русской душой.*

Эмигрант Игорь Северянин, проживший после революции 1917 года более 20 лет в Эстонии, сегодня вообще мало кому известен. Все помнят лишь его «Ананасы в шампанском», «Громокопящий кубок» и «Это было у моря». Тоже блестящая, тонкая музыкальная изящная поэзия. Но есть же у Северянина совсем другие стихи. Есть его «сталинский грезфарс». Мало кто из русских поэтов в эмиграции так тосковал по России, как казалось бы весь прозападный, весь «в чем-то норвежском, в чем-то испанском», эпатажный поэт Игорь Северянин, который в эмиграции все свое творчество посвящает России.

*О России петь – что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...
О России петь – что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать...
О России петь – что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть.*

1925

Такой образ поэта просто незнаком нынешним любителям поэзии Серебряного века. Где здесь

башня замка, где королева, где фиалки? Где роженое из сирени?

*Я – русский сам, и что я знаю?
Я падаю. Я в небо рвусь.
Я сам себя не понимаю,
А сам я – вылитая Русь!*

Ночь под 1930-й год

И это, пожалуй, основная линия в эмигрантской поэзии Игоря Северянина. Понимание того, что без Родины нет и поэзии, так, одно ремесло. Бедный Северянин, для него отсутствие России было невосполнимо, он реально страдает в своем эстонском одиночестве. Русские стихи его никому не нужны, а переводить за деньги эстонских поэтов на русский по подстрочникам Фелиссы тяжкая и скучная работа. Разве не обидно, туристы едут в Россию из той же Эстонии, а он не может? Он не хочет отдавать наш русский Днепр чужим пришельцам. Северянин будто предвидит будущее:

ЗА ДНЕПР ОБИДНО

*За годом год. И с каждым годом
Все неотступней, все сильней
Влечет к себе меня природа
Великой родины моей.
Я не завистлив, нет, но зависть
Святую чувствую порой,
Себе представив, что мерзавец –
Турист какой-нибудь такой, –
Не понимающий России,
Не ценящий моей страны,
Глядит на Днепр в часы ночные
В сиянии киевской луны!*

6 марта 1936

Сегодня за Днепр обидно и миллионам русских, не понимающих, что же там устраивают на Днестре братья-хохлы. К Северянину приходит понимание своей собственной вины и вины миллионов эмигрантов, покинувших Россию. Тоньше и глубже всяких политиков и экономистов чувствует поэт Игорь Северянин, что его Россия отстраивается, мужает, крепнет, и уже без него, без всех, покинувших отчизну. По-своему, это противостояние главному тезису русских эмигрантов: мы не в изгнании, мы в послании...

И он смело корит себя, русского, что недостаточно сил отдавал своей стране, своему народу.

Этот былой певец причудливых миррелей и мистрелей, подобно Маяковскому, тянется к своему народу, хочет помочь ему.

*Москва вчера не понимала,
Но завтра, верь, поймет Москва:
Родиться Русским – слишком мало,
Чтоб русские иметь права...
Родиться Русским – слишком мало,
Им надо быть, им надо стать...*

Пожалуй, он больше и искреннее всех и эмигрантов, и советских писателей радовался присоединению Прибалтики к Советскому Союзу в 1940 году.

Он писал Георгию Шенгели: «Я очень рад, что мы с Вами теперь граждане одной страны. Я знал давно, что так будет, я верил в это твердо. И я рад, что это произошло при моей жизни: я мог и не дожидаться: ранней весной я перенес воспаление левого легкого в трудной форме. И до сих пор я не совсем здоров: постоянные хрипы в груди, ослабленная сердечная деятельность, усталость после небольшой работы. Капиталистический строй чуть совсем не убил во мне поэта: в последние годы я почти ничего не создал, ибо стихов никто не читал. На поэтов здесь (и вообще в Европе) смотрели как на шутов и бездельников, обрекая их на унижения и голод. Давным-давно нужно было вернуться домой, тем более что я никогда врагом народа не был, да и не мог им быть, так как я сам бедный поэт, пролетарий, и в моих стихах Вы найдете много строк протеста, возмущения и ненависти к законам и обычаям старой и выжившей из ума Европы...»

Мало что зная о Советском Союзе, он поэтизирует его так же, как раньше поэтизировал своих принцев из замков. Я бы назвал этот последний в его жизни цикл стихов «Сталинский грезифарс». Вот одно из стихотворений, называется «В наш праздник»:

*Взвивается красное знамя
Душою свободных времен.
Ведь все, во что верилось нами,
Свершилось, как сбывшийся сон.
Мы слышим в восторженном гуле
Трех новых взволнованных стран:
– Мы к стану рабочих примкнули,
Примкнули мы к стану крестьян.
Наш дух навсегда овесенен.
Мы верим в любви торжество.
Бессмертный да здравствует Ленин
И Сталин – преемник его!*

В разгоряченном мозгу стареющего поэта уже бошуют грандиозные замыслы, хотя в жизни продолжаютс я все те же бытовые проблемы, прежде всего катастрофическая нищета. Он ждет советские гонорары, посылает стихи в советские журналы.

*Прислушивается к словам московским
Не только наша Красная земля,
Освоенная вечным Маяковским
В лучах маяковидного Кремля,
А целый мир, который будет завтра,
Как мы сегодня – цельным и тугим,
И улыбнется Сталин, мудрый автор,
Кто стал неизмеримо дорогим.*

Когда читаешь эти строчки, не надо забывать, что написаны они не по заказу, без всякой корысти, поэтому, который и не знает реальной действительности в СССР, это его грезы о счастливом мире.

Кстати, я обратил внимание, что объединяет этих моих героев еще и общая стихийность души, мятежность. Михаил Лермонтов не вынес студенческую муштру в Московском университете, сам ушел после первого курса, а Бродский и Северянин – оба даже школу не закончили, бросили и ушли в поэзию, несмотря на протесты родителей. Все трое были крайне независимы, у всех троих складывались сложные отношения с возлюбленными, но их любовная лирика была замечательна. И Северянин, и Бродский, и в какой-то степени Лермонтов были связаны с Русским Севером, а Северянин и Бродский конкретно с Череповцом...

– Владимир Григорьевич, вы всегда востребованы как критик, литературовед, публицист, писатель. Ваши работы публикуются в центральных изданиях и издательствах. И, тем не менее, не забываете журнал «Север», где начинали печататься, и Петрозаводск, где родились, а значит, знаете и прошлое, и нынешнее состояние культуры российского севера. Север, по-вашему, – это особая культурная территория со своими культурными традициями, законами развития? Если да, что именно, на ваш взгляд, отличает северную культуру, северную литературу и северные характеры? И есть ли особые северные черты в вашем характере?

– Думаю, конечно, есть. Я начинал печататься в Петрозаводске, в газете «Комсомолец» и журнале «Север». В газете меня опекал мой товарищ Юра Шлейкин, а в журнале одним из моих наставников на всю жизнь стал выдающийся

русский писатель Дмитрий Гусаров. Он и рекомендацию дал в Союз писателей. Помню, когда за статью «Сокровенное слово Севера» и меня, и весь журнал сначала отругали в передовой газете «Правда», а потом разбирали на секретариате Союза писателей СССР, я не самой критики боялся, а реакции Дмитрия Яковлевича. Вдруг он скажет, что я подвел журнал. Но Дмитрий Яковлевич пригласил меня после этого разгрома в ресторан ЦДЛ и поднял тост за мое боевое крещение. Север – это моя и биологическая, и духовная Родина.

Все-таки северная культура – одна из направляющих в развитии России. Север и развивался по-другому, сюда не доходил ни Наполеон, ни Гитлер. Здесь не было ни опустошительных войн, ни крепостного права, сильное влияние староверов, грамотность всего населения еще в давние времена. Не было ни помещиков, ни рабов.

Помню, со мной не раз спорили друзья, мол, все гении русские из центральной крепостной России вышли. Да, пока господствовала помещичья, дворянская культура, из ее среды и выходили русские таланты.

Но когда дворянская культура закончилась, тогда и развернулся во всю ширь Русский Север. Сначала Николай Клюев и Степан Писахов, Борис Шергин, затем уже и Николай Рубцов, Василий Белов, Дмитрий Гусаров, Дмитрий Балашов, Федор Абрамов, Владимир Личутин и так далее. Не на пустом месте журнал «Север» стал лучшим из провинциальных журналов. За нами и традиции Господина Великого Новгорода, вольнолюбивые и в то же время державные. Таковы и северные русские люди – надежные и независимые. Конечно, и во мне самом много северного. И не только по месту проживания. Отец у меня, как видно по фамилии, из украинцев, а мать – коренная поморка, родом из Холмогор, дом ее был недалеко от дома Ломоносовых. Еще в армии меня прозвали друзья – «поморский хохол».

Так что в крови настоящая «царская водка».

Да и жизнь в Карелии отличалась от жизни в центральной России. Я горжусь тем, что я – северянин!

Владимир БОНДАРЕНКО

г. Москва



Игорь Северянин весь пронизан Севером. От своего псевдонима, откровенно говорящего о северном происхождении поэта, до воспетых им северных рек. Впрочем, он и всю жизнь свою прожил на Севере, родился в Петербурге, лет до девяти жил с родителями в Гатчине, затем с отцом уехал в Череповецкий уезд. Там, в лотаревской усадьбе Сойвола, на берегу северной реки Суда, он и прожил до 1903 года.

Родился Игорь Северянин в Петербурге в доме номер 66 по улице Гороховой 4 (16) мая 1887 года в семье капитана I-го железнодорожного батальона (впоследствии полка) Василия Петровича Лотарёва (1860 – 10.06.1904, Ялта). Мать, Наталья Степановна Лотарёва (1857-13.11.1921, Эстония, Тойла), урождённая Шеншина (дочь предводителя дворянства Шигровского уезда Курской губернии Степана Сергеевича Шеншина), по первому браку Домонтович (вдова генерал-лейтенанта Г.И.Домонтовича). Среди его предков и поэт Афанасий Фет (Шеншин), и, предположительно, историк Н.М.Карамзин. Впрочем, и Шеншины, и Домонтовичи дали немало славных представителей России.

После кончины первого своего мужа Наталья Степановна вскоре познакомилась с молодым офицером Василием Лотаревым и вышла за него замуж. У Игоря Лотарева была и старшая сестренка от первого брака.

Как позже писал в стихах Игорь Северянин:

*По-своему прекрасно. Зою,
Что старше на двенадцать лет,
Всегда я вспоминаю нежно.
Как жизнь ее прошла элежно!
Ее на свете больше нет,
О чем я искренне жалею:
Она ведь лучшею моею
Всегда подрукою была.*

...

*Мать с ней жила в Майоренгофе, –
Ах, всякий знает рижский штранд! –
Когда с ней встретился за кофе
У Горна юный адъютант.
Он оказался Лотаревым,
Впоследствии моим отцом;
Он мать увлек весенним зовом,
И все закончилось венцом.*

О первых годах жизни поэта известно мало. Тем более жизнь родителей не сложилась, и в 1897 году отец, оставив сестренку с мамой, взял с собой сына, и они уехали в Череповецкий уезд. Там и подрастал будущий поэт, на северной природе, в имении своей тетки Елизаветы Петровны Лотаревой «Сойвола» на реке Суда, километрах в тридцати от Череповца. Недалеко от Сойволы позже было выстроено и имение дяди Игоря «Владимировка», где сейчас находится литературный музей Игоря Северянина. Учился, и надо сказать – плохо учился, четыре года в Череповецком реальном училище, которое так и не закончил. Директором училища был в то время милейший князь Б.А.Тенишев, которого Игорь Северянин всегда вспоминал с удовольствием, в отличие от самой учебы, которую не любил.

*Для всех секрет полишинеля,
Как мало школа нам дает.
Напрасно, нос свой офланеля,
Ходил в нее я пятый год:
Не забеременела школа
Моим талантом и умом,
Но много боли и укола
Принес мне этот «мертвый дом»,
Где умный выглядел ослом.
Убого было в нем и голо, –
Давно пора его на слом!..*

Невзлюбил учебу, но страстно полюбил богатую природу Севера и пристрастился к рыбной ловле. Именно в имении Сойвола подрастающий Игорь привык к дальним пешим походам, к рыбалке. Рос на воле и на воде диким подростком. Отец всегда был занят и в отъездах, тетка все ему позволяла, тут не до учебы, столь ненавистной ему:

*Ту зиму прожил я в деревне,
В негодовании зубря
Все то, что все мы зубрим зря.
Я алгебрил и геометрил.
Ха! Это я-то, соловей!
О счастье! Я давно разветрил
«Науки» в памяти своей...*

Вот и занялся сложением стансов, забросив учебник за забор. Думаю, эта явная недообра-

зованность во всем мешала ему всю жизнь. Проучился всего четыре года, да еще и оставался на второй год. Так и недоучившись в реальном училище, уехал с отцом в 1903 году на Дальний Восток, в Дальний и Порт-Артур, но и там долго не протянул, поссорился с отцом и в одиночку в самом конце 1903 года отправился из Порт-Артура к матери в Гатчину. Но именно на Дальнем Востоке решил взять себе псевдоним, выбрал Игорь-Северянин, как единое целое, как Мамин-Сибиряк, Новиков-Прибой. Но об этом в отдельной главе.

Все-таки, псевдоним – Северянин – он взял из любви к Русскому Северу. Да и стихи начал писать тоже на севере. Уже уехав с отцом в Порт-Артур, в октябре 1903 года Игорь писал, вспоминая уже на всю жизнь любимые места:

СОЙВОЛСКАЯ БЫЛЬ

*– Я стоял у реки, – так свой начал рассказ
Старый сторож, – стоял и смотрел на реку.
Надвигалась ночь, навевая тоску,
Все предметы – туманнее стали для глаз.
И, задумавшись, сел я на камне, смотря
На поверхность реки, мысля сам о другом.
И спокойно, и тихо все было кругом,
И темнела уже кровавая заря.
Надвигалась ночь, и туман над рекой
Поднимался клубами, как дым или пар,
Уж жужжал надоедливо глупый комар,
И летучая мышь пролетала порой.
Вдруг я вздрогнул... Пред камнем течение реки
Мчало образ Святого Николы стремглав...
Но, внезапно на тихое место попал,
Образ к берегу, как мановеньем руки
Чьей-то, стало тянуть. Я в волненьи стоял,
Я смотрел, ожидал... Образ к берегу плыл
И, приблизившись к камню, как будто застыл
Предо мной. Образ взяв из воды, я рыдал...
Я рыдал и бесцельно смотрел я в туман
И понять происшедшего ясно не мог,
Но я чувствовал ясно, что близко был Бог, –
Так закончил рассказ старый сторож Степан.*

18 октября

Порт-Дальний на Квантуне

И это написал шестнадцатилетний подросток, воспитанный в православной вере и влюбленный в родной Север. В окрестностях Череповца

(теперь это Вологодчина), в северных лесах и на берегах северных рек впервые явилась ему его Муза («Лесофея»), отсюда и поздний псевдоним поэта – «Северянин». Много лет спустя, уже в эмиграции, он воскрешал в стихах места своего детства, и всегда при этом звучала в них ностальгическая нота: «О Суда! Голубая Суда! Ты внучка Волги! Дочь Шексны! Как я хочу тебя отсюда!» («Роса оранжевого часа»).

Я проехал по всем северным местам жизни поэта, начиная от Череповца и заканчивая литературным музеем Северянина во Владимировке. Ездил и в Сойволу, но после строительства водохранилища старую Сойволу подтопило, и дом, где жил Игорь Северянин, не сохранился. Сам прошелся по берегам холодной северной реки Суды, покатался на лодке. Да и жил в имении Владимировка, в том самом доме, где какое-то время у своего дяди жил и Северянин. Мне для написания книги всегда надо поставить себя на место героя. Когда писал о Лермонтове, жил в Тарханах и Пятигорске, писал о Бродском, жил то в деревне Норенской, то в Венеции, побывал и в Америке. Вот и сейчас езжу по местам Игоря Северянина, то в Гатчину и мызу Ивановка, то в эстонскую Тойлу и Усть-Нарву, то забираюсь в череповецкую глушь, где до сих пор в этой самой Владимировке нет ни водопровода, ни канализации, живут как в каменном веке. Газ продаем по всему миру, а сама Россия на треть не газифицирована...

В 2002 году в Череповце вышла книга В. Минина «Усадьба «Сойвола». Впрочем, и сам краевед живет там же, где мы с ним мило и общались. Как считает Минин: «Теперь известны все четыре памятных места на череповецкой земле, о которой Игорь-Северянин тосковал в Эстонии: усадьба и фабрика тети Елизаветы Петровны Журовой на Андоге, притоке Суды. Город Череповец, где на здании бывшего реального училища установлена мемориальная доска поэту. Дом М.П. Лотарева во Владимировке, где уже 6 лет существует литературный музей поэта. Поселок Сойволовское – родниковое место его поэзии».

Позже поэт вспоминал: «С 1896 г. до весны 1903 г. я провел преимущественно в Новгородской губернии, живя в усадьбе Сойвола, расположенной в 30 верстах от Череповца...» (И. Северянин. «Уснувшие весны»).

*Шексна моя, и Ягорба, и Суда,
Где просияла первая любовь,
Где стать поэтом, в силу самосуда,
Взбурленная мне предредила кровь.*

На Суде он провел свое детство, стал поэтом, спустя сорок лет на Россони и Нарове он закончил свою жизнь. Так и вижу его мальчиком с удочкой в руках и позже уже зрелым мужчиной все с такой же удочкой в руках. Менялись только северные реки.

Все любители поэзии Северянина едут со всей России в единственный литературный музей его имени в имении Владимировка. Старинный двухэтажный дом, построенный дядей поэта в 1899 году. Многие думают, что в этом сохранившемся с дореволюционных времен массивном двухэтажном доме поэт и жил. На самом деле это не так. И по уверениям краеведа Минина, во Владимировке у своего дяди поэт появился чуть ли не после возвращения из Порт-Артура.

Как пишет сам поэт в поэме «Падучая стремнина»:

*К концу Поста приехал из имения –
В столицу дядя Миша по делам. –
Он пригласил меня к себе поехать –
Встречать совместно Пасху. Вся Семья,
за исключением дочери замужней,
Моей кухни Лили, собралась
В усадьбе. Я любил край Новгородский,
Где отрочество все мое прошло. –
И с радостью поехать согласился...*

И было это уже в апреле 1906 года, уже после его дальневосточной поездки. Виталий Николаевич Минин считает, что это был его первый приезд во Владимировку, мол, ранее никогда поэт о ней не вспоминал. Но после моих поездок и в Сойволу, и во Владимировку не могу поверить, что подросток, сам ли или же с отцом или тетушкой, ни разу не побывал у своего дяди, построившего свой могучий дом всего-то километрах в тридцати от Сойволы. Даже на лодке можно было доехать. Тем более, дядя Михаил Петрович племянника любил и потом не раз помогал ему в жизни. Даже когда в годы учебы в Череповецком училище мальчик Игорь ездил из Череповца домой, он мог бы завернуть в гости к дяде, прямо по дороге. Но неужели он ни разу не ездил со своей

тетушкой в гости к своему дяде Михаилу Петровичу Лотареву, имение которого располагалось неподалеку от Сойволы? Не верю.

Да, жил в «присудской Сойволе своей», но, конечно же, обошел и объездил все окрестности и, уверен, бывал и у своего богатого дядюшки во Владимировке.

Первой поселилась на Суде его тетушка, владелица в Череповецком уезде обширными имениями, а заодно и картонной фабрикой. Когда ее брат Василий Петрович Лотарев поссорился со своей женой, он решил с сыном тоже податься в северные края. Тем более к тому времени военный инженер Лотарев уже вышел в отставку и имел кое-какие сбережения. Решил вместе с сестрой построить новую бумажную фабрику на Суде, вложил все свои капиталы в строительство. Оснастил все новейшим импортным оборудованием, но начался кризис, спроса не было, и Василий Петрович за гроши продал фабрику удачливому дельцу, который и развернул производство. Картонная фабрика работала и в советские годы, но в связи со строительством водохранилища была закрыта.

Получается, что мы с отцом поэта коллеги по профессии, я тоже по первой профессии инженер-бумажник и хорошо знаю все северные бумажные комбинаты. Знаю, что окружало Игоря в его детские годы, какие запахи шли от целлюлозного производства. Вот он и уплывал подалеке на лодке или уходил в лес, собирая ягоды. Рос таким диким природным парнишкой, уходил на лодке подалеке на речные просторы или же на лошадке уносился в череповецкие «прерии», начитавшись Фенимора Купера. Книжки он читать очень любил, а вот учебу презирал.

*Череповец, уездный город,
Над Ягорбой расположен,
И в нем, среди косматых бород,
Среди его лохматых жен,
Я прожил три зимы в Реальном,
Всегда считавшемся опальным
За убиение царя
Воспитанником заведенья,
Учась всему и ничему
(Прошу покорно снисхожденья!..)
Люблю на Севере зиму,
Но осень, и весну, и лето
Люблю не меньше. О поре
О каждой много песен спето.*

На годы учебы в Череповце отец вызвал из Петербурга мать поэта, счастью не было предела, но учиться своенравный подросток все равно не желал. После второго класса он был оставлен на второй год. Другое дело учинить какую-нибудь проказу, затащить, к примеру, жеребенка на второй этаж дома...

*Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрязнул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увез. Так в Лету канул
Счастливей час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.*

Свою северную жизнь позже поэт описал в поэме «Роса оранжевого часа». Как вспоминает Минин: «...Ныне на Суде есть поселок Сойволское. Теперь это дачное место... Но Северянин дал еще и поэтические приметы своей духовной колыбели. Рассказывая об усадьбе, он говорит, что «был правый берег весь олесен». В описываемом месте Суды таковым он остается до сих пор. И еще плёсо реки здесь расположено с запада на восток, так что огромный шар утреннего солнца, выкатываясь из-за леса, заливают оранжевым светом и зеркальную водную гладь, и прибрежные луга в каплях росы. Такую картину наблюдал юный рыбак Игорь Лотарев. Вот откуда поэтический образ – «роса оранжевого часа»...»

Нынешние дачники из Сойволского и знать не знают ни про какого Северянина. Хотя до музеев во Владимировке всего час езды.

Название усадьба «Сойвола» получила от речки, по берегам которой размещались приписанные фабрике леса. Дом для новой усадьбы, громадный, двухэтажный, закупили в помещицьем имении на реке Колпи, сплавив его в разобранном виде. Об этом доме ходили мрачные легенды, ходили слухи, что в нем жило семь сестер-помещиц, убивавших своих маленьких новорожденных детей. «Они детей своих внебрачных бросали на дворе в костер, а кости в борах чердачных муравили». Затем дом перекупи-

ла помещицы пара, вскоре кончившая жизнь самоубийством. И вот в таком доме мальчик Игорь жил один на втором этаже, по ночам он дрожал от страха, ему чудились привидения и покойники. Днем он отдыхал на природе. Катался на лыжах, на лодках, на лошадях, ходил в одиночку в дальние походы.

Имение «Владимировка» брат Василия Петровича Михаил Петрович начал строить лишь в 1899 году по такому же типу, как была построена «Сойвола». Есть в книге Минина и подборка цитат Игоря Северянина, посвященных любимой Суде. В стихах он много раз называл точный адрес своей поэтической колыбели.

И какими только словами не ласкал свою судьбоносную реку: «лучезарная Суда», «русло моего пера», «моя незаменимая река», «прозрачно-струйная»... За стремительность течения он сравнивал Суду с быстроногим оленем. Северянин любил ее олесенные берега, но знал он и Суду-трудягу:

*С утра до вечера кошовник –
По Суде гонится в Шексну...*

Или:

*За ними «тихвинки» и баржи –
Спешат стремглав вперегонки...*

Или:

*И вновь, толпой людей рулима, –
Несется по теченью вниз, –
Незримой силою хранима, –
Возить товары на Тавриз –
По Волге через бурный Каспий, –
Сама в Олонецкой родясь...*

Уже забыв о первых питерских годах жизни, юный Игорь рос как коренной северянин, жил природной стихийной жизнью. С одной стороны, детство поэта было более чем благополучно, роскошный двухэтажный дом, лодка, своя лошадка. С другой стороны, он практически рос как сирота, никем не контролируемый, и остро чувствовал свое одиночество. Думаю, если бы не любовь к поэзии, он бы ушел в революционеры. Игорь Северянин пишет в поэме «Роса оранжевого часа»:

*Завод картонный тети Лизы
На Андоге, в глухих лесах,
Таил волшебные сюрпризы
Для горожан, и в голосах
Увиденного мной впервые
Большого леса был призыв
К природе. Сердцем ощутив
Ее, запел я; яровые
Я вскоре стал от озимых
Умело различать; хромых
Собак жалеть, часы на псарне
С борзыми дружно проводя,
По берегам реки бродя,
И все светлей, все лучезарней
Вселенная казалась мне.
Бывал я часто на гумне,
Шалил среди веселой дворни,
И через месяц был не чужд
Ее, таких насущных, нужд.
И понял я, что нет позорней
Судьбы бесправного раба,
И тайне ждал, когда труба
Непогрешимого Протеста
Виновных призовет на суд,
Когда не будет в жизни места
Для тех, кто кровь рабов сосут...*

Подрастал готовый революционер. Конечно, ему не позавидуешь, при живых отце с матерью рос он практически с теткой, занятой своим бизнесом, как в чужом доме. И уже тогда какая-то затаенная ненависть к городу, как чужому. Северный Маугли вдруг со временем стал всеобщим любимцем горожан, но тайне-то он их всегда не любил и презирал.

*Ты, выросший в среде уродской,
В такой типично-городской,
Не хочешь ли в край новгородский
Прийти со всей своей тоской?
Вообрази, воображенья
Лишенный грез моих стези,
Восторженного выраженья
Причины ты вообрази.
Представь себе, представить даже
Ты не умеющий, в борьбе
Житейской, мозгу взяв бандажу
Наркотиков, представь себе
Леса дремучие верст на сто,
Снега с корою синей наста,
Прибрежных скатов крутизну*

*И эту раннюю весну,
Снегурку нашу голубую,
Такую хрупкую, больную,
Всю целомудрие, всю – грусть...
Пусть я собой не буду, пусть
Я окажусь совсем бездарью,
Коль в строфах не осветозарю
И пламенно не воспою
Весну полярную свою!*

Нет, так до сих пор никто и не понял смысл поэзии Игоря Северянина, по-настоящему любящего лишь северную природу и простых северных людей. Да и в творчестве его всем известные поэзы о грезёрках составляют только малую часть. До сих пор иные поклонники поэта, приезжая в Череповецкий район в гости к Северянину, путают имение тетки поэта, его крестной матери, прозванное «Сойвола», с сохранившимся и поныне имением дяди во Владимировке, где и расположен сейчас литературный музей Игоря Северянина. Крестьянка Спирина некогда служила во Владимировке в усадьбе Михаила Петровича Лотарева, она писала еще в 1995 году И. В. Лотаревой: «Когда читаю о И. Северянине и усадьбе М. П. Лотарева, недоумеваю, почему усадьбу называют «Сойвола». Хотелось бы знать, почему усадьбе в д. Владимировка дано название другого населенного пункта, находящегося в нескольких километрах от этого дома, вниз по течению реки Суды. Пока были живы старые люди, узнавала. Никто из них не слышал, чтобы усадьба М. П. Лотарева называлась «Сойвола». А моя мама, работая у вашего деда почтальоном, заявляла, что когда приходили письма на имя Лотарева, то на конверте был указан адрес: «Новгородская губерния, Череповецкий уезд, станция Суда, усадьба Владимировка, его сиятельству инженеру-технологу М. П. Лотареву».

Любителям поэзии Северянина надо не полениться и от имения Владимировка проехать или пройти до поселка Сойволовское, посмотреть на истинно северянинские места.

*Но как же проводил я время
В присудской Сойволе своей?
Ах, вкладывал я ногу в стремя,
Среди оснеженных полей
Катаясь на гнедом Спирютке,
Порой на паре быстрых лыж,
Под девий хохоток и шутки, –*

*Поди, поймай меня! шалишь! –
Носился вихрем вдоль околиц;
А то скользил на лед реки;
Проезжей тройки колоколец
Звучал вдали. На огоньки
Шел утомленный богомолец,
И вечеряли старики.
Ходил на фабрику, в контору,
И друг мой, старый кочегар,
Любил мне говорить про пору,
Когда еще он не был стар.
Среди замусленных рабочих
Имел я множество друзей,
Цигарку покрутить охочих,
Хозяйских подразнить гусей,
Со мною взросло покалякать
О недостатках и нужде,
Бесслезно кой о чем поплакать
И посмеяться кое-где...*

Все-таки хоть почти сиротой он жил, но в барских, помещичьих условиях. Была у него своя лошадка, своя лодка, что же он, при своем буйном независимом характере и ни разу к дяде во Владимировку не заехал? Не верю. Увы, без родительского внимания, но в достаточно привольных условиях провел свою юность Игорь Лотарев. Учебой не занимался, но на девушек обращал самое пристальное внимание. После чисто детских влюбленностей в баронессу Дризен или в тридцатипятилетнюю Аделаиду Константиновну, уже повзрослев, он страстно влюбился в свою кузину Лилию, чуть постарше его. И сколько бы Лилия ни внушала ему, что никаких объятий и слияний тел или душ у них нет и не может быть, оставив надежды лишь на сестринскую любовь, Игорь по-прежнему был увлечен своей кузиной.

*Жемчужина утонков стилия,
В теплице взрощенный цветок,
Тебе, о лильчатая Лилия,
Восторга пламенный поток!
Твои каштановые кудри,
Твои уста, твой гибкий торс –
Напоминает мне о Лувре
Дней короля Louis Quatorze.
Твои прищуренные глаза –
...Я не хочу сказать глаза!.. –
Таят на дне своем экстазы,
Присудская моя лоза.*

Кончилось это тем, что когда его отец, завербовавшись на работу в пароходство в Порт-Артур, повез своего сына через Москву, где в это время и состоялась свадьба Лили, Игорь хотел кончить жизнь самоубийством. Хорошо, что не получилось. А дальше уже длиннее путешествие на поезде с отцом через Урал, Сибирь и Дальний Восток, запомнившееся ему на всю жизнь.

*Я видел сини Енисея,
Тебя, незлобивая Обь,
Кем наша «матушка Рассея», –
Как несравнимая особь, –
Не зря гордится пред Европой;
И как судьба меня ни хлопай,
Я устремлен душою всей
К тебе, о синий Енисей!
Вдоль малахитовой Ангары,
Под выступами скользких скал,
Неслись, тая в душе разгары;
А вот – и озеро Байкал...
Святое море! Надо годы
Там жить, чтоб сметь его воспеть!*

Заканчивается эта поэма, посвященная своему детству на Русском Севере, «Роса оранжевого часа», уже после феерического бала на крейсере «Рюрик» в Порт-Артуре, возвращением из китайских портов в родные места на Гатчине, где его ждала мама. И он мчался подростком,

один, через весь Дальний Восток и Сибирь, сбежав от отца к далекой родине своей:

*Чтоб целовать твои босые
Стопы у древнего гумна,
Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!*

Семнадцатилетний подросток, вернувшись к концу 1904 года в Гатчину, взматеревший, обретший жизненный опыт и некую толику цинизма и иронии, уже прекрасно понимает свое Дао, свою творческую суть – быть русским поэтом и более никем.

Но гений русского поэта выкован был в северных реках, и нигде больше.

**При оформлении использована
фотография работы
томского скульптора
Леонтия Усова.**



Владимир Григорьевич БОНДАРЕНКО

родился в 1946 году в Петрозаводске.

Начинал печататься в журнале «Север».

Работал в «Литературной России», в журналах «Слово»,

«Октябрь» и «Современная драматургия».

Автор 27 книг о литературе, искусстве, политике.

Один из ведущих критиков России,

публицист, редактор.

Живет в Москве.



Владимир Иванович ШЕМШУЧЕНКО

родился в Караганде.

*Главный редактор журнала «Всерусский собор»,
газеты «Небесный всадник»,*

собственный корреспондент «Литературной газеты».

Лауреат множества литературных премий и конкурсов.

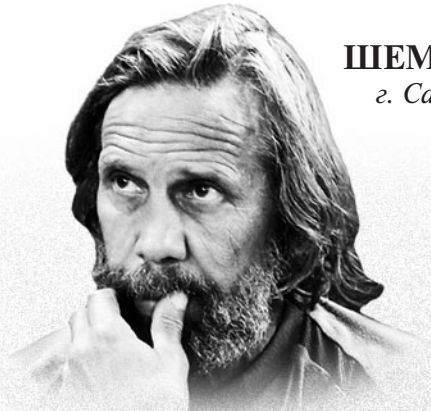
*По итогам Третьего открытого Всероссийского
конкурса поэзии в доме-музее Игоря Северянина
избран «Королём Поэтов».*

Участник шести антологий поэзии.

Автор десяти книг стихов.

Член Союза писателей России,

член Союза писателей Казахстана.



**Владимир
ШЕМШУЧЕНКО**

г. Санкт-Петербург

«Поэмка пишет акварели...»

* * *

Пером и кистью по зиме
Поэмка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в полутьме.

С зеленоглазою луной
Играет старый кот в гляделки.
Вживаюсь в роль ночной сиделки,
Поскольку сам себе — больной.

Пузатый чайник на плите
Пыхтит, вздыхает и бормочет,
Как будто мне напомнить хочет
О законной красоте.

Звездам нет счёта, бездне — дна,
От белой зависти немею
И всё же выдохнуть посмею:
Россия — это тишина.

* * *

Осыпаются мысли.
Опадают слова.
Перелески раскисли.
Оплыла синева.

Осязаема Нежность.
Невесом ветерок.
Очевидна небрежность
Непричёсанных строк.

Без особого шика
Разноцветный наряд
Листопад-горемыка
Износил до заплат.

Ходит поздняя осень —
Гроздь рябины в косе...
И не рыжая вовсе,
А нагая совсем.

ПОЛНОЛУНИЕ

Свет лампы портьерами выпит.
Сгущается синяя жуть.
Сегодня — не мой выход.
И всё-таки я выхожу:
По клавишам стертых ступеней,
По тучам, по звёздам — туда,
Где слышится тихое пенье...
Сейчас или никогда!
К чертям все слова проходные —
В поэзии грош им цена.
Плевать, что мужчины земные
Тебя называют — Луна.
Простим их — убогих и сирых,
Расхитивших земли отцов...
Лишь женщины града и мира
Твоё повторяют лицо.
Ты кровь поднимаешь по венам,
Склонившись над ними во сне.
Они из телесного плена
Восходят к тебе в тишине.
Уходят всё выше и выше,
И нет в них ни капли вины.
Я знаю — они тебя слышат!
И вот уж — совсем не видны...

ДИГОРИЯ

Изгиб, излом, и нет дороги...
Нелепо, как в дурном кино!
И вспоминается о Боге —
Ему всегда не всё равно.

Ревёт мотор на грани срыва.
Чуть-чуть назад... Вперёд... Выраз...
Налево — лезвие обрыва.
Направо — зубы скалит кряж.

Потеет на спине рубашка,
Как в зной из погреба вино...
Водитель — на бровях фуражка —
Хохочет... Чёрт, ему смешно!

И на заоблачном пределе
Последних лошадиных сил,
Скрипя мостами, еле-еле
Вползает в небо старый ЗИЛ.

А вдалеке печальный демон
Несёт домой пустой мешок...
Я — наверху! Я занят делом!
И мне сегодня хорошо!

И я живу... Ломаю спички...
Курю, как будто в первый раз,
И вредной радуюсь привычке,
И пелена спадает с глаз.

Здесь солнце на сосновых лапах
Качается, как в гамаке.
Здесь можжевельниковый запах
Живёт в болтливом ручейке.

Здесь, как гигантские тюлени,
Слезятся утром ледники.
Здесь тучи тычутся в колени
И тают от тепла руки,

И, выгибая рысьи спины,
Да так, что пробирает дрожь,
Рыча, царапают вершины...
И дождь вокруг! И сам я — дождь!

* * *

Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман не спеша.
Ещё две недели — и скрипнет уключина,
И лодка пригладит вихры камыша.

Ещё две недели — и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,

И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.

И ветер с Невы — аж до самого Таллина! —
Молву донесёт... А пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

* * *

Ночь ещё пахнет снегом...
Выпьем же за весну
С Муркиным наглым побегом
Из форточки — на сосну!
Ну, и ещё за морзянку
Улиц, танцующих крыш...
Это душа наизнанку —
Разве за ней уследишь!
Это сердцебиенье,
Артериальная кровь!

Это неповторенье!
Это не в глаз, а в бровь,
Выгнутую рассветом —
Ну вон у той, с зонтом...
Кабы я был поэтом —
Я бы за ней хвостом!
Март — не сезонный рынок
И словесный грим!
Где мой второй ботинок?!
После договорим....

* * *

Синее, синее, синее —
Из невозможных глубин...
Береговая линия,
И Александр Грин.
Что-то ещё... По осени
Солнце не жжёт, как оса.
У разбитной Феодосии
Рыжий каштан в волосах.

Вечер. Погодка купальная —
Пристань, кефаль, невода...
Не акварелька астральная —
А с огоньками вода.
Что-то ещё... Ранимое...
(Слышишь, как сердце стучит...)
Грустное... Неповторимое...
И наизусть заучить!

* * *

Украинская ночь домашним пахнет хлебом.
Здесь время не идёт, а тянется, как мёд.
На капли молока, пролитые на небо,
Во все глаза глядит ленивый рыжий кот.

Его пра-пра-пра-пра... якшался с фараоном.
Он по-кошачьи мудр. Он доктор всех наук.
По одному ему лишь ведомым законам
Он выскользнуть сумел из цепких детских рук.

Он знает, почему туман сползает с кручи,
И то, о чём поют метёлки тростника.
А я у костерка под ивой неплакучей
Никак не разберусь — зачем течёт река?

Динь-динь, динь-динь, динь-динь —
проснулся сторожок!
(Похоже, крупный лещ
польстился на наживку...)

Удилище — в дугу! Он сам себя подсёк!
Я вывожу его... как кралю, на тропинку.

И вот он — золотой! Должно быть, в два кило...
Танцует на песке последний в жизни танец.
Украинская ночь вздыхает тяжело,
И на её щеках — предутренний румянец.

Лизнула сапоги днепровская волна,
И лещ пошёл, пошёл, качаясь с бока на бок...
Иди — мне жизнь твоя сегодня не нужна.
И сладок этот миг, и ветер тёплый — сладок!

МАРИНЕ

1

Расскажи мне о море, расскажи
о балтийских штормах,
О янтарной сосне, догорающей в топке заката,
О кочующих дюнах на острове Сааремаа,
О любви, что, как чайка, свободна, легка и крылата.

Разбуди, зацелуй, уведи за собой по волнам
В неразгаданный мир, где туманы ложатся под ноги,
Где о чёрные скалы когда-то разбилась луна,
Где, согласно легендам, живут белокурые боги.

Расскажи, расскажи о грустинках в углах твоих губ...
(Я их видел однажды, когда ты играла с волною.)
Надвигается шторм... Ветер северный весел и груб —
Обнимает тебя и хохочет всю надо мною!

2

Перебранка полешек, бормотанье огня,
И волос твоих рыжих волнующий запах...
Я тебя назову — свет осеннего дня
Или лучше — предзимье на заячьих лапах.

А ещё — из камина возьму уголёк
И на белом листке (Только бы не проснуться!)
В простоте напишу всего несколько строк,
До которых потом не смогу дотянуться.

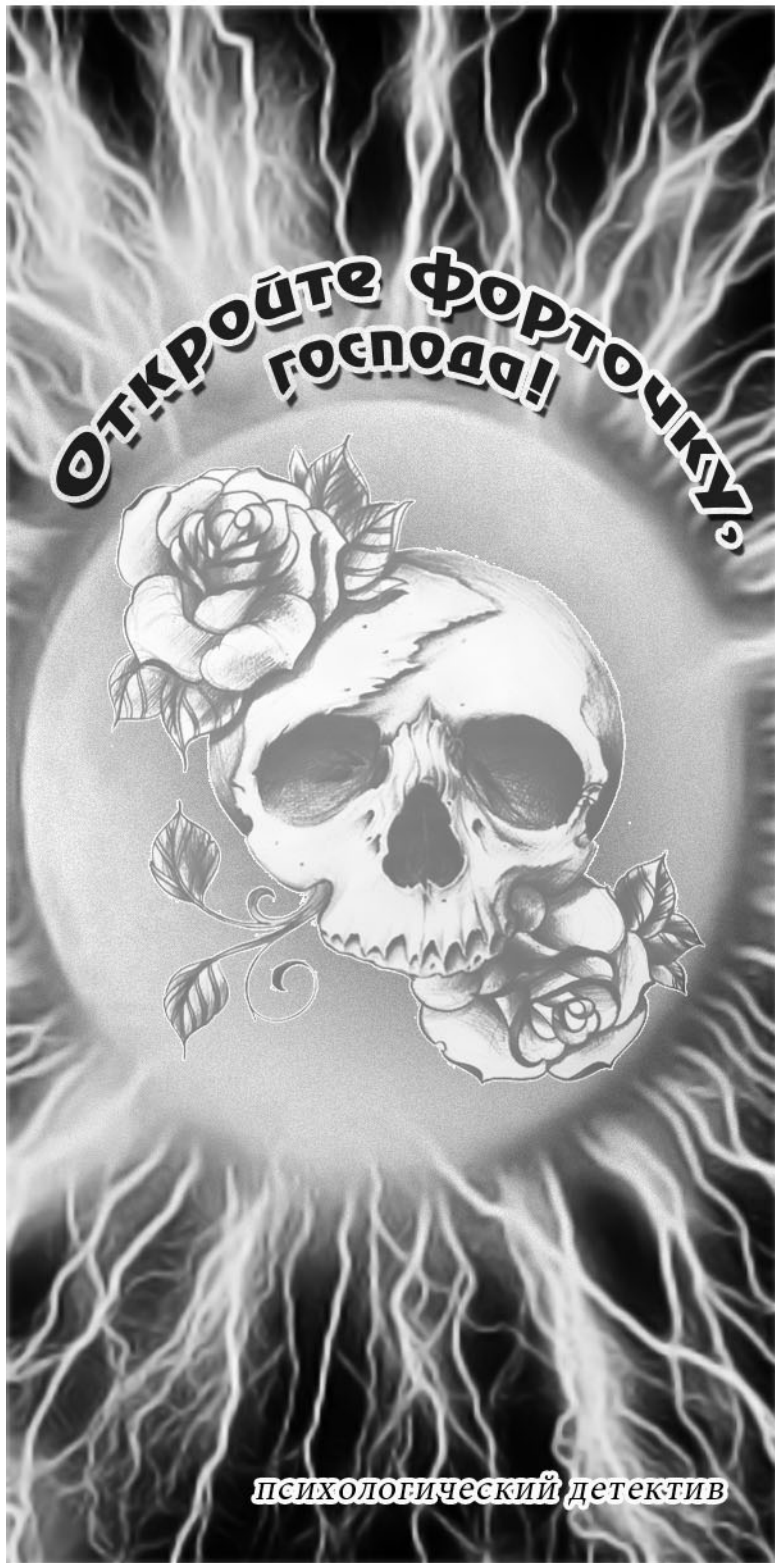
Полутон, полужест — между явью и сном —
(Только ты помолчи, а иначе — разбудишь!)
Это снег! Это — первый, большой за окном!
Я его полюблю, так, как ты его любишь!

3

Ночь из двора-колодца
Вычерпала людей...
Снега хочется! Солнца!
Где моё солнце?! Где?!

Мне не уgomониться —
Пасынку Караганды.
Лижет луна-волчица
В полночь мои следы.

Свет твоего окошка...
Сорок ступенек — вмиг!
Снега хочется! Солнца!
Рук твоих! Чёрт возьми!



Людмила БАСОВА

г. Владимир

Саша проснулся от боли в правой руке. Открыл глаза, увидел над собой белый потолок в мелких трещинках и закрыл снова. Вспомнил, что находится в психушке, куда его привезли после неудавшейся попытки покончить с собой. Боль опять напомнила о себе. Видимо, во сне неловко повернулся. Левая рука почти не болела, да и порез на запястье был просто заклеен пластырем, тогда как правая перебинтована. Оно и понятно: левой рукой вскрывать вены было неудобно, тем более из нее уже хлестала кровь. Кроме того, Саша тогда запаниковал, испугался, что вообще ничего не получится, и всадил лезвие что есть силы. Видно, распахал глубоко. Смутно помнит, что рану зашивали...

Прислушался к себе. Радости от того, что остался жив, не было. Но и острое желание уйти из жизни тоже пропало. Скорее чувство неловкости. Неудачная попытка самоубийства выглядит как фарс. Хотя на спасение он не рассчитывал. Помог (или помешал) случай. Отец вернулся совершенно в неурочное время, но вот успел...

С усилием сел, затем поднялся с кровати. Осторожно, придерживаясь за стену, дошел до туалета. Кружилась голова. Наверное, потерял много крови. Вернувшись, постарался лечь поудобнее, оберегая больную руку, и, видимо, задремал. Услышал звук придвигаемого стула и, чуть приоткрыв глаза, сквозь ресницы увидел сидящую рядом женщину в белом халате и колпаке. Вчера был другой врач, мужчина, но тот, скорее всего, терапевт. Слушал сердце, мерил давление, а это, должно быть, психиатр. Значит, полная боевая готовность. Взвешивать каждое слово, чтобы не сказать о главном, не выдать свою тайну, но и не показаться психом, не выйти из этих стен с определенным диагнозом.

— Саша, вы ведь не спите?

Скорее утверждение, чем вопрос. Но он чуть помедлил с ответом, чувствуя на себе изучающий взгляд. Пусть посмотрит. Саша знал, как выглядит со стороны. Когда был мальчиком, о

нем говорили: «Какой хорошенький!» Когда подрос, стали называть красавчиком. Да, именно так: не красавцем, а красавчиком. У него правильные черты лица, бледная матовая кожа, высокий лоб. Волосы темно-русые, волнистые, над правым виском — седая прядь, и о том, как она появилась, ему еще предстоит рассказать. На подбородке — ямочка. Но сам себе Саша не нравился. Лицо кажется слишком нежным для семнадцатилетнего юноши, в нем явно не хватает какой-то завершенности, большей очерченности, твердости. Вот фигурой он более доволен. Хорошо сложен, по-спортивному подтянут, мускулист. Но сейчас всего этого не видно, только покалеченные руки вытянуты вдоль тела поверх одеяла.

Ладно, доктор не видела еще его глаз. Они синие и в контрасте с черными ресницами кажутся очень яркими. Пора просыпаться...

— Здравствуйте, доктор! Я действительно задремал.

— Вы не против пообщаться со мной, побеседовать?

— Наверное, это необходимо? Но я в любом случае с удовольствием общаюсь с вами. А то уже вроде как заскучал. Кстати, почему я в палате один?

— Отец ваш попросил.

— В смысле — оплатил?

— Да, и оплатил, конечно. Вы бы хотели лежать с другими больными?

— Еще не знаю, не понял. Наверное, нет. А вы не боитесь, что я захочу повторить попытку суицида? Один-то, без присмотра.

— Вряд ли у вас это получится. Окна за решеткой, порвать простыню и завязать узел с такими руками тоже невозможно. Кроме того...

— Камера слежения. Так ведь?

— Ну, и это тоже.

— Спасибо за откровенность.

— Надеюсь, вы тоже будете откровенны со мной.

— Я постараюсь.

— Тогда, может быть, расскажете, что толкнуло вас на такой отчаянный шаг?

— Боюсь, что пока не получится, потому что сам еще не осмыслил, не понял.

Саша встретился глазами с доктором. Понял — не поверила. Подумал: «Это мой детектор лжи.

Она из тех, кто скорее всего умеет отличить ложь от правды. Очень уж умный и чуткий взгляд у этой женщины». И Саша еще не знает, хорошо это или плохо. Но он тоже детектор: всегда поймет, поверила ли она ему или нет.

— Ну что же, тогда поговорим на отвлеченные темы.

— Вот это — пожалуйста. Отец вам, наверное, рассказал, что я очень много читал? Как научился читать, а это было в пять лет, так уже и не оттаивался. Причем до определенного возраста читал все без разбора. Кстати, из области психиатрии тоже. Фрейда, Фромма, Юнга... Может, чувствовал, что попаду в психушку? У меня голова как помойка... Ой, простите, неэтичное сравнение. Ну, пусть как компьютер, забитый информацией без всяких программ и систем.

— Саша, я понимаю, что вы можете быть интересным собеседником. Но про психиатрию я, как вы догадываетесь, сама кое-что знаю, так что бог с ним, с Фрейдом. Просто, если мы найдем точки соприкосновения, станем понимать друг друга, я скорее всего смогу помочь вам. Кроме того, признаюсь, вы интересуете меня как личность. Когда-то я работала над кандидатской диссертацией на тему: «Дети-индиго, дети-феномены...» Вы сами себя таковым ощущаете?

Саша помедлил с ответом. Нет, скрывать тут было нечего. Просто повторил про себя вопрос доктора, задумался.

— Доктор, что-то во мне не так. Но не знаю, феномен я или нет. Все началось с молнии. Отец вам рассказывал?

— Да, но мне хотелось, чтобы вы сами рассказали об этом событии. Мне интересно ваше детское восприятие.

— Я родился недоношенным, был очень слабым и почему-то до пяти лет не ходил самостоятельно. Но это, как вы понимаете, из рассказов взрослых. А вот встречу с молнией помню. Я спал в своей кроватке, была ночь, и вдруг почувствовал какое-то тепло. Открыл глаза, и меня ослепило маленькое солнышко, висевшее над кроваткой. Так мне тогда показалось. Сразу зажмурился, а когда опять открыл глаза, солнышко было уже где-то под потолком — медленно двигалось по комнате. Тогда я поднялся, встал на ножки совершенно легко, даже не осознавая этого, и стал тянуться к нему руками. Оно

словно играло со мной. То приближаясь, то опять поднимаясь вверх, а потом вылетело в окошко. После этого я спал целые сутки, родители испугались, вызвали врача, но тот тоже не мог понять, что со мной. А еще всех испугала белая прядь, появившаяся над правым виском. Волосы у меня были даже в том возрасте очень густые, волнистые, и меня не стригли коротко. Когда я, наконец, проснулся, то стал рассказывать и врачу, и отцу с матерью про солнышко, все говорили: «Это тебе приснилось». Хотя седая прядь озадачила, а уж когда я встал на ноги и пошел, вроде не столько обрадовались, сколько испугались. Помню, отец взял меня на руки и вдруг заплакал, а потом, видимо смутившись, отошел к окну, повернулся спиной, отдернул штору, стал смотреть на улицу и вдруг закричал: «Это правда, правда! Лика! Иди сюда!»

Мама подхватила меня на руки и подошла к отцу. Я увидел, что отец дотрагивается пальцем до стекла, а палец проходит сквозь него, и ничего не мог понять. Оказывается, в оконном стекле появилось круглое отверстие размером с теннисный мячик, оплавленное по краям. «Шаровая молния! Это же шаровая молния, которая пришла к нашему мальчику!»

— «Но это же страшно! — Маму просто трясло. — Это же страшно! Она могла убить его. И сжечь наш дом!» Тогда отец так сердито прикрикнул: «Что ты несешь! Она пришла, чтобы помочь нашему сыну!»

— И после этого что-то стало меняться?

— Так говорят... Быстро окреп, встал на ноги, легко выучился читать и производить в уме достаточно сложные математические действия.

— То есть встреча в детстве с ночной гостьей сказалась на вас благотворно. Отчего же после того, как она вторично посетила вас, вы решили покончить с собой?

«Детектор лжи» сняла очки, положила их на колени, придерживая тонкими, красивыми пальцами. Лицо без очков оказалось совсем другим, намного моложе, чем показалось сначала. Хотя лет сорок ей, пожалуй, есть. Взгляд серых глаз располагающий, мягкий. Но за всем этим проглядывается печаль. Не по нему же она печалится! Что-то свое, затаенное... «Стриптиз» с очками — маневр явно отвлекающий. В какое-то мгновение Саша едва не приз-

нался: «Я стал видеть вещие сны. Один из них был страшным... Я увидел, как убивают молодую девушку, узнал убийцу, понял, что все это — правда, но что делать с этой правдой и как с этим жить дальше — не знаю. Ощущение тупика и безысходность, потому что убийца...» Нет-нет, нельзя даже додумывать, даже мысленно называть имя... Пересилил себя, плотно сжал губы, закрыл глаза. Помолчал.

— Я не уверен, — наконец произнес он, — что случившееся со мной связано со вторым посещением молнии...

Доктор не поверила пациенту. Пациент это понял.

Игра в «верю — не верю» продолжалась. Хотя врать Саше почти не приходилось. Кроме вещих снов ему, собственно, скрывать было нечего. Впрочем, «вещих» — это, пожалуй, неправильное определение. Его сны еще ничего не предсказывали, а приоткрывали страницу уже содеянного, пережитого. Причем пережитого не им.

После первой беседы Саша стал ловить себя на том, что с нетерпением ждет прихода доктора. А когда оставался один, мысленно проговаривал диалог за себя и за нее, пытаясь проанализировать сказанное.

* * *

— Саша, чего вы больше всего боялись в детстве? Если, конечно, вообще боялись.

— Очень многого. Темноты, одиночества, а еще, когда пристрастился к чтению, очень боялся читать Гоголя. Ну, знаете, «Вий», «Страшная месть», а подростком — Кинга. Но они меня влекли неодолимо. Ну, а больше всего — оборотней.

У доктора в глазах некоторое недоумение, и Саша торопится объяснить:

— Нет, не тех, кто в погонах, а настоящих. Ведь, пока веришь в них, они настоящие, не так ли? Однажды сидел на лавочке со старушками — мама, видно, оставила и просила присмотреть за мной — и наслушался... Будто жил когда-то в их деревне мужчина, с виду вполне нормальный, даже симпатичный, был хорошим плотником и печи клал, а ночью превращался в зверя. Только разоблачили его нескоро. Стали в селе девушки пропадать, находили их истерзанные тела в глу-

хом лесу. И никаких примет убийцы-человека. Следы рядом с преступлением были похожи на следы крупного волка, шеи девичьи клыками изрезаны, но все девушки были иродом изнасилованы. Вот этого слова я тогда не знал, но понимал, что одно с другим как-то не сходится. Милиция билась над этой разгадкой несколько лет, пока одна из местных колдуний якобы не присоветовала последить за тихим мастеровым. Так разоблачили оборотня, а потом убивали всей деревней, осиноый кол в сердце загоняли. Слово «оборотень» я понял буквально: вывернутый наизнанку. У меня игрушка была — медвежонок плюшевый. И я, чтоб понять, как это делается, распорол его, вытряхнул опилки, вывернул. С внутренней стороны ткань была гладкая, шелковая... И я подумал, что оборотень внутри тоже с шерсткой, а когда превращается в человека, все видят только его гладкую кожу. И вот представьте себе, однажды папа взял меня на руки, обнял, я прижался к его щеке и вдруг вижу, а у него из ушей, изнутри как-то, волоски торчат. Потом-то я узнал, что почти у всех мужчин они есть, но увидел впервые у него и закричал, забился в истерике, никто ничего понять не может, и стал бояться своего папы. Вот такая была глупая история. Папа у меня добрейший человек и уж меньше всех похож на оборотня.

— А потом, Саша, вы встречали людей, которые ходили на оборотня? Ну, могли быть такими уже в другом, моральном плане?

Секундное замешательство, потом торопливо:

— Нет, нет... Ну разве как все — по телевизору. Полковники из МУРа и так далее.

Казалось, что детектор лжи щелкнул. Не поверила. Ну и пусть.

— Саша, я принесла вам рисунки. Ну, не совсем рисунки, а, как говорят дети, каляки-маляки... Посмотрите, что вы на них видите? Какие образы возникают?

— Доктор, вы замучаетесь слушать, чего я только в них не вижу! Да зачем эти каляки? Я, когда гляжу на потолок, столько всего вырисовывается из его трещинок и щербинок... Вот прямо надо мной лик Христа. Не видите? Ну, для этого, наверно, надо лечь со мной рядом. Простите, я имел в виду угол зрения. А там, в углу, — дьявольская рожа. С рогами, да, но не

очень страшная, плутоватая. Инопланетянка в прозрачном шлеме. Такая грустная. Иногда кажется, что она хочет мне что-то сказать. А вот лицо девушки. Очень порочной...

— Почему она вам кажется такой?

— Трудно объяснить. Изгиб губ, а главное — глаза... Они должны быть черными, но на потолке нет черных красок, и оттого они белые, причем это их истинный цвет.

— Поясните свои мысли.

— Ну, например, вы видите черноглазую девушку, живую, но цвет радужки у нее обманной. Как косметика, как тушь на ресницах. Но когда-то она может предстать в своем истинном облике, и это будут белые, страшные глаза.

— Белый цвет вас пугает?

— Вовсе нет. То есть бывает, что пугает, но он ведь очень разный. Хотя не такой загадочный, как серый.

— А чем загадочен серый?

— Тем, что не сам от себя зависит. Знаете, как прекрасны бывают серые глаза? У вас ведь серые, не так ли? Вы почему-то прячете их под тяжелыми очками... Да и обычная ткань серого цвета может быть очень красивой. А мне приснились сегодня серые розы. Это было ужасно... Воплощение... не печали, нет, — печальными могут быть желтые, голубые, да любые цветы. Тоски. Да, тоски...

— Вы придаете снам большое значение?

Не торопиться, надо не торопиться. Его детектор лжи, его полиграф скорее всего сознательно подводит разговор ко снам. Но доктор еще не поняла, что они почти сравнялись в своих возможностях. Саша теперь сам чувствует, когда она лукавит, когда уходит от ответа, как попросту говорит неправду.

— Доктор. Мне хочется погулять по двору, но не под присмотром санитаров, а с вами. Можете устроить мне такой маленький праздник?

Полиграф колеблется. Но все-таки она не машина в чистом виде, а человек, женщина. Надо чуть поднажать.

— Я сегодня стоял у окна, смотрел. Дворик такой хороший, листья на деревьях нарядные, опадают... Люди сидят на скамеечках, по аллеям прохаживаются. Значит, прогулки разрешаются? Я бы пообщался с ними.

– Знаешь, Саша, душевнобольные малопривлекательны в общении люди. Это только Офелия в «Гамлете», потеряв разум, остается прекрасной... А так – «не дай мне бог сойти с ума, уж лучше посох и сума»...

– Да, я знаю. Это Пушкин.

– Но мы с вами погуляем. Денька через два. Сейчас вы слишком слабы.

Анна Павловна никогда не торопилась домой – ее там никто не ждал. Разве что две маленькие радости, которые она не могла себе позволить на работе. Транспортom пользовалась редко, разве уж совсем в непогоду. Но дорога занимала немного времени, жила доктор в двух кварталах от больницы.

Раздевшись в прихожей, сразу прошла в кухню, достала из холодильника бутылку водки, налила полный граненый стакан. Еще раз заглянув в холодильник, нашла кусок колбасы и два помидора, крупно порезала. Хлеба дома не было, по дороге не вспомнила, не купила. Присела на табуретку, выпила медленно, не морщась, весь стакан, вяло зажевала колбасой, помидора почему-то не захотелось. Подождала, когда алкоголь чуть притупил сознание, снял напряженность. Это она называла первой радостью. Достала из ящика буфета пачку сигарет, – радость вторую, прикурила и пошла в зал. К водке Анна Павловна за вечер больше не притронется, сигареты выкурит – всю пачку. Надо только влезть в домашние тапочки, поудобнее устроиться в кресле за журнальным столиком. Садится она всегда в то кресло, которое стоит по правую сторону столика. Напротив, по левую, – такое же кресло, только пустое. Пока пустое... Сейчас алкоголь и сигареты возьмут свое, за окном сгустятся сумерки, и тогда она отчетливо увидит в нем силуэт Славика. Он будет сидеть в той же позе, в которой Анна Павловна увидела его пять лет назад мертвым. Со склоненной вбок головой, беспомощно повисшими руками. Славика было восемнадцать лет, и погиб он от передозировки наркотиков. При матери психиатре...

Сегодня силуэт был особенно отчетливым. Это из-за нового пациента Саша. Очень похож он на Славика. Он был такой же хорошенький, пока не стал законченным наркоманом. А у этого Саша странная фамилия – Неведомый. Впрочем, что

не странно в этом мире?... Разве не странно, что сама она находится явно в пограничном состоянии. Совсем немного, чтоб из доктора превратиться в пациента своей больницы или стать алкоголичкой... Хотя останавливаться Анна Павловна пока еще может. Только однажды вместо одного стакана выпила два. Второй уже здесь, в зале. В тот вечер она не только видела сына сидящим в кресле. Тогда он встал, взял в руки скрипку, и полились звуки «Мелодии Орфея» Глюка. Его любимой мелодии. Ее любимой мелодии... Тогда Анна Павловна сказала себе: это уже не Глюк. Это глюки. Теперь она, опорожнив стакан, быстро ставила бутылку в холодильник и уходила из кухни. Ах, эта скрипка... Не потому ли невзлюбили Славика дворовые мальчишки, что каждый день шел он с этой скрипкой в бархатном пиджачке в музыкальную школу, такой посторонний, вернее, отстраненный от их подростковых игр и забав. Тихий, незлобивый еврейский мальчик. Да-да, и пусть в Израиле национальность определяется только по материнской линии, она-то знала, что Славик весь в отца, кстати, талантливого скрипача. Вот и надо было ей уехать вместе с мужем в Израиль. Не поехала, всё мешали, как ей тогда казалось, веские причины. Но ни одна из них, ни все вместе не компенсировали потерю сына. В Израиль наотрез отказался ехать ее отец, кадровый военный, ярый коммунист, в дни путча отправившийся защищать Белый дом. Он ругал на чем свет стоит и Горбачева, и Ельцина, и демократов, вернее, тех, кто называл себя таковыми. Анна устала от его криков и проклятий, они часто ссорились, и она уже решила уехать к мужу. В конце концов за отцом могли присмотреть племянник с женой в расчете получить в наследство его квартиру, но и тут все пошло наперекосяк. У полковника обнаружили рак легких, причем в последней стадии. Да и в Израиле ее ничего хорошего не ждало. Муж устроиться на работу не мог, играл на скрипке в подземных переходах. А больше скромный преподаватель музыкальной школы, который хоть и подавал большие надежды, делать ничего не умел. Но здесь, как утверждала его мама, сыну мешала пятая графа. А в Израиле проклятая графа не очень-то ему помогла, а ей, русской, точно бы помешала.

Рассчитывать на пособие им с сыном не прихо-

дилось. Все было расплывчато, непонятно. Да Анна особенно и не пыталась что-то понять. Работа, затем онкодиспансер, где ей выписывали рецепты на наркотики, затем в аптеку, где бесплатно выдавали эти наркотики. Харкающий кровью отец, проклинающий всех и вся, и казалось, вовсе не был озабочен своим здоровьем, но однажды, после удушающего кашля, вытерев кровавую пену у рта, напрямую спросил:

— Анна, это рак легких?

Она растерялась, не сумев солгать — да и надо ли было? Кивнула: «Да, так...»

Полковник встал, распрямив иссохшее тело, и, кому-то погрозив кулаком, насмешливо и зло произнес:

— Ничего! Так даже лучше. Меня вы почтовым шпагатом не удавите, и в окно по вашему приказу я не выпрыгну.

По телевидению то и дело сообщалось о странных самоубийствах членов ГКЧП, в том числе и маршала Ахромеева. И что-то молодое, дерзкое появилось в голубых, казалось, уже навсегда поблекших глазах отца. Отбросив в сторону трость, улыбнулся улыбкой победителя и неторопливо, но все же четким, строевым шагом направился в спальню. И дочь ни о чем не догадалась, более того, мелькнула мысль: «Он даже рад, что жить ему осталось недолго».

Славик в этот день пришел с поломанной скрипкой. На вопрос: «Что случилось?», пряча глаза, пробормотал: «Упал...»

Но футляр на скрипке был явно разорван. В последнее время сын нередко приходил то с фингалом под глазом, то с разбитым носом. И Анна все собиралась сходить в школу, найти родителей мальчишек, невзлюбивших ее сына, но так и не собралась. Теперь решила, но сын бросился к ней: «Мамочка, умоляю, только не это... Не ходи, мамочка. Все будет только хуже...»

И она не то чтобы уступила, но решила сделать это потихоньку, так, чтобы сын не знал. Завтра или послезавтра... Приготовила ужин, затем привычно наполнила шприц лекарством и направилась в комнату к отцу. Сделать укол, накормить, заодно убавить звук телевизора. Отец включил его на полную громкость, видимо, стал глохнуть, но какое это имеет значение при его диагнозе и состоянии. Полковник лежал на заливной кровью подушке. Правая рука согнута в

локте, пистолет, выпавший из разжатой мертвой ладони, скатился на одеяло. Но пальцы почти касались виска. «Честь имею...» Нет, отдаю в последний раз. Только кому? Господи?!

Позже, прокручивая в голове разговор с отцом, ужаснулась — ведь все было сказано открытым текстом. «Меня вы почтовым шпагатом не удавите...» Как же она, дочь, в конце концов, врач-психиатр, с красным дипломом окончившая институт, имевшая за плечами десятилетний стаж работы, ничего не поняла? Или... Да, не надо лукавить. Не хотела понять, и подсознание отгородилось от смысла услышанного, чтобы не запаниковала заранее, а может быть, даже и не помешала.

А что касается ее специальности... Анна действительно была хорошим психиатром, недаром профессор Сабинский, чьи лекции она слушала в институте, возглавив частную больницу, одной из первых пригласил ее на работу. Но есть вещи необъяснимые. Так, Антон Павлович Чехов отказывался ставить себе диагноз — туберкулез, до последнего объясняя горловое кровотечение лопнувшим сосудом. Так, известный онколог, вопреки клинике и анализам, отрицал у себя наличие раковой опухоли. Да мало ли знает наука о такой изворотливости человеческой психики! Взять хотя бы синдром отказа от реальной беременности. Страдающие им женщины не понимают, что беременны, до самых родов, а затем, как правило, оставляют ребенка в больнице или, родив дома, избавляются от него более жестоким образом.

Анна давно уже перестала смотреть телевизор, но иногда все-таки включала информационные программы, чтоб уж совсем не одичать и знать хоть немного о том, что творится в мире. Случалось, что, забыв вовремя нажать кнопку пульта, все-таки прихватывала что-то из тех телешоу, которые можно было бы объединить под одной рубрикой — «чужую беду руками разведу». Как ужиться со свекровью, что делать, чтобы муж не ходил налево, как воспитывать детей?.. И Анна невольно думала о том, что сама бы она куда более умно и тонко могла бы говорить об этом. А еще хотелось спросить у сражавшихся в словесных баталиях: а у вас-то в быту, в любви, в отношениях с детьми и родителями все в порядке? Или, может быть,

как у нее, которая упустила вся и всех... А уж если бы самой пришлось обнажить свою мораль публично, сколько бы аргументов она нашла для оправдания себя, любимой! Ничуть не меньше, чем находит обвинений, оставаясь один на один, в адрес себя, нелюбимой...

Начала бы, пожалуй, с детства, с родителей. Мать была ей неинтересна. Образцовая офицерская жена, замечательная хозяйка. На чистоте была просто помешана, и ее, девочку, приучила к этому. Отец казался грубым солдафоном. По большому счету, Аня не любила своих родителей. Или любила как-то не так... Нет, это, пожалуй, следствие. Причина в том, что они, родители, любили ее как-то не так... Мать боготворила отца, прощала ему и грубость, и измены. Для дочери в ее сердце просто не оставалось места. Почему? Да начни копать — и опять все можно объяснить: деревенская девочка вышла замуж за лейтенанта, а он дослужился до полковника, был востребован в Москву. Прожила как мышка и так же тихо ушла из жизни. Прикорнула на диванчике и не проснулась. Было ей всего сорок пять лет. Как показало вскрытие — обширный инфаркт. Того особого, отчаянного горя, которое обычно испытывают потерявшие близкого человека, Аня не испытала. Но прошел месяц-другой, вдруг стала замечать, что, занимаясь уборкой, подолгу держала в руках и разглядывала затейливые узоры белых кружевных салфеток и скатерочек, связанных крючком. А однажды, решив выкинуть старый халат матери, вдруг почувствовала родной запах и долго плакала.

Насчет отца Аня, пожалуй, ошибалась. Мать он, как она теперь поняла, любил. Очень уж сдал после ее смерти, потускнел и, похоже, потерял всякий интерес к женщинам. А ведь ему было всего пятьдесят, он красив, еще статен. Зато, словно впервые, обратил внимание на дочь — она уже училась на втором курсе мединститута. Стал активно интересоваться ее жизнью. Видимо, любовь к матери, жившая так глубоко в его сердце, теперь искала выхода. Но была эта любовь депотична и требовательна, а главное, почти не приносила отдачи: дочь только тяготилась ею.

Со своего отца Аня неожиданно переключилась мыслью на отца юного пациента Саши. Симпатичный мужчина, этакий крепкий руса-

чок. Вчера сунул ей в карман конвертик. Аня возражать не стала — сейчас все берут. Дома пересчитала деньги: нехило... Она, впрочем, не очень в них нуждалась, тратить было некуда. На водку хватало, на работе платили достаточно. Но отказываться было глупо, пусть лежат, мало ли что. Тем более что человек он явно не бедный. Своя ферма, молочный заводик во Владимирской области. И все-то у Саши было, и собак держать разрешали, не то что она своему сыну, и любовь родительская... Однако юноша почему-то решил покончить с собой, и она, его доктор, еще не поняла почему. Может быть, что-то прояснится после встречи с матерью, ее Анна еще не видела. Отец Саши объяснил, что жена тяжело перенесла случившееся и сама находится в стрессовом состоянии.

* * *

Если кто-то смог бы одновременно заглянуть в квартиру доктора, находившуюся в Подмосковье, и в дом Сашиных родителей во Владимирской области, он бы подивился схожести увиденного. В зале, при сумрачном свете, за журнальным столиком, в кресле, сидел Сашин отец, Сергей Иванович. Перед ним также стоял граненый стакан с водкой, на тарелке лежала закуска, а по другую сторону стола, напротив, находилось пустое кресло. Еще недавно, сидя друг против друга, они подолгу вели с сыном неторопливые беседы. Говорил, правда, в основном Саша, отец больше слушал. У Сергея Ивановича за спиной был определенный жизненный опыт, он умел работать и, казалось, понимать людей, но сын знал гораздо больше, рассказывал удивительные и не всегда понятные вещи. Отец только диву давался, откуда у него, человека в общем-то заурядного, мог родиться такой замечательный, такой необычный ребенок. Его ум впитывал в себя как губка все прочитанное, услышанное — из книг, телепередач, Интернета. Сергей Иванович не столько гордился сыном, сколько боялся за него. Боялся перегруженности знаниями еще не окрепшей психики, и, видимо, не зря... Но по совету друзей и по просьбе самого Саши нанимал педагогов сначала англ-

лийского, потом французского языков — сын осваивал их в рекордно короткие сроки и начинал говорить так же легко, как на родном, русском. Сергей Иванович часто задавал себе вопрос: связаны ли ошеломительные способности сына с шаровой молнией или так странно переплелись гены-хромосомчики и чего там еще у них с женой, о которой он так толком и не узнал ничего за все прожитые годы.

В отличие от Анны Павловны, Сергей Иванович был дома не один. В комнату тихо вошла маленькая женщина, закутанная в темную шаль, и между ними произошел странный диалог:

— Выйди отсюда и не вздумай включить свет.

— Послушай, но это и мой сын.

— Ой ли? — Сергей Иванович наконец обернулся, бросил на жену тяжелый взгляд.

— Я его родила.

— Да, это так. Но все равно уйди.

Женщина покорно пошла к двери. Она была совсем маленькая, и шаль тяжелым хвостом волочилась за ней по полу.

— Ведьма, ведьма и есть, — проговорил ей вслед Сергей Иванович.

Она остановилась.

— Ты меня звал?

— Просто назвал тебя... по имени. Иди. Нет, погоди! Сними с себя эту шаль и больше не трогай. Поняла?

Женщина молча стянула с плеч шаль и бросила на пол.

Шаль принадлежала первой жене Сергея Ивановича, Катюше, погибшей почти двадцать лет назад при невыясненных обстоятельствах. Ни могилы, ни креста, ничего нет... А одежда так и висит в шифоньере, и нынешняя жена Лика никогда не надевала ее вещей. И не только потому, что были они ей не по размеру, а словно боялась. Вот только шаль откуда-то вытащила и стала в последнее время в нее кутаться.

* * *

В понедельник ровно в 8.30 утра Анна Павловна стояла у проходной своей больницы, ожидая, пока старик вахтер, выглянувший на звонок в окошечко, откроет ей дверь. Еще издали она заметила сидевшего на ступеньках,

как ей показалось, подростка, который, увидев ее, привстал:

— Скажите, вы Анна Павловна?

— А ты что, меня ждешь?

— Да, я мама Саши Неведомого, мне хотелось поговорить с вами.

Анна Павловна чуть не чертыхнулась. Надо же так облажаться! Хорошо еще — не спросила: «Что ты, мальчик, тут делаешь?» Хотя ошибиться было нетрудно. Маленькая, худенькая, в джинсах и курточке. Волосы черные, блестящие, коротко стриженные. А лицо... Кто она? Вьетнамка, кореянка? Ей всегда с трудом удавалось по виду определить возраст представителей этой расы, а уж с первого взгляда тем более. Но что удивило ее еще больше — так это то, что женщина оказалась женой рослого, статного, такого русского, что хоть плакаты с него пиши, Сергея Ивановича и мамой красавчика Саши. По крайней мере, так она представилась.

Подумав, доктор решила извиниться:

— Простите, вы, наверное, слишком молодо выглядите для мамы Саши...

— Ничего, я привыкла...

В кабинете Анна Павловна, предложив родственнице пациента кресло, сама села за свой письменный стол, но перед этим подошла к окну, открыла форточку, раздвинула шторы так, чтобы свет падал на лицо женщины, а ее оставалось затененным. Маленькая профессиональная уловка: так легче наблюдать за собеседником.

Теперь, уже приглядевшись, Анна Павловна не сомневалась, что мама у Саши действительно азиатской национальности, но какой именно — определить так и не могла. Как правило, в детях, рожденных от смешанных браков, доминировал тип темной расы. Во внешности Саши, как ни странно, ничего не было от матери. У нее низкий лоб, очень смуглая кожа с желтым отливом, приплюснутый нос. Верхняя губа приподнята, оттого виден ряд маленьких, острых зубов. Нижняя губа, как и подбородок, выдвинута вперед. Саше-то она, может, и неродная, а вас, Сергей Иванович, только поздравить с такой «красавицей женой»...

— Ну, давайте знакомиться. Я давно ждала вас. Ведь именно информация близких людей и помогает психиатру разобраться в случившемся. Как вас зовут? Лика? Кстати, я хочу задать вам

сразу вопрос: вы родная мама Саши? Это не праздный интерес. Спрашиваю потому, что Саша не похож на метиса. И если он не родной, мне бы хотелось что-нибудь узнать о его настоящей матери. Знаете, наследственность, гены...

— Я родная. А что не похож, так откуда я знаю, почему так, — и опять повторила: — Но я привыкла.

«Косноязычна и, кажется, глупа, — отметила про себя доктор. — Хотя нет, глупа — не то определение. Интеллект, пожалуй, на нуле, а умом, вполне возможно, не обделена. Хотя это пока ничем не подтверждено».

— Ну, спрашивайте, Лика, что вы хотели узнать от меня? А потом уж я, с вашего позволения, буду задавать вам вопросы.

— Саша сильно болен?

— Если вы имеете в виду его психическое здоровье, то он вообще не болен. Раны на руках тоже заживают. А вот что толкнуло вашего сына на такой отчаянный поступок и что сделать, чтобы он никогда больше не повторил его — тут уж я рассчитываю на вашу помощь.

— На мою помощь? — Лика подалась вперед, даже привстала со стула. На лице недовольство и удивление. — Разве я могу вам помочь? Я же не врач. И почему вы говорите, что он не болен? Я и то понимаю, что болен.

— Вот и помогите мне. Расскажите, что случилось, перед тем как Саша вскрыл вены? Ваш муж сказал, что у него не было девушки, а подростки в подавляющем большинстве решаются на суицид именно из-за несчастной любви.

— На что решаются?

«Она не знает слова «суицид»», — поняла Анна Павловна. Пояснила:

— Хотят умереть, идут на самоубийство. Может быть, он поссорился с кем-то, кто ему дорог: с вами, с отцом? Может, чего-то боялся? И почему вы считаете его больным? Ведь вы сами только что напомнили мне, что вы не врач, хотя я, правда, и так об этом догадывалась.

«Ну, занесло меня, — одернула себя Анна Павловна, недовольная тем, что заговорила в другой тональности. — Еще только не хватало острить или подшучивать над этой убогой. Только убогой ли?» Располагающе улыбнулась, мягко произнесла:

— Лика, вы ведь зачем-то пришли ко мне? По-

говорить, не так ли? Вот и давайте разговаривать.

— Доктор, я знаю, отчего он заболел... Как бы ненормальный стал. А вы сказали — здоров, и я тогда растерялась. Все это из-за молнии. Так получилось, что к нам в дом шаровая молния залетала, два раза.

— В какие годы и через какой отрезок времени в ваш дом залетала молния?

— Первый раз — когда ему было шесть лет, а второй — когда уже шестнадцать исполнилось. Но во второй раз мы не знаем, залетала ли она к Саше. В село залетала, сарай один сожгла. Соседи говорят, висела над нашим домом.

— И как же изменился ваш сын после первого посещения?

— Сначала мы заметили только, что он ходить начал хорошо, у Саши ножки были слабые от рождения. А потом, знаете, становился как-то быстро очень умным.

— И то, и другое весьма позитивно. А почему вы считаете, что его умственное развитие непременно связано с молнией?

— А откуда же он такой? Мы с мужем оба нормальные.

Доктор про себя усмехнулась: слишком далеко стояли друг от друга эти «нормы». А вслух сказала:

— Такие случаи не так редки, как вы думаете. У совершенно обычных людей иногда рождаются дети совершенно уникальные, талантливые и даже те, которых называют гениальными.

Анна Павловна хотела было сослаться на примеры истории, но решила этого не делать, вряд ли ее собеседница слышала о них, а устраивать ликбез совершенно ни к чему. Спросила:

— А в характере, в поведении Саши что-то было необычное?

Лика сморщила невысокий, плоский лоб, пытаясь сосредоточиться, и стала похожа на обезьянку:

— Да, было. Он всех жалел. Собак, кошек, птичек, даже мышей.

— Вы считаете, это плохо?

— А зачем их жалеть? Ну, еще если своя собака, дома живет и заболела, то ладно, а если беспризорная? Но это еще не все. Они хоть живые. А скажите, неживое можно жалеть?

— Я не совсем поняла. В смысле — жалеть мертвую собаку?

— Нет, еще хуже... Я вам расскажу сейчас, вы поймете. Мы однажды в Москве были, все вместе — я, муж и Саша. Повели его в парк, где много всяких каруселей, еще горки американские. Все красивое, крутится, вертится, — дети туда просятся. А Саша увидел в сторонке качели старые, их, наверное, просто выкинуть не успели, потому что до этого к весеннему открытию многое переделали, совсем новое установили. Эти качели — как улитка, с одной стороны у нее вроде морда или как сказать, а с другой — хвостик. Краска вся облезла, одни глаза на этой морде видно. И Саша стал просить: «Я хочу на ней покачаться. Посмотрите, какие у нее грустные глаза, ей же обидно, что никто к ней не подходит...» Муж говорит: «Саша, на нее даже билеты не продают», а он все равно просит: «Ты меня просто покачай на ней», — а у самого слезы. Скажите, это нормально? Саше уже десять лет было, он книги взрослые читал.

— Ну и как, покатали его отец?

— Конечно, он же его всегда балует...

— Лика, а вообще в семье у вас ладно? Бывают скандалы, ссоры, которые могли бы травмировать Сашу, тем более он такой жалостливый?

— Мы с мужем никогда не ссоримся. Правда, почти совсем не разговариваем. Он молчит, и я тоже. Так, только о делах, про ферму или еще что...

«Что ж, это как раз понятно», — подумала Анна Павловна. Спросила:

— А после второго посещения молнии в Саше произошли еще какие-то перемены?

— Да. Он стал видеть какие-то страшные сны.

— Он рассказывал, что именно ему снилось?

— Нет! — слово выскочило как из пистолета.

Анна Павловна увидела, как изменилось лицо Лики, каким тяжелым стал взгляд и постоянно приоткрытый рот из-за вздернутой верхней губы плотно сомкнулся. В том, что она соврала, Анна Павловна даже не сомневалась.

— Что ж, Лика, спасибо вам за беседу. А теперь скажите, чего вы хотите?

— Как это? Чтобы вы вылечили его, чтобы нормальным стал, как все. Лечите сколько надо, мы не бедные, муж для него ничего не пожалеет.

«Итак, в отличие от отца, мать хочет, чтобы сын как можно дольше оставался в больнице...»

— Хорошо, будем лечить сколько надо. Ну, а теперь пройдемте, отведу вас к сыну.

— Нет, я сейчас не пойду.

— Странно... Вы что же, не хотите его видеть?

— Хочу. Но потом. Сейчас не могу.

— Тогда до свидания, я как раз иду к Саше.

Они вместе вышли в коридор, и Анна Павловна еще некоторое время смотрела вслед уходящей Лике. Та уже не казалась подростком, по крайней мере со спины: шла медленно, ссутулившись, как под тяжелой ношей. Анна Павловна укорила себя за то, что выводы о матери Саши она сделала, пожалуй, слишком скоропалительно и вообще отнеслась к ней с предубеждением.

* * *

— Здравствуй, Саша! Как себя чувствуешь? Я вижу, что лучше. Видно, вчерашняя прогулка по двору явно пошла на пользу. Даже щеки покрасовели.

— Да, Анна Павловна, спасибо, что разрешили погулять. Мне было очень интересно.

— Что же интересного ты увидел?

— Больных, которые тоже гуляли. У некоторых такие необычные лица... Будто они знают нечто такое, чего не знают и не ведают другие. Прислушиваются к чему-то потаенному в себе, то хмурятся, то улыбаются, иногда так лукаво...

— Шизофрения в буквальном переводе означает «расщепление сознания». Так что есть у них и свои миры, отличные от мира здоровых людей. Но это, Саша, болезнь.

— Теоретически я это знаю. Потому что, как уже говорил вам, читал все подряд, в том числе и книги по психиатрии. Правда, в том возрасте, когда еще многое не мог понять. Но все-таки, у вас никогда не возникало сомнений, что этот другой мир, ну, параллельный, в другом измерении все-таки есть и кто-то из ваших пациентов в него по чьей-то воле входит?

— Нет, никогда, — ответила доктор, и тут уж Саша ощутил себя в роли полиграфа, догадавшись: это неправда. А сама Анна Павловна знала: были, были сомнения... Когда студенткой проходила практику. В палате, к которой она была прикреплена, лежала тридцатипятилетняя женщина, кандидат физико-математических

наук, которая во всем была разумна и последовательна, кроме одного: время от времени ее «вызывала» на сеанс связи планета Марс. Контактывала пациентка с Марсом недолго, вслух не произносила ни слова, и лишь по мимике лица ее можно было наблюдать за беседой. Вот она улыбнулась, кивнула, видимо поприветствовав своего связника, вот задумалась, чуть нахмурившись, скорее всего осмысливая ответ на заданный вопрос. Анна поинтересовалась, почему она ничего не говорит вслух, женщина ответила, что в этом нет необходимости, достаточно мысли. А иногда оправдывалась перед практиканткой: «Я ведь не виновата, что они выбрали именно меня». Однажды Анна Павловна поделилась своими сомнениями с лечащим врачом. Но едва произнесла: «а вдруг», как врач рассмеялся, сказал, что поначалу такое случается не только с практикантами, но даже и с молодыми врачами. Затем посерьезнел и наставительно прочитал целую лекцию про то, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. А еще предупредил: если сомнения такого рода не пройдут, нужно менять если не профессию, то специальность. «Вот будете хирургом, сделаете операцию — точно будете знать, что камни в почках больного были. Диагноз оказался верным. Ну, или наоборот».

С тех пор она не сомневалась, оставив навсегда это коварное «а вдруг...».

— Доктор, я еще видел одного старика... Он такой красивый, седовласый, как-то выделяется из других. Сидел ото всех поодаль и сам с собой разговаривал. Чем он болен?

— Деменция. Проще сказать — старческое слабоумие. От этого вообще-то не лечатся. Но у него богатый сын, и, когда семья уезжает на отдых, старика привозят сюда — как в пансионат. Здесь уход, внимание, кроме того, он получает психотерапевтическое лечение, в таком возрасте немало болезней.

— Я подсел к нему и прислушался к тому, что он говорит. Он повторял одну и ту же фразу: «Откройте форточку, господа!» Интересно, почему?

— Ну, это трудно объяснить. Возможно, всплывает в памяти картинка из прошлого. Застолье, в комнате накурено, он обращается к друзьям или хозяевам...

— Неужели такое может вспомниться, когда память практически потеряна? Я всегда думал, что непременно что-то важное, яркое. Очень страшное или, напротив, счастливое. А вы знаете, кем он был раньше?

— Да, знаю. Достаточно крупным ученым, кажется, астрофизиком.

— Астрофизиком? — Саша оживился, даже глаза засветились. — Доктор, это не про накурено, это...

Но доктор, на лице которой вдруг появилась некая озадаченность или даже растерянность, глянула на него и перевела разговор в другое русло.

— Саша, вы живете в небольшом районном центре, вряд ли там хорошая, большая библиотека. Где вы приобщились к чтению?

— Приобщился именно в нашей небольшой сельской библиотеке. Заведовала ею пожилая женщина, ее уже нет в живых. Елизавета Николаевна. Она меня очень любила. Дело в том...

Саша как-то сбился с доверительного тона, что-то его смутило, и Анна Павловна подумала: «Как в детской игре — до «горячо» еще далеко, но уже «теплее». Не вспугнуть бы до времени».

— Рассказывайте, Саша, — попросила как можно мягче.

— Дело в том, что ее единственная дочь была первой женой моего папы, но она... она умерла совсем молодой, они даже ребенка не успели родить. И мне кажется, что Елизавета Николаевна видела во мне как бы внука. Ну, который мог бы быть ее родным. По крайней мере, я чувствовал, как она меня любит. Она мне приносила книги и из своей личной библиотеки, среди них были уникальные, раритетные. Я краем уха слышал, что Елизавета Николаевна из «бывших», ее родители были репрессированы, погибли в ГУЛАГе. Она была очень образованным человеком, но я был слишком мал, чтобы хорошо узнать ее. А сейчас ее уже нет в живых. Повзрослев, ездил в областную библиотеку, просиживал часами в читальном зале. Ну, а потом компьютер, Интернет... Сами понимаете.

— Саша, почему тебя так интересуется шаровая молния? Сергей Иванович рассказывал, что ты часами мог говорить о ней.

— Ну, как же... Ведь она зачем-то посетила меня и оставила жить. Вы даже не представляете,

сколько я узнал о шаровой молнии за эти годы! Нет, не то я говорю... Пытался узнать, собрал много информации и в итоге так ничего и не узнал. Да и как я смог бы это сделать, если над загадкой шаровой молнии бились ученые с незапамятных времен, да и сейчас бьются. Парацельс, Ломоносов, Циолковский, Капица, ученый-мистификатор Никола Тесла — каждый из них пытался ответить на вопросы: что это? Или кто? Форточка в другой мир? Гостя из будущего? Или прошлого? Посланница высших сил? Но представители классической науки отрицают возможность таких определений. Просто природное явление, хотя соглашаются: да, пока до конца не познано...

— К чему же склоняешься ты сам?

— К тому, что это разумное существо. Иначе как объяснить преследование жертвы, ее избирательность? Вот несколько историй. В 1918 году, во время военной кампании во Франции, шаровая молния поразила британского офицера Саммерфольда во время боя, когда он был верхом на лошади. Офицер остался жив, но частично парализован, комиссован из армии и вернулся в Онкувер, откуда был родом. Однажды он поехал на охоту с друзьями, где его снова настигла молния, теперь его парализовало полностью, и вскоре он умер, перед смертью сказав: «Она меня рассматривала». Но был еще и третий раз... Молния угодила в надгробье и разворотила захоронение, где покоился несчастный...

— Для разумного существа жестоко, не так ли?

— Да, согласен. Но, может быть, она ему мстила за что-то? Не знаю... В Саратовской области в районе Медведицкой гряды, по утверждению местных жителей, шаровые молнии — частые гости. Оттого и прозвали гряду Чертовым логовом. Так вот, там произошел такой случай. Пастух присел на камень отдохнуть, его напарник продолжал пасти коров и вдруг заметил возле сидящего пастуха огненный шар. Когда подбежал, увидел: на камне сидит черный истукан, совершенно сожженный, а одежда на нем даже не опалена. То есть сожжен изнутри. Так он стоял и смотрел, не в силах прийти в себя, молния вернулась, окружилась над ним и в секунду превратила в золу всю его одежду, но сам он не получил ни одного ожога. Просто для природного явления,

согласитесь, странно... Но едва ли не более странно, что иногда молния оставляла на теле погибших или опаленных ею рисунки. Горный пейзаж, в точности изображающий ту или иную местность, листок дерева, лицо человека. На мне вот, видите, тоже оставила метку, — Саша повернул голову, показывая доктору седую прядку. — А иногда после встречи с молнией люди исчезали бесследно, она уводила их с собой.

Никогда еще Саша так оживленно, с таким интересом не беседовал с Анной Павловной. Никакого напряжения — совершенно расслабился, раскрылся. И она решила: пора...

— Саша, это все было в первый раз. А что изменилось после ее второго посещения? Ты стал ясновидящим? — спросила шутливым тоном и сразу — резче и громче: — Это тогда ты увидел тот страшный сон?

Все изменилось мгновенно. В глазах пациента — страх и смятение. Слезы. Потянулся руками к лицу, чтоб закрыть его ладонями, но, видимо, неловко, застонал, рана на правой руке еще не совсем зажила. По щекам поползли слезинки, потом доктор услышала всхлип. Подумала — так наносят удар по противнику, но Саша не был противником. Ей просто надо было нащупать болевую точку. Что ж, она попала в цель. Хотя степень его выздоровления явно переоценила. Однако успокаивать Сашу не стала. Вышла из палаты, а к нему прислала сестру — сделать успокаивающий укол и посидеть с ним. Что же касается Саши, доктор решила сегодня же позвонить его отцу и встретиться с ним еще раз. Однако звонить не пришлось — к концу рабочего дня он позвонил ей сам и попросил о встрече.

Вернувшись домой, Анна Павловна совершила обычный ритуал — выпила стакан водки и, как всегда нехотя, закусил тем, что подвернулось под руку в холодильнике, — на сей раз консервированной кукурузой из баночки и свежим огурцом. Зато, расположившись в кресле, с наслаждением закурила. В комнате уже сгущались сумерки, осенью темнеет рано, и она опять останется наедине со своим мальчиком... Но пока Анна Павловна никак не могла отключиться от мыслей о своем юном пациенте. Может быть, потому, что он так напоминал ей сына. Кроме

того, впервые за годы работы в ней появилась заинтересованность не только в том, чтобы вылечить больного, но и разобраться, распутать эту семейную драму, и это было довольно странно. Лично ее — не врача, а человека, — уже давно ничего не интересовало.

Сергей Иванович не просто попросил о встрече. Сказал: «Мне кажется, я сам нуждаюсь в вашей помощи. Конечно, неофициально и, понятно, за отдельную плату. Я знаю, вы замечательный врач».

Положив телефонную трубку, Анна Павловна про себя повторила: «Замечательный врач, — и тут же добавила: — у которого застрелился отец и погиб от наркотиков сын...»

Может, действительно народ всегда прав, воплотив свою мудрость в притчае: «Сапожник без сапог...» Се ля ви. Так и никак иначе. Ни разу она в своей семье не проявила себя пусть не как психиатр, а хотя бы как психоаналитик, простой психолог, что было составной частью ее профессии. Не задумывалась над тем, как пережил отец, для которого слова «Служу Советскому Союзу» были не просто парадной фразой, а смыслом всей жизни, развал этого Союза. И так уж легко было матери оставаться серой мышкой при властном, категоричном и вспыльчивом муже? С отцом особенно обострились отношения после замужества, и как-то снивелировать их, уладить она не пыталась тоже.

С Яшей, студентом консерватории, Анна познакомилась на дне рождения своей однокурсницы Розы, он был ее братом. Роман их развивался стремительно, но отнюдь не легкомысленно. Пробежала между ними божья искра сразу же — «едва соприкоснувшись рукавами». И ведь совсем был не тот типаж, в который она, как ей тогда казалось, могла влюбиться. Небольшого роста, ранние залысины надо лбом, а на затылке волосы густые, кудрявые и длинные до плеч. Да и фигура какая-то мешковатая. Что ж, если по Фрейду, дочь подсознательно ищет мужчину, похожего на отца. Аня, по-видимому, искала его антипода. Так отец Яшу и воспринял.

— Нашла себе волосатика. На мужика не похож, гвоздя забить не может, — выговаривал ей отец.

— А ты меня спроси, какой он мужик, — огрызнулась в ответ дочь. — Это же я с ним сплю...

— Ах, вот оно что. Постыдилась бы...

Такие перепалки происходили между ними довольно часто. Однажды дочь даже обвинила отца в антисемитизме.

— Дура! — кричал отец. — Я коммунист, а значит — интернационалист.

Но перестроечная литература уже выплеснула на страницы журналов и газет все то, о чем еще недавно шепотом говорили в кругах интеллигенции, и дочь в ответ парировала:

— А как же дело врачей? А убийство режиссера Михоэлса? А Мейерхольд, а Манделштам, которого сгноили в лагерях? — Фамилий последних отец скорее всего не знал, но ее это не останавливало: — Что, не коммунисты это творили? Не чекисты, не ваш Дзержинский — «чистые руки, горячее сердце...»?

— А почему ты веришь всему, что пишут? Потому что своих мозгов нет?

Яша, если был дома во время этих стычек, уходил в спальню и отсиживался там в обнимку со скрипкой. Играть на ней он позволял себе только в отсутствие отца. А когда-то он окончательно покорила сердце Ани именно этой скрипкой. Она никогда не училась музыке и, казалось, не была подготовлена к ее восприятию. По крайней мере, серьезной, классической. Но, видно, где-то в тайниках души пряталась, дремала эта тяга к прекрасному, и Яша разбудил ее — что-то сдвинулось, растаяло в ее сердце, заставило по-другому жить и чувствовать. Когда муж играл на скрипке, он казался Ане гением, почти богом. И справедливости ради надо сказать, что не только ей одной. Педагоги предсказывали ему блестящее будущее. Яша подтвердил их высокую оценку, дважды став лауреатом престижных конкурсов. Но время внесло свои коррективы. Постсоветская интеллигенция с постыдным рвением кинулась разоблачать деятелей культуры и искусства, то есть друг друга. Кто-то когда-то струсил, не подписал письмо в защиту гонимого, а кто-то, наоборот, подписал то, что подписывать было аморально. Подвергся обструкции и известный композитор, преподаватель Яши, который еще на последнем курсе пригласил его в филармонию. Зато молодые, наглые шоумены отвоевывали свое место под солнцем, создавая свой скорый и

весьма прибыльный бизнес. Яша толкаться локтями не умел. Отец Анны был прав: ни бойцом, ни борцом он не был. Просто замечательно играл на скрипке, хорошо начинал как композитор. А работать ему пришлось в ресторане тапером. Скрипка отдыхала, играл Яша на фортепиано, и это по тем временам было большой удачей. Аня же со своим красным дипломом второй год сидела дома с маленьким сыном Славиком. Вообще-то, планировали назвать его Даней, Даниилом, но попросил отец назвать Станиславом в честь своего отца, то есть прадеда мальчика. Родители уступили, Славик так Славик. Главное, что отец Анны стал как-то мягче после его рождения и сразу полюбил внука, благо, что и времени повозиться с ним было достаточно. Павел Станиславович любил полушутя говорить, что в отставку уйдет в генеральских погонах: он был довольно близок и с маршалом Язовым, и с генералом Макашовым. Ушел в полковничьих и не по своей воле. Пенсию не выдавали месяцами, и так уж теперь выходило, что единственным кормильцем был Яша. Правда, и ему зарплату как таковую выдавали крайне редко, зато был так называемый бартер продуктами, причем дефицитный и вкусный. Кроме того, не сразу, но все-таки научился брать деньги, которые ему совали в карман или просто бросали на клавиши фортепиано. Однажды Анна спросила у владельца ресторана, двоюродного дяди Яши, который и взял его на работу, почему бы ему не играть на скрипке, ведь он владеет этим инструментом более виртуозно, на что тот, почему-то перейдя на шепот, произнес: «Что вы такое говорите! Они же сразу скажут, что я устроил здесь еврейскую лавочку!» Причем при слове «они» указал пальцем вверх. То, что он имел в виду не Господа Бога и не силы небесные, Ане было понятно, а кого именно, уточнять не стала.

Отец тяготился Москвой. Все негативные реалии, происходившие в стране, проявлялись в Москве особенно явно и жестко. Угнетала его также потеря привычного статуса. Павел Станиславович уговаривал продать квартиру и купить дом в Подмосковье. Он вдруг вспомнил, что родом из крестьян, займется огородом, который отвлечет его от тяжелых дум

и поможет семье оставаться на плаву. Кроме того, экология, свежий воздух, тишина. Яша, который также тяготился своим нынешним положением, легко соглашался, добавляя: лишь бы там была музыкальная школа, пойдет учить детей. Но они несколько лет еще промаялись в Москве, пока все не совпало: как раз Анну пригласили в психоневрологический диспансер в небольшой подмосковный городок. Одно крыло диспансера отдали под частную больницу, возглавил которую бывший преподаватель. Совпало-то совпало, но, когда Аня с Яшей пришли повидаться перед отъездом к его родителям и сестре, там всюю уже обсуждали отъезд в Израиль. И хотя Яша в этом как бы пока не участвовал, у Анны защемило сердце. Она понимала: может, не сразу, но такой выбор предстанет и перед ней. А если решит остаться, Яша уедет все равно. Он, конечно, большой, но все-таки еврейский мальчик, и не допустит, чтобы его старые родители уехали без него, пусть на историческую родину, но все же на чужбину. И не ошиблась.

Правда, случилось это не так скоро: уехать в Израиль быстро тогда еще не получалось. Да и сестра Яши не рвалась туда, она жила гражданским браком с грузином, любила его. Кроме того, прекрасно понимала, что с распоротыми объятиями ее никто не ждет, а без знания языка рассчитывать придется разве что на работу санитаркой, да и то, если повезет. Роза учила иврит и английский. Яша молчал, Анна его ни о чем не спрашивала, языков не учила. А в Подмосковье они все-таки перебрались. Правда, его уже нельзя было назвать тихой заводью. Если в Москве нувориши приобретали заводы, фабрики и прочее имущество, то и здесь закрывались или покупались маленькие предприятия, разорялись коллективные хозяйства. Земля дорожала как на дрожжах, так что те же рейдерские захваты, рэкет, заказные убийства. Те, кто остался без работы, ринулись в столицу, оставив дома стариков и ставших беспризорными детей. Мальчишки сбивались в стайки и начали по-своему приспосабливаться к жизни. В школе отнимали деньги, которые родители давали ребятам на завтраки, а порой и кроссовки, куртки. Кто постарше, промышляли по электричкам и

торговым точкам. И если в музыкальной школе было этих безобразий все же поменьше, то в обычной средней школе Славик сразу стал объектом для издевательств, и уж совсем не приняла его улица. Яша первые годы провожал и встречал его, Славик стеснялся, потому что это было тоже поводом для насмешек, но все-таки защищало от обид и побоев.

А на улицу он без повода просто не выходил. Отец обвинял во всем родителей — «ваше воспитание, ваше сюсюканье». В чем-то был, пожалуй, прав, но она знала и другое... Есть такое понятие в психиатрии — виктимность, то есть почти predeterminedность быть жертвой в силу характера, особенностей психики и некоторых других факторов. Даже имя — не зря астрологи утверждают, что оно тоже накладывает свой отпечаток на всей судьбе. Хотели же Даней назвать, но вот угодили отцу, назвали Станиславом. Но не будешь же с детских лет его полным именем звать. Можно было бы, конечно, Стасом, но это тоже вроде по-взрослому, а Стасик недалеко от Славика.

А потом настал день, когда Яша сказал: «Аннушка, давай уедем. Стариков своих с сестрой я провожаю в эти дни. И для себя все решил тоже. Слово за тобой».

Она ответила, не раздумывая: «Нет». Возможно, это был страх потерять хотя бы то небольшое, что имела: квартиру, работу, а, возможно, подсознательно она все-таки была дочерью своего отца, для которого чувство родины оставалось незыблемо, и патриотизм где-то маленькими гвоздиками все-таки был вколочен в ее детскую голову. То, что Павел Станиславович не поедет, это было так однозначно, что ему даже не предлагали уехать.

Яша уговаривал, просил подумать о будущем — Анна ничего не хотела слышать. Но за день до отъезда Яши все-таки дрогнула. Обещала подумать, просила дать ей время. Гораздо лучше будет, если он уже как-то обустроится, а уж потом вызовет их. Муж был рад и этому. Но когда Анна в аэропорту, прощаясь, обняла его, бог знает по какому наитию поняла: навсегда...

Яша писал часто. И если слова о любви, о том, как тоскует по ней и сыну, согревали душу, то ничем другим порадовать муж не мог. Играет в подземном переходе на скрипке. Есть

продовольственная корзина — не голодает. Роза ухаживает за больной супружеской парой, где жена частично парализована, то есть кое-как передвигается, а муж вовсе не встает с постели. Но люди небедные, оттого и наняли в сиделки врача. Кстати, сами из эмигрантов первой волны, знают русский. Лучше всего устроились родители — социалка в Израиле на уровне, замечательные дома для престарелых. А еще уверял, что его в переходе слушают, здесь много ценителей хорошей музыки, оттого и платят...

«Подают, — уточняла для себя Анна. — Бедный, бедный Яша...»

Но вот опять кто-то из друзей, уехавших гораздо раньше и уже как-то обустроившись в жизни, подсобил и Яше, устроил его в ресторан. Все вернулось на круги свои. (Или чужие?) Правда, теперь он играл на скрипке.

Однако время шло, письма приходили реже и звучали (именно звучали, Аня всегда слышала в его словах музыку) как-то иначе. «Надо ехать, — убеждала себя Анна. — Что хорошего, мальчишка растет без отца». Да и сама даже не представляла как-то устроить личную жизнь, любила мужа. И вдруг все пошло прахом. Заболел отец, музыка в письмах звучала все глуше и глуше... А вскоре после самоубийства Павла Станиславовича получила письмо Розы: «Дотянула ты, Анька, дотянула! Да разве ж можно на столько лет расставаться с мужиком, даже таким, как Яша! Прибрала тут его одна. Господи, хоть бы из своих, из евреек, хоть бы родителям приятно было. А то крикливая хохлушка с тремя детьми. Приехала с мужем-евреем, здесь разошлась. Чего ехала — непонятно, ей бы сейчас в Россию на рынке торговать самое то... Аня, я не знаю, как это все у них случилось, ведь Яша тебя очень любил и любит. Как он тосковал все эти годы! Была у них однажды. Ужас! Дети такие же горластые. Она орет, они орут, и Яша со своей скрипкой и глазами побитой собаки... Если бы ты сейчас приехала срочно, все бы это еще можно было исправить. А так, вот увидишь, она постарается родить четвертого...»

— Бедный, бедный Яша, — Анна комкала в ладони письмо Розы. — Ничего уже не исправить, и никуда я не поеду...

Хорошо хоть Славик чем-то радовал. По крайней мере, так она воспринимала какое-то время перемены, происходившие с ним. Вечерами он стал выходить из дома погулять.

— А как же мальчишки, которые тебя обижали? — беспокоилась Анна.

— Все нормально, мама. Я с ними подружился. Вместе ходим на дискотеку и в лесопарк.

— Даже с Кузей?

— С Кузей тоже. Знаешь, они не такие уж плохие ребята. Да и я уже подросток, мама, и перестал быть слюнтяем. Могу постоять за себя.

И хоть Анна еще не решила — хорошо ли это, подружиться с Кузей, который был года на три постарше местной шпаны и верховодил ею, но и запрещать общаться с дворовыми сыну тоже не стала. Сколько же можно прятаться или приходиться домой избитым. В том, что сын ее не будет обижать более слабых и уж тем более воровать сумки у старушек, она не сомневалась. Правда, он как-то прохладней стал относиться к учебе, не сидел за компьютером и не играл часами на скрипке, ну да бог с ней, этой учебой. И так все годы отличник и в одной, и в другой школе. Запустит — наверстает потом.

Первый повод по-настоящему беспокоиться появился после звонка знакомого онколога, который наблюдал отца во время болезни и выписывал рецепты на наркотики. По мере их использования, когда шла за очередным рецептом, Анна сдавала пустые ампулы: наркотики были на строгом учете. И теперь доктор напомнил ей, что ампулы не сданы.

— Простите ради бога, Иван Семенович! — извинялась Анна. — Вылетело совершенно из головы. Я вам не просто ампулы верну, целая упаковка осталась нетронутая. Вы же знаете, как неожиданно все случилось.

И почему-то сделала неожиданное признание:

— У меня же еще одна беда — муж в Израиле женился... Сразу все навалилось...

После звонка сразу бросилась к шкафчику, где держала лекарство, чтобы положить в сумочку, но на месте его не оказалось. Постояла в недоумении, затем пошла в комнату отца. Может, оставила в прикроватной тумбочке, когда делала последний укол, но и там не было упаковки. Заметалась по квартире, стала рыться в ящиках письменного стола и ящиках

шифоньера — мало ли что сделаешь в суете и суматохе. Все бесполезно. Зачем-то открыла шкатулку, где лежали украшения, два золотых обручальных кольца, оставшиеся от отца и матери, да ее цепочка с кулоном, довольно дорогие серьги, подаренные ей родителями Яши, и его подарок — перстенок с изумрудом. Она была пустой...

«Значит, нас просто обокрали, — сделала Анна вывод. — Но кто, когда? Ни взлома, ни беспорядка не было. Значит, кто-то свой, во время похорон или поминок. Но ведь все были свои, на кого и подумать-то грех... Врачи, медсестры, с которыми проработала не один год, приезжали еще две пожилые супружеские пары из Москвы — сослуживцы отца с женами. Бред какой-то...»

Пошла с повинной головой к Ивану Семеновичу, выложила все как есть. Хоть режьте, хоть ешьте...

— Ну, подставила ты меня, Анна! Но ты хоть подумай, кто мог украсть. Взлома квартиры, как я понимаю, не было. Думай, Анна, это же не шутки.

— Да понимаю я. И думала так, что мозги чуть не свернула. Некому, все свои, нормальные люди.

— Постой, у тебя ведь сын? Не балуется?

Аня даже отшатнулась.

— Бог с тобой, Иван Семенович! Хороший мальчик, ему всего-то четырнадцать лет.

Славику вот-вот должно было стукнуть пятнадцать, но Анна намеренно назвала нижнюю цифру.

Иван Семенович помолчал, потер ладони и седые виски.

— Ну да, это я, наверное, зря. Что касается возраста, то, сама знаешь, есть и двенадцатилетние наркоманы. Но ты бы не могла не заметить, иначе грош цена тебе как психиатру. А тебя считают одним из лучших специалистов. В вашей больнице, по крайней мере. Ладно, я как-нибудь выкручусь, и давай никому об этом.

Слава богу, обошлось. Но она все гадала, куда исчезли наркотики. И вопрос онколога о сыне все-таки засел в голове как заноза. Какое-то неясное, смутное ощущение, однажды возникшее так, мимоходом, цеплялось за память и ускользало. Ах да, вспомнила! Однаж-

ды она зашла в зал, включила свет. Сын сидел в кресле с широко раскрытыми глазами, никак на него не отреагировав. А это что? Это называется заторможенная реакция зрачков на свет, которая бывает в том числе и... Додумать было страшно. Но наблюдать за Славиком она теперь стала очень внимательно. Заметила какую-то дерганость, сидел он чаще всего теперь, покачиваясь на стуле, иногда прихлопывая ладонями по коленям или подшвами об пол. И быстрая смена настроения, от подъема до упадка... И все же нашла способ успокоить себя: «Сейчас я невольно буду подтасовывать все симптомы». Так бывает с врачами по отношению к себе самому и своим близким. Хотя бывает и обратное: не веришь и не замечаешь, даже истолковываешь совсем иначе, потому что боишься. Дома было прохладно, ходил Славик все время в свитерах или водолазках, даже спал в футболке, и Анна все не решалась сказать: разденся и покажи мне руки. Попыталась хитростью:

– Славик, ты плохо выглядишь в последнее время, давай померяю давление. В твоём возрасте бывает гипертония, которая так и называется – юношеская.

Отказался:

– Не придумывай, мама!

И лишь когда началась самая настоящая ломка, поняла: самое страшное действительно случилось...

Раздела, сделала укол, чтобы остановить аритмию сердца, потом еще один, обезболивающий. Увидела, наконец, исколотые вены. Вызвала врача из наркологического отделения своей же больницы.

Теперь она знала, как это началось.

Однажды Славик вышел на улицу и направился прямо к пустырю, где обычно собирались подростки. Увидев его, кто-то крикнул:

– Кузя, смотри, кто к нам идет! Скрипка! Чего это он так осмелел? Давно не пуганный?

Но Славик подходил все ближе, чем даже озадачил мальчишек. Неспроста это он так в самом деле осмелел! А Славик, словно не замечая других, остановился возле Кузи, сказал ему, как равному, «привет» и вытащил из кармана упаковку с лекарством.

– Смотри, что я принес.

Прочитав название, Кузя присвистнул, выдохнув:

– Ни х... себе! – и посмотрел на Славика с интересом и даже вроде как с уважением. Кроме того, что-то просчитав в уме, решил, что добыча может быть не последней, он и самого Славика причислил к добыче.

– Молоток, браток! Спасибо, сейчас вместе будем кайф ловить. Или тебе слабо?

– Вообще-то, я только так, тебе подарить, – занялся Славик, но под пристальным взглядом Кузи молча снял куртку и задрал рукав свитера. Начало было положено...

Потом было два года кошмара, надежда сменялась отчаянием, а чувство вины отнимало последние силы. По больнице Анна ходила, не поднимая глаз, на пятиминутках сидела, втягивая голову в плечи. После одной из пятиминутков главврач попросил ее остаться.

– Анна, не мучайся ты так. Раньше, в советское время, тебя точно выгнали бы из больницы, да еще из партии, если бы ты в ней состояла. А сейчас всем на все наплевать. Работай как работала. Тебе без этого горя хватает. Да никто тебя и не судит, у всех свои заморочки...

А потом случилось то, что случилось. Пришла с работы и увидела сына сидящим в кресле без признаков жизни.

* * *

– Сергей Иванович! Прежде чем мы начнем беседу, я кое-что хочу вам сказать. Из встреч с вами, вашей женой и наблюдения за Сашей я сделала кое-какие выводы и хочу узнать, правы ли я. Первое: вы поместили сына к нам в больницу не потому, что считаете психиатрическую помощь необходимой, а потому, что источник стресса находится либо в вашем доме, либо в вашем окружении и вы боитесь рецидива.

Ваша жена откровенно боится встречи с сыном и его возвращения домой. Кроме того, оба вы явно угнетены и испытываете чувство вины, правда, каждый по-своему. Из всего этого следует, что кто-то из вас либо причастен к тому, что произошло с Сашей, либо знает причину попытки суицида. Вы зашли в тупик и обратились ко мне. Я готова помочь, но для

этого вы должны быть предельно откровенны, иначе вся эта затея не имеет смысла.

— Обещаю, что расскажу все. Мне самому необходимо и выговориться, и что-то понять... А вот с чего начинать, не знаю.

— С самого начала. Со своего детства.

— Что ж, это самое простое. Семья благополучная, родители работали в совхозе: отец — ветеринаром, мама — бухгалтером. Жили ладно, материально, по меркам того времени, обеспеченно. В школе учился хорошо, озорником не был, но и хлюпиком тоже, умел за себя постоять. Когда окончил школу, в семье решили, что я тоже стану ветеринаром, причем, так сказать, совхозным стипендиатом, что позволяло поступить вне конкурса, но и обязывало вернуться в родные пенаты. Я этому решению не противился, животных любил, к шумным городам не привык. В Москве жил не в общежитии, а у дяди, младшего брата отца. Тот был милиционером, но не простым, конечно, а подполковником, заведовал отделом на Петровке. Студенческие годы прошли тоже нормально. Часто ночевал в общежитии, появились друзья, случались и амурчики с девчонками-однокурсницами. Но так, ничего серьезного. Невесту я приглядел в своем совхозе, когда приехал на летние каникулы после третьего курса. Забежал в библиотеку поздороваться с Елизаветой Николаевной. Сколько помню себя, она заведовала сельской библиотекой и нас, пацанов, к книгам приучила. Подхожу, а по ступенькам с крылечка спускается девушка, юная, красивая. И так плавно — как лебедушка. Что-то в ее облике было сказочное. Василиса Прекрасная... Глаза синие, лицо нежное, носик в веснушках. Высокая, ростом почти с меня, чуточку полновата. Спрашиваю: «Ты чья такая будешь?» «Дочка Елизаветы Николаевны я, Катюша. Да разве вы меня раньше, Сережа, не видели?» — улыбнулась, засияла вся, как солнышко. «Выходит, не видел. Или не разглядел. А сколько тебе лет, красавица?» — «Шестнадцать уже, семнадцатый пошел».

Выглядела она на все восемнадцать. Но я не растерялся.

«Послушай, Катюша. Я через два года институт окончу, вернусь сюда насовсем и женюсь на тебе. Ты подождешь?»

Катюша ласково так взглянула и очень серьезно ответила: «Подожду, Сережа».

Я подошел, поцеловал нежную упругую щечку и пошел в библиотеку.

Елизавета Николаевна мне обрадовалась, обняла, а я думаю: «Нестыковочка получается. Стара библиотекаря для такой дочки». И уже думаю, не сон ли это был? Спрашиваю напрямую, что за чудо-красу я только что встретил? Оказалось, Елизавета Николаевна ей бабушка, но, поскольку растила ее одна, родители у девочки погибли в автокатастрофе, то Катюша и зовет ее мамой.

«Елизавета Николаевна! А я ведь вашу дочку замуж позвал. Отучусь, ей как раз восемнадцать будет. Отдадите?»

«Отдам, Сережа. Семья у вас хорошая, ты парень добрый, так что и помереть будет не страшно. А Катюша с детства на тебя заглядывалась».

«Где же она на меня заглядывалась?»

И, не дожидаясь ответа, вспомнил — сидела в уголке за стеллажами какая-то девчонка с косичками, видно, уроки учила, но я-то на нее никакого внимания не обращал.

В общем, через два года сыграли свадьбу, и я привел в дом молодую жену.

— Вы чувствовали себя счастливым? — доктор пылливо вглядывалась в лицо собеседника. Уловила и тень сомнения, и неуверенность, — оттого и замедлился с ответом Сергей Иванович.

— Если честно, на крыльях не летал. Да скорее всего и любви огромной, всепоглощающей не испытывал. Но мне сравнить было не с чем. Странно, но я ни разу не влюблялся так, чтобы потерять голову, совершать какие-то почти безумные поступки. Скажем так: я был доволен. Катюша хороша собой, такая лапушка, от нее исходило чувство покоя, умиротворенности. А времена наступили трудные как в стране, так и у нас в семье. Отца разбил инсульт, он не вставал с постели, хотя речь восстановилась и разум его был ясным. Мама, всегда очень деятельная, общественница и активистка. Она и хор ветеранов организовала в свое время, и кружки по рукоделию вела, и чем только ни занималась, теперь была привязана к дому — отцу требовался постоянный уход. А ведь у нас, как у всех сельских жителей, еще и хозяйство было. И вот в этом плане Ка-

тюша пришлась не ко двору. Может, так уж изнежила ее своей любовью Елизавета Николаевна, а может, такой Катя была по своей сути, но делать она ничего не умела и не хотела. Мама сразу окрестила ее спящей красавицей. И действительно, медлительная, застенчивая, она жила какой-то своей жизнью, много читала и общалась, похоже, больше с героями романов, а реальная жизнь ее интересовала мало. Добрая очень, всех приветит, всем улыбнется, животных любила, жалела.

— Как складывалась ваша сексуальная жизнь?

— Вот и на этот вопрос непросто ответить. Катюша была ласковой, ей бы обняться, прижаться... Стихи часто читала в постели. Хорошие стихи... А само соитие ей, по-моему, и не нужно было, хотя мне всегда уступала, не противилась. Так что кипения страстей не было. Наверное, как у пожилых, уже ставших родными, супругов, которые спокойно и привычно наслаждаются друг другом...

Анна Павловна не задавала вопроса о том, как и когда исчезла из жизни Сергея Ивановича Катюша, знала, что прежде на сцене должна появиться Лика. Но собеседник ее явно мучился тем, как ввести новую героиню в пьесу, которая называется жизнь. Но вот, кажется, решился, глубоко вздохнул, сжал кулаки, но фразу произнес несколько неожиданную:

— Вот так, как подбирала Катюша бездомных собак и кошек, она и Лиду подобрала. Но об этом чуть позже.

«Еще не готов говорить о ней», — отметила про себя доктор.

— Совхоз наш разваливался, работы для меня здесь не было. И тогда отец, а он, повторяю, после инсульта сохранил ясный ум, сказал: «Сережа, хочешь остаться на плаву и встать на ноги — скупай землю. Сейчас тем, кто в совхозе не менее двадцати лет проработал, паи нарезают. Люди их будут, скорее всего, продавать за бесценок. Через несколько лет земля эта золотой станет, на ней и поднимешься».

Я это и сам понимал, но ведь нужны деньги. Те немногие накопления, что были у родителей, пропали после дефолта. Обещал помочь дядя. Поскольку детей в семье его не было, свою старость дядя и его жена Клавдия Семеновна связывали со мной, отношения между

братьями были теплые, и меня любили как сына. И тут так случилось, что у дяди умерла теща, после нее квартира осталась, а цены на жилье в те годы взвинтились едва ли не в одночасье. В общем, продали они квартиру, меня деньгами ссудили. Стал я паи покупать и только поражался, как прав был отец. Придешь к одинокой старухе, спросишь, не хочет ли продать пай, полученный от совхоза, если да, то за сколько, а в ответ: да сколько дашь, сынок. Я со своим огородом не управляюсь, сил нет, на что мне еще земля... Про алкоголиков и говорить нечего. Были такие, что и за ящик водки готовы отдать. Но я не нагнул. По крайней мере благодарили меня, даже удивлялись, что так высоко участок оценил. Хотя с совестью, честно признаться, в ладу оставаться было трудно. Вроде не обманывал, а все же обманывал...

В общем, крутиться начал, дома мало бывал, Катюша моя во Владимирский пединститут поступила, на филологический факультет. Учиться ей было легко, ее уже Елизавета Николаевна многому научила. Но матери моей помощницей так и не стала, пошли конфликты. Правда, односторонние. Мать ворчит, отец не вмешивается, а Катюша вообще вроде как и не слышит.

А теперь подхожу к самому главному. Как-то поехал я по делам в Москву, взял с собой жену, чтоб у дяди с тетей погостила. Но так получилось, что мне задержаться пришлось, а ее на электричке домой отправил. Вот тут-то все и началось, и случилось...

Катюша села на свободное место рядом, как ей показалось, с парнишкой, который забился в самый уголок, прямо вжался в него. Лица его Катя не видела, тот смотрел в окно, ни разу не повернувшись. Где-то на полпути Катя, почувствовав, что проголодалась, достала из сумки пирожок. Тетя всегда давала в дорогу что-нибудь перекусить. И тут ее странный сосед резко повернулся и так посмотрел на пирожок, что Катя чуть не подавилась. Она тут же растелила полотенчико, в которое были завернуты гостинцы, и пригласила попутчицу — теперь она поняла, что рядом сидела девушка — перекусить. Та просто накинулась на еду, но тут в вагон вошел контролер. Тогда заняла прежнюю позу — лицом уткнулась в окно, ноги поджала под себя и вжалась в угол. Катюша,

догадавшись о причине такой перемены, даже попыталась прикрыть ее, развернувшись боком, но контролер на эти уловки не повелся и потребовал предъявить билеты. Девушка никак на это не реагировала. Тогда контролер пригрозил, что сейчас пригласит милиционера, который находится в электричке, пусть проверит документы. Если они в порядке, то высадит на следующей станции, а если нет — сдаст в линейное отделение. Тогда безбилетница резко повернулась и стала сквозь рыдания выкрикивать, что ее обокрали, что нет ни денег, ни документов, что во Владимире у нее родня, а если контролер выведет ее из электрички, тут же под эту электричку бросится. Катя, добрая душа, расплакалась, заплатила контролеру и за билет, и поверх еще накинула и стала успокаивать девушку. Заодно спросила, действительно ли есть родственники во Владимире и где именно они живут. Попутчица ответила: да, есть, но адреса теперь у нее нет. Точно его не помнит, но, может быть, как-нибудь найдет...

Катюша совсем растерялась и решила для начала познакомиться, а потом уже неторопливо побеседовать. «Ли Кан, — назвалась девушка и добавила: — я китаянка». Катюша, не поняв толком, где здесь фамилия, где имя, предложила: «Давай я буду называть тебя Ликой. Ну, а меня Катей зовут. Теперь рассказывай все подробно, только не волнуйся».

И она стала рассказывать... Бог мой, я эту историю слышал несколько раз. Лика всё врала, всё, это только Катюша — святая простота, могла чему-то из всей этой ереси поверить. Ну, в общем, фабула простая, сюжет расхожий, на нем, кстати, строятся киносценарии времен революции и гражданской войны. Белоэмигранты, русская барышня оказывается в Харбине и выходит замуж за китайца, но в семье культивируется русский язык несколькими поколениями. Наконец русская барышня, дожив до весьма преклонных лет, умирая, просит праправнучку непременно посетить Россию, поклониться родным местам. Но как она это рассказывала! Не зная даже ни дат той же революции и гражданской войны, ни самих событий. Услыхала от кого-то и даже запомнить не смогла. Но на китаянку была похожа и

русский язык знала, хотя говорила с сильным акцентом. Что могла сделать в такой ситуации Катюша? Конечно, пригласить ее домой.

Эту картинку я представляю так, как будто сам при том присутствовал. Мать, конечно, увидев гостью, не удержалась, покрутила пальцем у виска, однако выгонять ее не стала, решила дождаться меня и предоставить самому разрулить ситуацию. С подобранными котятами и щенятами она поступала проще: уносила их на ферму, где они подкармливались и, как правило, выживали. А тут все же человек. Даже стала вроде как оправдываться: уж простите, дом у нас такой неприбранный, руки не доходят, муж болеет. Ей, конечно, плевать было на эту китаянку, все это говорилось для Кати, которая только улыбалась безмятежно.

«Мама, а чего бы нам с Ликой поесть горяченького?»

Мама, поджав губы, ставила на стол еду, а пока Катя с Ликой обедали, приговаривала: «Вот обоим уже месяц как купили, так и валяются».

Дом у нас действительно захирел. Раньше мы с отцом где подправим, где перестелем полы. Короче, всю мужскую работу делали, мать за порядком, за чистотой следила. Белили, красили — все сами, никогда никого не нанимали.

Лика, услышав про обоим, отреагировала неожиданно: «А зачем не делаете, если купили?» Вот именно так: не почему, а зачем.

«Так некому. Сын весь в работе, в разъездах. Сноха неумеха».

«Я сделаю», — сказала Лика, и мать тогда поняла лишь одно: ни сегодня, ни завтра уходить эта странная девушка не собирается. Зато когда я вернулся, а прошло-то всего три дня, просто не узнал своего дома, он весь светился.

Мать первым делом вызвала меня на веранду и заговорщицким шепотом поведала: «Слушай, Сережа, тут твоя благоверная девушку какую-то привела. Ну, я решила тебя дождаться, чтоб ее выпроводить. А теперь думаю, пусть живет. Верись, это не человек, это электрошетка какая-то. Работает без устали, не остановишь, все умеет. Похоже, идти ей некуда, может, будем ей чего-нибудь приплачивать да харчи, вроде как домработница».

Вздыхнула: «Сроду я сама управлялась, а сейчас

не могу. Если б хоть отец на ногах был. А твоя хозяйка, сам знаешь, никудышняя».

Сам я Лику эту еще не видел, она из сада пришла, когда мы с матерью уже за столом сидели. Красных роз нарезала, в воду поставила. Со мной поздоровалась и смотрит диковатым таким взглядом, и я почувствовал, как она волнуется и боится, что прогоню. Но мне-то зачем ее гнать? Мне только лучше: мать на Катюшу меньше наезжать будет. Поэтому улыбнулся приветливо, садись, говорю, будем знакомиться. Чисто из вежливости стал задавать вопросы: откуда, что привело ее во Владимир, и вот тогда наслушался этой галиматши, о которой уже рассказывал. Еле сдерживался от смеха от этого бреда ее и косноязычия. Мне она вообще смешной показалась. Катюша ей халатик дала свой – она раза три завернулась в него, пояском перетянулась. Ножки тонкие, ступни маленькие, ходила почему-то босиком. Я предложил по поводу украденных документов обратиться в милицию, а пока пожить у нас. Первое Лика пропустила мимо ушей, а второму предложению явно обрадовалась. Да и мы, мать особенно, довольны были. Однажды слышу, – отец с кем-то разговаривает на повышенных тонах, вроде как ругается. Матери с Катюшей дома не было, пошли проведать приболевшую Елизавету Николаевну. Захожу к отцу и застаю такую картину: Лика его перевернула и протирает пролежни на спине. Потом посадила на подушки. Откуда столько силы было в маленьком хрупком тельце, непонятно! И стала стягивать с него трусы. Отец мне: убери ее, позови мать. Я растерялся, а она так спокойно отцу: «А чего ты боишься? У тебя все такое, как у других мужиков. Я что, не видела? Только съезжилось, так ты же больной».

Ну, и навела ему полную гигиену. После этого раза стала полностью отца обихаживать, он привык и смирился. Брезгливости в ней не было никакой, а усталости, похоже, вовсе не знала. Всем нам как-то стало лучше, легче жить с этой Ликой, пока однажды...

– Ну что же вы, Сергей Иванович! Продолжайте. Я вам могу даже помочь: «Пока однажды она не забралась ко мне в постель». Так ведь?

– Так-то оно так, только не знаю, как мне все это рассказать женщине...

– Врачу, Сергей Иванович.

– Врачу, да. Но ведь и женщине. А не рассказать нельзя, потому что все именно с этим связано. Поверьте, что повода я никакого не давал, вообще не видел в ней женщину. Но однажды это случилось. Катюша уехала очень рано, чтобы поспеть в институт к первой паре, мать еще спала, я тоже еще не встал, так как вернулся поздно и решил выспаться. Лика вошла ко мне в комнату неслышно, как кошка, и нырнула под одеяло. Что было дальше, просто не могу описать словами. Я еще ото сна не отошел, еще толком ничего не понял, как она уже сидела на мне. Сказать, что Лика была в сексе искусна, значит, ничего не сказать. Это такой накал страсти, это, черт возьми, почти акробатика, но главное, в это трудно поверить, что даже ее женское естество казалось мне каким-то иным, даже температура тела просто обжигала. У Лики не было ни начала, ни конца, а сплошной оргазм, от первого прикосновения до последнего. Да и я никогда не испытывал ничего подобного и даже представить не мог, что такое бывает... Потом Лика так же тихо выскользнула из комнаты. Я лежал весь измочаленный, не мог прийти в себя. Боялся, не встала ли мать, не заметила ли Лику, но, к счастью, все обошлось.

Поехал на ферму, что-то решал, говорил со строителями, которые занимались ее расширением и реконструкцией, а в голове только одно – ночное, вернее утреннее, происшествие, которое казалось теперь каким-то ирреальным. «А был ли мальчик...»

– И желание, чтобы был, не так ли? Вы желали, чтобы это случилось еще раз, и боялись, что не случится.

– Да, так все и было. За вечерним чаем я спросил у Катюши, рано ли ей завтра вставать, а то могу отвезти, мне тоже надо во Владимир. Катюша ответила, что нет, поедет сама, где-то часов в двенадцать, и мы невольно переглянулись с Ликой. Весь следующий день я провел в томлении, ночью почти не спал и ждал с нетерпением утра. Катюша уехала рано, но и мать почему-то поднялась чуть свет, я слышал, как она с Ликой о чем-то разговаривает на кухне, дает какие-то указания. Как потом узнал, она собралась в соседнюю деревню к

подруге-знахарке за травами для отца. Едва за ней захлопнулась дверь, как Ли́ка была уже у меня в постели, и все повторилось с еще большим накалом. В этот раз я хоть немного рассмотрел ее обнаженную. Грудь почти плоская, но темно-коричневые соски, пожалуй, как половина моего мизинца. И что совсем странно, вокруг них ободком волосики растут. Знаете, как бывают у женщин-брюнеток на верхней губе «усики». Ребрышки выступают — пересчитать можно, втянутый животик и от пупка тоже дорожка волосатая до самого низа, ну, понимаете... Вот такая красота...

Вскоре встречи стали и вовсе частыми. Она, Ли́ка, хитрой оказалась. Утром Катюша уедет в университет, Ли́ка завтрак приготовит, отца умоет, накормит, потом берет садовый инвентарь и идет во двор. Тут же обходит дом и тихо скребется в мое окно. Уходила тем же путем, и никто ни разу не застукал, но что-то уже витало в воздухе, в самой атмосфере, может, не так мы смотрели друг на друга или в голосе появились особые интонации, но мать все же что-то заподозрила, потому что однажды сказала: «Сережа, ты знаешь, я твою Катюшку не люблю. Она, как говорят, ни рыба ни мясо. Но насчет Ли́ки если что затеешь, я за себя не отвечаю. Я ее просто выгоню, в милицию сдам, пусть там разберутся, кто она такая, из какого Китая приехала».

Я чувствовал себя на краю пропасти. Потерял интерес к работе как раз тогда, когда дело пошло и надо было крутиться вовсю. С ужасом понял, что совершенно охладел к Катюше, более того, стал ею тяготиться. Но больше всего угнетал меня внутренний разлад с самим собой. Не знаю, как у вас по-научному определяется раздвоение личности, но я себе такой диагноз поставил. У меня уже мозги стали болеть от попытки разобраться во всем, что со мной происходит. Я влюблен в Ли́ку? Да боже упаси! Смешно, но я ни разу ее не поцеловал во время наших сексуальных баталий. И вообще, она же примитивна, как обезьянка, на которую порой так бывает похожа. В таком случае, кто же тогда я? Неужели самец — самое основополагающее, что есть во мне? Куда делся этот самый гомо сапиенс?

Что-то вы, доктор, долго молчите... ни вопросов, ни комментариев...

— Слушаю. А вам надо выговориться полностью. Так что продолжайте.

— В работу я все-таки включился, решил, что, возможно, в этом мое спасение. Но вскоре оказалось, что и здесь не смог обойтись без Ли́ки. У отца случился второй инсульт, после которого он даже не приходил в сознание. Мать сразу сникла, обмякла как-то. Ли́ка по утрам управлялась с домашними делами и шла на ферму. Как-то очень быстро вошла в курс дела, сама набирала гастарбайтеров и следила за их работой. Они ее слушались безоговорочно и даже, по-моему, боялись. Потом она так же набирала доярок, живущих в ближайших деревнях. В общем, помощницей стала просто незаменимой.

— Сергей Иванович! Вы сказали, что охладели к Катюше. Она понимала?

— Да, конечно. Я и старался быть к ней по-прежнему внимательным и нежным, но у меня это не очень получалось.

— Почему вы не произносите слово, которое более точно определило бы ваше отношение к жене: вы стали ею тяготиться.

— Мне трудно это выговорить. Ведь Катюша ни в чем не была передо мной виновата. Иногда возникали даже мысли о разводе. Но как я мог объяснить это людям, той же Елизавете Николаевне? Развожусь, потому что не любит мыть полы?

— Но, признайтесь, вы бы хотели, чтобы она исчезла из вашей жизни? Ну, по каким-то не зависящим от вас причинам?

Сергей Иванович молчал, уронив голову в ладони. Анна Павловна продолжала утвердительным тоном:

— Хотели. Знаете, китайский философ Ляо Цзин сказал: «Будьте внимательны к своим мыслям, они начало ваших поступков». Есть чуть более вольный, а может, более точный перевод: «Бойтесь своих мыслей, они имеют привычку превращаться в поступки». От себя добавлю: если мысли эти крамольные, а поступок, сформировавшийся из них, не что иное как преступление, то его совершает иногда другой человек во имя любви. Берет грех на себя. И я уже предполагаю, что случилось и кто решил положить голову на плаху во имя любимого. А вы подумайте над этим. Мы продолжим разговор в ближайшие дни, но я хочу задать вам

несколько вопросов, над которыми вы тоже будете думать, и подведу некоторый итог сегодняшней беседы. И над этим вы тоже подумайте, прежде чем мы встретимся в следующий раз. Катюша было доброй — это однозначно; взять хотя бы случай с Ликой, когда она пожалела девушку и привела ее в дом. Но то, что именно Лика стала ухаживать за вашим отцом, чужим для нее человеком, — это разве не пример доброты и милосердия? И так ли уж она примитивна, если быстро разобралась в вашем бизнесе и смогла создать его вместе с вами? Она невоспитанна и необразованна, но это не предполагает глупости и примитивности. Я ничего не знаю о ее прошлом, потому что у меня не было возможности узнать, но и вы не знаете, только по другой причине: вы не хотели ничего знать, довольствуясь тем, чему не верили ни на йоту. Ведь так? Вы боитесь признаться себе в том, что любите Лику. Да не дергайтесь, Сергей Иванович, и не вскакивайте со стула. Если вы сейчас уйдете, то больше я с вами беседовать не стану, так что будьте мужчиной. Ничего особенного в вашем случае нет. Любовь по сути не поддается определению, и графу Калиостро так и не удалось вывести формулу любви... А как ее можно вывести, если любят чаще не «почему-то», а «вопреки». Вы Катюшу не любили, вы ее выбрали в жены: красивая, непорочная, добрая. И убедили себя в том, что это любовь. А это был брак по расчету. Кое в чем просчитались, но это уже не вина Катюши. Просто вам не хватило жизненного опыта и вы еще не умели хорошо считать. Когда же пришла настоящая любовь, она оказалась не столь удобной, непонятной, вы испугались ее, но и отказаться не смогли...

Впрочем, на сегодня достаточно. Хочу вас успокоить: никакого раздвоения личности у вас нет, все, что с вами происходило и происходит, вполне укладывается в бремя страстей человеческих. Вам нужен психолог, в качестве такого я и буду работать с вами.

* * *

Анна Павловна шла домой быстрым шагом, даже пожалела, что отказалась от предложения Сергея Ивановича подвезти ее. Очень хо-

телось курить. Она никогда не курила ни на работе, ни на улице, пристроившись где-нибудь на лавочке. Только вечером, только дома, и организм требовал своего. Торопливо открыла дверь и, изменив своим привычкам, на кухне сразу же выкурила подряд две сигареты. Затем налила стакан водки, пожарила яичницу, что тоже было как бы отклонением от ритуала, и лишь после этого пошла в зал. Выпила, как всегда, залпом, яичницу съела вроде как с удовольствием, и это тоже было не совсем обычно. На улице поднялся ветер, раскачивая фонари и деревья. Силуэт сына в кресле напротив привиделся расплывчатым, нечетким, иногда казалось, что исчезает совсем.

«Не уходи, Славик!» — попросила она, закрывая глаза, и услышала звуки скрипки. Кто играл? Яша? Славик? Неважно. Это была их музыка... Кажется, задремала. Встала, встряхнулась, включила свет. Надо переодеться, влезть в халат, принять душ, но вставать не хотелось. Достала из кармана конвертик с деньгами, который вручил ей Сергей Иванович. Даже не заглянула в него — сколько там? Да сколько есть. Она и зарплату свою не успевала тратить, а тут то благодарности, то «левые» гонорары. Этот конвертик она заработала как раз под рубрикой «чужую беду руками разведу». Но, может быть, и разведет. Уж слишком близко к сердцу она приняла эту семью. Ей симпатичен Сергей Иванович, хотя многое ей в нем не нравится. Тут же усмехнулась: какая вывернутая фраза, если ее сказать вслух или написать на бумаге... Здоровый, красивый мужик, а ведь слабый, даже беззащитный, боится жизни, боится сам себя. А может, потому и нравится? Яшу ведь тоже не назовешь сильным человеком, он тоже слабый... Укладывая конвертик в верхний ящик отцовского письменного стола, где уже лежало несколько таких же, вдруг подумала: «Вот это надо обменять на доллары и отправить Яше. Пусть кормит своих горластых пасынков...» И ей как-то стало легче на душе. Анна Павловна села в кресло, стала курить. Теперь мысли ее переключились на Сашу. Вспомнила, как на днях он спросил ее про старика астрофизика, — почему того не было на прогулке. Анна помедлила с ответом. Старик на

днях умер от сердечной недостаточности. Но стоит ли говорить об этом Саше? Может, сказать, что дети, вернувшись из отпуска, забрали отца домой? Но Саша уже заметил ее колебания, взгляд его стал настороженным, и Анна решила сказать правду. Ведь он мог узнать о смерти старика от какой-нибудь санитарки или больных, которые лежали в соседней палате и могли видеть, как его увозили. Тогда Саша просто перестанет ей верить. Сказала как есть. Он расстроился, чуть не заплакал.

— Как жаль, Анна Павловна... Жаль, что он умер, а еще жаль, что я не успел поговорить с ним.

— Конечно, жаль, Саша, когда человек уходит из жизни. Но поговорить с ним тебе вряд ли бы удалось. Он ведь был не совсем вменяем и хотя лежал у нас неоднократно, никто не слышал от него связной речи. Одно и то же: «Откройте форточку, господа!»

— Нет, Анна Павловна! Мы уже однажды разговаривали, и это было очень интересно. И он собирался что-то важное рассказать мне на следующей прогулке.

Анна Павловна пристально всмотрелась в лицо своего юного пациента: врет? Нет, не похоже. Но как же...

А Саша, уловив ее недоумение, продолжил:

— Анна Павловна! Он больше не говорил ни с кем, потому что никто его не слушал и не слышал. И никто не спросил: а как ее открыть и где она? А я спросил...

— И что же он, ответил?

— Нет, не успел. Санитар увел его в палату. Но он обещал, что расскажет мне все в следующий раз.

— Саша, это не мой больной, я его не вела, поэтому никаких дополнительных сведений, к сожалению, дать не могу. Зато тебя могу порадовать: к концу недели выпишем.

Не обрадовался, чего Анна Павловна и боялась, хотя ожидала. Как пройдет его возвращение домой, больше зависит от его родителей, чем от врача. Посмотрим, что даст второй раунд. В первом она была резковата, почти положила на лопатки. Но в этом, как считала, была необходимость.

* * *

— Сергей Иванович! Вы ведь опоздали, невежливо по отношению к врачу и женщине, как вы считаете? Долго думали — идти или нет?

— Вы правы. Я уже подъехал, потом развернулся... Не знаю, можно ли здесь применить поговорку насчет сора, который из избы не выносят... Но у меня появились сомнения, даже страх навредить своим близким...

— Знаете, в клятве Гипократа есть основополагающие слова: не навреди... Так что оставьте свои страхи, садитесь, и начнем наш разговор.

— Где-то год можно пропустить, потому что все шло как шло. Работал много, в паре с Ликой, Катюша без труда изучала педагогические науки. Вечером ложился спать с Катюшей, утром в нашу постель забиралась Лика. Если не считать нравственных мучений, чувства вины перед всеми тремя женщинами — матерью, которую все понимала, но ничего уже не говорила, Катюшей, которую я обманывал. А она то ли в самом деле ни о чем не догадывалась, то ли приняла все как есть, и перед Ликой. Это, кстати, я только после разговора с вами понял, которая любила меня, ничего не получая взамен. Разве что тяжелую работу.

Весна в том роковом году была ранняя, в апреле солнце за двадцать уже пригревало, и наши сельские бабы стали в лес за клюквой ходить, той, что зиму перезимовала и теперь ярко выглядывала сквозь пожелтевшую прошлогоднюю траву и торф. У нас ее называли клюква-веснянка, а то еще и веселянка. Действительно, весело после длинной зимы вдруг спелую ягодку увидеть. И стала Лика меня с Катюшей звать в лес. Говорит, что клюкву первый раз попробовала, когда доярка наша ее угостила, и в лесу никогда не была. Я тогда, помню, спросил: «Что же в Китае ни лесов, ни клюквы нет?»

Она пожалала плечами: «Может, и есть, но там, где я жила, не было».

Я, конечно, сослался на дела, а Катюша, моему, пожалела Лику: ведь та никогда ни о чем нас не просила. В общем, собрались в лес по ягоды. Лика сказала, что расспросила у женщин, как ехать, на какой остановке электрички выйти, и якобы даже договорилась, что

с ними поедут еще две женщины. Это был выходной день, ушли они чуть свет — и я, и мать еще спали. Где-то к обеду ждали, что вернуться, но они не вернулись и к вечеру. Я пошел искать женщин, которые собирались ехать с нами, искал почти до ночи и, представьте, нашел. Действительно, собирались они за клюквой, да у одной ребенок заболел, у другой муж напился, всю ночь буянил. Так она к матери подалась, не до клюквы было.

Спать мы с матерью так и не ложились, уже не сомневались, что случилась беда. Одно к одному, как это часто по весне бывает, ночью резко похолодало, пошел снег. А я отправился сначала в милицию, потом по знакомым охотникам. Начинали искать от той станции, где предполагается они должны были выйти, в лесу разделились на группы, стреляли в воздух, кричали, пытались найти хоть какие-то следы, и ничего. Да и что можно найти, когда снег уже покрыл землю. Поиски не прекращались неделю, а на восьмой день Лику нашли уже почти на выходе к трассе, в тридцати километрах от того места, где мы начинали поиски, два мужика, отправившиеся в лес дровишек подрубить. Она была без сознания, вся искусанная комарами, с распухшим посиневшим лицом. Отвезли ее в районную больницу, документов при ней, понятно, не было, но, когда пришла в себя, сразу назвала наш адрес, и мне позвонили. Я приехал, забрал ее, врач сказал — сильное переохлаждение, истощение, а так вроде все нормально. Кормить часто, но понемногу, горячее питье, постельный режим. У себя они ее держать не собирались: ни паспорта, ни полиса. Но, конечно, если бы была необходимость, я бы договорился, оплатил лечение. Еще по дороге начал спрашивать, где Катя... Она только головой мотала и еле слышно, сквозь зубы: «Я не знаю, мы потерялись...»

Катю продолжали искать, а на Лику накинута следователи. Как шли, куда, что заметила по дороге, не встречали ли кого. Все, что она рассказала, звучало так: мы заблудились, хотели выйти из леса, у нас никак не получалось. Катя сказала, что устала, идти больше не может, и села на поваленное дерево, а я решила найти тропинку, по которой мы шли...

— Какое это было дерево? Дуб, береза, сосна?

— Не знаю, оно было старое, сухое, без листьев. Я вообще плохо знаю деревья.

— Вы вернулись к Кате, когда поняли, что не нашли дорогу?

— Да, но ее там не было.

— А вы уверены, что вернулись к тому же дереву?

— Нет, не уверена.

Мне следователи тоже потрепали нервы насчет Лики: почему так долго живет без регистрации. Объяснил, что привела ее в дом жена, у девушки украли документы и деньги. Нам нужна была сиделка для отца, и мы ее оставили. «Почему не обратились в милицию?» — «Она сказала, что оставила заявление в линейном отделении на Курском вокзале, где и произошла кража. Но я не проверял».

Про родню из Харбина и всю эту ерунду, конечно, не сказал и ей не велел. Досталось и нашему участковому Петру Александровичу — куда смотрел, человек без регистрации живет! А куда он будет смотреть, если он мой одноклассник?

Навещал Елизавету Николаевну, успокаивал как мог. Вот, мол, Лика нашлась, и Катя найдется непременно. Она молча кивала, то ли соглашалась, то ли благодарила за участие, пока однажды не сказала: «Сереза! Я знаю, что Катеньки нет в живых, и ты тоже это знаешь. Не надо ко мне ходить».

Я прямо отшатнулся, глядя на нее с ужасом, а она на меня спокойно и печально. Только повторила: «Иди, Сереза...»

И пошел я, дороге под собой не видел. Вспомнил, как сватался и как она сказала: «Женись, Сереза, мне тогда и умирать не страшно будет...»

— Сергей Иванович! А у вас никаких подозрений в отношении Лики не возникло ни разу?

— Да как вам сказать. Нет-нет да и подумается о чем-то таком, только додумывать страшно. И тут же контраргументы находишь. Ведь эти женщины, доярки, действительно собирались идти за клюквой. Ну, если бы Лика чего-то плохое задумала, зачем бы она их звала?

— Согласна. Но иногда преступления, самые тяжкие, совершаются спонтанно. Впрочем, мы ее как будто обвиняем в исчезновении Катюши, хотя никаких доказательств для этого и милиция не нашла, так ведь?

— Да, не нашла. Гроза в нашем доме разразилась, когда из Москвы приехал мой дядя, брат отца Юрий Николаевич. Не знаю, чем бы закончилось лично его расследование, если бы не одно обстоятельство, предшествующее его приезду. Зашел я к Лике в комнату, спросил, как она себя чувствует. А она мне: «Уже хорошо, Сережа, завтра работать пойду. Хватит, отлежалась».

Я стою и соображаю: что-то в ее словах не то, а что, никак не пойму. Потом дошло. Лика по имени меня никогда не называла. Я вам не говорил? Только хозяин, а мать — хозяйкой. Только Катюшу по имени звала. И пока я соображал, чего это Лика вдруг на Сережу перешла, она меня совсем озадачила: «Мне правда хорошо, я только за ребеночка боялась, а он ничего, живет».

Подумал, бредит, крыша съехала после всего пережитого. И так спокойно, почти ласково говорю: «Лика, с вами не было никакого ребеночка. Только вы с Катюшей».

А она улыбается и себя по животу ладонью гладит. Меня как по башке шарахнуло. Катя почему-то не беременела, хотя мы не предохранялись. Но ни я, ни она этой теме не затрагивали. Успеем. Так даже лучше: Катя институт окончит, на ноги встанем. Я сел рядом с ней на кровать, что сказать, как повести себя — не знаю, растерялся. Спросил: «Давно это?» — «Четыре с половиной месяца, Сережа...»

Представляете, половина срока, а даже видно не было, правда, я особо не приглядывался. Когда сказала, посмотрел: да, действительно, чуть-чуть округлилась...

Вышел в сад, сел на скамейку, закурил, голова кругом идет.

— И невольно подумали: может, и кстати, что Катюша пропала...

— Анна Павловна! Что вы из меня монстра делаете? Я к вам за помощью, а вы... Прямо как садистка, а не врач. Вам непременно нужно вывернуть меня наизнанку?

— Мне, собственно, нет. Вам нужно... По себе знаю, потому что и себя не щажу.

— Знаете по себе? Да неужели и вас жизнь ловила в такие силки?

— Еще как ловила. Но не будем обо мне. Продолжайте свой рассказ.

— В общем, когда дядя приехал, я уже знал о

беременности Лики. Дядя Юра все еще работал на Петровке, хотя уже выслужил пенсию. Коротко расспросил о происшедшем, затем скомандовал: «А ну зови сюда свою жилищку!»

Я предупредил, что она еще плохо себя чувствует, на что тот ответил: «Ничего с ней не случится». Но тут же передумал: «Ладно, не надо звать. Пошли к ней сами».

Мы вошли в комнату, Лика тут же села на кровати и завернулась в одеяло.

Дядя зыркнул на нее глазами и приказал: «Вот так и сиди, не шевелись. Мы тут у тебя маленький шмон сделаем. Знаешь, что такое шмон, нет? В тюрьме еще не бывала? Ну, ничего, у тебя все впереди».

Я пытался воспрепятствовать, но он на меня стал кричать: «Тебе что, ордер нужен и понятых? Так сейчас один звоночек, и все будет. Где тут ее вещи?»

Да какие, говорю, вещи, у нее ничего с собой не было.

Комната, в которой мы поселили Лиду, у нас раньше называлась кладовкой. Стоял старый шкаф, кажется, такие называли буфетами, в нем — посуда, которой редко пользовались, еще доска гладильная да старая кровать. Лежали на полу сложенные тоже за ненадобностью старые коврики и еще какая-то рухлядь. В этом шкафу освободили одну из нижних полок для вещей Лики, которые ей прикупила Катюша. Я распахнул дверцу и показал дяде все ее имущество.

Дядя Юра тут же подошел к шкафу и стал вынимать все, что там лежало. А там и было пара кофточек, футболка да нижнее белье — трусики и колготки, лифчиков она не носила. Осмотрев каждую вещичку, дядя бросал ее на пол, затем присел на корточки и стал обследовать рукой дно буфета. Я по лицу его понял: что-то нащупал... И действительно, он вытащил оттуда паспорт. Серпастый-молоткастый. То есть советский. Раскрыл его, внимательно поглядел на фотографию, затем на Лиду. Довольно хмыкнул, проворчал: «Сыщики, мать их... Живет тут, понимаешь, невесть кто, а они досмотр вещей даже не сделали». И, еще раз заглянув в паспорт, тоном, обещающим ничего хорошего, произнес: «Ну, давай, Гульнара Азизова, гостя из солнечно-

го Узбекистана, одевайся и выходи вслед за нами, знакомиться будем».

Мы вышли в зал, молча закурили. Разволновалась мама: что случилось?

«Скоро узнаешь, сиди, слушай и смотри. Деятивы любишь?»

Тут вошла Лика, бледная, с застывшим лицом. Дядя показал на стул, стоявший напротив него, она покорно опустилась.

«Сейчас я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать, и не вздумай врать, иначе тут же окажешься в КПЗ. Думаю, ты и так там окажешься, но мне сначала хочется самому кое в чем разобраться».

Начался допрос.

Дядя зачитал все паспортные данные вслух: «Здесь все верно?»

«Да».

«Почему ты представилась китайкой?»

«Потому что я китайка. Уйгурка. Так называются китайцы, которые давно живут в Средней Азии. Старики говорят, где они жили, те национальности и писали в паспорт. В Киргизии — киргизами, в Узбекистане — узбеками. Язык свой мы тоже забыли, почти все. Но я все равно китайка».

«Ладно, китайка. Как попала в Москву?»

«Один человек звал девушек из нашего кишлака, которые танец живота умели танцевать, в Москву работать. Я хорошо танцую. Сказал, много денег будут платить. Хотела матери помочь, у нее семеро детей, я старшая».

«Ну и как, много заработала?»

«Совсем ничего».

«Чем же занимались девушки, с которыми ты жила?»

«Спали с мужчинами».

«Значит, ты попала в бордель?»

«Не знаю. Нам такого слова не говорили».

«Кто у вас был главный?»

«Толстый китаец. Как зовут, не знаю».

«Почему ты назвалась Ли Кан?»

«Со мной девушка жила, она правда из Китая. Очень хорошая девушка. Мы хотели сбежать с ней вместе и найти родных, у нее были русские родные».

«Почему же она не убежала?»

«Ее убили».

«Может, ты и убила?»

«Нет. Зачем? Она хорошая была. Ее один мужчина задушил».

«Откуда ты знаешь? Видела?»

«Нет, но он всех душил, ему от этого хорошо было. Но многие девушки живые оставались, а ее совсем задушил».

«Почему ты это утверждаешь?»

«Потому что видела, как ночью ее завернули в одеяло и увезли на машине».

«Зачем же все-таки ты назвалась ее именем?»

«Думала, может, как-нибудь нечаянно найду ее родных и скажу, что я Ли Кан. Но я все перепутала, забыла. А потом Катюшу встретила, она привезла меня сюда».

«А ты заманила ее в лес и убила в благодарность, да?»

«Нет, мы потерялись...»

Долгим и изнуряющим был этот допрос. Наконец дядя распорядился: «Собирайся, поедем со мной в милицию». Лика безропотно пошла в свою комнату-кладовку, и тут я дяде сказал: «Никуда Лика не поедет. В то, что она что-то сделала с Катюшей, не верю, ведь она сама еле живая осталась. Что было в прошлом, меня не интересует. Но она беременна, и я не хочу, чтобы мой ребенок родился в тюрьме».

«Твой ребенок?» — дядя ударил кулаком об стол, потом у него даже дыхание перехватило. Он молча метался по комнате, пока наконец не выговорил:

«Ну ты козел! Нет, хуже — идиот! Куда тебя понесло от красавицы жены? Совсем мозги потерял? В общем, так, от ребенка освободим, договаривайся в больнице, а дальше все на тормозах спустим, пусть убирается ко всем чертям собачьим. Иначе пробью по всем параметрам. И бордель отыщем, и толстого китайца, и того, кто убил настоящую китайку».

«Нет, дядя Ваня. Ребенка она родит, а ты правдами-неправдами добьешься для нее российского гражданства и паспорта».

Он подошел ко мне, поднес фигу к носу: «А это видел? Не будет по-твоему».

«Ладно, — говорю, — но если по-твоему будет, то ты мне больше не родня. Деньги, что занимал, выплачу, на том и расстанемся...»

И тут только Сергей Иванович заметил, с каким удивлением смотрит на него доктор. Лицо ее, утомленное от долгого слушания, оживи-

лось, в глазах появился неподдельный интерес. Он помолчал, сам удивленный таким преобразованием, а Анна Павловна сказала:

— Наконец, Сергей Иванович, я слышу речь не мальчика, но мужа. Признаться, несколько неожиданно. И приятно. Так что же вам сказал дядя?

— Пошумел еще немного, на мать накричал, она ведь все это время сидела с нами, плакала, но не вмешивалась, а потом обещал все уладить. Правда, с оговоркой: «если не замешана в криминале». Я ведь вам говорил, что детей у него не было, кроме меня — ни одного родного человека. Только спросил: «А как Катюша найдется?»

Ответа на этот вопрос я сам не знал. Только надежды, что она найдется живая, практически не было. Прошло почти три недели.

— Ну, что ж, Сергей Иванович, на сегодня, наверное, довольно. В следующий раз нам предстоит самое трудное — решить, как помочь вашему сыну вернуться домой.

* * *

Лица лежала, свернувшись в комочек, в своей комнате. Она слышала, как ругался Сергей со своим дядей, и поняла главное — в милицию он ее не отдал. Но, может быть, прогонит из дома сам. А может, захочет поговорить. Он никогда с ней не разговаривает, только по делу или, наоборот, совсем уж о пустяках. Никогда у Лики не было человека, с которым она могла бы поговорить. Разве что китайка Ли, но ее уже нет на свете. Да и что ей было рассказывать из своей убогой, жалкой жизни!..

Если ты старшая дочь в мусульманской семье, то должна нянчить и растить всех братьев и сестер. А если ты еще некрасивая и хороший калым за тебя никто не даст, значит, жди, что отдадут за старика или какого убогого.

Лучше всего жилось Лике, которую звали тогда Гулей, в школьные годы. Она училась в русской школе, быстро решала задачки и получала пятерки по математике. По русскому языку отставала, дома говорили только по-узбекски. После шестого класса отец в школу не пустил. Мама рожала детей почти каждый год. Сестра Наргиз на два года младше Гули, а потом народилось еще пятеро братишек. Наргиз

была красивая, говорят, как мама в молодости. Только теперь мама стала толстая, а огромные груди у нее висели почти до пояса. А Гуля похожа на отца, он маленький, и лицо у него плоское, как лепешка. К Наргиз уже сватались из хорошей семьи, когда ей было только четырнадцать лет. На Востоке привычное дело — свататься заранее, но отдавать младшую сестру раньше старшей принято не было.

Сколько помнит себя Гуля, она нянчилась со своими братишками. Летом хорошо — она мыла в арыке пробегавшим по двору ребятам обкаканые попы, стирала грязные пеленки, утирала сопливые носы. Но были в ее жизни радости.

Гуля любила работать в саду, а главное — выращивать розы. Рано утром срезала самые красивые, приносила в дом и ставила в тяжелый глиняный кувшин. Правда, до вечера они обычно не достаивались, кувшин опрокидывали малыши. Тогда она вытирала с пола воду, поднимала пустой кувшин, а утром приносила свежие розы. Отец тоже любил цветы, но другие, которые росли за оградой на заднем дворе — яркие крупные маки, тоже очень красивые, но они не пахли, как розы. Отец сам ухаживал за ними, а потом собирал и сушил. Иногда из сушеных корбочек заваривал чай, который называл кукнар, пил его и становился веселым и добрым, а потом долго-долго спал. Если у кого-то из малышей болел живот, он делал из тряпочки соску, макал в этот чай и давал им. После этого малыши тоже долго спали, а животики переставали болеть, понос тоже прекращался. Когда сушеных головок мака набиралось много, за ними приезжал к отцу какой-то человек и давал ему деньги. Наверное, он тоже любил чай-кукнар или был доктором и лечил малышей.

И уже совсем праздником для Гули и ее сестры считались те дни, когда они могли на час или два отпроситься из дома погулять с малышами на берегу речки, а сами шли в конец махалли в гости к Биби-Ханум. Эта старая женщина когда-то жила в Бухаре и была настоящей артисткой-танцовщицей. Семьи у нее не было, а соседи не любили старушку и называли плохим словом, потому что одевалась она совсем не так, как принято одеваться мусульманским женщинам, сильно сурьмила глаза, а еще красила щеки и губы. Зато девчонки ее любили:

потихоньку приходили к ней учиться танцевать. Биби-Ханум надевала свой старый наряд, в котором когда-то выходила на сцену, — шаровары, прозрачную кофточку и тонкую прозрачную чадру, и начинала танцевать совсем как молодая. Малышей усаживали в саду на расстеленные курпачи, Биби-Ханум давала им фрукты и конфеты, а Гуля с Наргиз и другие девушки, которые учились танцам, старательно повторяли каждое движение своей учительницы. Больше всех Биби-Ханум хвалила Гулю и никогда не говорила ей, что она некрасивая.

Однажды, когда сестры возвращались домой от Биби-Ханум, Наргиз шепнула Гуле: у меня есть большой секрет, я расскажу тебе вечером, когда уложим братишек. Только поклянись, что никому не скажешь. Гуля поклялась, хотя ей и рассказывать было некому, с ней особо никто и не разговаривал. Еле-еле дождалась вечера, никак не могла догадаться, что за секрет у сестры, если они целый день на виду друг у друга, а та только таинственно улыбалась. Наконец настал долгожданный час, дом затих, девушки вышли в сад пошептаться.

— Я завтра утром уеду в Москву навсегда, стану артисткой, как Биби-Ханум.

— Наргиз, с кем ты уедешь? Разве тебя отпустят родители?

— Мы ничего им не скажем. Ты же знаешь Икрама, который приходит к отцу покупать мак? Позавчера он мне шепнул, чтобы я вышла за ним через час, а он будет ждать возле речки. Я сначала отказалась, вдруг кто-нибудь увидит меня рядом с мужчиной, но Икрам очень просил, сказал, что будет стоять за большой ивой, его никто не заметит. Тогда я взяла ведра и пошла за водой. Потом остановилась возле ивы, на речке никого не было. И он рассказал, что красивых девушек один человек отвозит в Москву, там есть такие... ресторан называется. Помнишь, мы видели в кино по телевизору.

Телевизор Гуля смотрела очень редко. Он стоял в комнате отца, и они с Наргиз заходили туда только в его отсутствие. Кроме того, была слишком занята домашней работой. Но кое-что все-таки удавалось посмотреть. Ресторан — это очень красиво, и люди туда ходят тоже красивые и богатые.

— Девушкам, которые там поют и танцуют, дают много денег, а хозяин тоже деньги платит и покупает красивую одежду, как у Биби-Ханум. Гуля, мне надо ночью, в три часа, опять прийти к речке, там будет ждать машина. Только часы надо взять у отца потихоньку, а то как я время узнаю?

— Ладно, — сказала Гуля, — часы я у отца сниму с руки, он крепко спит, кукнару напился. А мы давай посидим с тобой сегодня подольше, а то, может, не увидимся.

То, что сестра не должна поехать, Гуля решила сразу. Наргиз еще маленькая — пятнадцать лет только, глупая. Да и зачем ей ехать? Она красивая, у нее уже есть жених из хорошей семьи, большой калым за нее заплатят. Сказать родителям нельзя — отец убьет. Надо поехать ей самой, ничего хорошего здесь в кишлаке ее не ждет. А в Москве, может, и повезет, танцует-то она, правда, хорошо.

Как и ожидала Гуля, отец не проснулся, и она не только сняла часы, но и налила из кувшина большую пиалу кукнара, другую такую же наполнила зеленым чаем и вынесла обе в сад. Ту, что с кукнаром, подала Наргиз. Та, сделав пару глотков, все-таки заметила странный вкус.

— Пей, — успокоила Гуля, — это я сегодня в чайник райхон и мяту положила, заварки совсем мало было.

Когда пошли спать, Гуля предложила:

— Часы отдай мне, я тебя разбужу. А то ты проспишь, ты спать любишь.

— Да, — кивнула Наргиз, улыбаясь счастливой и глупой улыбкой. — Мне уже сейчас спать хочется.

Утром надела национальную одежду: цветные шаровары — изоры, атласное платье, Гуля накинула также платок, оставив открытыми только глаза, как и положено восточной женщине. Тихо выскользнула из дома и направилась к речке, где росла большая ветвистая ива. Икрам довез ее до Ташкента, так и не заметив обмана, а потом пересадил в другую машину «Газель», где сидели еще четыре девушки, и уже другой мужчина повез их в Москву. Не в ресторане, а в подвале полуразрушенного здания на окраине столицы оказалась Гуля, в самом дешевом притоне. Там было сыро, грязно, воду откуда-то привозили, электричество, правда, было. И ходили в этот

притон тоже грязные, пахнувшие потом и перегаром мужчины. Только один приезжал на дорогой машине, был чистый, хорошо одетый, но он душил девушек. Командовал всем толстый, очень толстый китаец. По-русски он говорил так хорошо, что если на него не смотреть, то можно было принять за русского.

Гульнара ему не понравилась сразу. Он выговаривал узбеку, который их привез. Куда смотрел? Откуда такую взял? Одни кости, худая совсем.

— Какую Икрам дал — такую и привез, — оправдывался узбек. — Есть мужчины, которые худых любят, я знаю. Худые выносливые, толстая столько не выдержит, сколько худая. У узбеков есть пословица: сухой саксаул ярче горит, сильнее греет.

Разговор этот велся в присутствии Гули, и она решила сама заступиться за себя.

— Я буду стараться, хозяин. Я хорошо могу танцевать, училась у настоящей артистки. Особенно танец живота у меня получается.

Китаец долго смеялся, потом сказал, вытирая слезы, выступившие от смеха:

— Это хорошо, старайся. А танец живота будешь под мужчинами танцевать. Думаю, что это им понравится, — и опять громко расхохотался.

Гуля относилась к жизни философски, хотя вовсе не мыслила такими категориями, да и слово «философия» не знала. Она не противилась судьбе, но умела выдерживать ее удары. Вот и тогда она смирилась со своей участью, даже радовалась, что спасла сестру. И еще сказала себе: если так случилось, что это ее работа, значит, она будет делать ее хорошо. Китаец обещал, что заплатит много денег, когда пройдет три месяца. Что ж, она подождет. За деньги можно чему-нибудь научиться, какому-нибудь настоящему делу, и тогда, возможно, она найдет мужчину, только одного, своего. А пока тоже будет учиться, узнает и поймет, что именно нравится мужчинам, и тогда единственному будет с ней хорошо, она сумеет ему угодить. И еще придумала игру: если не хватало сил, представляла, что уже сейчас она с тем, с будущим, со своим, и тогда Гуле самой начинала нравиться эта игра, она входила в такой азарт, что движения ее действительно походили на танец живота, пусть и в таком, распластанном виде. Вот почему посетители притона

выбирали ее чаще других, красивых, девушек. Иногда Гуля пыталась придумать лицо своему будущему единственному мужчине, но придуманное изображение расплывалось, теряло очертания. Единственно, что она успевала заметить — это лицо не китайца, не узбека, а русского человека.

Толстый китаец был ею доволен, но денег не платил. Однажды, когда Гуля пришла очередной раз просить деньги, даже избил ее. Китайка Ли, единственная, с которой Гуля подружилась в этом притоне, уговаривала ее больше не ходить к нему: он не заплатит никогда. Ли толстый китаец привез из Китая тоже обманым путем. Обещал помочь найти ей родственников по русской линии. Поэтому надо как-то убежать отсюда, а родных они найдут сами, потому что это известные люди: их помнят в России, а сейчас даже пишут о них книги. Если бы Гуля знала, что бежать ей придется одной, она бы все запомнила: фамилию, адрес, саму историю. Но она просто слушала, как сказку, и старалась придумать план побега. Почти придумала, но все пошло наперекосяк. Бедняжку Ли задушил придурок, приехавший на дорогой машине. Через несколько дней Гуля пошла к толстому китайцу, чтобы сказать: если не даст денег, больше не будет спать с мужчинами, пусть ее лучше убьют.

У толстого китайца была отдельная комнатка, которую он запирали, когда поздно вечером уезжал домой. Но в тот день, как подумала Гуля, он не уехал, потому что из-под двери пробивался свет. Она потихоньку постучала, ей никто не ответил. Тогда Гуля решила войти без разрешения. Толстый китаец действительно не уехал, он лежал на полу с перерезанным горлом, а рядом валялся нож. Что-то хлопало, булькало в этом горле, возможно, он был еще жив, но Гуля не стала звать на помощь, ей не было жалко толстого китайца. Она бросилась к столу, выдвинула ящик, увидела несколько паспортов, нашла среди них свой. Но денег в столе не было. В углу комнаты стоял сейф, в котором китаец, видимо, держал деньги. Но как его открыть? И куда идти без денег? Преодолевая страх, обыскала карманы брюк, кое-что нашла, но это так, мелочь. На полу еще были сложены какие-то вещи. Переворотив, поняла, что это одежда

девушек, наверное, тех, которых, как Ли, уволили завернутыми в одеяло. Нашла джинсовый костюм — брюки и куртка, — быстро переоделась и выскочила из комнаты. Подумала: сейчас или никогда. Завтра увидят убитого толстого китайца и скорее всего ее заподозрят в убийстве. Она лазила в стол, трогала сейф, а главное — оставила там свою одежду. Вышла из подвала и быстрым шагом прошла мимо дремавшего на сложенных кирпичках охранника. Он все-таки зашевелился, поднял голову и лег опять, как будто лежал на мягких курпачах. Видимо, принял ее за посетителя притона...

Когда Гуля, ставшая Ликой, впервые увидела Сергея Ивановича, у нее защемило сердце, потому что размытые видения, ее попытки представить своего будущего мужчину обрели четкие очертания. Это было то самое лицо. Это был он. Но и тут все не складывалось. Сергей Иванович — муж Катюши, которая пожалела Лику и привела в свой дом.

Лица лежит и слышит сквозь стенку, как Сергей ругается со своим дядей. Похоже, заступается за нее. Но кто победит в этом споре? Возможно, утром ее выгонят из дома. Вместе с ребеночком.

Лице страшно и почему-то холодно. Она куется в одеяло, стараясь согреться. Пусть все будет как будет.

* * *

Анна Павловна с утра чувствовала себя нездоровой. Подскочило давление. В последнее время это случалось не так уж редко. Пора бы уже пролечиться основательно, но откладывала на потом, обходилась таблеточками. Знала и то, что надо изменить в своей жизни: меньше работать, по крайней мере, отключаться от работы, покидая стены больницы, а еще вечерние прогулки на свежем воздухе вместо... Ну, вместо чего, Анна Павловна даже додумывать не стала. Это ее привычки, ее слабости, и на каких весах взвесить, что хуже, что лучше скажется на ее самочувствии? Отказаться от них во имя здорового образа жизни (весьма, кстати, спорное понятие) или жить, как жила, не устраивая организму дополнительных стрессов?

Жаль, что придется отменить назначенную на вечер встречу с Сергеем Ивановичем. Тянуть особенно некуда — Сашу надо выписывать, и сегодняшний разговор должен быть самым важным. Есть, правда, вариант — пригласить его домой. В конце концов, он не душевнобольной, не пациент больницы, с которым нужно выдерживать определенную дистанцию. Они могут больше и не увидятся. А может быть, наоборот, стать приятелями. Почему нет? Она могла бы время от времени отслеживать состояние Саши. Кроме того, у нее совершенно нет общения вне больницы.

Квартира, конечно, запущена, но немного она прибралась, по крайней мере, в зале. Да и вообще — пусть все будет как будет. К их встрече это не имеет отношения никакого. Сергей Иванович принял предложение, как ей показалось, с облегчением и даже радостью. Это понятно. Больница есть больница. Где-то рядом лежит в палате сын. Нет-нет да заглянет в ее кабинет по какому-то поводу, а может, из любопытства, дежурная сестричка, позвонит дежурный врач.

Сергей Иванович пришел с букетом очень красивых роз, сказал, что их выращивает Лица. Смущаясь, достал бутылку коньяка: вдруг захочется... Выложил также закуску, пусть не совсем коньячную, но очень аппетитно пахнущую, — колбасу, окорок, какой-то мясной рулет. Сказал — все натуральное, у них своя копильня.

Перекусить и выпить решили попозже, а разговаривать и курить начали сразу.

— Как я вам уже рассказывал, Лику я дяде на откуп не отдал. Но он, прежде чем помочь, действительно пробил ее по всем параметрам уже там, в Москве. То, что Лица год прожила у нас без регистрации, можно сказать, ее просто спасло. Дело в том, что в день ее побега был убит хозяин притона толстый китаец, а поскольку в его конторке нашли одежду Лику, она и стала первой подозреваемой. Ее объявили в федеральный розыск, но под настоящим именем и фамилией. К счастью, за это время нашли настоящего убийцу. Как узнал дядя, в притоне этом крутились также наркотики и он уже находился в оперативной разработке. И еще что интересно. «Крышевал» этот притон очень большой чиновник. Тот самый, что приезжал на дорогом автомобиле. Почему по-

сещал такое явно не по рангу заведение? Потому что был извращенцем. Кроме того, что нравились ему только азиатские девушки, он еще душил их, это был его способ получения оргазма. Случалось, насмерть.

— Теперь подойдем к самому главному — рождению сына. Роды прошли благополучно?

— Не совсем. У Лики слишком узкий таз, хотели делать кесарево. Потом отказались от него, но роды вызвали раньше времени и щипцы тоже пришлось применить. Может, поэтому родился он слабеньким, долго не вставал на ножки.

— Лика была хорошей матерью?

— Да, хорошей. Собственно, она все делала хорошо. Когда она еще была в роддоме, мама упала, сломала шейку бедра. Лика за ней тоже заботливо ухаживала, но у мамы развилась тяжелая пневмония, и мы ее потеряли. Сына пытались лечить, возили по врачам, но ничего определенного так и не добились. Все изменилось после того, как прилетела шаровая молния. Саша не только выздоровел, но и стал проявлять необыкновенные способности. Кстати, как вы относитесь к этому?

— Что вам сказать... Возможности психики безграничны и до конца не познаны. Были случаи, когда после физической травмы, комы, удара молнии или электрического тока у человека начинали проявляться экстрасенсорные и другие способности. Малограмотный крестьянин вдруг начинал говорить на нескольких иностранных языках, кто-то стал выходить на транспланетарное видение и писать картины, в основу которых были положены отнюдь не земные сюжеты... Но, возможно, ваш ребенок был одарен с самого рождения, просто время, когда эта одаренность должна была проявиться, совпало с посещением молнии. Когда-то меня интересовали дети-индиго, я собирала материал для кандидатской диссертации, но так и не написала в силу личных обстоятельств. Гениальные дети быстро сгорают. Вспомните художницу Надю Рушеву, которая в подростковом возрасте умерла от кровоизлияния в мозг. Перед перестройкой в прессе много писали о девочке-поэтессе Нике Турбиной, сравнивая ее поэзию с поэзией Блока, Пастернака. Когда началась перестройка, о ней все забыли, поэзия уже ма-

ло интересовала и издателей, и читателей. Девушка, не выдержав разрыва с детством, выбросилась из окна. Стихи она писала, кстати, пророческие, на грани ясновидения, и свою обреченность чувствовала с ранних лет. Вообще, психика гениальных детей хрупка и ранима, они наиболее часто склонны к суициду. Кроме того, как правило, зацикливаются на моноидеях. Так что Саша, скорее всего, посвятит жизнь изучению шаровой молнии и будет искать форточку в параллельный мир.

— А чем вообще объясняется появление детей-индиго?

— Есть только попытки объяснить, но все они безуспешные. Что касается лично моего мнения, я считаю это ничем другим, как игрой генов.

— Я все-таки связываю одаренность своего сына с шаровой молнией. Ведь она прилетала к нам дважды, и это не может быть случайностью. А мне теперь предстоит рассказать о первом сне Саши. Ему тогда было всего одиннадцать лет. Я сидел за столом и листал семейный альбом. Причем не затем, чтобы смотреть на фотографии. Просто иногда я засовывал туда какую-то нужную бумагу (квитанции, деловые письма), чтобы были под рукой: раз и достал, альбом всегда лежал на стеллаже на видном месте. Сын подошел и встал у меня за спиной. И тут мне на глаза попала фотография Катюши. Черно-белая, совершенно прекрасная — работа моего приятеля, фотокора одной из газет. Катюша с распущенной косой, вся в бликах солнечного света. Я приостановился, невольно залюбовался ею, взгрустнул. И тут слышу голос Саши: «Какая красивая девушка. Я ее знаю. Как жаль, что ее убили».

Я вздрогнул, обернулся, смотрю на сына, а у него на лице такая взрослая печаль, а в глазах слезы. Растерялся, но все-таки сказал: «Ты не мог ее знать. Она действительно умерла, но тебя еще не было на свете. И с чего ты решил, что ее убили?»

«Увидел во сне. Она стояла возле большой березы, в лесу. Рядом валялось поломанное дерево. А потом ее задушили розовым шарфом».

— Ваша жена при этом присутствовала?

— Вошла как раз во время разговора. Я спросил Сашу: кто ее убил? И тут лицо его так страдальчески исказилось. «Не помню, папа, я уже давно видел этот сон. И лица не разглядел».

Этот человек, он стоял спиной». Мне хотелось спросить еще: человек — мужчина или женщина, но пожалел ребенка.

— Или боялись услышать ответ, — произнесла доктор.

Сергей Иванович, глянув на нее, замолчал ненадолго, по лицу его тоже пробежала страдальческая гримаса. Не отреагировав на реплику Анны Павловны, продолжил:

— Я обнял его, прижал к себе. «Не надо, сынок, не вспоминай. Это ведь только сон».

— Вы видели в это время лицо своей жены?

— Да. После того как обнял сына и он уткнулся в мое плечо, я повернулся и посмотрел на нее. Она казалась испуганной, но, думаю, мое лицо было таким же... Анна Павловна, я бы сейчас выпил рюмочку.

— Так пожалуйста. Сейчас принесу, из чего выпить, нарежу, чем закусить.

Принесла две маленькие хрустальные рюмочки — пусть отдыхает сегодня ее граненый стакан, поставила закуску.

— Начинайте, Сергей Иванович, ухаживать.

— Анна Павловна, хочу сказать, я не забыл, что за рулем, но решил переночевать в машине, в вашем дворе.

— Да бог с вами, Сергей Иванович! У меня четыре комнаты, найдется, где вам поспать, так что не берите в голову.

— Спасибо, Анна Павловна. А теперь я хочу спросить вас, что такое вещие сны.

— Сергей Иванович, дорогой вы мой! Тут бы разобраться с тем, что такое сны вообще, а вы хотите, чтобы я вам про вещие объяснила. Границы мозга спящего человека размыты, бессознательное состояние — режиссер наших сновидений. Что касается вещих снов... Фрейд считает, что подсознание посылает нам свои сигналы. Мы видим во сне то, что когда-то видели и пережили наяву, но тогда защитные силы нашей психики уберегли нас от восприятия, но воспоминания остались в подсознании. Потом проявились во сне. Это называется иллюзией уже виденного и, как правило, свойственно творческим натурам. Но у нас с вами не тот случай, так ведь? Саша не мог видеть ни Катюшу, ни убийство, если таковое было. Другие ученые считают вещие сны и вообще дар предвидения атавизмом. За послед-

ние столетия у человека атрофировалось это чувство за ненадобностью, но кто-то не отказался от него, чтобы сохранить в себе творца.

Впрочем, не будем теперь гадать. Большинство ученых отрицают вещие сны. Хотя никто не мог опровергнуть, например, сон Ломоносова, который точно сообщил ему место гибели отца. Скажите, после того, что рассказал сын, обстановка в семье как-то изменилась?

— Не без этого... У меня появилась какая-то настороженность по отношению к Лике, а сама она как будто стала побаиваться Саши. Иногда как-то по-особому стала всматриваться в его лицо, будто сомневалась, ее ли это ребенок. Потом все это постепенно стерлось, забылось, и мы стали жить по-прежнему. То есть хорошо. Мы ведь действительно жили хорошо: ни ссор в семье не возникало, ни разногласий. Конечно, в основном это заслуга Лики.

Прошло еще пять лет, Саше исполнилось шестнадцать, он год уже как окончил экстерном школу, но мы решили, что в вуз он пока поступать не будет. Пусть подрастет хотя бы еще год-два. При всех своих способностях он во многом был наивен, робок, излишне жалостлив, мне казалось, что в студенческий коллектив лучше войти ровесником.

В ту ночь бушевала сильная гроза, ветер был почти ураганный, молнии сверкали так, что комнату заливало голубым светом. Как всегда, при разгуле стихии возникает чувство тревоги, но, казалось, все обошлось. Лишь на другой день узнали, что в поселке все-таки кое-где поносило шифер с крыш, были повреждены линии электропередачи, и еще молния ударила в сарай и сожгла его. Сарай этот принадлежал рыжему фашисту — так прозвали дети одного из наших сельчан за жестокое обращение с животными. Однажды этот, действительно фашист, на их глазах вилами заколол бездомную собаку, и это был не единственный случай. Кто-то из деревенских рассказывал, что уже после грозы летал по небу неопознанный объект в виде красного шара и якобы даже зависал над нашим домом. Школьный учитель физики заснял его на мобильный и собирался послать уфологам. Но мы ничего этого не видели. Только сын наш наутро после грозы долго не выходил из комнаты. Вроде дело понятное — не выспался из-за грозы, но

меня не оставляло чувство беспокойства. Тем не менее Лика, как всегда, приготовила завтрак, оставила Саше записку, что разогреть, где взять, и мы с ней уехали на машине. Завез ее на ферму, а мне нужно было в Москву, и вдруг я обнаружил, что забыл дома мобильный. Остановился, посидел в раздумье несколько минут. Даже поговоривал себя — ну забыл и забыл... Не так уж он мне и нужен. Возвращаться — плохая примета. Но тем не менее развернулся и поехал домой. Открыл дверь своим ключом и услышал звук льющейся воды. Вбежал в ванну и увидел Сашу с перерезанными венами. И пока я его вытаскивал, затем перетягивал бинтами запястья, он в полусознательном состоянии повторял: «Папа! Это была мама. Теперь я четко увидел. Она обернулась, и я увидел. Папа, зачем?»

В «скорой» его прооперировали, зашили вены, все обошлось. Врач сказал: если суицид, обязательно нужна помощь психиатра. Я обещал, что отвезу его в психиатрическую больницу, но не в нашу, они смогут это проверить. Не хотел засвечивать парня. Сообщили также в наше отделение милиции. Я так понимаю, убедиться, что не было доведения до самоубийства.

С Ликой встретился только вечером. Посадили напротив себя, рассказал, что случилось с Сашей, и, глядя в глаза, спросил:

— Зачем ты убила Катюшу?

— Вопрос, конечно, очень умный. Непонятно, действительно, зачем?.. — ироничная улыбка тронула губы Анны Павловны. Но она как бы одернула себя: — Впрочем, продолжайте, Сергей Иванович, продолжайте...

Сергей Иванович тоже не стал заострять внимание на реплике доктора.

— Анна Павловна! При всей своей проницательности вы даже представить не можете реакцию Лики. Она не стала отвечать на мой, вы правы, идиотский, вопрос, не стала ничего отрицать и оправдываться. Лика словно получила ответ на вопрос, который мучил ее долгие годы: «Это не мой сын. Катюша вдохнула в него свою душу. Я видела, видела! Белое облачко вылетело из ее рта и коснулось моих губ. Китайцы про это знают. Уйгуры тоже. Вы не знаете... Это не мой сын...»

И согласитесь, Анна Павловна, это равносильно признанию в убийстве... Что мне прикажете с этим делать?

— Ну, не бежать же в правоохранительные органы... Во-первых, как там говорят, нет тела — нет дела. Обстоятельств случившегося мы, скорее всего, никогда не узнаем. А сон — это лишь сон и доказательством не является. Если исходить из того, что преступление все-таки было совершено и совершила его Лика, скорее всего сделала она это не умышленно. Ведь если бы планировала, то, действительно, не звала бы с собой доярок. Да и сама ведь была недалеко от гибели... Помните, вы упрекали меня, что готова вывернуть вас наизнанку? А представьте, если бы мне удалось это сделать до исчезновения Катюши, тогда вы сами бы не загоняли в подсознание свои мысли и чувства, а признались себе, что любите Ликку. Тогда все могло бы обойтись без трагедии, так, небольшими семейными неурядицами. Вы просто развелись бы с Катюшей. Она, скорее всего, отнеслась бы к этому, насколько я могу судить о ее характере, относительно спокойно. Ушла бы к матери, вы могли бы даже остаться друзьями. И жили бы со своей Ликой, растили бы своего замечательного сына.

Анна Павловна говорила что-то еще и вдруг почувствовала себя в роли ведущей одной из передач, которые называла: «Чужую беду руками разведу». Вспомнила отца с его фразой: «Ну, меня, как Ахромеева, бечевкой не удавишь» и свою реакцию, вернее, ее отсутствие. И еще все те мелочи в поведении сына, которые должны бы ее насторожить, но не насторожили...

Замолчала, прижала ладони к вискам, словно ее мучила мигрень, и внезапно осевшим голосом попросила:

— Налейте, Сергей Иванович... Что-то в горле пересохло.

— С удовольствием, Анна Павловна. И вы правы, правы во всем, что говорите. Но ведь это и есть та соломка, которую человек не успевает подстелить. Сейчас-то что делать, как сына домой привезти, как жить втроем? Подскажите... Вы можете убедить его в том, что сон ничего не значит. Ведь мало какая бредятина иногда приснится...

— Попытаюсь, но боюсь, что он мне не поверит. Я знаю одного психиатра-гипнотизера, который умеет стирать нежелательные воспоминания. Но, во-первых, это не разрешено

официальной наукой и даже уголовно наказуемо. Такие специалисты обычно используются в спецслужбах. Или криминальных кругах. Кроме того, никто не знает отдаленных результатов таких экспериментов. Я могла бы вам дать совет: может быть, стоит отправить Сашу жить к вашему дяде в Москву. Поступит там учиться, начнется новая для него студенческая жизнь, будет постигать астрофизику и, возможно, сделает открытия в той области, которая так его интересует. Найдет ответ на вопрос, что же это или кто она — шаровая молния. Ну, а послезавтра, когда привезете его домой, постарайтесь вести себя как можно естественнее.

* * *

Лика срезала розы. Сначала белые, потом розовые, потом красные, совсем темно-красные и, наконец, черную розу. Так цвет будет идти по восходящей: от белых к черной розе в сердцевине букета будут подбираться всё более темные оттенки. А можно подумать по-другому: черная роза — только начало. Затем круги все светлее, светлее, совсем светлые. Ведь жизнь тоже складывается из разных цветов и тоже идет по кругу. У нее, Лики, не было ничего светлого с самого детства. И лишь последние семнадцать лет — так много, может, даже слишком много для нее, — были счастливыми. Только, похоже, они кончились, и, если бы Лика собирала букет для себя, она, пожалуй, окаймила бы его еще одним кругом из черных роз. Пусть бы та, одна, осталась в серединке, как в прошлом, ее не всякий там и разглядит...

С тех пор как Саша в больнице, муж почти не разговаривает с Ликой и не приходит в ее постель. А ведь она уже почти поверила, что все прошло, забылось, и Катюша там, на небесах, простила ее. Они ведь действительно тогда заблудились, искали болотце, возле которого, как говорили женщины, много торфа и много клюквы. Оно должно быть где-то близко, но Лика с Катей все шли и шли, а его так и не было. Как вернуться назад, тоже не знали. Пришлось заночевать в лесу. Катя боялась и плакала, Лика жгла костер и, как могла, успокаивала ее. Потом Катя все-таки уснула, и Лика накрыла

ее чем могла. Утром поднялись и снова отправились в путь. Катя без конца набирала номер Сергея, но он продолжал оставаться недоступным. Наконец вышли к болоту, видимо, совсем к другому, но Катя уже совершенно обессилела, ее клонило в сон. Опустившись на поваленное дерево, сказала Лике: «Я никуда не пойду. Давай беречь силы, нас найдут».

Холодало. Лика предложила: «Давай я похожу, может, найду какую-нибудь тропиночку или встречу кого. Ты оставайся на месте».

Она оставила ей последние запасы — воду и бутерброды.

Теперь Лика шла, стараясь запомнить дорогу, аукала, звала на помощь, все было тщетно. Небо почти не проглядывало сквозь листву деревьев, в лесу было темно, как ночью, ветер усиливался, сверху сыпалась ледяная крупа. Побродив, Лика все же решила вернуться к Катюше. Та уже не сидела на бревне, а лежала рядом, подложив ладони под голову.

— Катюша, не надо спать, — просила Лика. — Так мы пропадем, давай жечь костер, давай разговаривать.

— Мне холодно, — простонала Катя. — Я не могу, как мне холодно.

Лике тоже было плохо, она уже сутки не ела, все отдавала Кате, но все же держалась, знала, какая она выносливая. Сняла с себя розовый вязанный шарф, последнее из одежды, что могло хоть как-то согреть, сама осталась в легкой кофточке.

«Катюша, приподнимись, я тебя шарфом укутаю. Ну, хоть немного голову, пожалуйста, тебе сразу будет теплей. Встань, встань, пожалуйста. Вот умница. Смотри, какое дерево, береза, прислонись к ней, тебя и ветер тогда не достанет, она ветвями прикроет. Давай я на плечах шарф расправлю и вокруг шеи сейчас один конец перекину, а потом прикрою вторым грудь. Он большой и теплый, ты согреешься, и мы пойдем», — Лика уговаривала Катюшу, как ребенка, та с неохотой, но все же слушалась ее. И когда Лика пыталась сунуть конец шарфа под куртку, она встретилась с вдруг прояснившимися глазами Катюши. Они смотрели на нее в упор, и в них была такая откровенная ненависть, что Лика содрогнулась: «Катюша все знала и все это время меня ненавидела. Как же ей было тяжело, и как я виновата...»

Ли́ка отступила на шаг, потом еще на шаг и тогда только почувствовала, что в обеих руках держит по концу шарфа. Не поднимая глаз — она была почти на голову ниже Катюши — Ли́ка видела перед собой теперь только шею Кати, закутанную в ее шарф. Теперь она приближалась к ней так же медленно, как и отступала. Шаг, еще шаг — концы шарфа становятся короче, Ли́ка наматывает их на свои запястья. Потом крепко сжимает кулаки и рывком разводит их в стороны. Катюша медленно оседает по стволу березы. Ли́ка опускается вслед за ней, садится рядом. Только теперь понимает, что наделала. Шепчет: «Катюша, Катюша, я сейчас...»

Лихорадочно распутывает шарф, пытается развязать узел, он не поддается, пальцы не слушаются Ли́ку. Наконец справилась, но голова Кати беспомощно клонится вбок. Ли́ка укладывает ее на землю, гладит ее волосы, трет ладонями щеки, тормошит за плечи, но та уже ни на что не реагирует, глаза закрыты, дыхания не слышно. Тогда Ли́ка наклоняется над ней, теперь их лица совсем рядом. Легкий, последний вздох вырывается из груди Катюши, светлое облачко поднимается из ее приоткрытого рта, касается губ Ли́ки. Она испуганно вскакивает. Это душа Кати покинула ее, но не ушла в небо, нет... Она теперь будет всегда рядом с Ли́кой, и не будет им обоим покоя. А может быть, Катюша знала и про беременность Ли́ки, вдохнула свою душу ее ребеночку, только тогда он станет ее ребенком. «Я отняла у нее мужа, она взамен возьмет сына... Что же мне делать с тобой, Катюша? Я не смогу тебя похоронить и оставить здесь тоже. Здесь дикие звери, а ты такая красивая. Лучше я положу тебя в воду. Когда станет тепло, над тобой расцветут кувшинки, красивые цветы», — так решила Ли́ка.

Катюша намного тяжелее, чем Ли́ка, но Ли́ка вынослива и тяжести ей приходилось носить еще тяжелее. А тут снежная крупа засыпала землю, сделала ее скользкой. Она взяла Катю под мышки и поволокла к озерцу. Нет, скорее, к болоту. Озера молчат, болота разговаривают — скрипят, хлюпают, плачут. Когда Катюша скрылась под водой, Ли́ка, которая сама стояла в болоте по колено, едва вылезла на берег, зацепившись за какой-то крепкий куст. Да, это не озеро — тина захлебывала, тянула вниз.

Присев перевести дух на мягкий торфяник,

Ли́ка вдруг увидела в нем целые россыпи красной ягоды. Вспомнила толстого китайца: когда ругался с кем-нибудь, он выкрикивал угрозу: «Ты еще будешь плакать у меня кровавыми слезами». Еще раз посмотрела на ягодки, выглядывавшие из торфа, сказала: «Это не клюква, это мои кровавые слезы. Видимо, пришла я в лес именно за ними...»

Ли́ка поднялась и пошла куда глаза глядят, не разбирая дороги.

* * *

Анна Павловна вздрогнула от неожиданного телефонного звонка. Было уже десять часов вечера, и в это время ей обычно никто не звонил.

— Анна Павловна! Умоляю, приезжайте. Берите такси.

Она едва узнала Сергея Ивановича — настолько подавленным, убитым был его голос. Спрашивать что-либо по телефону не было смысла, отказать ему Анна Павловна тоже не могла. Скорее всего, Саша повторил попытку суицида, а это уже ее недоработка.

За день до выписки она сказала Саше, что знает о том, что он видел во сне маму и при каких обстоятельствах. Проговорили несколько часов. Доктор объяснила, что сны — это причудливое сочетание уже пережитого, виденного, замешенного на всей информации, которую предоставляют нам телевидение, Интернет и так далее. Нельзя воспринимать их как реальность, а тем более заикливаться на них. Даже рассказала об одной своей пациентке, которой снился один и тот же сон: кто-то звонит ей по телефону и сообщает о том, что по такому-то адресу сейчас находится ее муж с любовницей, женщина якобы вызывает такси, едет туда, дверь почему-то открыта, любовники в постели... Она кидается к своей сопернице и просто вгрызается ей в горло, даже чувствует на губах вкус крови. Вот это и навредило на женщину ужас, потому что была она человеком не только интеллигентным и воспитанным, но и незлобивым, кроме того, не ревновала мужа и даже не подозревала его в измене. Поэтому решила, что нездорова, и обратилась к психиатру.

«А если такое случится, что муж мой полюбит другую, — говорила она Анне Павловне, — я отпущу его с богом, даже не устроив скандала, как и должна поступить по-настоящему любящая жена». Но прежде чем лечь в больницу, она все-таки нашла по названному неизвестно кем адресу квартиру и съездила туда. Адрес оказался невымышленным, но там жили только пожилые супруги. Мы ее подлечили, она успокоилась, а муж ее через два года погиб в автомобильной катастрофе.

— Ну и в чем здесь смысл этого повторяющегося сна? — спрашивала она Сашу.

И Саша соглашался, никакого смысла. Действительно, сон — это калейдоскоп, сложенный из стекляшек, есть такие игрушки для малышей. Смотришь в глазок — такие картины складываются! Сломал — ничем не примечательные осколки.

Конечно, Анна Павловна слукавила. Конец у рассказанной о пациентке истории был совсем другой. Муж действительно погиб в автокатастрофе, но вместе с ним погибла и молодая женщина, дочь пожилых супругов, которых она нашла по указанному адресу. Женщина тогда вновь попала к ним в больницу, и лечение ее затянулось надолго...

Анне Павловне все казалось, что таксист едет медленно, да и сам путь оказался неблизким. Кроме того, шел дождь, и где-то вдалеке громычал гром. Наконец нашли они нужный дом, это как раз оказалось нетрудно, в этом селе все знали семью Сашиных родителей. Но, когда доктор увидела на пороге встречавшего ее Сергея Ивановича, она едва узнала его. Сомнений не было — случилась беда. Он и шел как-то странно, даже придерживался за перила крылечка, словно ноги плохо держали его.

Первое, что бросилось в глаза Анне Павловне, когда она вошла в дом, это огромный букет роз в вазе посередине стола. Они были серого цвета, совершенно неестественного для цветов, но не выглядели увядшими. Каждый лепесток и листик сохранял свою форму. Анна Павловна протянула руку, дотронулась до них — розы тут же осыпались на скатерть, превратившись в кучку золы. Цветы были сожжены, но что-то держало их в такой совершенной форме.

Опустилась в кресло, коротко произнесла:
— Рассказывайте, Сергей Иванович, не томите...

И вот что он рассказал.

Саша, вернувшись из больницы, казался спокойным, радовался встрече с матерью, играл с любимой собакой, то есть вел себя как обычно. И Сергей Иванович, и Лика были очень рады, оба надеялись, что все обойдется без эксцессов. Вечером вместе поужинали, Лика смотрела телевизор, забравшись с ногами в кресло, Сергей Иванович просматривал какие-то журналы, Саша сидел у компьютера в своей комнате. И вдруг в телевизоре раздался страшный треск, его как бы охватило пламенем. Решив, что он взорвался, Сергей Иванович хотел броситься обесточить электросеть, но тело не повиновалось ему, встать он не смог, а Лика между тем странно осела в кресле. Пламя каким-то образом сконцентрировалось в огненный шар, который поднялся под потолок и стал делать плавные круги. Тут из комнаты выскочил Саша, бросился к матери, закричал так отчаянно, что я понял: с ней случилось что-то страшное, что она, скорее всего, не жива, но и меня как будто парализовало. Все, что я мог, это как заколдованный следить за движениями шаровой молнии, а это была именно она. А Саша... Он вскинул руки вверх, словно пытаясь дотянуться до нее, и представьте, стал разговаривать с молнией, просил ее: «Не надо, не надо, давай уйдем отсюда».

По лицу Саши текли слезы, и он, не поворачиваясь, стал отступать, пятиться к выходу. Возле двери он повернулся и вышел за порог, а она, представьте себе, вылетела за ним. Скванность, охватившая меня, не отпускала, я просто был в отчаянии. Прошел примерно час, показавшийся мне вечностью, когда я смог доковылять до Лики. Лицо ее было черным, кисти рук тоже, одежда оставалась нетронутой. И так не большая, Лика уменьшилась в размерах и выглядела как десятилетний ребенок. Сергей Иванович дотронулся до ее руки, она была похожа на обугленную веточку. На лицо даже посмотреть боялся. Позвонил в «скорую», затем, едва передвигаясь, вышел на улицу. Там стояла, не расходилась, толпа зевак. Сергей слышал обрывки разговоров:

«Что-то зачастила к нам эта гостья, не к добру это...» Вспоминали сожженный сарай рыжего фашиста, другие истории, о которых слышали кто от очевидцев, кто по телевизору.

«Где мой сын?» — спросил Сергей Иванович.

Ему объясняли наперебой: «Так он побежал по улице, видно, хотел вести ее за собой, чтобы тут пожара не было, потому что она за ним так и двигалась».

«Такой смелый мальчик. Он, может, нас всех спас...» — сказал кто-то.

«Нет, вы не так рассказываете. Сначала — да, бежал, а потом молния эта или что еще, может, НЛО какое... В общем, оно его обогнало, поднялось повыше, и теперь уже он шел за ней, медленно, просто шел. Ну и как прошли нашу улицу, так мы больше и не знаем. Вернется, наверное, скоро».

Сергей Иванович обратился к соседу:

— Будь другом, садись в мою машину, объезди улицы, поищи Сашу. И вы, ребята, — это он уже к пацанам, к подросткам: — поищите где сможете, найдёте — приведите домой. Я сам не могу сесть за руль, но в долгу не останусь.

Приехала «скорая». Врач, глянув на Лику, сказал: «Ей не помочь, вы же сами понимаете. А вас надо осмотреть». Измерил давление, послушал сердце. Предложил поехать в больницу. Сергей отказался:

— У меня сын пропал. А со мной все в порядке.

— У вас же координация нарушена. Я бы все-таки предложил госпитализацию. Но если не хотите, это ваше право. Труповозку мы сами вызовем.

Уезжая, пожал Сергею руку:

— Держись, мужик. Природа, стихия, такое, брат, дело, от нее не спасешься. А сын придет.

— Спасибо, — ответил Сергей и подумал с тоскою: не придет. Она забрала его с собой. А может, он ушел за ней добровольно.

Анна Павловна осталась ночевать у Сергея Ивановича, благо завтрашний день был выходным — воскресенье. Спать не ложились, утром опять пошли на поиски Саши, расспрашивали очевидцев. Ничего нового, только Петр Николаевич, главный технолог молокозавода, озадачил своим рассказом. Дом его последний на улице, дальше начинается пастбище.

— Я увидел красный шар, плывущий над зелеными посевами, и бросился в дом за фотоаппаратом. Вдруг смотрю, идет Саша, туда, на пастбище. Я его окликнул, он не отозвался. Тогда попытался остановить, взял за плечо, говорю, не ходи, это может быть опасно. Саша как будто не узнал меня, и выражение лица было странным, отсутствующим каким-то. Но я продолжал держать его за плечо, и тогда он все-таки обратил на меня внимание, снял руку с плеча и сказал такую загадочную фразу, пошутил, наверное, но я, честно говоря, не понял...

— Повторить сможете? — спросила Анна Павловна.

— Да повторить-то чего проще, просто не понимаю, к чему это он... «Откройте форточку, господа», — вот что сказал Саша и пошел вслед за медленнодвигающимся шаром. Я растерялся, стоял как дурак, смотрел ему вслед, потом вспомнил про фотоаппарат, но когда вернулся, ни шара, ни Саши не увидел.

— Вы поняли что-нибудь, Анна Павловна?

— Я поняла, Сергей Иванович. Мы с вами поговорим об этом позже... когда-нибудь.

Через день приехали из Москвы дядя Ваня с женой Клавдией Семеновной, теперь оба уже пенсионеры. Дядя Ваня тут же распорядился написать заявление в милицию о пропаже Саши. Сергей Иванович написал, потом обращался на телевидение, в передаче «Криминальная хроника» показывали фотографию Саши, затем съездил в Москву на передачу «Жди меня», где тоже показывали фотографию — все было напрасно. Да Сергей Иванович, если честно, и не надеялся. Дела свои он совершенно забросил, хотел продать и ферму, и молокозавод, но дядя не разрешил. Сдал свою московскую квартиру, переехал с женой к Сергею Ивановичу и все взял в свои руки. Пообещал: «Справимся, пока ты придешь в себя». К делу подключилась и его жена, в прошлом — экономист.

Сергей Иванович же все больше времени проводил у Анны Павловны. Большое одиночество маленького мира сблизило их. Теперь не только у Сергея, но и у Анны была возможность выговориться, и как-то забылся ежевечерний ритуал со стаканом водки. Она заботилась о здоровье Сергея Ивановича, который

постепенно приходил в себя. Разговаривать они могли часами, все больше о мальчиках, которых недолюбили и не смогли уберечь. И в какую форточку ушел каждый из них, кто знает...

– Скажи, Анна, – они незаметно перешли на ты и обращались друг к другу без отчества, – то, что Лика рассказывала про душу, ну, что ее можно вдохнуть ребенку, которого носит другая женщина, такое может быть?

– Да что ты, Сергей! Даже если у какого-то народа есть такое поверье, это все равно мистика чистейшей воды. Абсурд.

Через минуту-другую, помолчав и остыв от возмущения, совсем другим тоном:

– А бог его знает, Сережа, что может, а что не может быть в этом мире. Юнг, чье имя проносят в одном ряду с Фрейдом, всю жизнь слышал голос, и все его труды были продиктованы этим голосом. И вот думай, кто этот Юнг – великий ученый или гениальный сумасшедший, если, конечно, это не одно и то же. И что это был за голос, откуда?

Вспоминали и Лиду. Анна жалела ее: сказка о Золушке без счастливого конца. Рассуждали о том, наказала ли ее судьба, жизнь ли, Господь Бог, выбрав своим орудием шаровую молнию, за убийство Катюши? И может быть, верно, что каждое зло рано или поздно, но наказуемо.

Духовная близость и понимание привели их однажды в одну постель, рано или поздно это должно было случиться.

– Акробатических трюков не обещаю, – пошутила Аня. – Мужчины у меня после отъезда Яши не было. До него тоже. Так что сексуальный опыт, увы, невелик.

– Я сам боюсь, – смущенно признался Сергей. – Не знаю, на что я теперь гожусь.

Но у них и тут все сладилось, а раны прошлого потихоньку затягивались. И уж совсем неожиданный-негаданный подарок преподнесла им судьба.

– Сережа! Я очень удивилась сама и, наверное, удивлю тебя. Я беременна.

У Сергея задрожали губы:

– А это можно? В смысле – родить? Не поздно, Аня?

– Нам только по сорок лет, Сергей. В сорок лет женщины рожают. Это сложно, но мы рискнем. Надо ведь для кого-то жить, как ты думаешь? И вообще – жить...

□

Людмила Дмитриевна БАСОВА.

Писатель, журналист, переводчик, киносценарист.

Родилась в Душанбе

и большую часть жизни прожила в Таджикистане.

Читателям известна по книгам «Про кино и про любовь» (1986),

«Зойка и пакетик» (1988), «Каинова печать» (2006),

«Предтеча любви» (2013).

Автор более десятка сценариев документальных фильмов.

Лауреат всероссийских кинематографических

и журналистских конкурсов.

Перевела на русский язык произведения многих таджикских прозаиков.

Член Союза писателей России.

С 1994 года живет во Владимире.



Михаил ГОЛУБКОВ

г. Москва



САТИРА ЮРИЯ ПОЛЯКОВА



У критика, который интерпретирует сатиру Юрия Полякова, есть, вероятно, два основных пути: весело смеяться с автором, смахивая вместе с ним невидимые миру слезы, следуя его мысли, следя за невероятными, алогичными, абсурдными поворотами сюжета, погружаясь в гротескные ситуации, которые, тем не менее, воспринимаются как вполне реальные. И часто невероятно смешные! Такой путь интерпретации вполне перспективен: двигаясь шаг за шагом за писателем, мы пытаемся понять то, что «хотел сказать автор», ибо кроме автора в тексте ничего нет и не может быть. Это, с определенными оговорками и упрощениями, основополагающий принцип герменевтики как литературоведческой методологии анализа художественного текста.

Но как была бы скучна критика и чопорно литературоведение, если бы серьезному герменевтическому направлению, академическому, строгому, скрупулезно изучающему биографию творца и философские, эстетические, социокультурные, бытовые реалии его эпохи, не противостояла бы критика, условно говоря, постмодернистского направления – озорная, веселая,

способная воспринять и продолжить авторскую игру – как будто отбить ракеткой теннисный мячик и оправить его обратно, за сетку, на авторское поле... Такой критик не страдает скрупулезностью дотошного исследователя, который в погоне за герменевтической достоверностью станет пытаться изучать, какие бутерброды давали в буфете ЦДЛ на рубеже 80–90-х годов и действительно ли автор мог употребить некий чудесный эликсир, произведенный первыми, еще советскими, кооператорами под названием «амораловка»? Эти вопросы не заинтересуют критика-постмодерниста: он, скорее, окажется на том самом корте, где играет автор, и включится в эту игру, дополняя авторский замысел новыми смыслами и не особо заботясь о том, видел ли их сам писатель. «Что хотел сказать автор?» – вопрос, меньше всего волнующий постмодерниста. Ему интереснее, что может сказать он сам об авторском тексте, какие «мерцающие» в нем смыслы обнаружатся, если начать играть по правилам, предложенным автором.

Кто прав – строгий профессор в академических очках, при галстучке, с портфелем, настаивающий

Конечно, логичнее было бы так, пустыми страницами, начать вступительную статью о двух сатирических произведениях Юрия Полякова. Иначе говоря, поступить так, как это сделал герой-рассказчик «Козленка...».

Сама по себе главная сюжетобразующая ситуация романа (которая, забегая вперед, скажем, сулит множество глубоких философских обобщений) совершенно абсурдная и игровая. Герой, от лица которого ведется повествование, неудачливый литератор, который перебивается с хлеба на квас то очерками истории шинного завода, то речевками для пионерских утренников (спрос на который стремительно падает), затевает в дубовом зале ресторана ЦДЛ нелепый спор со своими приятелями, что он сделает из любого человека, весьма далекого от литературы, писателя – буквально за месяц-два.

Нелепость сюжетобразующей ситуации (как, наверное, понял уже наш читатель, перевернув две пустые книжные страницы), развивается с невероятной быстротой и приобретает буквально гоголевские гротескные формы. Изрядная порция пива и культурный бульон рубежа 80–90-х годов, в котором растворены сублимированные кубики французского постструктурализма 60-х, и формируют ситуацию своеобразного культурного и онтологического абсурда, определившую событийный ряд романа. Сидя в дубовом зале ресторана ЦДЛ, друзья-литераторы обсуждают, не называя имена Барта, Дерриды, Делеза, Кристевой, Лиотара и других французских интеллектуалов, в среде которых зародились эстетические принципы постмодернизма, то мирозерцание, которое претендовало тогда (а в перспективе будет, и не без успеха, претендовать еще на целое десятилетие вперед) стать модусом вивенди всей «интеллектуальной» постсоветской литературы. По сути дела, в пьяноватом разговоре между рассказчиком, Стасом и Арнольдом, корреспондентом газеты «Красноярский зверовод», претендующего на вакансию писателя-сибиряка, обсуждается концепция, высказанная в знаменитой статье Роллана Барта с говорящим названием «Смерть автора». Притом эта концепция накладывается на ощущение как бы ненужности литературы, которое тогда, на рубеже 80–90-х годов, впервые возникло и, страшшее своим разлагающим эффектом, проникло сначала в литературное, а потом и общественное сознание. Мало кто мог подумать, что это ощущение, для человека читающего или пишущего сродни потери почвы под ногами, есть начало новой онтологической ситуации – потери русской культурой присущего ей на протяжении

последних трехсот лет литературоцентризма, когда именно литература предопределяла манеру чувствовать и думать и ориентировала человека в новой исторической ситуации. И вот новая историческая ситуация возникла, но слово писателя вдруг не услышано...

– Я даже не представляю, – восклицает один из спорщиков, – что сегодня нужно написать, чтобы тебя услышали?!

В сущности, он как раз и описывает то положение, в котором оказывается писатель современной эпохи: не востребованости и не услышанности писательского слова в тот момент, когда, казалось бы, оно должно звучать как колокол на башне вечевой...

– Ничего писать не надо, – подыгрывает собеседнику повествователь. – Текст не имеет никакого значения. – И дальше уверенно продолжает. – Можно вообще не написать ни строчки и быть знаменитым писателем! Тебя будут изучать, обсуждать, цитировать...

В сущности, пятая бутылка пива выводит повествователя на мысль о том, что идея смерти автора должна быть оплачена литературой рождением читателя, который вкладывает свои смыслы в прочитанное. А на месте автора, как следует из статьи Барта, появляется скриптор. В сущности, все последующие рассуждения в той или иной степени, пусть и в пародийной форме, сводятся к тому комплексу идей, который развивали французские постструктуралисты в 60-е годы. Именно эти идеи казались в 90-е наиболее притягательными и заманчивыми, способными противостоять вдребезги одряхлевшей соцреалистической идеологии, секретарской литературе, литературному официозу, который мало кто воспринимал тогда всерьез. Именно поэтому рассуждения героя встречают полное понимание и поддержку в самых разных литературных кругах, но особенно в момент рождения идеи, ставшей сюжетобразующей, «ибо пиво в больших количествах, – по меткому наблюдению повествователя, – делает человека удивительно упрямым».

Постмодернистская культурная ситуация и становится главным объектом сатирического осмысления в романе Ю. Полякова. Дело в том, что в основе постмодернистского мироощущения, так своеобразно развитого повествователем, лежит мысль о принципиальной завершенности истории. Тезис о конце истории в постмодернистском лексиконе сводится к пониманию того, что все уже было, поэтому современность есть бесконечное повторение прошлого. Все, что могло быть сказано, уже сказано, поэтому современ-

ный человек обречен на бесконечное повторение своих предшественников. Даже для того, чтобы объяснить в любви, своих слов больше нет, они окажутся миллионным эхом повторений, прошедших через века истории, и влюбленный не окажется их автором, но будет лишь цитировать бесчисленный ряд тех, кто был до него.

Из этого возникает важнейший тезис постмодернистской эстетики: смерть автора (вспомним, так называлась основополагающая статья Р.Барта). Фигура автора уходит в самую глубину литературной сцены, ибо своего слова у него больше нет: все уже написано, возможно лишь повторение. Она заменяется фигурой скриптора, который вольно или невольно компилирует написанное ранее. С этим связано такое важнейшее для постмодернистской литературы понятие, как интертекстуальность: любой текст содержит в себе бесчисленное количество предшествующих текстов, мерцающих разными смыслами, он буквально соткан из цитат, опознать которые не сможет и сам скриптор, ибо часто цитирует неосознанно, полагая, что это его слово, что он и есть автор. Однако играя чужими словами, цитатами, текстами, скриптор не может вложить в него своего смысла и не видит тех смыслов, которые предопределены интертекстуальной природой произведения.

Но смерть автора литература оплачивает рождением читателя. Именно он в силу своей искусственности, подготовленности, пронизательности видит «мерцающие смыслы», которыми играет текст, и наполняет его своим пониманием, вкладывает в него свой, весьма субъективный, смысл. Теперь смысловая сфера текста прямо зависит от читателей, чем их больше, тем она богаче.

Из этих основополагающих принципов постмодернизма следует, что предметом литературы становится не действительность, а предшествующая культура, ее осколки, фрагменты, идеологические клише, лозунги, классические литературные и даже сакральные тексты, лишенные своего контекста и исконного содержания.

Отсутствие своего слова в романе Ю. Полякова оборачивается отсутствием текста. Немота, столь характерная для постмодернистского мироощущения, воплощается в белых листах бумаги, которые, уложенные в объемные папки, собственно, и являют собой роман: в полном соответствии с концепциями постмодернизма, заполнить чистые листы предстоит читателям, которые, не читая роман, тем не менее составляют мнения о нем, причем самые разнообразные.

Так происходит рождение читателя, которым Литература, по мысли Р.Барта, компенсирует смерть автора! Мало того, чем больше мнимых читателей находит ненаписанный роман, тем больше интерпретаций, самых противоположных и противоречащих друг другу, обретает несуществующий текст!

Для тех, кому еще предстоит удовольствие познакомиться с «Козленком в молоке», опишем сюжетобразующую ситуацию романа. После пятой бутылки пива в дубовом зале ресторана ЦДЛ (нам, правда, показалось, что в какой-то момент герой все же сбился со счета) повествователю приходит в голову заключить странное пари: «Я готов взять первого встречного человека, не имеющего о литературе никакого представления, и за месяц-два превратить его в знаменитого писателя! <...> Готов поспорить: первого встречного дебила за два месяца я сделаю знаменитым писателем, его будут узнавать на улицах, критики станут писать о нем статьи, и вы будете гордиться знакомством с ним!» Тут же находится и кандидат на роль властителя дум: им становится некий чальщик из Мытищ, с незаконченным образованием ПТУ, имевший в школе по русскому языку тройку с минусом – и то только потому, что помогал учительнице окучивать картошку... Пари принимается, и поутру, протрезвев, повествователь понимает, что пора браться за дело – создавать гомункулуса, конструировать некую литературную личность...

Строго говоря, ситуация, описанная Поляковым как сугубо гротескная и абсурдная, не столь уж фантастична: литература знает не один случай, когда в задачу писателя входило создание некой маски, псевдонима, замещающего не имя, а саму творческую личность. Это могла быть стилевая маска, какую создал для себя М. Зощенко, заговорив в литературе от лица малограмотного и бескультурного полупролетария-мещанина, создав особый и очень специфический язык, заместивший в его творчестве язык русской культуры, в лоне которой он и формировался как писатель. Бывало и иначе: еще до акта творчества, до написания первой строчки писатель строил образ автора будущего произведения, конструировал некую творческую личность, притом создавал ее вне художественного текста. Такой личностью, прямо противоположной реальному автору, стал Абрам Терц, хулиган с бандитской развинченной походочкой, с папиросой во рту, с ножом в кармане, который он при первом же удобном случае готов пустить в ход. В личностном и творческом отношении это была прямая противоположность

настоящему автору, Андрею Синявскому, сотруднику ИМЛИ, человеку с университетским образованием, читающему лекции по поэзии студентам МГУ и никогда не носившему в кармане каких-либо режущих-колющих предметов. И не курившему, в дополнение ко всему. Но именно Абрашке Терцу, своему темному двойнику, мог Синявский передоверить авторство произведений, на которые не решился бы сам и среди которых, помимо многих романов, оказалась знаменитая статья «Что такое социалистический реализм?».

Но и у Зощенко, и у Синявского это были литературные персонажи, существующие в тексте или вне текста художественные образы. А у Полякова?

И тут, помимо одного смыслового уровня романа, когда постмодернистское мироощущение становится основой сюжета и объектом злой сатиры, мы находим еще один уровень, скрытый глубже, но не менее важный. Его формирует комическое, травестированное переосмысление мифа о Пигмалионе и Галатее. О творце и его создании. О трагических напряжениях, неизбежно возникающих между творцом и ожившим творением. Или, как скажет сам Поляков, о Галатее, наставившей рога Пигмалиону.

Итак, проснувшись утром от звонка оппонента-спорщика, уже претендующего на победу, герой приступает к осуществлению своего нелепого замысла. Невероятными усилиями он находит в Мытищах ускользнувшего вчера Витька, открывает перед ним невероятные перспективы творческой личности (высокие гонорары, зарубежные командировки, популярность, телеэфир, интервью, внимание самых красивых дам околосредовой среды) и приступает к созданию своей Галатее. Для этого он достает из шкафа вычурные и давно забытые вещи, рядит в клоунские одежды свое детище, придумывает ему нечто вроде биографии, но сталкивается с непреодолимым, казалось бы, препятствием: Витек не может связать и двух слов, да и те столь косноязычны, что повествователь едва не оказывается в тупике. Впрочем, довольно скоро найден выход, который и становится главным механизмом, движущим сюжет, и основой комического: будущий писатель обойдется в каждомдневном общении всего двенадцатью словами и выражениями, а в руках у него будет популярный в те годы кубик Рубика, задумчиво крутя грани которого Витек ответит всем вопрошающим о причинах такого странного, казалось бы, внимания к головоломке: «Ищу культурный код эпохи...» Однако несмотря на свою краткость,

словарь будущего властителя дум включает «все оттенки мысли и чувств, вбирает в себя весь культурологический космос и культурный хаос» рубежа 80–90-х годов: «амбивалентно», «трансцендентально», «ментально», «говно», «скорее да, чем нет» и пр. Но самое главное из двенадцати – «Не варите козленка в молоке матери его!» Эти выражения герой произносит не произвольно, а подчиняясь командам своего создателя: Витек смотрит на руки своего Пигмалиона. Ведь каждое выражение обозначается поднятым вверх пальцем правой или левой руки или их чуть более сложной комбинацией: пальцев-то десять, а слов и выражений двенадцать! Повествователь активно жестикулирует, Витек произносит слова и выражения.

Мы не будем утомлять читателя сложным перечислением пальцевой комбинаторики (достаточно того, что ее сносно запомнил Витек), но представим себе одну из самых смешных сцен романа, о которой уже бегло упомянули: афера героя постепенно реализуется, глубокомысленный Витек, время от времени изрекающий, глядя на руки своего визави, «вестимо», «обоюдно», «ментально», дает первое телевизионное интервью. Но так как самостоятельно использовать свой лексикон он пока не может, то герой-повествователь показывает ему из-за спины оператора и режиссера свои замысловатые пальцевые комбинации, все время меняя диспозицию, так как помощник режиссера воспринимает эти жесты совсем иначе, чем Витек, – как оскорбительные в отношении восходящего гения, представшего перед телезрителем, как ревность неудачника к своему талантливому и молодому сопернику по литературному цеху. Возникает своеобразная борьба: помреж пытается прогнать героя из поля зрения Витька (не приведи господи он попадет в кадр), Витек немеет, герой появляется вновь и продолжает свою жестикуляцию, гений вновь обретает дар речи, пусть и не богатой. Борьба помрежа и героя достигает кульминации, когда Витьку задают самый каверзный вопрос: о его отношении к соцреализму. В результате потасовки герой вскидывает два больших пальца вверх – и гений, в точном соответствии с инструкцией, громко произносит «Говно!», чем и стяжает себе литературную славу на поприще борьбы с консервативной литературной идеологией.

Подобных комических ситуаций, отсылающих читателя к реалиям ушедшей, но очень яркой исторической эпохи, в романе множество. Но за внешней комикой, подчас грубой комикой, проявляется все тот же смысл – смысл напряженных

отношений Пигмалиона и Галатеи, творца и творения, смысл тех коллизий, которые неизбежны между ними – и счастливых, и трагических.

Галатее – награда Пигмалиона, воплощение его любви, она сотворена им, освобождена его рукой от камня, от небытия, от немоты. В ответ на мольбу скульптора Афродита, покровительница любви, оживляет Галатею, и она ждет своего создателя у дверей жилища – как награда за верность искусству и творчеству, награда за мастерство, труд и любовь к своему творению. Немного иную трактовку этого мифа предложил Баратынский в стихотворении «Скульптор»:

*Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел...*

*В работе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, желанной
Покров последний не падет.*

*Покуда, страсть уразумев,
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатее
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.*

Здесь не Афродита, но труд и любовь художника оживляют мрамор, вдыхая в сокровенную Галатею жизнь.

Что-то подобное испытывает и герой Юрия Полякова, чувствуя себя не меньше чем Пигмалионом, однако ставя задачу явно заниженную и спародированную: из малограмотного работника создать художника слова. Но эмоции, им переживаемые, иногда достигают высокого пафоса: «Впервые в бездарной моей жизни я буду не бумагомарателем, сочиняющим полумертвых героев, а вседержителем, придумывающим живых людей! У меня получится. Не знаю как, но получится!»

Однако XX век несколько переосмысливает историю Пигмалиона и Галатеи. В романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) он создает свою легенду о творце, оживившем творение, и результат оказался шокирующим. Монстр, созданный молодым ученым Виктором Франкенштейном, целиком отдавшим себя науке, мстит своему создателю, приводя его к гибели. От любви Пигмалиона до ненависти франкенштейнова чудовища оказалось не так

уж далеко... И в книге Полякова эта эволюция тоже прослеживается, хотя Витек, конечно, все же не дотягивает до чудовища, созданного героем Шелли. Однако выйти из-под контроля ему удастся, и он вполне удачно может пользоваться дюжиной слов и выражений уже без помощи своего создателя, который с горечью глядит, как его план реализуется. Витек действительно становится медийной фигурой, его роман «В чашу» оказывается объектом литературной критики самых разных направлений – от либерального до почвенного, при этом каждый читатель вкладывает в него свой смысл. Престарелая литературная дама, создательница литературных репутаций, рассматривает «В чашу» как роман о любви, почвенник Чурменев убежден, что роман продолжает традиции деревенской прозы («В чашу», говоришь? Неплохо. «В чашу»... Деревенский, чай, парнишка? Плотничал небось?), а «широкоизвестный в литературных кругах семит» Ирискин тоже начинает благоволить автору нового романа: («В чашу»... Чаша сия... Чаша страданий... Чаша терпения! О, она скоро переполнится!») и трактует его со своих, либеральных, позиций. В общем, несуществующий, а потому никем не прочитанный роман известен, и известен широко, принят разными направлениями литературно-критической мысли. Появляются рецензии, проходят телеинтервью...

Заканчивается этот процесс присуждением американской премии «Золотой Бейкер» за роман «В чашу» и проводами в международном аэропорту Витька, ныне писателя Виктора Акашина, его создателем, его творцом, которого в США не взяли... Франкенштейн побежден своим созданием... Вот вам и Галатее, наставляющая рога Пигмалиону... Повествователь, провожающий свое создание, свою Галатею в США на получение премии не то что за не им написанный роман – за ненаписанный роман...

Там-то афера и раскрывается: роман нужно публиковать... Однако то, что вместо романа высокое американское жюри обнаруживает бумагу, не смущает московскую литературную общественность. «Да бросьте! – оправдывает творение Витька критик и теоретик авангарда Любин-Любченко. – Роман мог быть не только не записан, но и не сочинен вообще. Неважно! Главное – это шифр, открывающий тайники астральной информации, где каждый может найти свое». Тут же он обосновывает эстетические принципы нового литературного направления, основателем которого стал Витек, писатель Виктор Акашин: табулизм, от *tabula rasa*: «Табулизм – это не

просто возносящая нас ввысь энергия чистой страницы, это вообще запрет – табу на любое буквенное фиксирование художественного образа! Любое... В общем, подобно «концу истории», мы подошли к «концу литературы». Создавая статью «Табулизм, или Конец литературы», Любин-Любченко явно намеревается стяжать лавры Роллана Барта!

Еще раз повторим: такую сюжетообразующую ситуацию можно воспринять как гротескное воплощение некоторых сторон современного литературного процесса, когда писателя заменяет литературная репутация и она становится важнее созданных им книг. Но сюжет обнаруживает еще один глубинный философский план романа – на сей раз экзистенциальный.

«Когда верховные ценности обесцениваются, то все идет только к... пустоте», – писал один из основоположников философии экзистенциализма М. Хайдеггер. Эти слова могли бы стать вторым эпиграфом к «Козленку», обозначая суть самого трагического его подтекста.

В сущности, роман Полякова рассказывает об эрозии «верховных ценностей» литературы, а стало быть, и культуры, социальной и политической жизни, личных отношений, творчества и жизнотворчества, как сказали бы сто лет назад обитатели Серебряного века. «Верховные ценности» все уменьшаются, сжимаются, стремясь к математической точке, не имеющей размера, оставляя после себя ничем не заполненную пустоту – в самом страшном, экзистенциальном плане. Это пустота, не заполненная смыслами существования. В художественном мире Полякова ее образным выражением становятся чистые листы бумаги, уложенные в папку и названные романом «В чашу».

Пустые листы ненаписанного романа символически воплощают явление, которое Виктор Франкл, венский психолог и философ, назвал экзистенциальным вакуумом, – это ощущение внутренней пустоты, формирующееся у человека в результате отказа от жизненных целей, бегства от уникальных смыслов собственного бытия и личностных ценностей. Отказа от жизнотворчества, как его понимали символисты. Полная дезориентированность в отношении к жизненным ценностям и путям их достижения. Основными проявлениями экзистенциального вакуума являются скука и апатия. Современному человеку, писал Франкл, «в противоположность прошлым временам никакие условности, традиции и ценности не говорят, что ему должно делать. И часто он не знает даже, что он, по существу, хочет де-

лать. Вместо этого он хочет делать то, что делают другие, или делает то, чего хотят от него другие». Последняя фраза Франкла характеризует положение повествователя в литературной среде и мотивации его поведения. Он делает то, что делают другие (литературные нравы ЦДЛ описаны там весьма подробно), и пытается понять, что от него хотят другие – в первую очередь, литературное начальство, сотрудники КГБ, бдящие за писательской общественностью, потенциальные заказчики литературной поденки. Но самое страшное в том, что чаще всего они вообще от героя ничего не хотят...

Именно скука и апатия, вызванная отсутствием глубинных творческих импульсов, заставляет повествователя сочинять речевки и подписывать договоры на литературную халтуру – историю шинного завода, обещающую какой-никакой гонорар. Бегством от экзистенциального вакуума становится столик Дубового зала ресторана ЦДЛ, бессчётные бутылки пива, настойка «амораловки», эдакий волшебный эликсир, дающий иллюзию вдохновения. Именно под действием «амораловки» написаны за одну ночь пять глав истории шинного завода.

Попыткой преодоления экзистенциальной пустоты становится и история с Витьком, которая оборачивается конструированием фантомной литературной личности и созданием ненаписанного романа. Но пустота литературного быта и творческого бытия, оборачивающаяся экзистенциальным вакуумом, может породить лишь ничто – чистую бумагу... В точном соответствии с концепциями М. Хайдеггера, у которого ничто есть результат охватывающей человека бездонной скуки или ужаса, оно приоткрывает истинные лики бытия, замаскированные под гримасы дружеского общения, литературные страсти, купленные рецензии, мыльные пузыри писательских репутаций... Заглянуть в это ничто и обнаружить глубоко трагический его смысл удалось Ю. Полякову в «Козленке...»

И все же роман не так трагичен, и не только смех, о котором мы уже говорили, снимает трагизм глубинной ситуации. Ведь это роман и о любви. Притом о любви, которая имеет счастливый конец и в художественном мире произведений заполняет пустоту Хайдеггера, заглянуть в которую решился не только автор, но и его герой-повествователь. Явно травестированный любовный сюжет отношений повествователя и Анки, дочери крупного литературного секретаря Горынина, начинается историей размолвки, когда взбалмошная и влюбчивая Анка просто выс-

твояет его из своей квартиры ради новой внешне-вспыхнувшей страсти. Герой не ревнует ее – он просто тоскует и ждет невероятного – ее возвращения. Пустоту его жизни заполняет то официантка Надюха, которую он хочет отбить у Витька, то Ужасная Дама, этакий собирательный образ всех нелюбимых женщин, с неизбежностью проходящих через жизнь... Это еще один вариант воплощения экзистенциального ничто, не менее тягостный, чем чистые листы несуществующего романа.

Но здесь-то и намечается возможность выхода из онтологического вакуума: Анка, пройдя огонь и медные трубы, возвращается к герою – с войны, как она говорит ему... В любовном соединении Анки и повествователя (– Надолго? – Навсегда) – преодоление трагедии, преодоление ничто и начало любви и творчества: «Женщина, которую любишь, и книга, которую пишешь, – что может быть главней?» Герой обретает и то, и другое – и на страницу ложатся первые строки романа, который читатель уже прочел.

Только подлинная любовь и подлинное творчество оказываются в сатире Полякова вне сферы сатирического смеха, направленного на отрицание. В повести «Демгородок» объектом злой политической сатиры становятся уже не литературные нравы, но политическая среда начала 90-х годов с весьма узнаваемыми персонажами. Однако и здесь любовная интрига играет важнейшую роль, правда, совсем другую, чем в «Козленке...».

С жанровой точки зрения, «Демгородок» – это антиутопия, описывающая один из возможных вариантов довольно близкого будущего, притом вариантов вполне реальных, как это представлялось тогда. Все демократические реформы в России привели к полному хаосу и оказались завершены военным переворотом, во главе которого встает капитан атомной субмарины «Золотая рыбка» адмирал Рык. Будучи человеком твердых политических убеждений, адмирал Рык устанавливает военную диктатуру, однако при этом он обладает мягкой и даже чувствительной душой. Своих политических противников он не уничтожает, не депортирует, не гноит в тюрьме, а перевоспитывает, поселяя их в особые демгородки (демократические городки), которые представляют собой резервацию за колючей проволокой. Обитатели демгородка, политические фигуры демократической (ельцинской) эпохи, журналисты, лидеры распавшихся ныне партий, занимаются в Демгородке садоводством и огородничеством. Там обитают, к примеру, два президента (экс-ПРЕЗИДЕНТ и

ЭКС-президент), которые продолжают вести между собой острые политические дискуссии, выращивая морковь и капусту. Однако, по соображениям ближайшего политического окружения генерала Рыка, у многих из них еще остались на западных счетах деньги, украденные у народа в период демократической анархии. Для того чтобы узнать номера возможных счетов, спецслужбами затевается сложнейшая операция под кодовым названием «Принцесса и свинопас», которая разворачивается на протяжении всей повести с невероятными историями двойных и тройных агентов, неожиданными детективными сюжетами, немыслимое переплетение которых и создает комический эффект пародирования триллера. Лена, дочь президента, обитающая в Демгородке, оказывается не только в центре любовной интриги (она, «принцесса», любит «свинопаса», простого солдата, работающего на грузовике-ассенизаторе), притом поначалу эта любовь предстает как запретная связь, а потом обрастает все новыми и новыми конспирологическими подробностями: в какой-то момент уже трудно разобраться, кто на какую террористическую организацию, партию, политическую силу работает.

Но и здесь все же любовь побеждает – в этом комическом переплетении конспирологических сюжетов! В результате операции, где все обманывают всех, где до самого конца не ясно, кто есть кто, с какой стороны «Молодые львы демократии», а с какой – член общины «Юго-восточного храма», погибает «принцесса» – выпускница Кембриджа и дочь президента, ныне изолянта – так официально именуется обитатели Демгородка. Память о ней сохраняет только Мишка, солдат-ассенизатор...

Поляков заканчивает повесть прямой цитатой из «Отцов и детей», которая описывает появление стариков Базаровых на могиле сына: Мишка, «свинопас», уцелевший в той операции, навещает могилу Лены, и в сей момент писатель, кажется, с трудом удержался от повторения пушкинских слов о «равнодушной природе», введенных в эпилог Тургеневым. Пафос конспирологического наворота поднимается почти до трагической темы гибели любимой... и вновь оказывается в стилии комического! Мишка, хранящий трогательную любовь к выпускнице Кембриджа, смотрит старую запись любительского спектакля, поставленного в Демгородке: «Спектакль он смотрит лишь до того места, когда на сцене в окружении пьяных плейбоев появляется роскошно одетая Лена и, замечательно хохоча, говорит:

*Когда б вы знали, сколько в банках ваших
Хранится в тайне миллионов наших,
Вы б обалдели б...*

Как мы попытались показать, Поляков никогда не оказывается лишь сатириком, хотя сатира его остра, а образы, на которые направлен его смех, всегда узнаваемы. За внешним сатирическим планом всегда скрывается нечто большее: в конце концов, пройдет еще несколько лет, и мало кто из читателей сможет узнать, кто такой автор программы перехода к рынку «Девять с половиной недель» или же знаменитый психотерапевт, два раза в неделю дававший установки всей стране и залезавший с экрана телевизора своим целительным взглядом в самое народное нутро. (Вот тут-то и необходим подробный реальный комментарий! – прервет размышления своего постмодернистски ориентированного аспиранта профессор-герменевтик.) Да, это так. Строго говоря, реальный комментарий к этим двум произведениям нужен уже сейчас: слишком многое ускользнет от человека, не заставшего во взрослом возрасте рубеж 80–90-х годов.

Но помимо конкретно-исторического аспекта проблематики, в этих произведениях есть еще и общечеловеческий, значимый на все времена. Он формируется двумя темами, проходящими в том или ином осмыслении через все творчество Полякова: это тема любви и тема творчества. И то, и другое наполняет жизнь смыслом и дает возможность преодолеть и измену Галатеи, и пустоту ничто, и фантазмагорические навороты

игр спецслужб. «В объятиях любимого существа человек хоть на мгновение, хоть на долю мгновения чувствует себя бессмертным, вечным, неуничтожимым – и ради этого упоительного заблуждения готов на все». То же упоительное заблуждение (заблуждение ли?) дает и творчество. Вспомним еще раз суждение повествователя «Козленка в молоке»: «Женщина, которую любишь, и книга, которую пишешь, – что может быть главней?»

Наверное, ничего...



Михаил Михайлович ГОЛУБКОВ –

доктор филологических наук, профессор МГУ.

Автор многих работ, в том числе книг

*«Утраченные альтернативы: формирование монистической концепции советской литературы. 1920–30-е гг.»,
«Максим Горький», «Александр Солженицын»,
«Русская литература XX века. После раскола».*

Лауреат премии МГУ им. И. И. Шувалова.

*Область научных интересов –
русский литературный процесс 1920–1950-х годов,
история литературной критики 1920–1990-х годов,
современная литература,
культурологическая проблематика литературы XX века,
отражение национального менталитета
в литературе и культуре XX века.*



Георгий ГОРЬКИЙ

г. Москва — г. Севастополь

АМЕРИКА

рассказ

Мы были два простых парня. Вечерами брали по бутылочке пива — вернувшись с учебы или работы — и садились на широкую скамейку, одну из трех, стоящих буквой «П» у перекрестка. Мы смотрели на проезжающие троллейбусы — они бывали двух типов: короткие и длинные, «с гармошкой»; и на окружающих людей, они бывали одного типа — светлые, спешащие купить хлеба, колбасы или того же пива и скорей укрыться у себя в квартирах. Мы доставали сигареты, прикуривали. Я носил «пилот» — такую черную куртку с оранжевой изнанкой, простые черные джинсы и бэг — дешевую тряпичную сумку. Мой друг — какой-то бесформенный пуховик и спортивные. Вспоминали о чем-то, смеялись, думали, чё делать дальше — вариантов, как правило, не было, а потому мы так и сидели, никуда не спеша.

Каждый, кто это читает, взглянув на нас тогдашних, сказал бы: гопники. Я же вообще не знал такого слова — мы ходили куда хотели, делали что хотели и никого не боялись. Мы выглядели так, как умели, и развлекались так, как умели — просто не зная других развлечений среди огромных коробок, в которых жили, и обладая теми средствами, которыми обладали, — то есть не обладая ничем. Кроме смутной надежды на то, что когда-нибудь будет иначе, будет что-то еще, кроме троллейбусов. Можно было стоять в подъезде, покуривая в окно, или сходиться «на трубы» — но это если было денег хотя б

на бутылки три (дорога предстояла дальняя, в конец района), или шататься по улицам, или сидеть на лавках. Пока родители, придя домой с работы, занимались своими привычными делами — ругались между собой и протирали пыль.

Да, мы были гопотой — формально, внешне. Но при этом писали стихи — из нас выливались огромные грязевые потоки жутких, ничемных стихов, я измерял их количество сотнями, не успевая клепать сборники, и только на восьмом обнаружил: что-то наконец получилось. Писал их и Антон — так звали друга — и другие наши приятели, оставшиеся за пределами этой истории (да и вообще какой-либо истории). Мы ходили на «Корабль» — странную квартиру, куда нужно было позвонить семь раз подряд, чтобы тебе открыли. Там жил худой и непрерывно куривший человек старше каждого из нас — а нам было лет по девятнадцать — он издавал самиздатовский журнал «Корабль», и мы, запасшись бухлом и стишатами, спешили на этот «Корабль», чтоб вместе с ним снова идти ко дну. Там были люди с никами «Валькирия», «Дементия», «Темная принцесса», «Черный дождь» — нежно влюбленные в созданный ими образ толстые девочки, угловатые, некрасивые мальчики. Все молчаливо признавали для себя, что вряд ли когда-нибудь поднимется на борт большого литературного корабля, и, приняв это «умолчание», ожесточенно спорили на страницах самопального журнала, боготворили — или разбивали в

прах — друг друга, строили козни, давили, ломали, грызли друг друга — все, как и положено «настоящему». Антон придумывал премии, помню названия некоторых: «Поэтика», «Строфика», можно было награждать друг друга, голосуя в прокуренном подъезде, возле лифта, прижавшись к теплой батарее спиной.

Об этих людях, хоть и не нашел со многими общего языка (это не важно), я вспоминаю с очень большой теплотой. Спустя много лет я упомянул о них в своей так называемой «нобелевской речи», когда меня пустили поглазеть на мир гигантов мысли, на большой и уже настоящий «Корабль» — на вручение литературной премии, придуманной уже не Антоном. Наивный, я написал о тех парнях и девчонках, что грезят, живут литературой, дышат ею и даже не верят в то, что им когда-нибудь дадут сигнал с большого «Корабля»: поднимайтесь к нам! Должно быть, боги литературы, восседавшие в жюри, изрядно потешились над моим письмецом: «Вот идиот-то!»; у меня не было ни одного знакомого на их «Корабле», и меня, схватив за руки и за ноги, выбросили за борт. Надо было писать другое, но я был честным — я знал, что это не я поднялся на борт Корабля писателей, а они, мы все — странные гопники, провожавшие взглядом троллейбусы. Впрочем, слова мне так и не дали. Мы, гопота, странные, мы не можем забыть обиды.

Так вот, на «Корабле»-то мы и познакомились с той девушкой — ее звали Мор. То есть Морганой, леди ле Фей, как она себя называла. Она была старше нас, готовилась стать инженером, и у нее уже была книжка — опубликованная в каком-то издательстве, настоящая. Мор никогда не показывала ее нам, но мы, раскрыв рты, верили. И пригласили ее посмотреть на троллейбусы с нами, обещали угостить пивком. Она долго сомневалась, но, видимо, не смогла устоять перед нашим обаянием — простых петербургских лузеров с окраины. И вот она сидела, болтая ногами, в красном пальто, на одной из трех скамеек, другие занимали мы с Антоном. И, конечно, старались ей понравиться: от нечего делать, просто так — ибо если встречаются девушка и два парня, по-другому быть вроде не может. Антон убеждал ее поучаствовать в придуманной им тут же премии, а она, понимая, что для этого нужно прочесть километры муторных стихов

от одиноких, истосковавшихся по женскому вниманию парней, отнекивалась как могла.

Моим козырем перед Антоном было то, что я не только писал, но и читал — в недолгих перерывах между распитием алкоголя и созерцанием троллейбусов. А раз читал, то и писал, соответственно, больше. И у меня была книга, а если быть честным — простая тетрадка в клеточку, наполненная матом, извращениями и убийствами до самой последней страницы — я писал бы еще, но тетрадка кончилась. Моргану была высокого мнения об этой «вещице», она называла ее отборным и даже талантливым (нет, мне это не слышалось) трэшем. Но я не знал, что значит «трэш», и искренне утверждал, что написал книжку о трагичности любви и, в принципе, ее невозможности. С тех пор я для себя так и определяю трэш — как творчество о невозможности любви. Она смеялась.

У Антона против меня был свой джокер — он разбирался в фэнтези и фантастике, сыпал терминами, каких я даже не слышал, и пересказывал сюжеты, от которых меня клонило в сон. Но Моргане нравилось, и я с каждой секундой все отчетливее понимал, что Антон завладел ее вниманием окончательно и бесповоротно.

— Не, — говорил я, отхлебывая пивко. — Фэнтези и фантастика — это все туфта. Настоящие жанры — это бытовые. Суровый, жестокий реализм, — распаялся я. — Да-да, а вы что думали?

— Да ну тебя с твоим реализмом, — Антон занервничал, ведь в реализме ничего не смыслил.

— Вот-вот, — говорил я. — Есть такой сборник рассказов, написанных охранником какого-то клуба, который в начале девяностых бандосом был. «Огненное погребение», — добавил я. — Очень хочу почитать.

Моргана изменилась в лице, посмотрев на меня не просто как на лузера, а вообще как на биологический мусор. Как человек с претензией на интеллект, в ее глазах я совершил самоубийство.

— Чего? — спросила она.

— Огненное погребение, — машинально повторил я. — Откровения охранника.

Тут я и сам почувствовал себя погребенным под ее огненным взглядом, полным презрения к жалкому, непросвещенному быдлу.

— Огненное погребение — это сборник рассказов Адольфа, — торжествующе сказала интеллектуалка.

Конечно, я понятия не имел, кто такой Адольфыч, но книгу про «огненное погребение» мне широко рекомендовал один хороший знакомый из числа тех же, кто «пишет, да все не туда». А я и поверил, развесив уши. Адольфыч — это явно не охранник, думал я, это, наверное, культовый персонаж. И уж, конечно, он не клепал стишки про любовь и кровь, как это делали мы с Антоном, чтобы потом выдвинуть на свои же премии.

Не зная, куда спрятаться от стыда, я лопотал что-то неразборчивое (на самого Адольфыча мне было наплевать, но неловкость произошедшего очень тяготила: казалось, что она сейчас встанет и уйдет, бросив что-нибудь вроде: вы дебилы!). Но тут произошло событие, которое заставило нас забыть об «Огненном погребении», о реализме и трэше вместе взятых. Хотя именно они-то и наступили. Нет, не проехал очередной троллейбус. К нашим скамейкам подошел мужик лет пятидесяти на вид — бородатый, усатый, с пьяным и уставшим взглядом. Он сел на скамейку и нам на уши практически одновременно.

— Вы тут все о поэзии, — сказал он почему-то, и мы решили: проще согласиться, чем объяснять все тонкости возникшего между нами непонимания. — А я вот о ненависти, — довершил мужик и замолчал на какое-то время, но затем, увидев, что мы никак не реагируем (ну разве что притихли да и Мор куда-то засобиралась), произнес громко, но не глядя ни на кого из нас:

— Ненавижу! — и обхватил голову руками. Нет, это не оборот, показавшийся мне как автору уместным. Мужик действительно обхватил руками голову. Похоже, ему было нехорошо. Но кого он так ненавидел? Нас? Это вряд ли. Чем мы его могли так раздосадовать? Жену, выгнавшую из дома? Нехватку денег на пиво? Свою неудавшуюся к столь почтенному возрасту жизнь?

Мы не терялись в догадках, мы просто сидели, но мужик не выдержал и признался сам:

— Америку! Америку, мать ее, ненавижу.

Одет мужик был бедно — под стать нам с Антоном. Черный пуховик с красными и синими полосками, джинсы, кроссовки.

— Я во Вьетнаме бывал, слышите, — заговорил он скороговоркой. — И в Афганистане бывал. И в Северной Африке бывал. И просто бывал в Африке.

Я не знал, как реагировать на эти заявления. Для нас с Антоном все эти края были только

словами. Если бы «Огненное погребение» писал действительно охранник, то, наверное, он бы выглядел именно так — вот все, что мы в тот момент думали. И, признаться, не предполагали, что так близки к правде.

— А что же вы тут делаете? — спросила Мор со свойственной ей насмешкой. — Отдыхаете?

— Ага, — затряс головой мужик. — Отдыхать на кладбище буду. Охраняю вон халабуду эту, — он показал рукой на минимаркет, красовавшийся через дорогу. — А че еще делать? — сказал он то ли в оправдание, то ли в продолжение разговора.

— Америку ненавидеть, — бросила Мор.

— Не, ну я же не просто так, с нихрена вот, — завелся мужик. — Америка нас унижает, Америка нас поставила на колени. Почему это все? — он описал руками неопределенный жест. — Потому что Америка.

— Ну, я вообще америкосов тоже не люблю, — как-то неуверенно сказал Антон.

— Да и я недолюбиваю, — сказал я, но тут же хотел пояснить, что совсем не хочу об этом разговаривать. Девушка напротив интересовала меня куда больше, чем Америка. Да и моего друга тоже. Зато она совершенно не интересовала охранника.

— Ну вот вы и нашли друг друга, собеседнички. Темы у вас общие есть, сидите, общайтесь, — сказала Морган вежливо и упорхнула.

— Вот и правильно! Проваливай, — немедленноотреагировал грубиян. — В свою Америку!

Мы с тоской провожали девушку глазами, наблюдая, как она пересекает перекресток и садится в маршрутку.

— Ну твою ж мать, — выругался Антон.

— Бабы — они все такие, — замотал головой мужик. — Сначала они с тобой туда-сюда, там, то да се, — он листал свой мысленный словарь синонимов, но, так и не найдя ничего подходящего, плюнул. В прямом смысле — прямо мне под ноги, чуть не попав на джинсы. — А потом, — он глубокомысленно вздохнул, — валят в Америку.

— Мужик, — в сердцах сказали мы. — Ну вот далась тебе твоя Америка!

— Да мне она знаешь куда далась, — сказал мужик и все-таки уточнил. Но мы были люди подготовленные, уши у нас не вяли. И уже собирались произнести примерно то же самое, уточняя, куда ему вместе со всей своей Америкой идти. — Но ведь жить не дает, зараза! Жить не дает!

Мужик изливал нам душу — говорил о самом откровенном. Похоже, что он позволял себе такое только на последней стадии опьянения. Правда, мысли давались ему все сложнее, и временами он только издавал мычащие звуки и пытался махнуть рукой.

— Вот ты скажи мне, — выпалил он так быстро и громко, насколько хватило внезапного «просветления». — Вот у нас страна такая большая: Калининград там, Ленинград, Урал, прикинь, Урал целый! А Сибирь-то, Сибирь! А Сахалин! — тут он и вовсе вытаращил глаза. — Сахалин-то! Вы были хоть на Сахалине, пацаны?

— Ну что тебе сказать про Сахалин, — как умел, продолжил тему Антон.

— Я бы съездил, — произнес я. — Да не приглашает никто.

— Вот и я говорю: съездил! Я бы тебе по морде съездил!

Нас было двое, и внезапной агрессии мужика мы не придали значения. И правильно: он тотчас же нашел ей другое, привычное применение:

— А у них страна никакая! Есть там Калининград? Нет Калининграда. Есть Ленинград? Нет Ленинграда. Ни Урала у них, ни Сибири, твою их мать, нет. А Сахалин? Че, думаете, Сахалин у них хотя бы есть?

Мы ничего не думали, а прямо ему и сказали:

— Мужик! Слушай, иди проспись.

— Вот и я говорю! Нет у них Сахалина! — тор-

жествующе заключил мужик и начал осторожно подниматься. — А еще Америка...

Мы не скрывали удовольствия от того, что наш собеседник уходит, и даже вручили ему бутылку пива, чтоб быстрее на радостях шел. Но он все стоял, нависнув над нами, как туча, и бормотал что-то бессвязное. Все, что можно было понять из его речи — это рычание, сопение и слово «ненавижу».

— У нас — образование, а у них — чёрт-те что, — неожиданно четко сказал мужик и наконец отвернулся от нас, собираясь идти. Эта последняя его претензия к Америке рассмешила меня. Улыбаясь, я полез в карман за сигаретой:

— Ну чего, теперь на «Корабль» двинем? — а куда нам было еще деваться? И пусть этот «Корабль» пришвартован навеки к нашему райончику, пусть мы никогда не побываем на нем ни в Америке, ни на Сахалине — но хоть поднимемся «на борт», ведь так скучно в этом «порту», на трех скамейках!

— Эй, смотри! — изумленно воскликнул Антон прямо возле моего уха, и уже по одному этому вопросу я понял, что сюрпризы от неожиданного гостя еще не исчерпаны. Тот направлялся, шатаясь, в сторону троллейбусной остановки, и только тут я догадался, что же так впечатлило Антона. Во всю спину охранника, стилизованные под цвета знакомого всему миру национального флага, красовались три огромные буквы: U.S.A.

□

Георгий ГОРЬКИЙ (наст. имя *Георгий Панкратов*)

родился в Санкт-Петербурге.

Пишет стихи, прозу, публицистику.

Публиковался во многих журналах и альманахах.

Финалист независимой литературной премии «Дебют» (2014)

и литературной премии «Золотая тыква» (2014),

лауреат литературного конкурса «За далью даль» (2014).

Участник проекта «Дневник поколения»

издательства «Вече» (2014) и др.

Лауреат литературного конкурса

«Северная звезда-2014» журнала «Север».

В настоящее время проживает в Москве и Севастополе.



Ирина ЛЬВОВА

г. Петрозаводск

1. PS

Тщеславное желание писать, но кто захочет читать, кто одолеет слово за словом чужую жизнь? И если бы она была прекрасна, удивительна или слова были прекрасны, удивительны. Они те же, что произносит служащая: «заполните заявление по образцу. Дата рождения, смерти. Ваша фамилия, претензий не имею, подпись». Вычеркнута из всех списков, стук печати по листу — так вколачивают гвозди в крышку гроба. Быстро, без единой паузы, чтобы не услышать стук чужого сердца. Вот и все.

Слова — кандалы, надетые на жизнь. Вот они позвякивают, значит, что-то происходит. Помогите. Ich sterbe. Amen. Это он. Не я. Не со мной. Я позвякиваю кандалами. Я живу.

За что? Вот когда слышишь молчание. На любой вопрос — молчание. Отсюда привычка говорить с собой. Я говорю с собой.

Безошибочная жизнь. Все ошибки — мои. Теперь без исправлений. Это тоже любовь.

Рабочий открывает дверь в подвал. Что у вас там? Да здесь нет света. Нам сказали открыть дверь, а дальше вы уж сами. Вот фонарик от мобильника. Спускайтесь. Светите фонариком. Покрытые известковой пылью доски, ржавые трубы, черные батареи — жуткие кости умершего мира. Фонарик мигает, едва высвечивает бетонные ступеньки. Поворот — налево. Еще налево. Что там? Ниже, дальше. Доски, трубы. Ниже. Это не я, не со мной. Сколько еще ступенек?

Кадиш — он может прорыдать слово за словом безумную жизнь Наоми, корчась от боли, но не испортив звучания. Каждый звук в унисон. Слава Богу. Но мне не найти молитвы. Мама. Где ты?

Ничего случайного. Вдруг — это признание слепоты, несовершенства чувств, бессилия рассудка.

СОН

И СНОВИДЕНИЕ

повесть

Исследование никогда: это небо? двадцать третий век? берега Аляски? Млечный Путь? Черные дыры? Никогда — пустота, окончательность невозвращения, не через день, год, не через тысячелетие — невообразимое убивающее никогда. Если бы оно имело цвет, и звук, и форму — что-то знакомое, к чему можно привыкнуть. Или трепетало, щетинилось — тогда его можно приручить. Нечеловеческое никогда, невозможное: присутствие отсутствия, игла, протянутая в вечность, пронзающая сердце, убивающая миг за мигом.

Кукушка терпеливо пророчествует бессмертие, но что бессмертие смертному? Травы встают, зацветает яблоня, все дышит бесконечностью, а твоя свеча догорает. Жизнь превратилась в угли. Тысячи счастливых мгновений стали пеплом. Ветер уносит обрывки листов — сотни слов, записанных на бумаге, таких, как эти.

Человеку полагается держаться. Держаться — удерживать свет, просто свет — не смысл, смысл рассыпается как пепел. Вот трава, вот бабочка, вот дом с сотнею окон, дорога с машинами, очередь в кассу, собака, книга — но ни в чем нет смысла. Только свет мерцающей жизни в каждом. Я удерживаю его как умею.

В невесомости, несвободном падении — ах, разве внизу не мягкая перина, летняя трава, облако? Сетка батута? — так, чтобы, коснувшись дна, сразу вверх? После зимы — лето, предвкусимое воскрешение. Ведь правда же, понарошку это короткое падение, похожее на полет?

Начинает прорастать трава, свежая трава на пепелище. Новая трава — начало забвения. Сколько под нею миров, замолчавших навеки. Сколько погребенных стремлений. Зеленая трава — все, что осталось от надежды.

Мама, ты все дальше, меня уносит течением в новые воды. Черные ленты на венках выгорели на солнце, запах гари, вьевшийся в кожу, слабее, и мои заклинания — глуше. Ты здесь — сидишь на диване с долгим вязанием, корзинка с нитками у ног, накидываешь петлю за петлей, день за днем защищаешь меня от смерти.

2. Портрет

Мама полна страхов и снов. Ее пугают раскаты грома, большие собаки, змеи, пьяные, водители-лихачи, электричество, скользкие дороги. Она боится случайности, которая убивает. То, что она не в силах одолеть. Сны предупреждают ее о возможных несчастьях, она знает о дурных предзнаменованиях, но хранит при себе. Поэтому я ничего не боюсь. Мама противостоит случайностям. Она управляет хаосом. И тем, что снаружи, и тем, что во мне.

Мама верит в совершенство мира, поэтому требует совершенства во всем. То, что она делает, — безупречно. На спицах она вывязывает запутанные узоры без единой ошибки — никто лучше не вяжет, чем моя мама. Петелька к петельке — каждый день нашей жизни, но я боюсь совершенства, борюсь с совершенством. Так мы боремся обе — мама исправляет кривые петли, которые я вывязываю с вдохновением, а я разрушаю ее ровные ряды. Мама указывает на мои многочисленные ошибки, а я настаиваю на них. Но мы вместе. Мама — лучший редактор моей жизни. Поэтому я могу позволить себе быть легкомысленной, не знать правил, не читать инструкций. Мама прочитала их все от корки до корки и ни разу не нарушила ни одной. Моим воспитанием она занималась по толстым книгам для родителей. Она верила в добросовестность людей, которые их написали, потому что сама, в отличие от меня, все делает добросовестно. Вряд ли она осталась довольна результатом, мои недостатки долго перечислять. Но мама все равно продолжала чтить инструкции, верить в предписания и правила.

Вера в совершенство мира передалась и мне. Я ничего не требую от него, потому что он и так хорош. Я бы не придумала лучше. Все здесь идет по правилам, не нарушая порядка вещей: солнце встает утром, ночью светит луна, зима наступает в свое время и в свое время уходит, в августе наливаются соком яблоки, а в мае вырастают травы. Мир столь же добросовестен и безупречен, как моя мама.

Мама не стареет. В ней столько детскости и любопытства, что я уверена: люди не меняются.

И если тело выводит свои вариации, то душа поет одну мелодию от начала и до конца.

Мама любит удивляться. Она с нетерпением ждет праздников: подарков, сладостей, сюрпризов. Поэтому я знаю, как приятно быть магом и волшебником. Когда-то в давние времена, когда я верила в Деда Мороза, мама выполняла его работу — ей самой нравилось удивлять. Но больше ей хотелось разделить свое удивление: цветку, вырвавшемуся из холодной весенней земли, шершавому огурцу, случайно найденному в густой зелени, внезапно выросшей тыкве. Жизнь полна приятных неожиданностей: кто бы мог подумать, что роза расцветет, наши не проиграют, цены не повысятся и мы доедем спокойно на своей машине до дачи.

Мама в своей комнате, я не вижу ее, но чувствую ее присутствие. Кошка Лиза входит ко мне. «Мама, смотри, Лиза вернулась!» В моей комнате все, как пять лет назад: книжный шкаф посередине, старый стол, кресло, книжные полки. Наконец-то у меня на сердце легко: мама здесь, и Лиза здесь, а смерть была лишь сном. «Мама, позвони, скажи, чтобы за тебя не волновались. А то все думают, будто тебя больше нет». Мама держит трубку, но почему-то медлит. «Мама, — убеждаю я ее, — позвони, ведь ты вернулась».

Мама из поколения тех, кто знал хорошо одну науку — выживания. А за ней — бесконечная линия рода, череда людей, передававших своим детям выносливость, силу, — все для того, чтобы не сдать, выстоять, подняться вновь. Я первый человек в роду, которому не нужно выживать. Кому не грозит смерть от голода и холода. Кто не знает нищеты. Первая в роду, проведшая полжизни за книгами.

Женщин моего рода больше всего трогали стихи Некрасова. Бабушкина любимая песня — «Что ты жадно глядишь на дорогу», мамина — грустное повествование о несжатой полосе. Меня не заделали их беды и тревоги: сиротство, черный труд, бесконечная бедность. Я не полоскала белье в ледяной проруби, не ходила за кипятком на фабрику, не нянчила чужих младенцев, не шила ночами, чтобы заработать на кусок хлеба. У меня была своя комната, сво-

бодное время и другие заботы — сытого человека. Что я могу понять в их жизни, что сказать о них? «А вот я в твоём возрасте», — начинала мама, и ее слова звучали как упрек. Мне казалось, что ее опыт не пригодится мне. У меня нет маминой силы. Меньше стойкости. Очень мало терпения. И все же я отсюда — из рода претерпевавших, пробивавшихся к свету.

Портрет мамы: сначала часть меня, часть мира, который принимаешь целиком, без деталей, сомнений в том, что он совершенен. Тембр голоса, запах, улыбка, походка — все неразделимо и имеет имя: мама. Та, что любит и защищает, твоя навсегда, что бы ни случилось.

Безусловно, красива, лучше, чем красива, — мама. Она собирается на работу: волосы завиваются, губы красятся, в комнате запах лака, духов. Все густое, душное и необходимое, как плащ и шляпа, и туфли с каблуками, и тонкие чулки. Мама превращается в парадного человека для других. Я его не очень хорошо знаю, но люблю костюмы с металлическими пуговицами. Самые красивые — с изображением Георгия Победоносца, поражающего змея. Другие — маленькие и строгие, с бронзовым отливом. Я мечтаю, как однажды срежу их и они будут принадлежать мне.

Потом костюмы с великолепными пуговицами исчезают, появляются новые платья, юбки, плащи, туфли, а мама не меняется. Она стоит перед зеркалом, напряженно выискивает на лице морщинки, складки, но я их не замечаю. Я не вижу, что мама уходит от меня каждый день, ведь она неизменно рядом. Мама, дремлющая в кресле, погруженная в себя, живущая слишком медленно в суетливом мире, не старая, другая, которую я не всегда узнаю, не успеваю узнать, и все равно не изменившаяся — часть меня, неизменная часть.

3. Сон и сновидение

Она была отравлена книгами, заморожена книжной жизнью, как рыцарь Дон Кихот, перепутавший сны и реальность. Как Дон Кихот, она не сомневалась, что все написанное в книгах — правда. В детстве, как только она научилась читать, — то сразу заболела романной

горячкой. Именно романы, потолще, потяжелее, любила она, рассказы казались слишком легкими, несерьезными для такого захватывающего дела как чтение: не успеешь погрузиться в книгу, и пора просыпаться. Стихи были еще эфемернее: неизменная рифма напоминала, что они придуманы, сбиты старыми гвоздями искусства, а она верила в истории, рассказанные безыскусно, как рассказывает их человек, сидя зимой у печи, когда ночь темна, свет лучины неверен, а истории все ближе, и уже не понять, снится ли рассказанная жизнь или собственная привиделась тебе.

В доме книг не было, и она ходила в библиотеку. Библиотекарша, казавшаяся ей очень старой, ждала ее и доставала с полки старый тяжелый том (она любила, чтобы книга была потрепанной, зачитанной). Она ощущала знакомый запах старой бумаги, книжной пыли и едва могла дождаться момента, когда книга окажется в ее руках; она сразу открывала ее и шла в сторону дома. Она знала направление, точнее, ее тело помнило все повороты, препятствия на пути, и можно было не отвлекаться на рассматривание витрин, прохожих, а сразу же нырнуть в чужую историю, где сражались благородство и низость, добро и зло. Этот мир был молчалив, но полон движения, здесь было столько страсти, что страницы пылали в ее руках, жизнь обжигала, рвалась в неизведанное, тогда как в реальности она растекалась по часам и дням, бесформенная, никем не рассказанная. Она догадывалась, что жизнь — это история, что только слова, выстроенные в определенном порядке, создают ее.

Она шла домой, забывая о времени, забывая о себе; в такие минуты она наткалась на прохожих, однажды даже налетела на деревянный столб, выросший неожиданно перед нею, но большей частью реальность не докучала ей, а обволакивала, не разрушая фантазий.

В ее семье только брат был книголюбом, но сейчас он в армии, а больше никто: ни дома, ни в классе — не был заморожен романами. Она чувствовала свою непохожесть — отличница, пожирательница книг; и незнакомая тоска по жизни, похожей на книжную, пробуждалась в ней, она мечтала выбраться из монотонности, бедности, окружавших ее, внезапно, как Золушка

из сказки, как упрямая Джейн Эйр, как благородный Монте-Кристо.

Вот она бежала на фабрику за кипятком, вот шила рукавицы на продажу, вот нянчила соседского ребенка, но знала, что все, что происходит — ненастоящее, а настоящее существует только в книге.

В книгах был порядок, начало и конец, всеведущий автор, дающий объяснения, одаряющий праведных, наказывающий порочных — недеянием, осуждением, расположением обстоятельств. Она любила таких писателей — Диккенса, Шарлотту Бронте, Гюго, Войнич, и современных, не таких увлекательных, но знающих правила. Были и другие: сочинители снов, как Гоголь, — притягательные и непонятные. Они дарили чувство ужаса и неуязвимости, как во сне, ей нравилось представлять себя свободно парящей над обстоятельствами.

Но вот еще — имя, старомодное, деревенское, из другого века, с которым ее ничто не связывало. У нее сохранились смутные воспоминания о тех временах, самое сильное: обед у дальних родственников. Большая семья в сборе за некрашеным деревянным столом, в центре — котел со щами. Старик хозяин сидит во главе стола с деревянной ложкой в жесткой жилистой руке. Вся власть в этой ложке: он первым достает горячее варево, неторопливо подносит ложку ко рту и так же ловко и рассудительно бьет ею по лбу потянувшегося к котлу сына. Она боится поднять глаза, ей страшно и почему-то стыдно. Наконец старик, наевшись, стучит ложкой по котлу, и все семейство набрасывается на еду.

Ее имя оттуда — из неподвижного крестьянского мира, подчиняющегося только тому, что сильнее его: солнцу, дождю, ветру. Этот мир не менялся веками, он в пролежнях, струпьях, страданиях, он погряз в несправедливости, она же другая, и только имя ее оттуда. Ее старшая сестра сменила свое старомодное имя на новое, звонкое: Ася. Ася — имя из книг, кружевное, тургеневское, с таким именем легко идти в будущее. Она же осталась Клавдией. Что уготовано Клавдии? Или она не Клавдия, потому что никогда не чувствовала себя Клавдией. Но кем? Ритой, Светланой, Тамарой? Или все-таки Клавдией?

И все же, когда она выглядывала за страницы

книг, жизнь не тревожила ее, напротив, детство было наполнено маленькими радостями: домовничанье со старшими детьми, разговоры с жильцами, которыми их маленький дом был набит, как огурец семенами, а еще — ожидание праздников, когда вымытые, в чистых платьях, начищенных парусиновых туфлях они с подругой выходили в город, зажав мелкие монеты в кулаке, чтобы купить в самый разгар дня холодный кругляш мороженого, закрытого вафлями, с именем наверху. Довоенное детство было простым, счастливым, без страхов, вдали от смерти. Тогда она не думала о смерти — ведь в книгах герои не умирали просто так, а по велению автора, значит, со смыслом, исполнив свое предназначение.

Поэтому начавшаяся война не казалась настоящей. И когда они бежали от немцев из города, она принимала это без страха, даже когда немецкий самолет появился в небе и стал стрелять в толпу. Что она знала о самолетах в небе над полем? Ничего. Она не почувствовала близости смерти. Только голод был настоящим, а потом и холод. Они жили в деревне у линии фронта, на ночь их выгоняли в землянки, вырытые в лесу, а днем они приходили в деревню, мать и сестра стирали и шили для солдат. Холод убил сестру — та заболела туберкулезом, но ей повезло, она выжила.

Когда они пешком возвращались домой, смерть напомнила о себе вновь: их обогнали сани, на которых вместе с незнакомыми людьми сидел ее одноклассник — Вовка Кукушкин. «Смотри-ка, Вовка», — сказала она с радостным удивлением матери, а через несколько мгновений раздался взрыв там, где только что были сани.

Война как ров в ее жизни, как окоп, который они рыли с одноклассниками, — отгородила детство от взрослой жизни. Книги были спрятаны под подушку как что-то тайное, запретное, нужно было привыкать обходиться без книг, жить только здесь, в пустом домишке, в голодное послевоенное время. После смерти сестры она заменила ее: шила ватники, рукавицы на продажу. Жизнь превратилась в один монотонный день, длинный, как бесконечная строчка, вылетающая из-под иглы зингеровской машинки. С тех пор она ненавидела шитье. В книгах

все было по-другому: люди много читали и говорили, вели тонкие беседы об искусстве, носили тонкое белье, имели тонкий вкус.

В действительности, которую она знала, от женщины требовался не ум, даже не воображение, а только терпение. Так была терпелива ее мать, выбивавшаяся из сил, чтобы одной прокормить четверых детей. Кроткая, терпеливая, робеющая перед всеми, оттого что рано осталась одна на белом свете, а нет ничего хуже в мире участи сироты. Мать стирала, мыла, убирала, шила, чтобы заработать на кусок хлеба, смиренно, не ропща, моля Николая-угодника о милости и спасении. Мать принимала свой удел как должное и ее учила смирению как умела, приучая к женскому труду, укrotившему не одну строптивую: к мытью, оттиранию, отскабливанию, отстирыванию, когда через мгновение появляются копоть, пыль, разводы, паутина, ржавчина, так, чтобы нельзя было поднять головы от ведра и таза, а зимой нужно носить баки с бельем к проруби, полоскать белье в ледяной воде, пока от холода не схватит сердце, а дома прясть, вязать сети, салфетки, подзоры. Такая жизнь напоминала сон, когда живет лишь тело, изо дня в день повторяя одни и те же движения, а ум бездействует, и душа дремлет в предчувствиях.

Но вот еще — поездка в старую деревню в ноябре — ноябрь внезапно рифмуется с деревней, дорогой в выбоинах, трещинах, будто дорога из глубокого забытого прошлого. Кругом ни души, и как медленно сливаются серый день, поглощаемый туманом, и серый асфальт, и серые березы, ивы по обочинам, и серое небо, и серая вода озера, подходящая совсем близко к дороге. А сама дорога — мчащаяся в серую хмарь — бежит то по краю скал, то бросается вниз с обрыва, то виражами уходит в сторону, а кроме нее только глухой лес, пропадающий в тумане. Где здесь реальность? Не так ли сон разворачивается петляющей дорогой посреди незнакомого пейзажа? И в то же время есть какая-то необходимость находиться тут, какая-то неизбежность и неизведанность, как во сне. А то, что над озером повисают острова-призраки и у кромки берега черная поднимается вода со льдинами — так ведь и должно быть в чужих краях, и что бы ни

говорили — ноябрь, непогода, ненужная деревня, а есть другой смысл всему этому, всему есть другой смысл.

Были женщины — толковательницы сновидений: бабка-соседка, жиличка-медсестра. Она узнала от них, что сырое мясо, доски, вода, цепляющиеся кошки снятся к болезни, но существовало еще столько примет, предвещавших опасности, что не было надежды их запомнить. Собственные сны были разрознены и непонятны, словно кто-то тасовал колоду событий и выбрасывал их в случайном порядке, так что следствия появлялись раньше причин, а конец предшествовал началу. И даже жизнь обывденная была неузнаваема во сне, причудлива и опасна. Сны усложняли реальность; похожие на жизнь и выдуманные, как книги, ими нельзя было управлять, а только плыть, стараясь не разбиться о препятствия. Жизнь сновидений была неправдоподобно ярка и в то же время размыта, неуловима; сны создавали мерцающую реальность, непрочную сеть, которая в любую секунду могла порваться, проступали наяву нечетким ощущением чего-то происходящего, но скрытого от глаз, а когда сны сбывались, то эта зыбкая реальность врывалась в настоящее и разрушала ее.

Она верила снам, тайной жизни, проходившей рядом, затягивающей в свои опасные водороты.

А сама действительность была странной, опускающей и поднимающей одновременно: после войны, голода и близости смерти любая жизнь была счастьем, а теперь, казалось, медленно текла к свету, вверх, в том направлении, которое подсказывали книги. Она искала людей, которые знали бы смысл восхождения, она заранее боготворила их, готова была служить им, отдать себя этому знанию. Она искала веры, ибо наступало время веры.

Город был разорен, дом разграблен, и нужно было жить. Они ходили с матерью по соседям, искали свои вещи. Так вернулись кровать и самовар — то, что нельзя было спрятать, перешить, перекрасить. Они продолжали жить как все, цепляясь за любую возможность, чтобы выжить: брат научился валять валенки, она шила, вязала, мать продавала. Иногда она ходила к поездам (они жили в доме у железной дороги), и ей каза-

лось, что она едет медленно в неизвестность, может быть, в прекрасное будущее.

Солдаты возвращались с войны. Она привыкла к солдатам: когда они жили в деревне, на линии фронта, те приходили, чтобы постирать белье, иногда делились продуктами, иногда играли в домино. Некоторые из них были чуть старше ее одноклассников и шутили, как дети. Один позже прислал ей фотокарточку с фронта: серьезный мальчишка в новой фуражке и гимнастерке. Это было его единственное письмо. И сейчас солдаты ехали домой после победы, радостные, говорливые, и она смеялась их шуткам, и махала рукой на прощанье. Жизнь так ясно, так просто текла к счастью, как и описывали это книги. Лишь однажды солдат, куривший в одиночестве на перроне, нарушил эту ясность, сказав ей без улыбки: «Меня везут на восток, я был в плену».

После она вспоминала его, для которого победа не была освобождением. Особенно когда отвечала на вопрос анкеты: «Находились ли вы на оккупированной территории?», она с облегчением, с радостью писала «Нет» как об одной из немногих жизненных удач. Нужно было жить правильно, чтобы не попасть в коварные сети анкет. Но ее всегда влекли люди, которые знали другое, опасное (она догадывалась, что знание может быть опасно, но для чего еще были написаны тысячи книг, как не для умножения знания?). Эти люди жили очень далеко, в светлых больших домах в Москве, среди книг, картин, изысканных предметов искусства.

Она хотела учиться, а в шестом классе ушла из школы и целый год пробыла в няньках в деревне у дальних родственников. Уйти — значило показать характер, упрямый, непреклонный, или подругому — начать обрастать защитной кожей, не чувствующей ударов. Характер — странная вещь. В книгах писали, что его делает человек, а на самом деле он вырастает сам из того тайного человека, который живет внутри и действует, прежде чем успеваешь осознать происходящее.

Тем летом она переболела лишаем и пришла в школу в косынке. На школьной линейке завуч сказала властно (тогда люди разговаривали властно): «Сними немедленно». Она была отличницей, примером исполнительности и послушания, от нее не ждали непокорности, но ее

внутренний человек знал прежде нее, что не подчинится. Завуч, наверное, считала, что авторитет власти зиждется на непреклонности, поэтому повторила: «Сними косынку сейчас же или больше в школу не приходи».

Она не знала полутонов, не знала, как прощать, поэтому ушла из школы. Она любила школу: уроки, перемены, пионерские субботники и спектакли в школьном театре, она любила книги, пятерки и притворно строгий голос учителя, когда после десятка неверных ответов он обращался к ней устало: «Клава, скажи», и она кивала понимающе и отвечала на вопрос.

Вот еще чем хороша была школа: здесь уважали тех, кто читал и знал правильный ответ, а ей хотелось учиться и знать ответы на все вопросы.

Она не думала об ответной любви, она могла любить безответной, жертвенной любовью, но ее самоотверженное служение предмету любви требовало лишь одного — его чистоты и нравственной безупречности; нечистоплотности она не могла простить, и тогда пряталась, уходила от тех, кого любила, переставала любить.

Так она перестала любить школу, и мать пошла к завучу просить за дочь. Мать всегда робела перед начальством; сама недавно выучившаяся грамоте, мать совсем потерялась при разговоре с важной учительницей, по-деревенски кланялась, извинялась и благодарила.

Ей всегда снился один и тот же сон: она идет по деревянному мосту, а он разрушается у нее на глазах. Теперь она не может вернуться обратно, и пути вперед тоже нет. Она в испуге просыпается, чуть-чуть приподнимается над сном, чтобы начать другое повествование, но опять оказывается у моста. Теперь она видит воду, сначала спокойную, но глубокую, но постепенно закручивающуюся в водоворотах, смертельно опасную; мост разваливается, только доски торчат из остова, удерживают ее на мосту. Она возвращается назад, потому что впереди — темный парк, еще более страшный, чем вода, и она не знает, зачем она шла туда. Где-то рядом голоса — значит, она не одна и кто-то уже перребрался на берег. «Мама, — зовет она, — мама».

Она не обрадовалась, когда мать сказала, что ей разрешили вернуться в школу. Быть второ-

годницей — такого унижения она бы не вынесла и, за лето выучив программу шестого класса, выдержала испытательный экзамен. Но любовь к школе не вернулась, и мать, жалая ее, уговорила поступать в медшколу, как старшая сестра Ася. Ася была далеко, на Дальнем Востоке, замужем за офицером из отдела снабжения, уже не нищая студентка, а важная дама. Но Асино счастье казалось каким-то ненастоящим, потому что та была далеко, писала редко вежливые письма, из которых нельзя было понять, какая у нее жизнь. Мать беспокоилась, ждала весточки, тайно надеялась, что та вспомнит о семье, поможет хоть чем-нибудь в голодные времена.

Счастье было на серых страницах книг в старых переплетах, в историях чужих людей, ставших ближе, чем соседи, чем родственники; не рассказанная, жизнь рассыпалась на фрагменты, на мгновения, которые невозможно было запомнить и сохранить, и некому было привнести логику и смысл в каждое из мгновений.

Но как соединить серую холодную доску стола с запахом картошки, и саму картошку, раздавленную на столе, посыпанную крупной солью, — с тем, что обещали книги, а значит, обещала жизнь. Как соединить ночь настоящую с белым острым серпом луны, пахнущую тоской и будущим, с воображаемой ночью, с запахами растений, о которых можно узнать в словарях, но никогда не представить аромата ночи, где бродят герои книг. Как встретить их в этой ночи, когда она живет в другой, и что сказать им при встрече: «Мне шестнадцать, я мечтаю о такой яркой жизни, как у вас, и о такой же огромной любви. И о таком же счастье».

Книга — тот же сон, когда еще не спишь, но уже не бодрствуешь, существование на грани, но может быть наоборот, только тогда и пробуждаешься, а в остальное время качаешься в колыбели бесконечных ритмов: утро-вечер, лето-зима, сон-не сон.

Медшкола — сон о взрослой жизни, где смешалось все: голод, надежда, девичьи разговоры о счастье. Его показывали в фильмах: честная девушка из простой семьи становилась принцессой, всеми любимой, уважаемой. Это была сказка про Золушку, и кто объяснит, почему сказку про Золушку хочется перечитывать сотни раз и почему ее рассказывают книги век за веком?

Или так рассказывает историю судьба, у которой в распоряжении не так-то много сюжетов. Вот и она напишет свою сказку о Золушке. Кто-нибудь ее прочитает: мать, или подружки, или когда-нибудь — дети, перескажут историю своей матери, которая шила телогрейки все дни напролет и жила впроголодь, а потом стала профессором. Ах, у нее появились золотые туфельки, и тонкие чулки, и легкая шубка, и ела она из нежного фарфора, как барыня, и слуги запрягали лошадей в золоченую карету, и усатый шофер открывал дверь автомобиля, и она уезжала в Москву, а может, дальше — Ниццу или Париж. И принц был рядом: умный, добрый, умелый, как и положено принцам.

Ее новая подружка, Тамара Лермонтова, не читала сказок. Она не тратила время на чужие сны, не проводила бессонные ночи в беспокойстве о графе Монте-Кристо, не ныряла в переулки Парижа вслед за Жаном Вальжаном, не дышала сырым воздухом Лондона, как диккенсовские нищие, ей не снились никогда холмы Италии. Тамара предпочитала книжным приключениям собственные. Она точно знала, что станет врачом, и ничего не боялась. Почему они стали подругами — загадка: это только книги все объясняли, а жизнь проходила без объяснений, просто Тамара подошла к ней однажды и сказала прямо: «Давай дружить». Дружить по Тамариному — значит следовать за нею и слушать ее истории, когда Тамаре не терпелось поделиться своими секретами.

Она умела слушать, ведь этим она занималась всю жизнь — слушала чужие голоса из книг. Следовать за Тамарой было неудобно, та была слишком жадной: ей хотелось взять у жизни побольше, казалось, ничто ее не может насытить, и шла Тамара вперед шумно и напролом.

Это за спиной Тамариного двоюродного брата она впервые промчалась на мотоцикле по шоссе до самого Торжка, ей было страшно от этой гонки, но она никому не посмела признаться. Так же страшно было у постели умирающей бабушки, когда с Тамарой они делали свой первый самостоятельный укол. «Давай!» — шептала Тамара, и она, по привычке подчиняться, готовила шприц. «Не надо, бабуля уже умерла», — шипела та через мгновение, и она отшатывалась от неподвижного те-

ла. Наконец дрожащими руками она сделала укол, не зная, живой или мертвой женщине, и тут же, не стовариваясь, они выскочили из палаты. «И чего ты испугалась, — сказала Тамара, когда они оказались в тихом и безопасном коридоре, — так сплошь и рядом бывает, не знаешь, жив человек или уже нет».

Тамара была совсем взрослой, хотя всего на два года старше ее: Тамара уже красила губы и смеялась как взрослая женщина. Она тоже научилась красить губы, держаться прямо, подбирать живот, кокетливо повязывать косынку, носить старое платье-клевш так, точно оно самого модного фасона, она тоже хотела стать врачом когда-нибудь. Но как-то все сдвинулось, накрепилось в другую сторону, жизнь оказалась плоской, непонятной, без сюжета, без героя: после окончания ее не направили в деревню фельдшером, а, как отличницу, оставили в городе на должности санинспектора. Она ходила по столовым и ресторанам с ощущением окружающей нечистоты. Здесь в грязных подсобках, на кухнях, в темных углах скрывалась нечистота: стгнившие овощи, просроченные продукты, помои, объедки, наспех заметенный мусор; ее начинало подташнивать, когда она только приближалась к кухне, она предчувствовала грязь, слегка задрапированную салфетками, улыбками, и взгляды людей у немых столов, нечистые, как их халаты. Это был сон о нечистоте, куда она медленно погружалась. «Что это у вас там в супе, черви?» — спросила она с ужасом у маленького сального человечка — завстоловой. «Какие черви? Это лапша», — сказал он невозмутимым голосом, но с той же грязнотой, и бросил пригоршню серой лапши в кастрюлю с супом. «Что вы делаете?» — изумилась она, но тот даже не взглянул на нее. Как всегда, ей даже не пытались врать или угождать; тихий голос, в котором звучало сомнение, но не было воли, выдавал ее. Обычно после инспекции ей предлагали выпить; сначала она отказывалась, но в ее отказе тоже было сомнение, и поэтому ее визиты заканчивались рюмкой водки, полупьяным бортом соседней по столу. Иногда она просыпалась: неужели это и есть ее жизнь до самой смерти, и книги нашептывали ей неосуществимые желания, воображаемую жизнь.

Вот какой сон приснился ей или она его прочитала: герой — убийца, он же жертва, он же сыщик, он же автор. Она не может понять, чья жизнь ей снится. Она знает, что совершила преступление, но какое — не помнит, и ей страшно. Ей приходится притворяться, что она такая же, как все, но понимает, что ее страшная суть будет обнаружена, это только вопрос времени. Она видит ночной пейзаж: болота, бурелом, черная вода в колее, свежескопанная земля, неопровержимые улики ее преступления, столь очевидные, что их нельзя не заметить. Но она же — сыщик, идущий по следу убийцы. Она чувствует свою беспомощность: кругом туманные долины, какие-то люди, оплетающие ее бессмысленными разговорами, незнакомые улицы, конторы, похожие на вход в преисподнюю: стучат пишущие машинки, кто-то разжигает угли то ли для утюга, то ли для самовара, в комнате дым и пахнет дегтем. Но она ищет нить в этих бессвязных обстоятельствах, не может быть, чтобы ни в чем не было смысла. Или она — та, за которой гонятся убийцы, солдаты в немецких мундирах, она бежит в дом, прячется под кровать — может, ее не заметят, но шаги все ближе, как легко они выбили дверь! Да это сон, кто-то сочинил всю историю, она читает ее, она припоминает. О, если бы ей сказали, что существует что-то еще, кроме этого сна, какие-то страны, которые называют настоящей жизнью, оттого что там все очевидно, радостно-просто: вот дом, и к дому ведет дорога — дорога к любви (что это такое?), дорога к счастью (но что это?).

Летом она случайно встретила с Тамарой. Они не виделись год, но ей показалось, что прошла вечность с тех пор, как кончилось детство. Та была как всегда весела, шумна, глаза ее сияли.

— Как ты? — закричала она и, не дожидаясь ответа, похвасталась: — А я поступаю в мединститут. Подала документы.

Тамара — в институт? Это было невероятно. Тамара, у которой не было времени открыть учебник, делавшая все наспех, на авось? Тамара, просившая ее пересказать лекцию и после объяснений запоминавшая с трудом половину, тогда как она схватывала на лету?

— Я тоже хочу поступать, но не знаю куда, — сказала она, бледнее от зависти.

— Так завтра последний день принимают документы, смотри, опоздаешь.

Она выбрала исторический. Историю она не любила, но ее просто было выучить: сфотографировать страницы учебника и после идти на экзамен уверенно, зная, что память не подведет, выбросит нужный абзац, и ей останется только прочитать написанное.

— Зачем тебе институт? — несмело спросила мать. — У тебя уже и так самое высшее образование. Иди в медсестры, вот Ася с мужем хорошо живут.

Бедная мама, она всегда всего боялась, не было бы хуже, и сейчас робко возражала, опасаясь неизвестного.

— Проживем, мама, у меня будет сталинская стипендия, вот увидишь, а вечером я могу шить.

После женитьбы брата они остались вдвоём с матерью, по-прежнему день за днем пытаясь выкарабкаться из нищеты.

На экзаменах она получила все пятерки. Больше всего боялась английского, но ей удалось перевести текст про тургеневского «Муму» без ошибки, а в конце экзаменатор спросил ее: «Can you swim?» Она не поняла вопроса, но на всякий случай сказала: «ес», и экзаменатор, улыбнувшись, вывел в ведомости пять.

Она стала студенткой. Она не могла поверить в стремительный поворот своей судьбы: будто она шла много дней по степи, и вот впереди показались горы, пейзаж внезапно переменялся, пахло свежестью и счастьем.

Она была старше своих сокурсниц, прыгнувших в институт со школьной скамьи, не видевших взрослых снов, не подозревавших о нечистоте, скрывающейся повсюду. У ее сверстниц были припухлые губы, не знавшие помады, умы, не растревоженные тоской о другой жизни. Она старалась держаться как они, беззаботно и весело, оставаться в кругу простых девичьих забот, но в назначенный час, как Золушка, она бежала домой, садилась за швейную машинку и строчка за строчкой убивала вечер. Ее новые подруги думали, что она зубрит вечерами, и она их не разубеждала.

А вот еще какой ей приснился сон — тетя Фуша, соседка, стучится в дверь и говорит: «Выходи, а то жизнь проспийшь. Девки гармониста привели, сегодня у нас гулянка».

Настоящая тетя Фуша — огонь и беспорядок, только она могла ворваться в сны с такой бесцеремонностью. Ей все нипочем. Вот тетя Фуша пригнулась к земле, вот распласталась, чтобы стать незаметнее, и ползет, крадучись, как кошка, к забору, чтобы расслышать глухую перекланку соседней. Тело тети Фуши большое и грузное, неудобное для такой охоты, но тетя Фуша относится к происходящему со всей серьезностью. Через полчаса она будет сидеть на завалинке с довольным, как у сытого кота, лицом и пересказывать подслушанные секреты. А потом взмахнет рукой и зачитает глумливыми куплетами, запоет громко и весело. Муж тети Фуши — сапожник, золотые руки, так что Фуше не пришлось работать за кусок хлеба, а было время и петь, и смеяться. Ее муж — человек молчаливый, жилистый, упрямый. Но она и его сумела обломать, обточить свой язычок. Тот ей не перечил, а запил. «Повешусь, — сказал он однажды, — от такой жизни». «Да вешайся, — засмеялась тетя Фуша, — вольному воля». «Повесился бы, да веревки в доме нет», — ответил муж. «Да вешайся, сейчас принесу», — ответила тетя Фуша, она не любила, чтобы с нею спорили. «На вот», — бросила она веревку мужу и вышла. А тот взял да повесился. Многие рассказывают о тете Фуше, пытаются разгадать, откуда в ней столько бездумной удали. По-разному живут люди, можно жить и так. Но отчего вдруг тетя Фуша явилась во сне, разлила глупое свое веселье?

Она была лучшей на курсе, ей легко было быть лучшей, лекции запоминались без усилия, память как сеть ловила все, нужное и ненужное, но ум ее бездействовал. Она опять начала было тосковать, потому что жизнь, описанная в книгах, так и не наступала, и нечистота, от которой она бежала, напоминала о себе, являясь то в снах, то в глухих предчувствиях. Но в новом семестре наконец все случилось так, как говорилось в книгах (а книги пишет судьба), она нашла, что смутно желала, искала, не зная, что именно она ищет. К ним на курс пришел моло-

дой преподаватель Аарон Иосифович, Арон, совсем недавно окончивший Московский университет. Он не был похож на людей, которых она знала, будто он вышел из старого романа, где полюсы добра и зла были неизменны, так же как неизменен человек в поисках правды. Арон был умен, начитан, как и полагается герою, и в то же время прост, искретен, словно ничего не было необычного в его уме и знаниях. На выходные Арон уезжал домой в Москву, и она представляла, как он идет в один из домов с большими окнами, открывает дверь в просторную комнату со стеллажами книг до потолка, садится в старое кресло, углубляется в чтение. Он читает те книги, которые ей недоступны, и читает так, как она не умеет, выхватывая мысль и эмоцию среди множества описаний и рассуждений. Может быть, он спит в эту минуту, но ум его бодр, энергичен, как это бывает во сне. Мысль — тоже приходит из сна, такая же непостижимая, как сновидение. Из каких электрических импульсов рождается мысль, как движения нейронов превращают студенистую ткань в любовь? Подобно ли тому, как жизнь порождает сновидения, а сновидения — жизнь?

Арон сразу выделил ее из других студентов, она схватывала все на лету и жадно требовала нового знания, новой пищи для ума. Незаметно они подружились, и ей казалось, что она нашла наконец точку равновесия между книгой и реальностью. Чужая смелая мысль будоражила ее воображение, она почувствовала ни с чем не сравнимое удовольствие от интеллектуальной беседы, от простого наблюдения за парадоксальной игрой ума. До сих пор она не смела думать о том, что нарушало границы обычных представлений. Трудно было предположить, что существуют области, которые невозможно описать словом, что есть пропасти между словом и явлением и они непредставимы, непреодолимы. Они с Ароном говорили о прошлом, о силе, движущей людей и целые народы, о законах человеческого бытия, о будущем. Ему казалось странным, что будущее неизвестно, оттого что никем не прожито, хотя было бы возможно допустить, что кто-то до нас, а может быть, и мы, уже жили в будущем, и для нас оно — только припоминание, оттого пророчества обращены в прошлое. Она смея-

лась, но была горда, что Арон выделил ее из всех студентов и настойчиво советовал заняться наукой. Сам он писал диссертацию и не сомневался в своей академической карьере.

Она не смела сказать, что для нее историческая наука — случайный выбор (а что в жизни не предопределено, или всякий выбор не случаен?), но ей хотелось стать такой, как он, жить среди тонких вибраций, умных разговоров, говорить на равных.

И она постепенно примирилась с необходимостью изучать давно ушедшую жизнь человечества, обратившегося во прах, существующего только в умах, в невидимой вселенной.

А еще она почувствовала сладкий аромат еврейства, то незнакомое обаяние, заключавшееся в женственной тяге к высшему знанию, беспокойстве об истине, грустной насмешливости, которую невозможно было повторить, и поэтому она казалась особенно притягательной. Она не думала, что Арон — еврей, она бы удивилась, если бы кто-нибудь сказал ей об этом, но с тех пор она ждала людей, похожих на него, она любила их заранее, признавая их ум, а значит, превосходство над другими.

Она была из тех, которые влюбляются в мужской ум. Особый голод по играм интеллекта заставлял ее искать собеседника, и, если он был умен, парадоксален, ей легко было отдать ему свое сердце.

Но жизнь вокруг была далека от умозрительных приключений. Убогий быт, привычная нищета не пугали ее, ибо она не знала другого, но верила, что все неизбежно переменится к лучшему каким-то чудесным способом, как об этом писалось в книгах, сама жизнь подразумевала ожидание близкого счастья.

В марте объявили, что умер Сталин, и внезапно привычное течение жизни остановилось, потому что теперь нельзя было точно сказать, чего ждать. Она принимала существование Сталина как нечто навсегда данное, так же как Москва была столицей, а вся история — борьбой за лучшее будущее человечества, и теперь чувствовала себя потерянной, как если бы ей сказали, что ныне столица — Лондон или Берлин и что история — это история хаоса и бессмысленности. Не раздумывая она бросилась в

Москву, чтобы разделить с другими людьми свое смятение. Она не заметила, как попала в человеческий поток: люди шли и шли, это было похоже на сновидение: серый поток на серых улицах, так, наверное, по-другому называют горе, — и вдруг толпа начала сжиматься, все жестче впечатывая тело каждого, так что невозможно было сдвинуться, пошевелиться. Страх охватил ее: толпа двигалась медленно, неотвратимо, как лавина, затаптывая замешкавшихся. Она закричала, и кто-то с силой вытолкнул ее к самому краю; она отползла в сторону, как затравленный зверь, вырвавшийся из смертельной ловушки, еще не веря в спасение.

Внезапно какое-то странное чувство охватило ее, предвкушение близкого счастья, свободы, и она удивилась этому чувству, потому что оно не совпадало с тем, что называется настоящим: холодный промозглый день, переполненный вагон, мать, робко спрашивающая, как там, в Москве, ужин из серых макарон, урок шитья и после серое мартовское утро с той же рутинной; но настоящее почему-то было не важно, мимолетно, потому что приближалась радость «будущей всеобщей любви», как она сказала внезапно вслух, оттого что слова внезапно всплыли и потребовали быть произнесенными.

Вот какой ей приснился сон: строится дом, стучат молотки, незнакомые рабочие вставляют двери и окна. Она моет стекло, неправдоподобно прозрачное, так что, кажется, нет необходимости в ее работе, но она трет по блестящей поверхности мягкой белой тряпкой, и сердце ее колотится от радости. Как ей нравится этот день, эта веселая работа, и прозрачное стекло, то отгораживающее ее от мира, то его приближающее; и то, что она стоит на втором этаже и смотрит сверху на людей, на зеленые деревья у дома. Кто, как ей сказал тогда, что жизнь бесконечна? Она проснулась с ощущением легкости — кто сказал ей, что жизнь легка, или она всегда чувствовала это?

Жизнь двигалась по спирали, она не знала, что судьба состоит из повторов, тогда как роман избегает повторов, и дело не в том, что судьба менее изобретательна, чем автор. Просто она не нуждается в необычных пово-

ротах сюжета, чтобы поддержать интерес аудитории: судьбу заботит не зритель, а только герой.

Ее опять, как отличницу, оставили по окончании института в городе, и она вновь получила работу странную, скроенную не по ее судьбе — ее направили в горком комсомола, в отдел по идеологии, и так как она понимала идеологию как самоотверженное служение высшей идее блага других людей, а в отделе боролись за формальную чистоту рядов: с пьяницами, прелюбодеями, тунейдцами, — то она, чтобы освободиться от внутреннего хаоса (а хаоса она не переносила больше всего), попросилась учителем в сельскую школу. В деревне все еще был девятнадцатый век, в школу ходили за семь километров пешком; готовили, спали на печи, жгли лучину. И люди здесь были крепкие, умелые, приспособившиеся к выживанию, как хозяйка Анна Ивановна, у которой она снимала комнату, женщина властная, практичная, сумевшая вытолкнуть своих детей в город за лучшей жизнью.

Библиотека, разговоры с Ароном, казалось, приснились ей, так крепко, незыблемо было настоящее.

— Вы любите смородину? — спросил ее директор школы, маленький сутулый человек с пропыленным лицом.

— Нет, — она посмотрела на него удивленно.

— Очень хорошо, тогда завтра вы с детьми будете собирать смородину, посмотрите, чтобы никто не ел.

Внезапно деревенская жизнь стала настоящим, — будто ничего другого и не было — столь вещественным, неоспоримым, что можно было вбить в него гвоздь, как в стенку, оно откликнулось бы на долю мгновения незаметной вибрацией и стало вновь твердо перед ней. В деревне она преподавала вместе с историей литературу, физкультуру, химию. Мальчишки разбирались в химии лучше ее, но великодушно носили за нею таблицы, а на физкультуре терпеливо ждали, когда она появится, запыхавшись, из-за поворота, и бежали вперед до следующей горки. Они признавали за ней силу книжного знания, которое, наверное, было важно в городе, но здесь большей частью оказывалось бесполезным. Но они любили слушать, когда она рассказывала им про отважно-

го Айвенго, или про всадника без головы, или про Гавроша из темных парижских трущоб. У них загорались глаза, и мечтательно они смотрели вокруг, не замечая школьных стен: настоящее таинственно раскрывалось перед ними как волшебный ларец из старой сказки.

Но и в непреклонном настоящем было свое волшебство: сосновый лес, начинавшийся за деревней, по краю которого в теплых овражках росли белые грибы, — она любила собирать их, возвращаясь из школы. Крепкие, веселые, живописно расположившиеся под пушистой елочкой или замысловато закрученной корягой, боровики были так хороши, что она, вспоминая их, иногда сомневалась, не приснились ли они ей: так безупречно было мгновение: мягкий солнечный свет, насыщенность красок, драгоценные грибы, спрятавшиеся в траве.

Все три года после института вместились в это мгновение, и когда летом она опять встретила Тамару, то несказанно удивилась, как бывает с пробудившимся внезапно человеком: оказывается, все это время жизнь двигалась, бурлила, менялась. Тамара вновь встретила ее с огромными новостями: та побывала замужем, а теперь ехала в Ленинград учиться на рентгенолога.

Аспирантура в Ленинграде! Почему ей ни разу не пришла в голову эта мысль, почему она уснула в неподвижном деревенском мире? Как она смогла забыть об Ароне, о своем детском предощущении судьбы: будущей жизни среди книг, утонченных снов и сновидений, вместе с людьми, легко и привычно существовавшими в мире красоты и искусства.

Она поступила удивительно легко, победила претендовавшую на место кандидатку; она умела покорять экзаменаторов безупречной логикой, силой, самоуверенностью. «Председатель Временного правительства — не ваш родственник?» — спросил экзаменатор. Она взглянула на него со страхом: у них в институте так опасно не шутили. Здесь все было другое: культивируемое фрондерство, стиль жизни, как во французских фильмах: с бесконечными сигаретами, кофе с коньяком в кафешках, где встречались свои, посвященные; долгие разговоры в курилках, залах Публички. Среди аспирантов было много иностранцев, принесших незнакомые привычки чужого мира. Всегда она стремилась к такой

жизни, ключам, мыслившим опасно, пробуя на крепость стены дозволенного. Внешне она занималась малозанимательной работой: изучением истории профдвижения на Кировском заводе, но вся ее новая жизнь была первой попыткой полета, она училась летать. Впервые она почувствовала свою провинциальность. Особенно один из новых знакомых — аспирант с философского факультета Влад — язвил над ней постоянно, хотя все вокруг острили и ерничали, подсмеивались друг над другом, и она еле успевала отбиваться от чужих шуточек. И все-таки ее ум был сильнее, проще, приспособленный для выживания, уравновешивающий противоречия, перемалывающий хаос в систему — это скоро признали все остряки, заблудившиеся в своих шутках. Она всегда видела выход, находила его безошибочно в самых глухих дебрях, в любом споре была права. Они были мальчишками перед нею.

Ей приснился сон, что она потеряла тело и смотрит на жизнь откуда-то сверху, волнуется, мучается, но не может ничего сделать. Не может взять в руку стакан, чтобы напоить ребенка, не может перевернуть страницу, даже толкнуть ногой закатившийся мяч не в силах. Все, что осталось у нее — сознание, бессильное, бесполезное, страдающее. Люди проходят мимо, не замечая ее. А рядом такие же, как она, потерянные души, каждая — в своей клетке. Она просыпается в ужасе — сердце бешено бьется, значит, с ней ее тело, она и есть тело, сильное, выносливое, она — русые волосы, вздернутый нос, пухлые губы. Но почему она думала, что проснулась, ведь сон ей по-прежнему снится?

Мать писала ей почтительные письма с поклонами, почти не рассказывая о житье-бытье. И так все было ясно. Каждый раз перечитывая их, она вспоминала, из какой западни вырвалась. Приехала старшая сестра с тремя детьми и мужем-пьяницей, а за ней вернулся брат с молодой женой и первенцем, и все поселились в их домишке, в двух комнатах. Они с матерью тогда ютились на кухне, остальные набились в комнатенки, дети кричали и плакали, женщины ссорились, пьяный шурина устраивал дебоши, все чувствовали себя несправедливо обра-

нутыми обстоятельствами, злились друг на друга, выплескивая раздражение на того, кто подвернется под руку. Невестка, дородная глуповатая жена брата, сидела целый день дома, перебивала косточки соседям и родственникам и осуждала ее за то, что она все еще учится. Сама невестка, перебравшись к ним в дом, выбросила все книги брата, чтобы тот всегда был при семье и при деле.

Мать хотела всех примирить, уговорить, но голос ее был слишком тих, и она не смела никому перечить.

— Мама, нельзя же так, — говорила она в сердцах, — зачем было звать всех сюда, в такую тесноту, ведь жили они отдельно и пусть бы жили.

Мать жалела всех и молчала, слушая грубые перебранки.

— Мама, нельзя быть такой ...рабой, нужно защищать себя, — убеждала она мать. Они долго жили вдвоем, поддерживая друг друга. Никто так преданно не любил ее, как мать.

А она все реже навещала ее и сейчас заставила себя приехать только летом. Мать приболела, ее увезли в больницу с болью в животе.

— Не оставляй меня здесь, возьми домой, — мать боялась больницы.

— Что ты придумала, как я тебя оставлю, — она утешала мать, как ребенка. В ней было столько сил и надежд, что она не могла подумать о плохом. Не из легкомыслия, а из странной уверенности, что все должно быть и будет хорошо.

— Больше всего я хотела бы ребеночка твоего нянчить, — сказала мать грустно перед ее отъездом.

Они сидели в своем углу, в домике у железной дороги, где время было подчинено расписанию поездов, и голос диспетчера и днем и ночью напоминал, что есть другая жизнь, в постоянном движении, и гудки поездов звали в эту неизведанную жизнь, манили неизведанным счастьем.

Через месяц мать стала жаловаться на боль в спине, ей прописали лечебную гимнастику, но ей становилось хуже. Когда она приехала к матери в августе, та уже не могла подняться, врачи сказали: рак, последняя стадия, прописали обезболивающее. Они договорились с сестрой делать уколы по очереди, но сестра была занята тремя детьми, по-прежнему пившим мужем, и она осталась одна у постели матери. Она думала: какое

счастье жить без боли, и она не ценила его; еще недавно она считала, что боль — несправедлива, но временна, на самом деле временна жизнь без боли. И сейчас она чувствовала боль, предчувствуя ужас потери, отодвигая ужас настоящего, и знала, что боль останется с ней навсегда.

— Иди поспи хоть немного, я посижу с мамой, — сказала ей сестра.

Она ушла в свой угол на кухне, провалилась в сон без сновидений, похожий на смерть. Она спала долго, впервые ни разу не проснувшись посреди ночи.

Сестра разбудила ее.

— Мама умерла.

Она запомнила навсегда какой-то неверный промельк на лице сестры, предательский — в долю мгновения — взгляд. Лежавший у постели матери шприц показался ей орудием убийства.

Позже она старалась убедить себя, что ей почудилось внезапно изменившееся лицо сестры, но с тех пор они избегали встреч друг с другом. Она уехала из родного города навсегда. Больше никто не ждал ее здесь.

Наконец она оказалась у моря. Настоящее море — шумящее, синее, с длинной полосой прибоя, со слепящим солнечным диском в небе, окутанное разнообразными звуками человеческой речи. Здесь же — зонтики и кабинки для переодевания, запахи перезревших фруктов, нагретого камня и песка. До всего можно дотронуться, вдохнуть вкусный морской воздух.

Когда-то из книг она узнала, что все лучшее с человеком случается на берегу моря, наверное, оно — синоним счастья, полноты жизни. Море было прекрасно и потому, что его нельзя было увидеть, нельзя вообразить человеку, всю жизнь проведенную на берегу небольшой речки. Но море снилось ей давно. Она всегда на краю, боится зайти в воду, делает шаг в сторону этого опасного дышащего чуда. Во сне она остерегается моря, но сейчас наяву любит его. И правда, море — это счастье, наверно, поэтому к нему ехать так далеко. И все равно она не заходит далеко в воду, плещется у берега, а потом прячется от солнца под тентом.

Вернувшись в Питер, она заболела какой-то странной болезнью — внезапно она разучилась

читать. Она по-прежнему открывала книгу, пробегала взглядом по строкам, но слова не складывались в предложения, их смысл ускользал от нее. Это было страшно, словно она ослепла и оглохла, заточена в тюрьме тела пожизненно, без всякой надежды вырваться на свободу хотя бы во сне.

Она перевелась с очного отделения на заочное, стала жить напряженно-настороженно, как одинокие люди, для которых жизнь не замкнута в железные ободья привычки, долга, будничной рутины. Постепенно память возвращалась к ней, и она совершала короткие путешествия в чужие сны, как в детстве, когда жизнь была ожидаемым праздником, полным красок, звуков, подарков.

Ей приснилось, что все книги куда-то исчезли, осталась одна-единственная, и она держит ее в руках. Очевидно, это была библиотечная книга, кусок картона заменял переплет, на котором забыли написать название; страницы пожелтели, пропахли дымом, а некоторые оказались склеенными. Она увидела слово Пушкин на форзаце, текст был без иллюстраций и разбит на главы, конечно, это еще один роман, но разве Пушкин писал романы? Сам текст оказался неуловимым: возможно было рассмотреть строки, но вычленишь какое-то слово никак не удавалось. Впервые перед ней была книга, которую нельзя прочитать.

Раньше ей встречались трудные книги, требовавшие специального усилия, чтобы их понять. Но эта напоминала зеркало, которое почему-то ничего не отражало и все же не переставало быть зеркалом.

Ее охватило отчаяние — может быть, остальные книги были комментариями к этой книге, и сейчас, без необходимых пояснений, книга оставалась закрытой навсегда. Значило ли это, что и жизнь больше невозможно истолковать? Тогда кто же она и к чему ей стремиться?

Она проснулась в страхе, но реальность была по-прежнему неизменной: открытый справочник на прикроватной тумбочке, стопка непрочитанных библиотечных книг на полу.

Питерская жизнь волновала ее, как прежде, даря надежду на что-то радостное, обещанное

когда-то книгами. Она не могла надышаться холодным питерским воздухом, боясь думать, что все это: новые друзья, книги, разговоры, свобода — может внезапно исчезнуть.

Распределение было в Поволжье и на Север. Поколебавшись, она выбрала городок, самый близкий к Питеру. Она хотела быть уверенной, что очень скоро вернется обратно. Не только она была одержима мечтой вернуться в Питер. Влад, поразивший ее многими качествами: феноменальной памятью, злым умом и непрактичностью (слабая копия Арона), сейчас неожиданно проявлял чудеса изобретательности, чтобы получить прописку в Ленинграде.

Она ехала в маленький северный город со страхом: что за жизнь была уготована ей здесь. Город был тихий, вежливый, и люди радушны и немногословны. Ее поселили в общежитии, в комнате, кишевшей клопами. Окна выходили на глухую улочку, почти неживую. Ей страшно было представить, что она останется здесь навсегда. Но жизнь двигалась дальше, по-прежнему незнакомая и все же бесконечно повторяющаяся, круг за кругом, все больше заворачивая ее в одиночество. Она опять стала искать здесь свой Питер и ждать. Сейчас она ждала известий от Влада, ждала квартиру, ждала ребенка. А появилась Тамара. Другой бы назвал ее появление невероятным, выдуманым, но тот, кто пишет судьбу, не всегда придумывает новые ходы, напротив, не утруждая себя, пользуется старыми приемами.

— Вот так встреча! — закричала Тамара. — Да я знала, что ты приезжаешь, но думала, что весной. Все равно бы мы встретились.

Она улыбнулась: что-то было неизменным в этой жизни. Тамара все та же, с яркими губами, громким смехом, с новым мужем, новым ребенком. Все так же путающая все на свете: единственный человек, которого она знала, так и не запомнивший, когда произошла Октябрьская революция. И все же ненадежность Тамары была надежной.

А сейчас она хотела надежности: своего угла, со столом и кроватью, своими ложками и вилками. Может быть, когда-нибудь ей удастся купить занавески. Надежность выстраивалась мелкими фрагментами, как куски мозаики.

Если у нее будет дочь, она назовет ее Региной. Ее дочь сделает то, что не удалось ей: она будет жить среди умных тонких людей, ее мир будет широк и свободен.

Влад не приезжал, а дочь появилась в положенный срок и сразу же разрушила ее жизнь, перепутав день с ночью. И она стала учиться жить по ночам, изучать тишину, подлаживаться под сонные ночные ритмы. Они уже переехали в маленькую квартиру, пустую, без мебели, где тишина была особенно гулкой. Дом стоял недалеко от железной дороги, и незнакомые голоса на станции перекликались, сообщая о жизни, протекающей мимо, вечно обещающей и вечно зовущей. И, как в детстве, она прислушивалась, как приближается дальний поезд, и вновь пропадает в ночи, и тишина смыкается над тобою, и одиночество так явно проступает в этой тишине, что больше нет сомнений: жизнь и есть одиночество и труд без отдыха и награды. Но, может быть, что-то еще, о чем толковали книги, но так и не могли назвать, а только будили беспокойство. И недосказанность, непоясненность и была ответом, который всегда ускользает, хотя так очевиден.

Она знала его, когда бежала из библиотеки с новым томом чьих-то сновидений, и знает сейчас, когда слушает ночь, и жизнь то снится ей, то проступает отчетливо, как изображение на переводной картинке, столь простая и понятная, что ничего и не нужно, чтобы быть счастливой, а только жить час за часом. И дальние гудки поездов, доносящиеся из полусна, подтверждали, что дорога бесконечна, и даже скрытая в ночи, в тумане будущего, она бежит к лишь известной ей цели, не останавливаясь, дальше, к этому дню, другим неизвестным дням.

4. *Светлана Ивановна*

Светлана Ивановна встречает меня пирогом, дешевым вином из бумажного пакета, потом достает жирный кусок баранины, оставленный для мужа.

— Знаешь, мама к нам переехала, — говорит она горестно, глядя, как я ем с неприличной жадностью, как всякий человек с дороги. А я человек с дороги. Я запоминаю все, что увижу, и

двигаюсь дальше, потому что знаю: я всегда могу вернуться домой, где меня ждут.

Я благодарна за кров и еду, а Светлана Ивановна — за разговор.

Светлана Ивановна сидит в мягком кресле напротив, у нее ухоженное тело зрелой женщины, печальные глаза и красивые ноги. Я знаю, что людям нравятся женщины с красивыми ногами. Светлана Ивановна нравится мне, я слушаю ее почти с нежностью, и жирное мясо и кислое вино кажутся мне необычайно вкусными.

— Мама переехала к нам вот уже полгода, и каждый день на нервах, — горячо говорит Светлана Ивановна. — Я даже слегла из-за нее. Ведь ее ни на минуту невозможно оставить, я говорю ей: «Мама, у тебя же есть комната, телевизор, отдыхай», а она то на кухне, то в ванной что-то делает, и я ничего не могу найти после нее, а если найду — все испачканное или разбитое, а газ она через раз забудет выключить.

Я мало знаю о старости. Что это: неизлечимая болезнь? неотвратимо надвигающееся безумие? неизбежное, больше не скрываемое разрушение тела? На самом деле я не хочу ничего знать о старости, словно она заразна, словно я могу ее избежать.

— Может быть, это склероз? — осторожно спрашиваю я.

— Конечно, нет, у мамы великолепная память, и она очень любит поговорить о том, что прочитала или услышала в новостях. О, она столько расскажет, только начни слушать.

Мои руки начинают дрожать. Я ощущаю горький вкус во рту.

— А вчера, — продолжает Светлана Ивановна, — мама ведь Стаса чуть не убила. Он стоял на стремянке, а она проходила мимо, ты знаешь, она целыми днями бродит по квартире, а тут ее пошатнуло, и она вцепилась в стремянку; еще секунда — и Стас бы разбился, и мама бы покалечилась. Я еле удержала их обоих. Как у меня сил хватило, сама не представляю. У мамы больное сердце, а она не хочет лежать, капризная, как ребенок, за ней нужен глаз да глаз, а чуть что — обижается. Я думаю, не дай бог дожить до таких лет. Я вот Тане всегда говорю: «Стану старой — гони меня».

Я пытаюсь вообразить собственную старость.

Все детские воспоминания со мной, и я живу день за днем, как и раньше, по-прежнему пробуждаясь с каждой весной, а кругом говорят: «Время ушло», и нежно-заботливо отодвигают меня в самый угол. Оттуда я могу наблюдать за их жизнью, за их отчаянной погоней за счастьем, потому что сама я давно никуда не бегу. В моем углу ничего не происходит, и счастье столь неопределенно, что кажется: его здесь нет или, напротив, оно тут каждую минуту. Предполагается, что в своем углу я готовлюсь встретить смерть. В их жизни — это тема для трагедий, в моем углу — повседневность. Я сижу в углу среди детских воспоминаний и наблюдаю, как разрушается мое тело. В полном одиночестве я готовлюсь встретить смерть.

— А как твоя мама? — спохватывается Светлана Ивановна и, не слушая ответа, продолжает: — А я сколько помню свою, она всегда была мной недовольна, все ей не так: и работа не та, и муж не тот, и ребенка не так воспитываем. Ведь она за всю жизнь Стасу слова доброго не сказала, все молчком, молчком, а я знаю, что не нравится он ей. А сколько он старался: и квартиру ремонтировал, и всегда, если нужно, ее подвозил, и подарки к дню рождения, а она все принимала как должное, вечно осуждала. Все должно быть по ее, а если не так — обидится, замолчит. И все время говорит мне: «Я старая». Уже лет тридцать говорит: «Что ты хочешь, я старая», а только последний год ей стало хуже, а так у нее сил — больше, чем у нас всех, у меня давление постоянно скачет, я кручусь как белка в колесе, думаешь, она мне когда-нибудь посочувствует?

— Ты ешь, — спохватывается Светлана Ивановна, подливает вина из пакета, и я вижу, что ее пальцы слегка дрожат. Разговор приносит ей облегчение, и она не может остановиться. Я запиваю горечь вином. Я думаю, как трудно заслужить материнскую любовь, она безусловна и требовательна, как всякая любовь, взывающая, молящая: «Люби меня, люби».

— Или вот сегодня, например, я говорю: «Мама, не надо складывать спитой чай в шкаф, от него только грязь», а она как всегда молчит, но с таким видом, что лучше бы кричала, — Светлана Ивановна волнуется, сжимает пальцы. — Ты представляешь, слова не сказала за весь вечер. И я эту грязь выбросить бо-

юсь, вдруг станет еще хуже. Ты думаешь, какой пустяк, стоит ли из-за этого ссориться, но жизнь состоит из таких вот пустяков, они накапливаются, накапливаются, и кажется, сил больше нет, нервы на пределе. Жить со стариками — не дай бог, я знаю, что пожалею об этих словах, уже сейчас жалею, но не дай бог.

Наполнена ли любовь к матери чувством вины или чувство вины и есть любовь? Как удержаться между вечным «отпусти меня» и таким же вечным «не покидай»? Мама, дай мне пожить без страха за тебя, свободно, глупо, мама, оставь меня, но только не уходи.

— Как Таня? — спрашиваю я о дочери Светланы Ивановны. Мне хочется говорить о понятном.

— Таня часто звонит, — лицо Светланы Ивановны светлеет, она говорит со сдержанной радостью, — ей там нравится, и университет, и сам город. Вот на Рождество поехала к друзьям в Денвер, столько впечатлений! Я ей говорю в шутку: «Смотри, забудешь нас, все в делах да друзьях, приехать некогда». Ты знаешь, я так рада за нее, у нас здесь все хуже и хуже, работы для молодых нет, пусть уж там живет по-человечески.

В комнате тихо, очень тихо, трудно поверить, что за тонкой стенкой, совсем рядом — старая женщина. Я пытаюсь представить ее:

сидит в кресле с книгой или дремлет, закрыв глаза, как моя мама.

— Стас уехал сегодня в командировку, так что мы вдвоем, — Светлана Ивановна будто читает мои мысли. — Слава богу, мама рано ложится спать.

Мне пора идти, за окном глухой декабрь, в зимней темноте люди двигаются от дома к дому почти на ощупь. Кажется, каменные здания со светящимися окнами надежно защищают от холода и тоски, но тоска незаметно просачивается в теплые дома с электрическим светом. О, это молчание в квартирах, о, эти безутешные разговоры: мама, мама, зачем я здесь, зачем эта любовь, мама, это страдание?

Я долго одеваюсь в прихожей, натягиваю свитер, повязываю шарф, готовлюсь к морозу и ветру. Светлана Ивановна стоит рядом, не переставая говорит, ее лицо светло от разговора: все несчастья дочерней любви она раскрывает передо мной, как сообщнице. И я, если бы могла, открыла ей свой темный список обид, страхов, бесконечной вины. Но мне незачем говорить, я выйду за порог, глухое одиночество встретит меня. Я знаю: слова не утешают, и ночь за окном зовет к себе.

□

Ирина Вильевна ЛЬВОВА —

доктор филологических наук,

профессор кафедры

германской филологии ПетрГУ.

Прозаик.

Автор книг «Рассказы»

(2001 г., совм. с Т. Мешко),

«Если бы нас спросили» (2003),

«Вариации» (2009),

«Случайные гости» (2011).

Публиковалась в журналах

«Carelia», «Север», «Аврора» и др.

Член Союза писателей России.



Эмма Петровна МЕНЬШИКОВА

родилась в г. Шяуляй Литовской ССР.

Окончила филологический факультет Латвийского государственного университета в 1979 году.

Работает журналистом.

Публикуется в региональных и столичных литературных журналах и альманахах, в коллективных сборниках.

Победитель Всероссийского поэтического конкурса им. С.А. Есенина (2011) и VIII Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» (2011).

Лауреат премии журнала «Молодая гвардия» (2012) и сайта «Российский писатель» (2013).

Лауреат XX Международного конкурса имени А. Платонова «Умное сердце» (2013).

Автор шести поэтических книг.

Член Союза писателей России.

В журнале «Север» публикуется впервые.

**Эмма
МЕНЬШИКОВА**

г. Липецк



«И печально и благоестно...»

КОЛОКОЛЬНАЯ ПЕСНЬ

На Покров подморозило.
Разошлись облака.
Неба блёклое озеро
Расступилось слегка...

И печально и благоестно,
Словно где-то вдали,
Колокольцы поярусно
Свою песнь завели...

Главный пел о несбывшемся —
Утешал, а не пел!
Над избою и вишнею
Низко-низко летел

Его голос размеренный,
Разливаясь окрест...
Остальные уверенно
Ввысь несли свою весть...

Словно пели грядущее,
Возвещали его...
И надеждой ликующей
Плыл по воздуху звон.

И казалось, за окнами
Мир застыл, не дыша...
Колокольными звонами
Упивалась душа.

* * *

На Земле обычный зимний вечер —
Неба синь и снега тусклый свет...
Что ж так душу тянет этот вечный
И непритязательный сюжет?

Слишком хрупким стал миропорядок,
Слишком беспокойно стало жить —
И вздыхают бабки у лампадок:
Ах, успеть бы смертное сложить...

С каждым днём всё гуще мгла над Русью,
Каждый год в России — недород.
И темнеют ликом Ржев и Усмань,
Снова ворог Русь в полон берёт...

Оттого и на душе тревога:
Ускользает в прошлое сюжет —
Русь святая, зимняя дорога,
Неба синь и снега тусклый свет...

* * *

Дорога к дому моему бежит издалека.
Там дедов хутор и река — вода в ней глубока...
Там те же звёзды до сих пор мерцают в вышине,
А дома нет, и сада нет: они живут во мне.

Всё в памяти моей пока не тронута быльём,
Сидит отцовская родня на лавках за столом,
И пахнет в доме молоком, и печка льёт тепло,
И вдруг взовьётся песня так, что задрожит стекло...

Всю жизнь трудились на разрыв — и пели, душу рвя,
А ныне там земля пуста да шелестит трава.
И песни эти не слышны, и судьбы как во тьме,
Но помню я — и все они живут, поют во мне...

* * *

Не всё ль равно, где стать землёй, травой,
Когда однажды душу ввысь покличут?
Она взметнётся в дом Небесный свой,
Забыв земные страсти и обличье.

А плоти — что? Что — оболочке той,
Живой, покуда в ней душа держалась?
Но поманили душу высотой —
И выбора у ней не оставалось...

Но если думать, где землёю стать,
Где прорасти осокою простою...
То лишь в краю родном, Россия-мать,
Да чтобы не под вражеской пятою.

* * *

Неужто грачи прилетели?!
Ещё до весны две недели,
Ещё злопахают метели,
Как будто глубокой зимой...

А птицы летят к своим гнёздам —
Их тучи на небе промозглом,
И поздно жалеть уже, поздно,
Что рано вернулись домой...

А впрочем — какое там рано!
От воздуха родины пьяны,
Презрев свои жаркие страны,
Ликуют, галдят вразнобой

И мечутся в небе остылом,
Гонимы неведомой силой
К родным тополям и осинам,
К земле, что зовётся судьбой.

* * *

Мы ещё застали эту Русь —
С улочками вологд и тарус,
Утопающими в зарослях сирени,

Старую бревенчатую Русь,
Где прощенья просят в сыропуст
И постятся до Святого Воскресенья...

Мы ещё застали эту Русь,
Что на сабантуй или навруз
Древнюю весновку не сменила.

Эту жаворонковую Русь
Так люблю, и потерять боюсь,
Что в ладошках бы её хранила...

Позарез были нужны деньги. Позарез. И где их взять? Не воровать же и не на панель идти. Оставалось одно проверенное средство — заработать. Маша поистязала газеты, выискивая объявления, но ничего подходящего так и не смогла найти. Тогда она вспомнила о своей подруге Даше, которая устроилась в фирму к родственникам. С недавнего времени у Даши стали водиться немалые деньги. Ничем криминальным эта фирма не занималась — продавала обои на различных торговых точках. Зарплата сдельная и выдавалась сразу в тот же день. Даша давно звала подругу подзаработать, но Маша стеснялась. Она считала зазорным работать в уличной торговле и всячески отнекивалась. А тут позвонила сама и согласилась.

Торговать нужно было в Омске, Маша жила в небольшом городке по соседству. На первой электричке она за час доехала до областного вокзала, где ее встречал Славик, развозчик продавцов и товара по торговым точкам. Верный слуга своих хозяев, лицо, приближенное к ним, он свысока смотрел на продавцов. Маша не стала исключением. Друг другу они не понравились. Маше Славик своими гнилыми зубами и надменностью, Славику Маша своей воспитанностью и скромностью.

— Не навариваться и не воровать, — первое, что сказал он.

— Как я обои утащу? Разве вы не заметите, — удивленно пролепетала Маша.

— Продавать по той цене, по которой товар выставлен, — сухо продолжал диктовать условия «шишка на ровном месте». — У нас ценовая политика особая. За-

Наталья
РОМАНОВА

г. Москва

ИЗЫСКАЯ
ВКУСНАЯ
ИЗЫСКАЯ

рассказ



высишь цену — пойдут к конкурентам, всё у них скупят.

— А если будут просить сбросить? Люди ведь любят торговаться.

— Хочешь — сбрасывай, только со своих процентов. Кстати, тебе с каждого рулона идет десятка. Десять рулонов продала — сотка.

— А если ничего не продала?

— Тогда с тебя вычтут за место.

— И ничего не заплатят? — ужаснулась Маша.

— А ты как хотела? — усмехнулся Славик. — Торговать-то умеешь? Раньше торговала?

— Ага, — ответила Маша, делая вид, что равнодушно смотрит в окно.

Торговать она не умела, хотя ей приходилось один раз стоять за прилавком. Это было самым страшным позором в ее жизни. На бабушкиной даче в больших количествах росли кусты смородины, видимо-невидимо, сплошь обсыпанные ягодами. Когда Василина Игнатьевна вдоволь наварится варенья, назакатывается компотов, излишки ягод шли на рынок. Бабушка продавала ягоды, а деньги откладывала на перегонной, удобрения, то есть на дачу. Старушка гордилась тем, что дача и сама себя кормит, и их с Машей. В один из дней лета Василина Игнатьевна приболела. А смородина на продажу уже была собрана.

— Придется тебе, деточка, идти торговать, — сказала бабушка двенадцатилетней внучке.

Маша в тот день тоже притворилась больной — лишь бы не идти на рынок. Но на следующий день старушка захныкала, что собранная смородина скоро потечет или забродит, а значит, и денежки тю-тю. Пообещала дать немного денег внучке на карманные расходы. Девочке скрепя сердце пришлось тащиться на рынок. Ноги не слушались. Едва она пришла на рабочее место, то поняла, что там ее никто не ждал.

— Ты чего сюда встала? Кто тебе разрешил? — наехала тётка с огурцами.

— А куда можно? — вежливо спросила девочка.

— А где ты вчера стояла?

— Нигде, — ответила Маша.

— Место на тебя занимали?

— Не знаю.

— Тогда чего ты сюда приперлась? Здесь все давно распределено, — сказала нахальная тётка

и, отодвинув ведро Машиной смородины, принялась раскладывать кучками огурцы. Машу оттесняли все дальше и дальше, пока она не оказалась чуть ли не на задворках торгового ряда.

— У меня бабушка тут торгует, — едва не плача сказала Маша, — она-то всегда себе место найдет, а я первый раз.

— Наглее надо быть, а то заклюют, — посоветовала ей соседка, — локтями приходится до рогу пробивать.

Маша посмотрела на свои локти и призадумалась.

— Почём смородина? — спросил подошедший покупатель, пробуя ягоду.

Маша робко ответила.

— Издеваешься, что ли? Ей красная цена вполовину меньше.

Маша пожала плечами.

— Мне сказали за столько продавать.

Следующий покупатель, пробуя, наоборот, сказал, что смородина подозрительно дешевая. С каждым недовольным покупателем девочка словно становилась меньше, вжимаясь в землю.

— Кислая, — морщился один.

— Мелкая, — плевался другой.

Эх, будь у Маши деньги, она бы купила сама это ведро у себя. Когда проходили знакомые, девочка пряталась под прилавок, было очень стыдно, что она стоит и торгует на базаре. К середине дня Маша не продала ни горсточки ягод, и соседка, сжалившись над девочкой, решила скупить у нее смородину, но по самой низкой цене.

— А что ты хотела? Опт есть опт.

Маша представила, как ей влетит от бабушки за те копейки, вырученные от продажи смородины, но ей влетит ещё больше, если она с полным ведром вернется домой, и Маша, вздохнув, согласилась на сделку.

И вот снова, спустя несколько лет, ей предстояла торговля.

Славик с Машей подъехали к рынку. Водитель выгрузил коробки с обоями из машины на землю.

— Пойду поищу место.

Маша озиралась по сторонам. Скорее бы кончился день и все осталось позади. И рынок, и Славик, и обои.

Слава ходил долго, но место нашёл. Маша, взяв одну из коробок, уныло поплелась вслед за ним.

— Я здесь буду торговать? — Она была в растерянности, когда увидела, что рабочее место — небольшой кусочек земли возле забора.

— Что тебе не нравится?

— Так здесь даже прилавка нет!

— Ну что есть, то есть. Сюда засунуться — ещё умудриться надо! Договариваться пришлось с самим начальником охраны. Здесь будем торговать впервые. Испробуем, что за рынок. Поэтому места, разумеется, нет и не скоро появится. Здесь уже давным-давно все застолблено.

— А если мы чьё-то заняли место?

— Ну, пусть раньше приходит. К тому же у меня договоренность насчет этого клочка земли.

Славик объяснил, какие обои в какой коробке, сколько стоит тот или иной рулон, немного сообщил о производителе.

— А документы?

— Какие документы? Нет никаких документов.

— А если проверка?

— Придумаешь что-нибудь. Скажи, что продавец отошёл и попросил покараулить товар. В общем, выкрутишься. Ну всё, я уехал. В шесть буду.

Маша осталась одна с кучей коробок. Для начала подсчитала количество рулонов обоев, по одному достала на образцы, после этого уселась на коробку и, волнуясь, принялась ждать покупателя.

— Чьи обои? — спросил подошедший мужчина.

— Мои, — заикаясь, сказала Маша, а у самой в голове — зря сказала, может, это проверка.

— Производство чьё?

— Германия. Обои фирмы «Раш». Очень качественные. Есть для спальни, кухни, гостиной, офиса. Бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные, обои под покраску, — тараторила Маша, но мужчина уже показывал спину с белой надписью «Обмани прохожего, на тебя похожего» на черной футболке.

«Наверное, слишком навязчиво я предлагала товар», — укорила себя Маша. На следующего покупателя девушка не обращала внимания, делая вид, что ей слишком все равно до него.

— Почему?

— Разные цены.

— А эти почему?

Маша назвала цену.

— Дешевле есть?

— Кажется, есть, — зевнула она.

— Как варёная! — возмутился покупатель. — Из тебя все клещами приходится вытаскивать. «Это у меня подход такой», — подумала Маша, смотря на удаляющегося покупателя.

Народу было мало. Сновали продавцы, среди которых оказалось много цыган. Они выгружали товар, доставая его из клетчатых сумок. Места возле Маши, пустовавшие доселе, оказались вмиг занятыми. Цыганки суетились, громко кричали, размахивали руками. Мужчины держались степеннее, порой прикрикивая на тех, кто в юбке, и сплевывая между зубов. Они были одеты в яркие рубахи малиновых, алых, синих цветов. Молоденькие цыганочки то смеялись-веселились, то, надув губы, стервозно перебирали товар.

— Это ещё что такое? — подошла к Марии цыганка и разразилась бранной речью. — Ты откуда взялась? Проваливай! Это наши места. Тэ скарин ман дэвэл!

Глаза ее гневно сверкали и с ненавистью смотрели на Машу.

— Меня сюда поставили! — вступилась Маша за себя. — Начальник! — добавила она. — Не верите — сами спросите.

Видимо, эти слова возымели действие.

Всё утро мимо нее проходили цыгане и что-то презрительно говорили в ее адрес. Она заняла одно из их мест, но выгонять ее оттуда боялись, поскольку совсем недавно на этом рынке у цыган был конфликт с руководством из-за жалоб покупателей, и продавцы вели себя пока тише воды ниже травы, не приставая к покупателям и не вступая с ними в склоки. Но Маша к покупателям не относилась, поэтому к ней они были вовсе не ласковы.

День разгорался. Становилось жарко. Маше хотелось пить. Ее соседка отправилась в ларек купить себе воды.

— Купите, пожалуйста, и мне, — попросила Мария.

— Ещё чего, — буркнула цыганка.

¹ Чтoб тебя Бог покарал!

– Мэ тут мангава, – сказала Маша, что означало «я прошу тебя».

Цыганка с удивлением посмотрела на девушку. Маша же всю старалась, чтобы ее взгляд выражал полную невозмутимость. Она знала несколько цыганских фраз, а всё потому, что в их дворе жила обрусевшая, но всё же цыганская семья. И Маше захотелось выучить тогда этот язык, но всё так и осталось на уровне желания.

– Повтори! – приказала цыганка.

– Мэ тут мангава.

– Ты знаешь цыганский? Откуда?

Маша стеснительно улыбнулась, а цыганка тем временем метнулась за водой. Вернулась она не одна, с ней ещё пять женщин в цветастых одеждах, которые недоверчиво смотрели на белокурую Машу.

– Пхен, сыр тут кхарна²?

– Маша, – ответила Маша.

Цыганки переглянулись.

– Пхэн, кон ту? Ромны или гаджэ?³

Вторую часть фразы Маша поняла, ее спрашивали, цыганка она или нет. Однако ее цыганский ограничивался несколькими самыми необходимыми словами. Нужно было что-то предпринимать.

– Ромны, – подтвердила Маша, – наполовину.

Цыганки посмотрели на нее с интересом.

– Расскажи!

Девушка задумалась, взор ее затуманился, она некоторое время смотрела вдаль, после чего начала свой рассказ.

– Дело было так. Моя мама была цыганкой.

Женщины обступили Машу плотным кольцом.

– Так вот, – продолжила девушка, – она была очень красивая, как все цыганки, но...

Цыганки загудели, кивая в знак согласия, хотя красивыми их было назвать трудно.

– Тихо! – топнула на них девушка по имени Роза. – Продолжай!

– Но она была красивее всех своих соплеменниц. Как говорят испанцы, красивой считается та женщина....

– При чем тут испанцы? – пожала плечами Роза, но теперь уже зашикали на нее.

– Три вещи у нее должны быть черные – глаза, брови и волосы, три тонкие – пальцы, губы и волосы и ещё много чего по три.

– Как звали ее?

– Эсмеральда, – назвала Маша первое пришедшее на ум имя.

Цыганки восхищенно зацокали языками.

– Моя мама обладала такой красотой, что, повстречавшись с ней единожды, ее нельзя было забыть. Она магически действовала на мужчин, и многие теряли голову от любви к Эсмеральде.

Маша задумалась.

– Дальше, – потребовали слушательницы.

– Эсмеральда была невестой цыганского барона. Барон был намного старше ее. Он очень любил эту прекрасную молодую женщину, окружил роскошью, но незадолго до свадьбы Эсмеральда встретила красивого и смелого мужчину. Он был русский, но это обстоятельство нисколько не смутило Эсмеральду, ведь они с Эдуардом, так звали этого человека, полюбили друг друга, и Эсмеральда сбежала с ним.

– Какой позор для барона!

– Да, – согласилась Маша, – барон сам лично бросился на поиски беглянки. Он нашёл ее и потребовал вернуться. Но Эсмеральда была непреклонна. Она не захотела покинуть своего Эдуарда, за что чуть не поплатилась жизнью, потому что барон хотел ее убить.

Маша прервала рассказ и посмотрела на цыганок, те ждали продолжения повествования.

– Он хотел ее убить, но Эдуард был гораздо проворнее, он бросился прямо на бароновский нож, выбил его из рук нападателя и...

– И?

– И воткнул в мягкое тело цыганского барона. Цыганки ахнули.

– Выжил?

Маша замотала головой.

– Где это было? Я что-то не слышала такой истории, – сказала пожилая цыганка.

– В Румынии, – не моргнув глазом, ответила Маша.

– А Эдуард – твой отец?

– Даде⁴, – подтвердила девушка.

– Отчаянный!

² Скажи, как тебя зовут?

³ Скажи, кто ты? Цыганка или нет?

⁴ Дад (*цыг.*) – отец.

— Не знаю, как им удалось уладить дело с убийством барона, но после этого они приехали в Россию и сразу же поженились, хотя родители Эдуарда были против. Родилась я. А потом, — Маша тяжело вздохнула, — Эсмеральда влюбилась в одного циркача. Он метал ножи.... Эдуард узнал об этом от своего друга, который тоже был циркачом. Он пошёл на представление и увидел там Эсмеральду, сидящую в первом ряду и смотрящую особенным взглядом на этого метальщика во время его выступления. Тот взгляд Эдуарду хорошо был известен... Дикая необузданная страсть сверкала в том взгляде. А в конце своего выступления метальщик преподнес цветок Эсмеральде, и она украсила им волосы. Красная роза в чёрных, словно ночь, волосах была для Эдуарда словно красная тряпка для быка. После этого состоялось бурное выяснение отношений. Эсмеральда сказала ему, что больше его не любит, что полюбила храброго циркача и что она уходит от Эдуарда. Эдуард на коленях упрашивал ее остаться, но Эсмеральда этого делать не собиралась. Тогда ревнивец в ярости схватил Эсмеральду и стал душить. Она попыталась было высвободиться, но не тут-то было. Его крепкие пальцы обхватили ее горло, словно щупальца гигантского осьминога. Через мгновение все было кончено. Эдуард проплакал над телом Эсмеральды, потом похоронил ее в лесу, вырыв яму. Ножом. После этого отдался в руки правосудия. Он во всем сознался и даже рассказал про барона. Единственное, что утаил, так это где могила Эсмеральды. Его присудили к смертной казни. А меня воспитывали бабушка и дедушка — мать и отец Эдуарда. Они скрывали от всех, что я цыганка, и запрещали мне учить цыганский язык.

С этими словами Маша закончила рассказ, глаза ее были влажными от слез. Цыганки смотрели на девушку не мигая, пребывая под сильными впечатлениями от услышанного.

За последнее время к Маше не подошло ни одного покупателя. Возможно, их отпугивало скопище цыганок.

— Ой, заболталась я с вами, а у меня ещё ничего не продано! — заволновалась Мария.

— Не беспокойся, сейчас продашь! — самая старшая из цыганок, что-то нашептывая себе

под нос, трижды обошла Машин товар, потом поплевала и снова обошла коробки, но уже с другой стороны.

— Дай монету, лучше рубль, — попросила она.

Маша кое-как нашла рубль. Цыганка и на него что-то нашептала, потом положила под коробку с товаром и велела продавцу обоями после первой продажи положить этот рубль обратно в кошелек.

— Он деньги будет заманивать, — пояснила цыганка.

Маша усмехнулась. Неужели это поможет? Но, к удивлению девушки, торговля пошла бойко. То ли заговор цыганки помог, то ли товар был хорош.

Через какое-то время цыганки, увидев, что у Маши коробок стало наполовину меньше, вдруг всполошились.

— А ну-ка покажи свой товар!

Все хорошие расцветки были выбраны. Оставались, на Машин вкус, да и большинства покупателей, самые нелепые.

— Зачем смолчала, что у тебя такие нарядные обои, ещё цыганка называется! — завозмущались женщины в голос. — Сколько стоят?

Маша назвала цену.

— Дешевле отдашь?

— Не могу.

— Много возьмем!

— Не могу я дешевле. Не велено мне цены скидывать.

«Надо было назвать цену подороже, а потом скинуть, — подумала Маша. — Эх, умная мысль приходит опосля».

Цыганки тем временем не унимались, требуя скидку.

— Все коробки заберем, — обещали они, — все десять штук.

— Ладно, валяйте! — махнула рукой Маша, согласившись продать оставшиеся обои подешевле.

Когда к вечеру приехал Славик, он, увидев отсутствие коробок, сначала страшно испугался.

— Изъяли товар? Проверка была?

— Нет, — покачала головой Маша. — Продала.

— Как продала? — не поверил Славик.

Маша достала пачку денег.

— У тебя было тридцать коробок по двадцать рулонов. Итого шестьсот рулонов. И ты все продала?

Маша кивнула.

— Такое первый раз за все время! У нас был однажды рекорд с одной точки сто два рулона, а тут шестьсот! Ты почему их продавала? — насторожился Славик.

— Как было велено. Только оставшиеся десять коробок с такими ляпистыми обоями я продала чуть дешевле, да и то потому, что их оптом брали.

— Какие ляпистые? Какой их номер?

— Семьсот двадцатый.

— Умница, — завопил Славик, — эту безвкусицу никто не покупал. Мы за все время ни одной из десяти коробок так и не продали. Я тебе их специально сунул. Ты ведь не знала, что это зависалово. Ну ты, Машка, даешь! — восхищался Славик.

— А на других точках как? — равнодушно поинтересовалась Мария.

— По-разному. Где десять рулонов, где пятнадцать, а на одной точке, причем в самом центре, так вообще четыре рулона продано. Один покупатель был за весь день, остальные жмотились. А ты шикарно поработала, — улыбаясь, сказал потенциальный клиент стоматологического кабинета.

— Не густо, — посочувствовала Маша. — Как насчет завтра?

Несмотря на то что Мария заработала за день приличную сумму, торговать на этом рынке ей больше не хотелось, всё-таки она побаивалась, что ее цыганки разоблачат. Не жди тогда пощады.... Наколдуют ещё чего-нибудь. Но если Славик попросит выйти поработать, отказать ему ей будет неудобно, хотя и проблема с деньгами уже решена.

— Вечером позвоню, договоримся, — уклончиво ответил Славик.

Но вечером звонка не последовало. Славик позвонил на следующий день. На вопрос, почему не позвонил вчера, он замялся и не нашёлся что ответить. Зато стал расхваливать Машу, говорить, какая она звезда торговли и как хозяева ею довольны.

— Представляешь, сегодня на твоём месте стояла Олька-толкачка, пятый год у нас работает, на самом прикормленном месте, по пятьдесят рулонов шпарит. Мы решили ее сегодня поставить на тот рынок, где ты вчера бесчин-

ствовала. Это ж надо шестьсот рулонов! — елевым голосом восхищался Славик.

— И что эта Олька? Много продала?

— Да брось ты! Ни одного рулона!

— Ни одного?

— Мы сами в шоке! Она-то уж маститая торговашка. А тут ни одного. Да и цыгане одолели. Она с ними весь день собачилась. Ноги ее, говорит, не будет больше на том рынке. Значит, завтра, как в прошлый раз, встречаемся на вокзале?

— Нет.

— Нет? Почему? Не можешь? Давай послезавтра.

— Нет, — последовал ответ тверже предыдущего.

— Почему нет?

— Пусть ваша толкашка там работает, — сказала Маша и положила трубку.

Через месяц она вновь ехала в Омск на электричке. Неожиданно нос к носу Мария столкнулась с Розой, с которой познакомилась на рынке, когда торговала обоями. Девушки разговорились.

— Думаешь, мы поверили, что ты цыганка, — под конец разговора сказала Роза, перебрасывая чернящие волосы с одного плеча на другое. — Не цыганка ты, так ведь?

Маша сжалась.

— Не цыганка, — пролепетала она.

— Но ты... ты все равно цыганка! — Роза внимательно посмотрела на Машу, а Мария же, наоборот, недоверчиво.

— Так кто я, цыганка или не цыганка? Ромны или гаджэ?

— Ромны! — засмеялась Роза. — Да ещё какая цыганка! Так красиво врать только мы умеем.

СВАДЕБНЫЙ КОСТЮМ

рассказ

Костюм был хорош. Как произведение искусства. Словно его сотворил не портной, а изваял скульптор. Взял ткань, отсек все лишнее, и получилось швейное чудо.

Лукерья Петровна, увидев костюм, расплакалась. Мозолистой рукой она вытирала неловкие слезы. Сила крепкой материнской руки была ей как знакома Лешке. Если она ударяла его по мягкому месту, это так больно, словно Лукерья Петровна припечатывала Лешкин зад разделочной доской.

Видя материны слезы, Лешка не знал, как себя вести. Он переминался с ноги на ногу и неуклюже улыбался.

— Ну, чего улыбишься? — Афанасий Петрович беззлобно и небожно ткнул кулаком в плечо племяннику, но Лешка слегка покачнулся. — Еле на ногах стоишь! Худина ты этакая!

— Хорошо, что не скотина! — Лешка засмеялся от своей находчивости. — Дядя Афанасий, ты который год живешь в городе, а все наши словечки потребляешь.

— Ты прав, Лешка, деревню из меня не вытравить. Нравится костюм-то? А то матушка твоя рыдает как по покойнику.

— Афонька, ну тебя! — Лукерья отвернулась и вытерла слезы. — Скажешь тоже. Лешка, а ты чего дядечке своему не благодарствуешь? Кланяйся, кланяйся!

— Лукерья, да полно тебе! Поклоны это раньше барам отвешивали, а мы советские люди, и нам замашки крепостнического устроения ни к чему.

— Как не нравится, дядя Афанасий? Как не нравится? Очень нравится! Аж дух захватывает!

Лешка провел рукой по пиджаку:

— Гладкий!

— А где ты занозистый костюм видел? — прыснул Афанасий Петрович.

Лешка снова погладил рукой пиджак.

— Чего ты его наглаживаешь? — заругалась Лукерья Петровна. — Пятно поставишь!

— Руки чистые. — Лешка на всякий случай еще раз обтер их об штаны.

— Чистые! А земля под ногтями!

Лешка хотел что-то возразить, но зная, что матери перечить нельзя, передумал.

— Сходить руки помыть?

— А чо их мыть? Хоть мой, хоть не мой, а костюм больше не лап.

— Здрасьте! — Афанасий Петрович удивленно посмотрел на сестру. — А мерить как?

— А чего костюму примерки устраивать? И так видно, что ладно будет.

— Нет, примерить надо. Вдруг он Лешке мал?

— Похудеет! — отрезала Лукерья Петровна.

— А вдруг большой?

— Отожрется.

— Лукерья, но ведь...

Лукерья Петровна не дала брату договорить:

— Костюм не дам надевать. Уберу его в сундук, и пусть там лежит. До свадьбы. Начнет надевать на себя, порвет или пятно поставит. Чо ли я сына родного не знаю. Давеча надел новую рубаху. Со ступеней стал спускаться, навернулся. И чо ты думаешь, Афанасий? Порвал! Порвал, стервец. У меня сердце слезою изошло. А ему хоть бы хны.

Лешка долго не забудет тот подзатыльник за порванную рубаху. Уж слишком от души он

был подарен матерью. Сейчас он и не пытался просить надеть костюм. Все равно не даст. Рассвирепеет еще больше и не только порванную рубаху припомнит.

Целую неделю шли смотрины костюма. Приходили соседки с дочками, и каждый раз Лукерья Петровна с важностью, неторопливо открывала сундук, доставала из него небольшой тюк, развязывала его и демонстрировала всем костюм.

— Хорош! — охали бабы.

— А ткань-то! Как называется?

— Хишимир, — со знанием дела отвечала Лукерья.

— Щедрый у тебя братец! Город не испортил мужика нашего. Деревенского.

— А Лешка-то, наверное, совсем красавец в такой одежке!

— Придет время, наденет! До женихов еще не дорос.

— Не скажи, Лукерья! Скоро осемнадцать годков.

— Жениться — дело не хитрое. По душе жену выбирать-то надо.

— Ему Мария нравится, — сказала Дашка, дочь Аграфены Кузовлевой, — только, тетка Лукерья, я не выдавала вам Лешку.

— Мария? — вскинула бровь Лукерья. — Что за Мария?

— Тимохи дочь.

— Тимохи? Пьяницы тово?

— Так Мария не пьет. Тихая. Скромная.

— Не дам я ему на свадьбу с дочкой Тимохи костюм! Другую найдет! И вообще, чо разговор про свадьбу завели? Поговорить не о чем? Разглядели наряд? Убираю его.

Бабы провожали костюм печальным взглядом. У их-то сыновей не будет таких костюмов на свадьбу, и у дочерей навряд ли женихи будут щеголять в таком виде.

Время от времени Лукерья открывала сундук и смотрела на костюм. Представляла, как женит сына, какой Лешка справный жених, как на нем сидит этот костюм.

Лешка и сам тайком от матери разглядывал костюм. Он думал о Марии и что непременно женится на ней. Ему очень хотелось примерить костюм, но было как-то боязно. Он даже, чтобы не искушать себя, придумал, что если

наденет костюм, то не женится на Марии, потому крепился и глушил свое любопытство.

Война стала бить по всем и сразу. Алексея Волобуева призвали на фронт одним из первых в деревне. В мае ему исполнилось восемнадцать лет. Друзья, которым было чуть меньше и по возрасту их не брали в армию, завидовали Лешке и по-белому, и по-черному.

Каждое письмо, приходившее с фронта, читали хором на бабий лад с причитаниями и присказками.

— Чтoб ни дна ни покрышки супостату этому, Гитлюре проклятой.

— Робятки наши гибнут, поля засеваем, кто исть будет?

— Немец к Москве рвется. Боюсь я, бабоньки, а никак возьмут ее?

— Типун тебе на язык, дура! — Лукерья Петровна замахнулась полотенцем на Аграфену. — Не взять им Москвы. Руки длины не той.

Первая похоронка в деревне пришла в дом Тимохи. Погиб смертью храбрых. Так было написано на маленьком листочке, который крутила в руках его дочка Мария, жизнь ее теперь разделилась на — с отцом и без отца.

— Прости нас, Тимофей. Мы всё пьянь да пьянь на него, — говорили бабы, — а он погиб геройски.

— Ты заходи, Машенька, заходи ко мне, — Лукерья Петровна неловко приобняла Марию, — даст бог, невесткой станешь. У нас и костюм на свадьбу есть. Война кончится, придет Алексей с фронта — поженю вас. Знаешь какую свадьбу устроим!

— Пришел бы только, — тяжело и по-бабьи вздохнула семнадцатилетняя Дашка, подружка Марии, но Лукерья посмотрела на нее так грозно, что та быстрехонько спряталась за широкую спину Аграфены.

Мария почти каждый вечер стала заходить к Лукерье. Долгими часами они вспоминали Лешку. А в мечтах о свадьбе иногда разворачивали скатерть, в которую был завернут костюм, и подолгу смотрели на него.

Последнее письмо от сына Лукерье пришло в ноябре...

Погиб рядовой Алексей Волобуев, защищая Москву, чтобы ни одна бабонька в деревне

больше не боялась, что возьмут ее, столицу России.

Когда пришла похоронка, первые слова, какие сказала Лукерья, были о костюме:

— Так ни разу и не надел.

Мать не знала, что это были и последние слова ее сына. Больше она не открывала сундук, чтобы полюбоваться на костюм.

И вот долгожданная победа, выкованная подвигами сыновей и молитвами матерей. В деревню стали возвращаться кому было суждено остаться в живых. Зарождалась новая мирная жизнь.

— Тетка Лукерья, приходи к нам в субботу, — сказал Ванька Свиридов, проходя мимо колодца, где она набирала воду. — Свадьба у меня.

Лукерья Петровна молча кивнула, хотя знала, что не пойдет. Слово «свадьба» обожгло ее сердце. Никогда ей не женить своего Лешку.

— Тетка Лукерья, — постучался вечером к ней в дверь Ванька, — я чего пришел...

— Раз пришел, так говори.

— У Лешки костюм был. Помните?

Как ей не помнить?

— Тетка Лукерья... Лукерья Петровна, я понимаю, что... Но свадьба у меня...

У самой суровой на всю деревню женщины

вдруг хлынули слезы. Она наклонилась на стол и стала так рыдать, что у Ваньки подкосились ноги.

— Тетя Луша... — Он подошел к ней и робко положил руку на плечо. — Простите меня. Сдурю я так. Я ведь и в гимнастерке могу. Простите.

На следующий день Лукерья Петровна пришла в дом Свиридовых. В руках она держала сверток. Костюм жениху пришелся впору.

Потом играли свадьбу у Кривобородовых. Костюм жениху был большеват, но на это не обращали никакого внимания.

А потом у Разуновых, а потом у Ногаевых. И даже из соседних сел и деревень приходили за этим костюмом на свадьбу. Слух прошел по всей округе, что тот, кто женился в Лешкином костюме, живет счастливо, весело, с женой в ладах и детишки хорошие нарождаются.

— Не жалко костюма-то? — спросили как-то у Лукерьи бабы. — Память о Лешке все-таки.

— Так они все мои Лёшки. Вон у меня их сколько! — кивая на пробегающую ребятню, ответила Лукерья Петровна.

Говорят, в тех местах до сих пор женятся в Лешкином костюме и живут долго-долго и счастливо-счастливо.

□

Наталья Владимировна РОМАНОВА —

прозаик.

Родилась в селе Леуши Кондинского района Тюменской области.

Окончила Уральский государственный педагогический университет.

Училась в Литературном институте им. А.М. Горького.

Публикуется с 2009 года.

Награждена золотой медалью Пушкина

и золотой медалью Есенина

Академии русской словесности им. Г.Р. Державина.

Удостоена Международной литературной премии «Русский позитив», впервые учрежденной Российским фондом мира.

Член Союза писателей России.

Живет в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.





МУЗЕЙНОЕ ТАЧНО

рассказ

Борис ГУЩИН

г. Петрозаводск

Ожидание вечера было обуреваемо одной нескончаемой мыслью: вот он подойдёт к школе, постучится в зелёную заветную дверь каморки, где когда-то была теперь никому не нужная кубовая¹. Она писала в длинных письмах, что сейчас на круглом бетонном основании того самого куба стоит её кровать, покрытая спальным мешком в цветочек. Сегодня вечером они наконец-то дадут волю своим чувствам, теперь уже, как казалось, навечно переполнявшим их с той первой встречи.

Конечно, и другие мысли шевелились в его голове, но эта довлела.

Вдруг вся эта достаточно сложная чувственно-умственная конструкция разом рухнула. Кристина сама встретилась на их с Варей пути к районному начальству.

Это событие можно было и предугадать, но Фёдору почему-то оно казалось маловероятным.

Крыська остолбенела, словно в игре «замри», и зашла краской, не в силах вымолвить ни слова. Столь же ярким столпом стояла и Варвара.

Наконец Кристина решилась:

– Зайдешь?

– Вечером.

Разошлись.

Варвара молчала, дыша каким-то тяжёлым сопением на всём их длинном пути к районной администрации. Он, конечно, ждал её реакции на столь неожиданную встречу, но никак не мог предположить, во что она выльется.

Уже на крыльце этой самой администрации, райкомовская архитектура которой, невзирая на рекламу нового шопингхауза, ностальгически нагло пёрла наружу, Варя, с трудом успокоив дыхание, вполне дружелюбно, но с еле улавливаемой горечью сказала:

– Женись на Крыське, дурак. Этим ты осчастливишь хоть одну женщину в мире. – После небольшой паузы она продолжила: –

¹ Кубовая – подсобное помещение, оборудованное для подогрева воды.

Больше ты никому не нужен. И никогда не будешь. Помяни мои слова.

У него напрашивался вопрос: «И тебе?», но, слава богу, на редкость благоразумно, улетучился.

В администрации у них спросили паспорта и сразу шлёпнули штампы на командировочные. Вспомнился загс. Мендельсона только не хватает. В голове после встречи с Крыськой возникла полная каша. Федя с трудом сообразил, зачем Варя толкает его в бок и шепчет на ухо:

— К Анатолию Ивановичу надо обязательно зайти. Спроси у секретарши.

Совсем забыл. И вправду надо.

В центре сельского поселения Карпозеро, под Теплогорском, куда они приехали в экспедицию от областного музея, не оказалось ни гостиницы, ни желающих пустить на ночлег трёх разнополых молодых людей, да ещё с микроавтобусом. Начальник деревенской администрации предложил ночевать в его конторе (простите, в «офисе»). Водитель Валера (кроме как «пилотом» Варвара его не называла) сразу сказал, что ему удобно и привычно ночевать в автобусе, а Федя с Варей, оглядев «офис», разместившийся в типовом совхозном доме еще 1970-х годов, согласились.

В каждом из двух кабинетов стояло по удобному кожаному дивану. В спальниках на них будет вполне миленько. Вообще, для сельского офиса обстановка была довольно приятной. С диванами вполне гармонировали несколько таких же стильных кресел, чёрных, кожаных, удивительно лёгких на вид, но традиционно тяжёлых на вес.

Высокий чёрный кулер стоял меж окон офисной гостиницы, в другом межоконье тускло светлела некогда белизна, а теперь уже желтизна, древнего пузатого «Саратова». Хорошо. Есть где еду хранить. И кулер — хорошо. Жить можно.

А вот на большее у местного начальства денег, очевидно, не хватило. По стенам стояли светлые, отделанные под ясень и тем не менее тяжеловатые на вид шкафы. Несколько казенных столов ещё того обстоятельного присталинского дизайна диссонировали со всем остальным. Ну уж столы-то ведь можно заменить! На одной из стен висел, похоже, живописный (Фёдор, подойдя поближе, так и не понял, масло или искусная копия) портрет президента в дорогой современной резной раме. На противоположной стене висел в

простенькой рамке, наверняка сделанной руками местного умельца, агитационный плакат, призывающий отдать голоса за некогда кандидата в депутаты, а нынче относительно молодого главу района Анатолия Ивановича Лагутина. Мелким шрифтом были перечислены, очевидно, биографически-героические данные его как успешного деятеля не только районного, но и питерского так называемого «бизнеса».

Варвара подошла к портрету и долго стояла перед ним.

— Понравился?

— А что, если да? Тебе-то какое дело? — кажется, Варвара уже не в первый раз пыталась испортить отношения.

Да бог с ней! Федя как-то уже примирился со вспыльчивым характером коллеги-начальницы и не особенно переживал за иногдашние капризы Вари, которая работала в музее уже не первый год. Относительно либеральное начальство тоже сквозь пальцы смотрело на её девичьи (без пяти минут — стародевичьи) заскоки. Зато в любой экспедиции ей цены нет. Полный автобус всякого утиля навезёт. И ещё сумеет доказать начальству, что каждая железка, каждая деревяшка, каждая тряпка музею просто необходимы, а кое за что и заплатить не мешало бы, причём очень хорошие деньги. Фёдор ещё только-только начал входить во вкус этой казавшейся на первый взгляд старьёвщицкой работы, которая в его сознании медленно, но превращалась в антикварно-искусствоведческую. И в этом была заслуга не только книг, которые он проглатывал, то уясняя для себя всю суть, то лишь выхватывая отдельные детали, но и Варвары. Общение с ней, разговоры по делу, иногда даже простой трёп, который всегда был окрашен у неё некой музейной романтикой, постепенно зачаровывали Фёдора. Варя, в отличие от него, с детских лет занималась в краеведческом кружке Теплогорского районного музея, которым руководил человек из когорты оголтелых провинциальных русских энтузиастов-музейщиков — Артём Федотович Пароходов, на которого, как и на ему подобных, большинство обывателей, да и начальство тоже, смотрели как на городских сумасшедших. Прямо скажем, основания для этого были. Сейчас Пароходов смотрел на свою любимую ученицу как на явную соперницу по части музейно-собира- тельского энтузиазма.

Перед отъездом в Карпозеро Варя с Федей навестили восьмидесятилетнего энтузиаста. Встреча состоялась в пароходовском музее. Артём Федотович вёл себя настороженно-приветливо, церемонно, с лёгким оттенком профессиональной ревности показывая новые экспонаты. Особая гордость сквозила в глазах и словах, когда он доставал старопечатные и рукописные книги из какого-то, как показалось Феде, облезлого, грязного, недостойного музея сундука.

— Восемнадцатый век! — с гордостью сказал Федотыч, оценив Федин взгляд.

Он вынимал книги одну за другой, некоторое время держал каждую на почти вытянутых руках и привычным движением губ сдувал давно не существующую от частых демонстраций пыль. Только Федя протягивал ручонки, чтобы хоть прикоснуться к удивительным раритетам, как книга тут же исчезала в недрах облезлого шкафа.

За чаем с морошковым вареньем в своём кабинете Артём Федотович активно отговаривал их ехать в Карпозеро, утверждая, что они ничего там не соберут, так как он сам капитально обшмонал это озеро по всему берегу, а вширь — аж километров на двадцать. Так что вот, дорогие мои, поезжайте-ка в Кормозеро, там и конь не валялся. Федя развесил уши и уже мысленно настроился на Кормозеро.

Варя же, выходя из музея, сказала:

— Ага! Будем слушаться Федотыча с точностью до наоборот. В Карпозеро, я это точно знаю, он только заезжал, но особо там не активничал, а мы с тобой пошарим. Да ещё как пошарим! Не бэ, Федя! Не страдай, тебе говорю. Сейчас же мы выезжаем в Карпозеро. Валера, едем на заправку! — попутно скомандовала она водителю и опять повернулась к Феде: — А ты со своей ненаглядной Крысей встретишься на обратном пути. Сутки тебе даю на свидание. Сейчас не могу. Уж извини, Феденька, мы ведь с тобой на работе, а не...

Варя осеклась. Интересно, что она думала этим «не...»

Вот так они и попали на эти кожаные диваны.

— Утром в полдевятого чтобы я вас в офисе уже не видел, а вечером приходите к шести. Мне заодно расскажете, где были, что видели, что собирали, — наказал им начальник деревни.

Заночевали в «офисе» без эмоций и приключений. Всё сделали, как учили.

Прошла и вторая ночь. А на следующее утро в семь часов сильным стуком в дверь их разбудил начальник:

— Варвара Ивановна, я должен вас огорчить и отказать в постое. Вчера вечером мне позвонил Артём Федотович Пароходов... и... порекомендовал отправить вас из села, так как вы не имеете никакого права грабить нашу старину на Карпозере. Я понимаю, что все документы у вас в порядке, что вы действительно имеете право, но я как патриот своего села...

«Да, — подумал Федя, — как сказал Жванецкий, «мудрость и малязм приходят одновременно».

Судя по внешнему виду всклокоченной Вари, она, похоже, что-то задумала:

— Сергей Владимирович, подождите. Не горячитесь.

Она подошла к портрету депутата Лагутина и зачем-то подула ему в лицо, как будто хотела протереть несуществующее стекло, за которым зримо скрывался народный избранник.

Действительно, чего это она?..

— Ну что же. Придётся пожаловаться на вас Толику, — произнесла она задумчиво.

— Не понял. Какому такому Толику?

— Да вот этому. Лагутину.

— Вы знакомы?

— Я его...

Федя подумал, что сейчас она ляпнет: «...любовница».

Но Варя сказала:

— Я его однокурсница...

Какая к чертям однокурсница. Он вроде бы намного старше.

— Мы вместе на заочном учились.

На заочном учились!.. Тот поди-ка диплом в метро купил. А впрочем, кто его знает...

На лице чиновника нарисовалось несколько странное недоумение, и после некоторого молчания из его уст прозвучало:

— Варвара Ивановна, если хотите, позвоните Анатолию Ивановичу. Номер его мобильника есть у вас?

На лице начальника появилась слегка глумливая улыбочка.

— Есть. Но не хочу. Он человек деловой. Иначе не преуспел бы и в бизнесе, и в политике. А вот когда приедем в Теплогорск, мы обязательно встретимся... с Толиком.

— Деловой, деловой, — Сергей Владимирович

опять как-то странно улынулся. — Ладно. Оставайтесь и живите сколько вам надо...

Когда в Карпозере дела завершили, вернулись в Теплогорск, зашли в большое административное здание в центре города. Поднялись в приемную. Варя толкнула Федю в бок и прошептала на ухо:

— К Анатолию Ивановичу надо обязательно зайти. Спроси у секретарши.

«Совсем забыл. И вправду, надо», — вспомнил Федя.

Он глянул на секретаршу. Да... Такую секретаршей и назвать-то нельзя. Это и есть настоящая ресепшионистка. Жар-птица из столицы. На голове множество разноцветных косичек. В меру подкрашенное милое кинематографическое личико с огромными хлопающими ресницами и прикид если не от Армани, то уж точно купленный в одном из столичных бутиков.

— Здравствуйте. Мы бы хотели увидеться с Анатолием Ивановичем.

«Жар-птица» с едва уловимым презрением окинула взглядом фигуру Феде в рабочей экспедиционной одежде. («...Всё. Теперь надо специально заказывать для экспедиций нечто фирменное. В таком виде представляться таким девушкам — позор. Надеюсь, что Варвара докажет это директору»). Федя прямо сжигал ресепшионистку страстным чувственным взглядом, и она растаяла. Улыбнувшись и неоднократно хлопнув ресницами, она нежно, как показалось Феде, спросила:

— Как вас представить?

— Черногорова Варвара Ивановна и Чапов Фёдор Петрович, сотрудники областного музея.

Секретарша нажала кнопку и представила.

— Прошу.

Они зашли в кабинет, обставленный точно так, как рекомендует журнал «Интерьер».

Из-за стола вышел поджарый мужчина неопределённых лет с короткой седеющей стрижкой и усами, напоминающими моржа из всех мультфильмов сразу. Анатолий Иванович был одет в великолепно сидевший на нём светлый костюм. Модную полосатую рубашку почти полностью закрывал знаковый малиновый галстук. Во время приёма на лице чиновника иногда появлялись и тут же исчезали красные пятна. «Вероятно, пох-

мельного происхождения», — подумал Фёдор. Лагутин тепло поздоровался с вошедшими.

— Анатолий Иванович, а мы пришли к вам повиниться. Возможно, мы вас нечаянно обидели. Особенно я, — начала Варя.

— Чем может обидеть меня столь интересная женщина?

Варя рассказала чем.

— Ой, не могу! Ну и насмешили вы меня! Толик! Да меня с рождения отец с матерью Толяном обзывали. Да и сейчас за глаза кликуха у меня — Толян. Умора! Толик!

Отсмеявшись, он вызвал в кабинет «жар-птицу».

— Кофе.

Вскоре та принесла на широком лаковом подносе маленький кофейник, три чашки и коробку конфет. Он сам разлил кофе по чашкам, открыл стол, достал рюмки и початую бутылку «Хеннесси».

— За знакомство?

— Анатолий Иванович, извините, но мы вынуждены отказаться. У нас ещё деловой визит, связанный с деньгами. Как-нибудь в другой раз.

— С удовольствием встречусь с вами ещё раз. А сейчас и сам не буду.

Он с явным огорчением убрал бутылку с рюмками и тихонечко включил крохотный магнитофон.

— «Владимирский централ». Михаил Крут поёт. Думаю пригласить его в Теплогорск. Устроим вечер. Познакомим наших людей с настоящим искусством. Плачу, когда слушаю. Правда, какая прелесть. А то мне жена в Питере все уши прожужжала: «Опера, только опера». Да сплю я в твоей опере. А здесь. Вот они — настоящие чувства.

Выпили и по второй чашечке.

Лагутин выдал им по визитке, а Варваре сказал: — Всегда вам помогу. Если будете звонить, то обязательно называйте меня «Толик». Умора!

И он так весело захохотал, будто бы более смешного ничего не слышал.

На выходе Федя произнёс:

— Купил.

— Ты о чём?

— О твоём однокурснике. Диплом он купил в Питере. На Невском. В подземном переходе.

— Сволочь ты, Федька. Ни за что ни про что обижаешь симпатичного человека. Ведь он

нам не раз поможет. Между прочим, я слышала, что он кандидат наук. Так что стыдно, Федя. Стыдно.

— А кандидатскую... Конечно, бери выше. Это уже в другом переходе. В столице. Между «Театральной» и «Площадью революции».

— Какой ты злой, Федька!

— Давай лучше на другую тему. Куда сейчас?

— А вот сейчас, Феденька, приготовься. Мы с тобой идём покупать платок золотного шитья к Трофиму Прокофьевичу, за который прошлый год он заломил такую цену, что мне пришлось от него отказаться. Ты у меня сейчас будешь экспертом-искусствоведом из Петербурга. Задача у тебя проще простой: постоянно занижать цену, находя в платке существующие и несуществующие изъяны. Ясно?

— Вполне.

Как ему осточертела эта Варвара!

Скорей бы вечер...

...Федя познакомился с Кристиной в большой молодёжной компании, состоящей в основном из студентов старших курсов.

Хотя Федя и окончил вуз уже несколько лет назад, внешнее студенчество никак не хотело выветриваться из сознания. С выпускницами вузов всегда интересно. Выяснилось, что Кристину он заметил просто где-то на улице. Причём давным-давно. Впрочем, как и она его.

И понеслось.

После обильно скромного застолья в студенческом общежитии он пошёл провожать Кристину на окраину города, где она снимала комнатку на чердаке.

В комнатке стояла широкая тахта, покрытая спальным мешком в цветочек. На стенах было несколько книжных полок. Их явно не доставало. На полу книги стояли стопками. В углу на столе — микроволновка. Похоже, Кристина совсем не готовит. На стене висела фотография длинноволосого дядьки с бородкой клинышком. Вроде Бальмонт. Впрочем, не уверен.

Сели. Закурили.

— Федя, меня все называют Крысей, на польский манер. Можешь меня тоже так называть. Мне нравится. Мы сейчас на последнем курсе немного польский учили. Так я, кажется, становлюсь полономанкой.

— Не понимаю. В польском такие смешные,

на наш русский слух, слова. Даже «красота» у них «урода». А духи... Кажется — «вонявки». А впрочем, «Крыся» тебе идёт. Что-то от польки в тебе, наверное, есть.

— У мамы поляки с белорусами в роду. Даже какой-то поэт из XIX века по фамилии Вышнепольский вроде бы наш предок.

— Что, на самом деле?

— Интересовалась. Не нашла такого поэта. — Кристина взяла с пола толстую книгу и протянула гостю. — Вчера купила. Антология поэзии Серебряного века. Погадай мне.

— Какую страницу открыть?

— Что-нибудь вначале. Скажем, страницу двадцатую.

Федя открыл. Прочёл про себя. Покраснел. И захлопнул том.

— Ты что, Федя?..

— ...Ты что, Федя? На ходу спишь. Очнись. Мы уже на подходе к Трофиму Прокофьевичу, — толкнула его в бок Варвара.

Они шли по улице старого уездного города, прелесть которого была слегка подпорчена послевоенными двухэтажными бараками и хрущёвскими пятиэтажными небоскрёбами. В основном улица состояла из милых старинных одноэтажных домиков.

— Это, Федя, и есть русский провинциальный классицизм, — заметила Варя.

— Соображаю. Симметрия главных фасадов, простенки по ширине не уже окон и т.д. А окошечки обязательно с наличниками. Совсем не обязательно с резными. Углы — этакие крашенные пилястры и тесовые обшивочки.

— Соображаешь. Вот и дом Трофима Прокофьевича. Этот самый классицизм и есть. Свою роль не забыл?

— Помню. Как учили, Варвара Ивановна.

Варя постучала в дверь. Через какое-то время раздался старческий с лёгким дребезжанием голос:

— Кто там?

— Варвара Ивановна Черногорова из областного музея и Чапов Фёдор Петрович, эксперт из Петербурга.

Дверь открыли, отодвигая щеколды и снимая крючки с цепочками.

— Вот радость-то! — воскликнул хозяин. — Я уже заждался. Думал, и не приедете уж. А

насчёт плата, как и договаривались. Никому, кроме вас. Добавьте только. Я насчёт цены.

— Я пригласила проконсультировать нас Фёдора Петровича. Он участник лондонских аукционов антиквариата «Кристи» и «Сотби». Уж он-то вам цену скажет до копейки...

«...Эх, хоть бы одним глазком глянуть на этот Лондон...»

Морщинистое и непонятно почему постоянно брезгливое лицо Трофима Прокофьевича разгладилось и просветлело.

— Проходите... Чайку?

— Спасибо. От чая мы, пожалуй, откажемся, а платом с вашего позволения полюбуемся.

Фёдор обвёл взглядом горницу — типичный мещанский интерьер столетней давности. Шедров, похоже, нет, но обстановочка такая, что хоть всю в музей перевозки. Впрочем, зачем? Пароходов, наверное, уже свою лапу наложил. А платочек-то слабб ему купить. Таких денег у районных музеев нет и никогда не будет.

Вот и сам плат, вынутый хозяином из древнего, крашенного под старое дерево с разводами комода. Трофим Прокофьевич развернул его во всём блеске и полностью накрыл им стол:

— А?!

Таких платков Федя ещё не видел, но, предвзительно настроенный Варварой, кое-что успел почитать перед экспедицией.

Плат ярко поблескивал выпуклыми золотыми узорами из то ли реальных, то ли фантастических пятилистников. А в центре всей этой золотой ботаники разлапился еле уловимый из-за своей крутейшей стилизации двуглавый орёл. А может, и вовсе не орёл. Федя задумался.

— Я говорила о вашей цене своему начальству и консультировалась в Русском музее. Платок действительно дорог, но всё-таки не настолько.

— Хорошо, — миролюбиво согласился Трофим Прокофьевич, — предлагайте вашу цену, а я послушаю.

Варвара начала:

— Сначала о происхождении этого платка... Вышивание золотом женских головных платков было развито здесь, на севере, и связано с каргопольским Успенским женским монастырём.

— Да-да, — поддакнул Трофим Прокофьевич, — моя бабушка говорила, что её мама родилась в Каргополе.

— Монахини обучали этому ремеслу прежде всего деревенских матушек, а те — и всех остальных. Сейчас такие платки встречаются не особенно часто. Но встречаются. Платки эти настоящие произведения искусства. Вы только посмотрите, как швы-узоры создают мерцающую поверхность орнамента, обогащая её лёгкой светотенью и рельефной игрой того же орнамента. Какая красота! А вы что скажете, коллега?

Федю понесло. А что?.. Как учили.

— Начнём с жанра. Известно, что по набору швов подобные вышивки назывались или «малинка», или «денежка». Здесь же мы видим полное смешение всех стилей золотного шитья. И ещё. Обратите внимание на материал. Миткаль, а не шёлк.

— Идиот, — прошипела ему на ухо Варвара, — на эти платки миткаль шёл всегда. Обыкновенный фабричный миткаль.

Федю уже обуял спортивный азарт. Сбавлять цену так сбавлять.

— ...Опять же цветность. Посмотрите на этот угол. Он несколько желтоват. К тому же по всему периметру платок не подбит. Видите, махрится...

— Сам ты, сволочь, махришься! — опять прошипела ему в ухо Варвара.

— ...Так что ваши сто семьдесят тысяч, Трофим Прокофьевич, явно завышены. Вот ещё дефект. На одном из бутонов «карта», подкладочка из картона, вылетела. Красная цена вашему платочку — семьдесят тысяч.

— Ну, а раз завышена, то и разговор окончен, молодые люди, — сказал Трофим Прокофьевич, явно намереваясь убрать плат снова в комод.

Варвара аж взвизгнула:

— Что ты наделал?!

— Что и просили, — поджал губы Федя.

— Избалова-али тебя, Фёдор Петрович, в этом твоём Лондоне, то есть Питере, — почти ласково протянула Варвара, натужно улыбаясь, чтобы сгладить неловкость. — Это подлинное произведение искусства, и после небольшой реставрации оно вновь засверкает своими подлинными красками. Трофим Прокофьевич, Фёдор Петрович прав в одном: ваша оценка несколько завышена — это скажет любой эксперт.

— Хорошо, — деловито кивнул хозяин. — Сколько вы можете предложить? Конкретно?

— Сто тысяч, — с готовностью выпалила Варвара.

— Ну хотя бы сто десять...

— Согласна. Мы оформим документы, но окончательное решение будет за нашей фондовой комиссией. Я уверена не в пример вам, Фёдор Петрович, что ниже ста десяти оценки не будет.

После небольшой паузы, во время которой брезгливое выражение лица Трофима Прокофьевича несколько раз менялось, тем не менее, не теряя брезгливости, он наконец произнёс:

— Согласен. А деньги?

— В прошлый раз я объясняла вам, что мы не платим наличными, а оформляем все документы, забираем плат. После оценки фондовой комиссией музей высылает деньги... Или вещь. Так что давайте паспорт и ИНН.

— А не обманете? Кто мне даст гарантию?

— Анатолий Иванович Лагутин вас устроит?

— снова козырнула именем Варвара.

— Толян-то? А вы что, знакомы?

— Мой приятель.

— Бог с ней, с гарантией, — кивнул Трофим Прокофьевич. — Забирайте.

Выйдя от Трофима Прокофьевича, Варвара набросилась на Федю:

— Ты что, совсем опупел? Заставь дурака бога молиться... Ты хоть соображаешь, что затронул гордость владельца шедевра. Убить тебя мало! Хорошо хоть я не сорвалась там, у Трофима Прокофьевича.

У Федю уже отключилось реле музейного собирателя, и он снова был с Кристиной.

— ...Ты что, Федя? Дай сюда книгу!

— Не дам.

Кристина бросилась на Федю и стала отнимать книгу, но тот цепко удерживал её, не желая выпускать из рук. Вскоре, запыхавшись, они весело барахтались на тахте, и книга всё-таки оказалась в руках Кристины. Она спрыгнула с тахты, открыла двадцатую страницу, покраснела.

— Ну что же ты, победительница? Читай!

— Ладно. Если ты так настаиваешь... Слушай...

— Было видно, что Кристина должна настроиться, переломить себя... Наконец она начала:

*Она отдалась без упрёка,
Она целовала без слов.
Как тёмное море глубоко,
Как дышат края облаков.*

*Она не твердила: «Не надо»,
Обетов она не ждала.*

*Как сладостно дышит прохлада,
Как тает вечерняя мгла!*

Она не страшилась возмездья,

Она не боялась утрат.

Как сказочно светят созвездья,

Как звёзды бессмертно горят!

Воцарилось молчание.

Потом Кристина с видимым смущением произнесла:

— Это я сказала. А ты, Федя?

— Крысечка, я тебе гадал по книге. А теперь ты мне.

— Говори страницу.

— Тридцать восьмая.

— Федя, тут только последние две строфы чуждого стихотворения. Всё читать или последние две.

— Читай последние.

— Слушай:

Ты будешь доволен собой и женой,

Своей конституцией куцой,

А вот у поэта — всемирный запой,

И мало ему конституций.

Пусть я умру под забором, как пёс,

Пусть жизнь меня в землю втоптала, —

Я верю: то Бог меня снегом занёс,

То вьюга меня целовала.

Кристина помолчала и спросила:

— И как это понимать, Федя?

— А что тут понимать! Ты мой снег! Ты моя вьюга!

Серебряный век поглотил их с первого взгляда. Спальный мешок в цветочек был сброшен на пол за полной ненужностью. Им не было холодно.

Федя тотчас привык к Кристине и не представлял уже жизни без неё.

Он скучал и сходил с ума, когда Кристина зачем-то уехала на практику в Теплогорск, скрежетал зубами, когда она сказала, что ей там понравилось («ученики и учителя светятся, и от этого обстановка в школе какая-то добрая»), её там приглашают после института поработать, и она склонна согласиться.

— Да не переживай ты так. Они мне говорят,

что если не понравится, то я в любой момент смогу уехать.

— А если понравится?

— Слушай, я об этом пока не думаю. Ты ко мне будешь приезжать, если, конечно, захочешь.

— Захочу. А ты?

— Если смогу...

...И снова к Феде прорвался Варварин долбёж.

— ...Если хочешь знать, у меня главной целью этой экспедиции была покупка золотного платя. Без него лично мне стыдно появиться в музее. А тебе хоть бы хны! Чуть ли всё нам не сорвал! Полная бессмыслица всей поездки была бы.

— Не сорвал же.

— В этом твоей заслуги нет... Ладно. Сейчас идём к нам и думаем о вечернем прощальном банкете. Думаю, что мама с Валерой уже начали там суетиться.

— Федотыча приглашаем?

— Ну ты и ехида, Федька. Всем тебя Бог наделил, кроме совести.

Да ему-то какое дело до прощального банкета?! Он идёт к Кристине. И наверняка на всю ночь...

...Двадцатая страница... Двадцатая страница...

Только сейчас ему пришло в голову... Скорее всего она знала, что там, на этой самой странице. Она же до этого листала книгу. Ну и что? Это лишний раз доказывает, что с первого взгляда, а, скажем, не со второго, если даже и подстроила барышня. Чего в этом плохого? Он-то загадал не зная. А между прочим, тот длинноволосый мужик в шляпе на стенке действительно Бальмонт.

— ...Деньги на пьянку выделила из общака. Ты не против?

— Фу! Ну и жаргончик у тебя, Варвара Ивановна. Поди, у Толяна научилась.

— Какие мы, однако, цирлих-манирлих.

— Конечно, не против...

...Как только дойдём до Варвариного дома, сразу отваливаю к Кристине. Почему-то мне показалось, что, когда мы сегодня встретились, в глазах у неё промелькнул испуг. Нет, наверное, все-таки не испуг, а что-то другое. Как-то неожиданно встретились. Хотя в общем-то она знала, что мы уже в Теплогорске. Да нет, не испуг это, а какая-то растерянность, что ли. Будем считать, что от долгого усталого ожидания,

хотя опять же вроде не такого и долгого. Всего-то месяц примерно. Это кому долгое, а кому и недолгое. Лично Федя уже устал ждать...

...Они подходили к Варвариному дому. Дом уже отжил своё. По типу он, несомненно, примыкал к теплогорскому классицизму, но некоторые детали намекали на то, что, пожалуй, дом был срублен где-то в начале двадцатого века, а то и во время НЭПа. Дом буквально кланялся прохожим своим главным фасадом. Третье и четвертое бревна снизу на фасаде сгнили и, пробив дощатую крашеную обшивку, слегка выпирали наружу.

Ещё с утра, когда они только подъехали, Фёдор почти физически ощутил это состояние дома, как некий костный перелом. На что Варя с оптимизмом произнесла:

— Не бойсь, Федя. Срубные конструкции очень вязкие. Так что простоит наша изба ещё не один год. Впрочем, сей год мама приехала в последний раз. Мы уже договорились с соседями. Они разберут наш дом на дрова.

— Не жалко?

— Конечно, жалко. Хотя моя ностальгия постепенно гаснет. На полный ремонт мы с мамой не потянем. Да и зачем нам этот дом. Нас вполне устраивает наша однокомнатная. А так соседи ещё и деньги какие-то дадут.

Сейчас во дворе дома стоял узик с открытой дверцей, и Валера таскал оттуда их вещи.

— Валера, гитару мою не забудь.

— Слушаюсь, товарищ начальник.

Федя обратил внимание на старосоветское обращение Валеры. А и правда, как теперь называть женщину-начальника? Госпожа начальница? Как-то коряво. Господин начальник? Так она же женщина.

Рядом с домом, у поленницы, возле огромного чурбака-колоды, громоздились наколотые Валерой дрова.

— Варя, как же вы печку топите? Пожарные её не опечатали? — спросил Федя.

— Самое удивительное, что нет. Печки наши на своих столбах стоят как вкопанные, на них даже маленькой трещины нет, а трубу нам сосед лет пять как отремонтировал. Так что калиток для нас мама обязательно напечёт. Хотя эти твои пожарники свет нам отключили лет десять назад. Так что будет бал при свечах, Феденька.

Фёдор задумался: заходить сейчас в дом или сразу рвануть к Кристине.

...Голубое небо с облаками (кажется, по-латыни они называются кумулонimbusами) начало синеть. Вечер только-только занимался...

...Крыся тогда ему сказала:

– Смотри, какие интересные нимбостратусы.

– Название ещё красивее. Сразу тебе и нимб, и страсть.

Всё небо закрыла, казалось бы, сплошная пелена серых облаков, через узкие просветы которых пробивался яркий солнечный свет, местами слегка красноватый, а кое-где доходивший до багрового. Серость массы облаков быстро синела, переходя в черноту.

– Бежим! Сейчас как жажнет! А откуда ты названия облаков знаешь?

– Прямо-таки сейчас. Чуть попозже. Я после школы целый год работала наблюдателем на метеостанции. Шарики пускала. Высоту облаков замеряла. Оттуда и знаю. Бежим к автобусу! Успеем!

Уже на остановке (счастье, что там был навес) Фёдор решил тоже не ударить в грязь лицом перед подругой.

– Кстати, про облака. Помнишь, у Льва Николаевича, когда Пьер попадает в плен к французам, якшается с капитаном Рамбалем, рассказывая ему о своей несчастной любви, тот говорит ему: «Ля мур платоник. Ле нюаж». (Платоническая любовь, мол, всё это. Облака.) Ле нюаж тоже красиво.

Кристина серьёзно и медленно произнесла:

– Если это любовь, то всегда ле нюаж.

Подошёл автобус.

...Нет. Пожалуй, заходить в дом он сейчас не будет. Хотя надо бы. На всякий случай определить место для спанья. Вот если бы в доме была ванна или хотя бы душ...

Варвара словно прочитала его мысли:

– Федя, мы с мамой положим тебя в боковушку. Ты знаешь, где это?

– Спасибо. Знаю. Варя, я сейчас заходить не буду. Сразу пойду к Крысе.

Варя немного помолчала, потом грустно сказала:

– Всю компанию ты нам портишь, Федька. Да ладно, иди. Не обижай её.

Фёдор, немного отойдя от дома, тихонько запел:

– *Шивандазы, шивандазы.
Фундуклей и дундуклей.
Хорошо, что нет Варвары.
Без Варвары веселей.*

Кроме главной направляющей, в мозгу возникли ещё две мысли: колонка и цветочки. Обе мысли исключали присутствие свидетелей. Он шёл, внимательно присматриваясь к палисадникам ампирных изб.

Теплогорск почему-то любил хризантемы.

«Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь всё живёт в моём сердце больном...» Ну их на фиг, эти хризантемы. Тоска зелёная.

А вот и розовый куст. Федя замедлил шаг.

Прошёл ещё раз по розовой стороне улицы, внимательно глядя на тюль занавески. Да, колышется тюль голубой. Впрочем, зачем ему воровать цветы, когда, наверное, это можно сделать вполне цивилизованно. На пути торчит местный торговый центр. Вот туда и зайдёт. Тем более что он вот-вот закроется.

...Чего только тут нет! Но цветами не торгуют. Да, не дошла ещё цивилизация до Теплогорска. Не дошла.

В закутке он заметил небольшую витрину с книгами и подошёл к ней. Пожилая продавщица уже убирала свой товар.

– Скажите, пожалуйста, – обратился к ней Фёдор, – где в Теплогорске находится книжный магазин?

– Он весь перед вами, молодой человек. Лет шесть назад его закрыли, а мне дали вот этот небольшой угол в торговом центре.

Фёдор осмотрел книги: сплошь женские детективы и любовные романы, несколько дорожных ярких детских книжек.

Продавщица подала ему красиво изданную книжку:

– Вот сегодня только получила. Всего один экземпляр в посылке оказался. Специально для вас. Шарль Бодлер, «Цветы зла».

– Спасибо. Беру.

Вот и цветочки для Крыси!

Федя расплатился и открыл книгу наугад.

*Постели нежные от ласки аромата,
Как жадные гроба, раскроются для нас,
И странные цветы, дышавшие когда-то
Под блеском лучших дней, вздохнут в последний раз.*

Что же это такое! Мрачнее некуда. И перевод того самого волосатого в шляпе. В сердце забилась неясная тревога. Хотя Федя уговаривал сам себя, что поэзия, мол, это одно, а реальная жизнь — совсем другое, и она, эта самая реальная жизнь, сегодня будет радостнее всех Бодлеров с Бальмонтами.

Почти стемнело, и он шёл по улицам, ища глазами относительно безлюдное место, где стояла бы водоразборная колонка. В пятиэтажках водопровод был, а жители остальных домов ходили за водой на колонки.

Как назло, колонки, мимо которых он шёл, все как одна стояли на открытых прилюдных местах.

Наконец-то то, что надо. Колоночка словно в рощице из молодых деревцев. Федя медленно, озираясь, подошёл к ней. Вроде никого. И ведра вдали не звякают. Он нашел сухое место, бросил туда куртку, снял свитер, рубашку, майку, сверху — «Цветы зла» и с наслаждением подставил под сильную струю лицо, голову, торс. Приходилось неудобно изгибаться, нажимая на ручку, но омовение всё-таки свершилось. Забрав свои вещички, он шёл, обнажённый до пояса, ожидая, когда просохнет. Лёгкий ветерок с привкусом только начавшейся осени быстро помог ему в этом. Он специально попутал по нескольким кварталам, чтобы окончательно высохнуть, и подошёл к школе.

Школьный городок располагался почти на окраине. Двухэтажный монстр с огромным количеством лишённых архитектурной логики пристроек распластался, занимая целый квартал. Действительно — городок.

Федя обошёл его с тыла и на мгновение остановился перед зелёной дверью. Решил войти без стука, слегка потопав ногами на жалком подобии крылечка. Кристина медленно подошла к нему и осторожно обняла, нежно прильнув щекой к щеке. Он крепко сжал Крысю и почувствовал, что она пытается высвободиться. Он старался продлить объятие. Кристина продолжала осторожно высвобождаться:

— Федя, мне сегодня нельзя.

Внутри всё похолодело. Сердце вот-вот остановится. Он молча сел на табуретку.

Каморка была исключительно маленькой. Кровать под спальником в цветочек, стол с парой табуреток, двухконфорочная газовая пли-

та да пара книжных полок. Волосатик в шляпе был повешен и здесь.

— Крыся, вот тебе цветы... Правда, зла...

— Спасибо. Это лучшие цветы для меня. Я всё время хотела иметь своего Бодлера.

— А где основные твои книги?

— Рядом в чуланчике. Мне обещают комнату в пятиэтажке. Когда перееду, тогда и книги заберу. Ты есть хочешь?

У Феде от сегодняшних прогулок уже сосало под ложечкой.

— Только вместе с тобой.

Кристина начала собирать на стол.

— Вообще-то, я не готовлю. В школе в основном ем. У нас хорошие повара. А тут вчера купила кусок ветчины. Не посмотрела, а она оказалась сырокопчёной. Не разжевать. А здесь в комнатке нашла банку какого-то старого гороха. Дай, думаю, супчик сварю.

Кристина поставила на стол красивые фарфоровые тарелки. Перелила суп из кастрюли в роскошную сервизную супницу и на удивлённый взгляд Феде сказала:

— Из приданого. Мама мне сюда весь сервиз прислала.

Кристина подала Феде нож:

— Нарезь хлеба.

Сама разлила суп по тарелкам и продолжила:

— ...Купила в магазине пару картошечек...

Кристина поднесла ложку ко рту, и в этот момент из её глаз в тарелку закапали крупные слёзы:

— ...Пару морковочек, лучку; спассеровала их — и всё это в супчик.

Кажется, она совсем не замечает своих слёз.

— Ты ешь, ешь, Феденька. Вкусно?

Может, и правда, вкусно, но после первых ложек супчик как-то не пошёл. Положить ложку на стол Федя застеснялся.

Кристина же медленно продолжала есть свой горький суп:

— Мне восемнадцать часов дали русского и литературы. Факультатив ещё обещают. Так что скучать не придётся. А как ваша экспедиция?

— Вроде успешно. Варвара у нас умница.

Кажется, горечь супа только дошла до Кристины. Она отложила ложку.

— Когда обратно?

— Утром. Ночуем у Варвары дома.

— Оставайся, если хочешь.

– Да нет. Как-то неудобно. Меня ведь там ждут.

Он встал с намерением побыстрее уйти.

Подошла Кристина.

Фёдору пришлось поцеловать её, надолго ощутив горечь этого поцелуя.

– Когда ещё приедешь?

– Не знаю. Постараюсь, как удастся.

– Я буду ждать тебя, Феденька.

Кристина вышла за ним на крылечко и смотрела, смотрела, как он уходит.

А Фёдор не знал, куда идти. Он напрочь забыл дорогу к дому Варвары. Тем более что в темноте городок сразу сделался чужим и незнакомым. Он медленно шёл, не оборачиваясь, с трудом выдерживая на себе взгляд Кристины. Наконец свернул за угол, остановился и ощутил полную беспомощность. Куда идти? И он пошёл куда глаза глядят. К счастью, скоро увидел громаду торгового центра. Начал вспоминать, как он шёл к нему от Варвары. С трудом, но вспомнил. Теперь не заблудится. И сознательно, уже без всякой тревоги он ещё раз замедлил шаг. Но как шаг ни замедляй, всё равно попадёшь к Варваре. Во дворе стоит узик, а в неровно освещённом окне дома за занавеской что-то происходит. Надо врубаться в компанию за столом. Кричалку, что ли, какую придумать? Варварин дом впечатлял не только фасадом, но и нутром. Впечатление незабываемое. Прямо от входа из сеней пол в комнатах покато кренился к фасаду, и, чтобы плоскости, скажем, стола, комода, шкафа, кровати были параллельны горизонту, под их ножки со стороны фасада было понатыкано кубиков, щепочек, спичечных коробков, старых книг, в общем всего, что под руку попадёт. Стулья же и табуретки стояли на таком полу вкривь и вкось. На комод, покрытом изящной кружевной белой скатертью в стиле 1950-х годов, красовались трельяж и две длинные узкие трёхгранные вазы голубого стекла, а может, даже и хрусталя, с воткнутыми в них по бумажному цветку (один белый, один красный). Варвара называла их левкоями. Фёдор отметил, что за цветочками следят. Во всяком случае, пыли нет.

Кричалка придумалась. Он собрался с духом, вошёл в дом и сразу заорал:

– Федота нету, Толяна нету!

Привет участникам банкету!

На что Варвара, сидящая с гитарой во главе

стола, прислонившись спиной к фасадной стене, пропела:

– *Самолёт летит, колёса стёрлись.*

Мы не звали вас, а вы припёрлись.

– Феденька, не сердись. У нас действует институт штрафных. Садись к столу и штрафуй себя сколько хочешь.

У стола с одной стороны, скособочившись, сидел Валера, с другой столь же кособоко сидела Галина Ивановна, мама Вари.

Федя сел рядом с Галиной Ивановной.

Стол являл собой буйство яств и пиршество. Самовар с заварным чайником на конфорке занимал центральное место. Рядом красовалось блюдо с калитками. Стол буквально был заставлен тарелками с какими-то салатиками, колбаской, красной рыбкой, грибочками, отварной картошечкой. Чего только душа не пожелает! Очень украшали стол две бутылочки армянского коньячку и бутылка марочного массандровского портвейна, который потягивала Галина Ивановна. На столе, комод и на печке с лежанкой горели свечи в позеленевших медных подсвечниках, экспедиционных трофеях. Загадочные тени жили на стенах какой-то своей жизнью.

– Продолжаем концерт по заявкам, – возгласила Варвара. – Пилот Валерий возжелал послушать несравненную оруджавовскую «Наденьку». Не грусти, герой!

И Варвара ударила по струнам.

Федя налил себе неполный стакан коньяку, одним махом осушил его и зажевал бутербродом с красной рыбкой.

Варвара завлекала. Шоферюга млел.

– *Из окон корочкой несет поджаристой,*

За занавесочкой мельканье рук.

Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста!

Шофер автобуса – мой лучший друг.

Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста!

Шофер автобуса – мой лучший друг.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом

Пойдешь по улице гулять с другим.

Эх, Надя, брось коней кнутом нащелкивать,

Попридержи коней – поговорим!

Эх, Надя, брось коней кнутом нащелкивать,

Попридержи коней – поговорим!

*А кони сытые колышут гривами,
Автобус новенький спешит-спешит.
Эх, Надя-Наденька, мне б за двугривенный
В любую сторону твоей души.
Эх, Надя-Наденька, мне б за двугривенный
В любую сторону твоей души.*

*Она в спецовочке такой промасленной,
Берет немислимый такой на ней.
Эх, Надя-Наденька, мы были б счастливы,
Куда же гонишь ты своих коней?
Эх, Надя-Наденька, мы были б счастливы,
Куда же гонишь ты своих коней?*

*Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах, Надя-Наденька, мне б за двугривенный
В любую сторону твоей души!
Ах, Надя-Наденька, мне б за двугривенный
В любую сторону твоей души!*

Песня кончилась.

— Федя, провозглашай тост, — скомандовала Варвара.

— Я предлагаю выпить за здоровье Галины Ивановны.

Выпили. Закусили.

Варвара подошла к печке-лежанке, на которой стоял патефон с пластинками, завела механизм и поставила пластинку:

— Концерт продолжается. По просьбе Галины Ивановны Черноголовой исполняется танго «Левкой». Поёт Зинаида Тарская. Дамы приглашают кавалеров.

Варвара положила руку на плечо Валеры, который аппетитно обхватил её, и они слились в экстазе.

Да, трудно танцевать на покато́м полу. Галине Ивановне ничего не оставалось, как пригласить Федю.

*Чуть белеют левкой
В голубом хрустале.
Мир в безмолвном покое,
Ночь прошла по земле...*

— Это наше семейное танго. Моя бабушка перед самой войной вышла замуж, и они с дедушкой сделали себе подарок — патефон с пластинками. Моя мама никогда не видела

своего отца. Она родилась в 1942-м. Дед ушёл на войну летом 1941-го. Ни одного письма от него не было. Пропал, и всё.

Пластинка кончилась. Варвара снова завела патефон и поставила пластинку на бис.

*Лишь под бледной рукою
Тихо клавиши плачут,
Нежно сердце печалю
В синей праздничной мгле...*

— У мамы та же история. Только встретились, начали жить вместе. Хоп! Братская ГЭС. Папочка почему-то не представлял жизни без этой ГЭС. Мама говорила, что присылал какие-то деньги сначала, а потом перестал. Так что я своего отца тоже не видела...

Варвара уже в третий раз попыталась поставить пластинку, на что Галина Ивановна сказала:

— Варя, поимей совесть. Перестань.

Уже за столом после очередного тоста за успех экспедиции Федя ожидал рассказа Галины Ивановны о себе и отце Вари. Потом у него мелькнула мысль, что у Галины Ивановны и Вари одинаковые отчества. Так что, наверное, и у Галины Ивановны такая же судьба.

После очередной рюмки Галина Ивановна тихонько сказала Феде:

— Очень хочется, чтобы Варя была счастлива. Если бы ты знал, Федя, как она меня беспокоит. Какие-то вы очень уж не такие, какими были мы в вашем возрасте.

Федя поднял тост за здоровье Вари. Варя — за здоровье Феде. И тут он почувствовал, что ещё хоть грамм и он упадёт лицом в салат. Алкоголь плохо ложился на сегодняшний итог какого-то куска жизни. Фёдор, качаясь и удивляясь пьяному полу, пошёл к себе в боковушку. Разделся и рухнул. Полной отключки не получилось. Из-под одной ножки кровати вылетел кубик. Так спать никак не выйдет. Фёдор с трудом встал с кровати, опустился на четвереньки и стал думать, как он теперь встанет. Потом вспомнил, зачем он так встал, и начал шарить впотьмах в поисках кубика. Было чуточку радостно, что хоть пол по крайней мере чистый. Нашёл кубик, поставил его на место и только теперь успешно рухнул.

Среди ночи возникла потребность, и он вынужден был совершить восхождение в сени.

Там была уборная. В окошечко увидел «за занавесочкой мельканье рук» в уазике. Вернувшись, какое-то время не мог уснуть, к тому же за стенкой беспокойно и слышимо ворочалась Галина Ивановна.

Утром встали поздно. Попили чаю с калитками. Чаёвничали молча, не вспоминая вчерашнее, хотя было что вспомнить. Федя прямо ощущал желание Варвары спросить его, почему он не остался у Кристины. Чувствовалась какая-то разбитость компании, вкривь и вкось сидевшей у стола.

Наконец Варвара спросила:

– Валера, к рейсу готов?

– Все системы работают нормально, Варвара Ивановна. На заправку и домой.

– Калитки все с собой заберите, – сказала Галина Ивановна.

– Спасибо, мама. Заберём. А ты сколько времени думаешь сидеть здесь, в Теплогорске?

– Наверное, недолго. Вот как договорюсь с соседями о цене, так и поеду. Потом ты приедешь – помоги с вещами.

– По сути, тут и вывезить нечего. Ладно. Мы с Валерой приедем. Поможешь, Валера?

– О чём речь! Натюрлихь.

Выехали и добрались без приключений.

* * *

Прошли годы.

Фёдор, как ему казалось, нашёл радость в музейной работе. Во всяком случае, она его не тяготила. С Варварой у него были вполне дружеские и одновременно несколько отстраненные отношения. Ничто не предвещало изменений в судьбе. Но вот как-то на работе отмечали день рождения Варвары: поздравления, скромный фуршет. И надо было ему сунуться:

– Варя! Эпиграмму можно?

– Конечно, Федя.

*– Горит восток зарёю новой.
На Спасской башне пять утра.
Не дремлет лишь Черногорова,
Взалкав народного добра.
И, невзирая на погоду,
По всей Карелии идёт.
Берёт искусство у народа.
Себя народу отдаёт.*

Варя с деланным возмущением произнесла:
– Фу, Федя.

А Фёдор продолжил:

*– Меня лишить ты хочешь слова,
Но успеваю крикнуть я:
«Гори, сияй, Черногорова,
На ниве прялок и шитья!»*

Назавтра Варвара не ответила на приветствие Феди и перестала с ним разговаривать.

Через пару недель он спросил её, что с ней, и получил ответ:

– Я с тобой не разговариваю.

Работать стало невозможно. С ним перестала разговаривать не только начальница, но и, по его мнению, единственный человек в музее, с которым только и можно разговаривать.

Как не хочется, но надо уходить. Тем более подвернулось место в областном департаменте культуры. Каким-то инспектором. В общем, всё равно каким. Тем более зарплата там в два с половиной раза больше музейной. Чего не работать! И он ушёл. Снова любовь с первого взгляда. Лада работала в соседнем отделе. Курировала музыкальные коллективы. После года ухаживаний он сделал предложение. Они поженились и прожили вместе чуть больше полугода.

Развелись без всякого сожаления. Федя слышал, что Лада заикнулась одной из своих подруг о некой его якобы чёрствости. Это он-то чёрствый! Да бог с ней, с Ладой. У него намечался новый роман.

А где же Кристина? Этого он не знал. Они обменялись тогда парой писем. Зимой он почему-то не смог к ней приехать, а весной она рассчиталась и уехала из Теплогорска. Никому из своих знакомых она не оставила адреса. Федя спрашивал если не всех, то многих. Никто не знал, где она.

* * *

Сегодня Федю обуяла тоска зелёная. Разорванные мысли было не собрать в кучу, и он почему-то решил позвонить Варваре.

– Варя, привет.

– Привет, коль не шутишь. Странно, что ты позвонил. Но я рада твоему звонку.

— Слушай, Варя, а пластинки вы тогда вывезли из Теплогорска?

— Да. Патефон, правда, я выкинула на помойку. В музее у нас, ты знаешь, есть подобные. А пластинки, конечно, жалко выбрасывать.

— Варя, дай послушать то танго. Название я уже не помню.

— А, «Левкой». К несчастью, эта пластинка разбилась.

— Галина Ивановна, наверное, очень сожалела.

— Ещё бы. Мама заплакала даже. А тебе ещё патефон искать бы пришлось. В чём проблема, Федя? В каком веке ты живёшь? Компьютер у тебя включён?

— Включён.

— Вот и набери в поиске: танго «Левкой».

— Спасибо.

Фёдор набрал.

ЛЕВКОЙ

Музыка Н. Фурмана,
слова Б. Тимофеева

*Ночь пришла так скоро,
Стало вдруг темно.
Лишь немым укором
Луч луны глядит в окно.*

*Вновь воспоминанья
Жгут сердце огнем,
И поет рояль
Опять о нем.*

*Чуть белеют левкой
В голубом хрустале.
Мир в безмолвном покое,
Ночь прошла по земле.*

*Лишь под бледной рукою
Тихо клавиши плачут,
Нежно сердце печали
В синей праздничной мгле.*

*С этим милым мотивом
Столько радости слито.
Ты любил эту песню,
И меня ты любил.*

*Но от песни счастливой
Тихо клавиши плачут.
И мелодию эту,
Как меня, ты забыл.*

Лирическое танго. Мелодия и текст воспроизведены с записи на грампластинке, исполнение З. Тарской не позднее 1941 года.

Тоска не исчезла. Обволокла ещё сильнее. Но всё равно. Надо было жить дальше.

□

Борис Александрович ГУЩИН

(род. в 1941 г.).

Старший научный сотрудник

Государственного историко-архитектурного
и этнографического музея-заповедника «Кижь».

Историк, этнограф, писатель, театральный критик,
член Карельского Союза писателей и Союза театральных деятелей.

Автор книг «Не только о Кижях. (Картинки прошлого,
повести, рассказы, пьесы, из воспоминаний)» (2004 г.),

«Тысяча вторая ночь» (2011 г.).

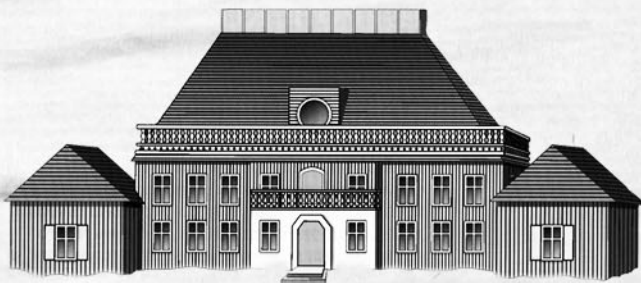
Постоянный автор журнала «Север» с 1976 года.

Живет и работает в Петрозаводске.



**Михаил
ДАНКОВ**

г. Петрозаводск



*Петровский посад.
Худ. З. Львович*

ОНЕЖСКИЕ ЧЕРТОГИ ЦАРЯ

(О ТАЙНАХ «ПОПУТНОГО» ДВОРЦА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА)

Поклонникам истории Карелии, стремящимся разобраться в хитросплетениях Петровской эпохи, предлагается исследование, на первый взгляд, об обыденном царском доме Петра I, построенном на береговой линии Онежского озера, на земле Шуйского погоста Олонецкого уезда.

Однако не все оказывается так просто. По-прежнему хоромы, возведенные на маршруте государя, который с «любителями утех» в 1719, 1720, 1722 и 1724 гг. следовал из Санкт-Петербурга «к колодезю» для «пития» марциальной воды, представляются своеобразной фата-морганой. Действительно, вопросов больше, чем ответов. И не только из-за того, что «монаршая» усадьба на территории заводского посада (современный Петрозаводск) не сохранилась.

Во многом мутные представления связаны с дефицитом подлинных источников. До сих пор нельзя точно отметить, когда именно дворец Петра Алексеевича был выстроен, кто оказался его архитектором. Неизвестна рабочая артель, соорудившая зимний дом «Его Величества».

Представляют загадку интерьер, убранство и расположение государевых апартаментов. Никто не знает, сохранились ли строительные чертежи зимнего дворца монарха, в какую сумму обошелся проект?

Эти и другие вопросы будоражат сознание современных историков. Кстати, и другой «попутный» дворец Петра Первого, построенный в «Половинном стане», на пути «на воды», еще более покрыт плотной завесой «исторического забвения». Грустно признавать, но специалисты владеют лишь скудными и противоречивыми сведениями о царских усадьбах.

Тем не менее, используя сохранившиеся источники о доме его императорского величества у Онежского озера и вооружившись «аналоговым воображением», попытаемся воссоздать картину грандиозного «петрозаводского» дворца. Двухэтажные чертоги с обходной галереей и верхней обзорной площадкой, без сомнения, являются малоценным и колоритным провинциальным сооружением петровского времени.

Два «Дома Царского Величества», реальность или миф?

Признаемся, в России сохранилось немного подлинных памятников, связанных с именем государя. В народной памяти большинство петровских строений, храмов, верфей, фортеций и посадов остались лишь в виде виртуальных объектов. В полной мере это относится к ныне утраченному и загадочно-му царскому дворцу, построенному в 1719–1720 гг. внутри заводского земляного вала, на территории регулярного парка с французскими «линейями» из берез, вязов и кленов. Невнятные свидетельства о «попутной» резиденции Петра Великого часто не стыкуются и усугубляют ее противоречивый ореол.

К наиболее древним источникам, отметившим царские хоромы, относится раритетная лэнд-карта «Чертеж Петровских заводов строению, а что в котором месте построено, значит под цифирным словам», созданная в начале 20-х годов XVIII столетия и хранящаяся в РГАДА. Автором эксклюзивного документа стал «сговоренный» в Западной Европе артиллерист и фейерверкер М.М. Витвер, о чем свидетельствует автограф «artillery oberster M. Wittwer». Фиксационный чертеж индустриальной слободы, изготовленный в «саженях 3 аршина», содержит многие курьезы, но главное, он дважды, под литерами «3» и «32», отмечает «Дом Царского Величества». В чем дело? Неужели действительно было возведено два дворца?

Однако нам представляется, что государева усадьба с номером «32», размещенная у мостовой переправы к верхней доменной площадке на левом берегу Лососинки, все-таки исторический фантом, связанный с небрежностью картографа. Но вдруг завораживающая неточность М. Витвера является целевой дезинформацией для введения неприятеля в заблуждение? Разве нельзя было допустить форс-мажорную ситуацию, при которой стратегический документ мог оказаться в руках шведского лазутчика?

Нас поражает и другой странный сюжет. Оказывается, царские хоромы у Онежского озера иноземец разместил за пределами оборонительной линии «фортеции», возведенной в 1712–1713 гг. очевидно при комиссаре Олонецкой верфи И.А. Тормасове. В этом смысле угроза наскока летучего отряда шведов на оружейный завод была действительно актуальна, а дворец, будто специально, притягивал возможный вражеский удар. Как бы там ни было, чертеж М.М. Витвера является пока единственным документом, указывающим в пространстве местонахождение хором царя.

Гравюра «Его императорского величества дворца»

До сегодняшнего дня дошло уникальное изображение Петровского дворца, опубликованное в 1849 г. первым архиепископом Олонецким и Петро-заводским Игнатием. И хотя местонахождение подлинника, авторство и время изготовления гравюры неизвестны, она позволяет в блеске представить петровские хоромы. Мы видим царский дом из мощных бревен, в «два света» с «лунным» или «мариинским» стеклом в одинарных прямоугольных проемах. Значит, дворец задумывался для сезонных визитов царя с домочадцами, держащих зимний путь к «колодезю» с волшебной водой.

Гравюра и чертеж фиксируют роскошное здание с центральным и задним ризалитом и фундаментом в виде вытянутого креста. Фронтальный фасад дворца, смотрящий на озеро, достигал 15 саженей, а глубина постройки имела около 8 саженей. Учитывая масштаб М. М. Витвера, габариты зимней резиденции составляли 30х17 м, что позволяет считать онежский дом царя вовсе не рядовой постройкой. Удивительно, но способ рубки и планировка дворца мало соответствовали русской строительной культуре и скорее походили на скандинавский стандарт.

В этом смысле онежский дворец самодержца, как «первоначальный домик» государя на Березовом острове (*Биркенгольм, Койвусаари. – М.Д.*) и «Летний дворец» на Адмиралтейском острове у Безымянного ерика (р. Фонтанка) в Санкт-Петербурге, мог сооружаться пленными солдатами Карла XII. Западное происхождение первых невских дворцов царя сегодня у специалистов не вызывает сомнений. Поразительное сходство олонецкой резиденции с изображением двухэтажного «Летнего дворца» на шведской «Карте Петербурга и его окрестностей, составленной по показаниям дезертиров и пленных» в 1708 г., лишний раз это подчеркивает. Ну а если сопоставить гравюру «Дома Царского Величества» и рисунок из собрания камер-юнкера Ф.В. Берхгольца «Летнего дворца», перестроенного по проекту Д. Трезини в 1710–1711 гг., то зеркальное подобие резиденций на Онежском озере и Неве становится еще более убедительным.

Внушительная двухэтажная царская обитель, возведенная во времена олонецкого коменданта «генерал-майора Геннингса», имела шатровую, четырехскатную без конька и козырька крышу, с сосновым клинообразным тесом и, очевидно, завершалась флагштоком с медным флюгером.

Деревянные стены дворца, как в столице, вероятно, были покрыты раствором охры, которая имитировала кирпичную кладку, и украшены декора-

тивными фризами, барельефами и резной скульптурой. Над входным порталом на уровне второго этажа размещалось гульбище с «точеными баясинами», чуть выше – открытая обходная галерея с резным парапетом. Макушку крыши, своего рода открытую мансарду, венчала прямоугольная обзорная площадка с балюстрадой. Увлекающийся царь и вельможи с азартом взбирались на галереи усадьбы и совершали обзорные экскурсии, дивясь зимней прелестью Онежского озера.

Вблизи дворца находились валы деревоземляной «фортеции», как две капли воды схожей с начальной крепостью «Питербурх» на Неве. Выше возвышалась новоманерная Петропавловская «церковь божа(и)я» с голландским «шпицем», Святодуховский храм и часовая башня с курантами. В сторону берега услужливые современники вырыли небольшой пруд.

Недалеко от резиденции Петра I на крутом берегу р. Лососинки стоял дом светлейшего князя А.Д. Меншикова. Считается, что хоромы сенатора и президента Военной коллегии, отмеченные М. Витвером литерой «4», были возведены на рубеже 1704–1705 гг. Тогда генерал-губернатор Ижории планировал проинспектировать Шуйский завод, но что-то не заладилось. Дом кавалера ордена св. Андрея Первозванного простоял без дела около пятнадцати лет, и по назначению «играло всеякого счастья» его использовали лишь раз, летом 1719 года.

Пропавшая «Опись» апартаментов царя

Из куцега объема письменных источников, повествующих об онежских хоромаш, помимо «Чертежа» и сведений «Походных журналов» монарха со скромными свидетельствами о проживании Петра I в особняке в 1720, 1722, 1724 гг., выделяется любопытная «Опись» от 17 августа 1730 г. К сожалению, местонахождение архивного списка сегодня неизвестно. Текст документа в 1858 г. опубликовал известный олонецкий краевед И.К. Чудинов.

В донесении, предоставленном в Берг-коллегию, отмечалось убранство «зал» и «камор» императорского дворца, расположенного в «городском саду выше пруда». Хоромы имели «две залы... с двумя каморами», царскую спальню с «токарной» и прихожей, «спальню императрицы с уборною». Во дворце была устроена отдельная «крестовая» комната, своеобразная молельня, где размещался киот. А также мыльная с тремя уборными, хлебная и скатертная, кухня со шкафами для серебряной и оловянной

посуды и подлючная – специальная «камора» для хранения продуктов питания.

«Опись» отмечает два винных погреба, непонятно почему размещенных в верхнем этаже. Здесь обер-кухенмейстер И. Фельтен наверняка хранил медовый и репный квас, варившийся в Шелтозерской волости, любимые царем венгерские вина и уж точно легендарную анисовку, с которой Петр Алексеевич в 1702 г. преодолел Осудареву дорогу к Балтике.

Еда и питье монарха

На обеденном столе царя в онежских хоромаш, конечно же, не могло не стоять свежее пиво, изготовленное в пивоварне заводского посада. К первому приезду в январе Петра в слободу «услужник» В.И. Генин выписал из Санкт-Петербурга пивовара «для варения пива, полпива» и обязал привезти достаточное количество солода. Благодаря датскому заводчику Бутенанту фон Розенбушу, основавшему в Заонежье горнозаводские мануфактуры, в местный алкоголь стали добавлять заморский изюм и пряности.

Его Величество обожал и «горящие» напитки. Даже епископ Солсберийский Дж. Бернет вспоминал: царь действительно «пьет много водки». Лейб-медик Р. Арескин с опаской утверждал, в Петре живет «целый легион демонов сладострастия». Однако запретить пользоваться анисовую водку и вино «Эрмитаж» был не в состоянии. Однажды за спиной царя голштинiec Берхгольц спросил, почему монарх не чурается «хлебного вина», зерновой водки грубой выделки? Ведь гости берут дурно пахнущее вино в рот, а потом выплевывают. И услышал ответ: «Из любви к гвардии».

В «попутный» дворец провизия поставлялась жителями Шуйского погоста, Олонца, старообрядцами Выговской обители и монахами Александрo-Свирского монастыря. На кухню везли кур, свежие яйца, десятки пудов топленого масла, ведра творога и сметаны. Однажды зимой 1724 г. олонецкий бургомистр Тимофей Балашев реквизиовал 10 лучших телят, 10 молодых барашков, которые кормились «под матерями и поились молоком». Крестьяне с любовью подносили живых тетеревов, зайцев, овец, озерную рыбу и брусничный лист.

В хоромаш престарелый, но заботливый «мундкох Фельтен» готовил обожаемые царем кислые щи, студни, кашу, жаренное с огурцами или солеными лимонами, а в придачу нарезал ветчину и лимбургский сыр.

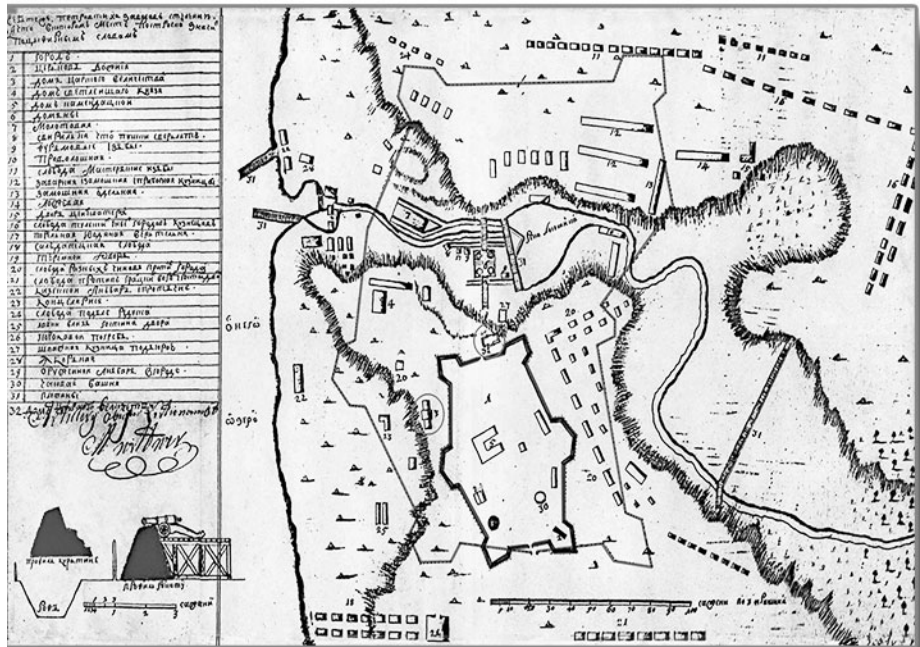
Онежские апартаменты монарха

«Зеркальная» планировка усадьбы отвечала рациональным вкусам хозяина, но также свидетельствовала о стремлении к комфорту. Жилые помещения располагались по анфиладной оси, а служебные выходили в коридор, что избавляло прислугу от необходимости беспокоить жильцов. В круговом коридоре находились топочные, с помощью которых денщики благополучно отапливали «каморы» дворца.

Учитывая ненависть Петра к помпезности, можно допустить скромную высоту онежских покоев. Известны случаи, когда в высоких залах государь растягивал над головой искусственный потолок из саксонского полотна. Первый этаж обычно занимал сам государь, второй, как в «Летнем дворце», отдавался супруге Екатерине Алексеевне.

Утраченная «Опись» от 17 августа 1730 г. детализирует обстановку «спальни императрицы с уборною», в которой сохранилась «ореховая кровать государыни» с бархатом, широким позументом и множеством зеркал. О неравнодушном отношении царской четы к кроватям свидетельствуют недавно обнаруженные корреспонденции, отправленные Петром I в Лондон Ф.М.Апраксину, в которых царь в марте 1717 г. настаивает на приобретении четырех кроватей для государыни. Возможно, одна из них оказалась в петрозаводском Доме его величества и на ней в ночь с 15 на 16 марта 1724 г. было принято судьбоносное решение.

Дело в том, что перманентные споры, связанные с подозрением в супружеской неверности



«Чертеж Петровских заводов строению, а что в котором месте построено, значит под цифирным словом». РГАДА. Автор М.М. Витвер. 1720 г.



«Петровская слобода». Художник З. Львович. 1940 г.

«Катеринушки», не смогли перечеркнуть ее заслуги перед Отечеством. И очень может быть, именно на ореховой кровати онежского будуара самодержец окончательно утвердился в необходимости стремительной коронации супруги. Покинув усадьбу, она всего через месяц, 7 мая 1724 г., была коронована в Успенском соборе Московского Кремля.

Царь «взвел императрицу на трон» и, как сообщает Ф.-В. фон Берхгольц, возложил на нее корону, за что государыня царица даже захотела «поцеловать его ноги». Любопытно, что Екатерина Алексеевна оказалась второй женщиной в истории Руси, после Марии Мнишек, которая получила этот титул.

Шпалеры и мебель «попутного» дворца

Сегодня с трудом можно вообразить интерьер «попутного» дворца, обращенного «лицом» к Онежскому озеру. Но скорее всего, залы в простенках были украшены зеркалами с подсвечниками и десюдепортами, которые множили объем и создавали иллюзию дополнительного пространства.

Между тем часть покоев, без сомнения, облицовывалась изразцовыми плитками и деревянными панелями. В онежской резиденции, как и в «Летнем дворце», картины, приобретенные в Европе, могли крепиться «позолоченными гвоздиками» на «обоях море (муар. – М. Д.) лазоревого галансково шелковых».

Стены государевых хором главным образом обивались холстом с декоративными росписями или односторонними коврами с орнаментальными композициями. Но кто мог изготовить шпалеры для царского дома у Онега? Известно, что первые холсты в имперской столице появились незадолго до строительства нашего дворца. Это была продукция российской шпалерной мастерской, организованной в 1716 г. Королевской гобеленовой мануфактурой Франции.

Хочется высказать предположение, что к шпалерам дворца у Онежского озера мог приложить руку иеродиакон Иринарх, чей талант в 1720 г. заприметила царица Прасковья Федоровна, пригласившая мастера из Александро-Свирского монастыря для выполнения «шпалерной работы... для ея величества» в хоромаш у «колодезя» в Марциальных Водах.

Дворцовая мебель в первой четверти XVIII столетия обычно завозилась из Голландии, Германии или Англии. Однако ее дефицит в «попутных»

дворцах часто приводил к перемещению шкафов, диванов, стульев и кресел из одной усадьбы в другую. При драпировке мягкой мебели использовались однотонные полосатые ткани, зеленый или красный сафьян, а стулья декорировались позолоченной резьбой, напоминающей фантастические цветы, морские раковины или петушиные гребешки. Хотя известно, что царь Петр уважал простые плетеные стулья с шелковыми подушками.

И все-таки часть мебели онежского дворца, скорее всего, изготавливалась местными, а может, приезжими мастерами из березы, сосны или дуба. Петровская мебель не имела изысков, она вызывала чувство надежности, была красивой, недорогой и прочной. Это не означает, что в олонецких апартаментах не могло оказаться ореховых шкафов, столов и кресел «аглинской» работы, восточных ширм и популярных немецких столиков черного цвета «о трех ношках».

«Заботы и утехы» в царских хоромаш

Затерянная «Опись» 1730 г. содержит пусть мимолетное, но существенное описание механической мастерской его величества, которая размещалась в личных покоях на первом этаже особняка. Напротив кровати «государя с балдахинном рудо-желтого цвета без занавесей» был смонтирован «токарный стол с железными тисками». По сообщению польского дипломата С. Хоментовского, посетившего в 1720 г. петербургский «Летний дворец», в мастерской монарха всегда находились «токарные и слесарные инструменты, такие как воротки, большие и малые тиски», здесь можно было «найти любые инструменты для превосходнейшего ремесла».

Токарное занятие всецело увлекало Петра Великого. Монотонный шум рабочего колеса его успокаивал. По ночам царь, никого не беспокоя, подходил к станку и отводил душу, оттачивая про себя словесные формулировки утренних повелений и наказов. Зачастую спальня-мастерская превращалась в рабочий кабинет, где обсуждались государственные проекты. Иногда именно здесь Петр на лету перекусывал, принимал посланников и просителей.

Как сообщают походные «юرنалы», в онежской усадьбе царь обожал «до ночи... слушать часы», с родными играть в «билиарт» и «бирюльки» – старинную русскую настольную игру. Дворцовый собутыльник, поп И. Х. Битке, один из инициаторов «Всеписьнейшего собора», часто до ночи выполнял

забавную роль шахматного визави царя. Занятно, но ушлый «Иван Хрисанфиев (И.Х.Битке. – М.Д.)... священник от Петра и Павла, что у хором Великого государя», в 1702 г. вместе с царем преодолел от Белого моря легендарную «Осудареву дорогу».

В онежских апартаментах Петр часто возбуждался от азартной игры французских королей «трукт-тафель» (druktafel), смысл которой заключался в успешном броске каменного шара в выдолбленный желоб на столе. Отдыхая, император не чурался «партесного» музицирования и с удовольствием пел в многоголосном хоре со «своими певчими концерты». Однажды в заводской слободе его поразил талантливый «гудошник и старец» Филакт Исаев, бывший солдат Владимирского полка, который так впечатляюще «играл на гудке и плакал», что получил «рубль с полтиной за... слезы».

Петр любил совершать долгие пешие прогулки вдоль озера и по аллеям березовой рощи. Это значит, для поездок на север специально продумывался царский гардероб, в котором прилегающим камзолам и тонким чулкам не находилось места. Государь наверняка надевал «епанички суконные теплые на волчьем меху», лисьи шапки, «свареги» и пимы, как-то удивившие Берхгольца тем, что они «из оленьей шкуры, шерстью вверх» как на ноге, «так и на подошвах».

Порой хоромы самодержца преобразались в госпитальные палаты, где Петр с усердием «принимал проносное». В этом контексте любопытно свидетельство из «юнала» 1720 г. с сообщением, что в «4-й день (марта. – М.Д.) Его величество гулял по всем каморам в доме и принимал лекарство».



План Петрозаводска при Петре I
Чертеж Т. Баландина. 1810 г.

1 «План бывшему расположению Дворца и чугуно-литейного завода Государя императора Петра Великого в городке Петрозаводске. Оз. Онега». Составлен на основе данных Т. В. Баландина. 1826 г.

2 Гравюра «Дворец Петра I в Петровской слободе». Неизв. худ. 1849 г. (?)


3 Гравюра «В.И. Генин — начальник Олонецких Петровских заводов в 1713–1721 гг.». Автор В. Гейман по рисунку В. Фролова. 1826 г.


4 Рисунок «Летний дворец Петра I» из коллекции гоштинского дипломата камер-юнкера Ф.В. Берхгольца. 1710 г.


Раскоп II. План

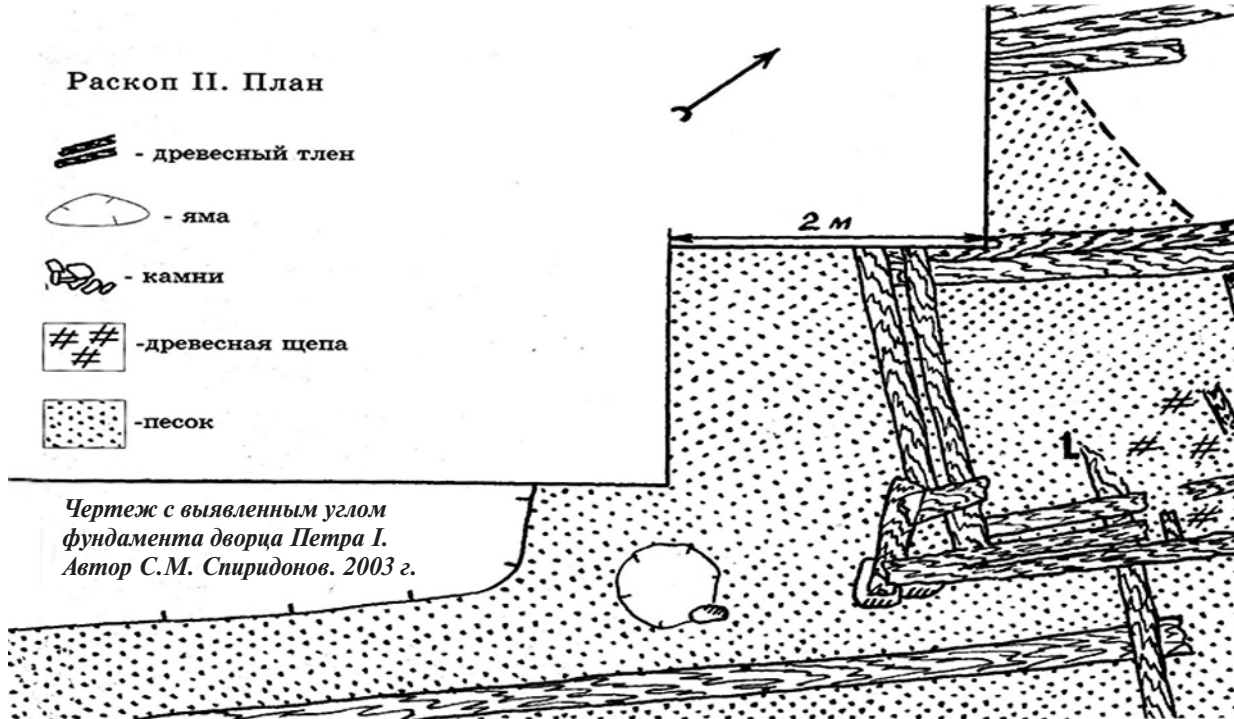
 - древесный тлен

 - яма

 - камни

 - древесная щепка

 - песок



*Чертеж с выявленным углом
фундамента дворца Петра I.
Автор С.М. Спиридонов. 2003 г.*

Археологические открытия

Учитывая скромность существующих исторических источников, нам кажется, что лишь планомерные археологические исследования способны систематизировать невнятные представления о царском доме на берегу Онежского озера. Начало было положено в 1996–2000 гг., когда под руководством А. М. Спиридонова на площади 600 кв. м были проведены первые охранные работы в историческом ядре Петрозаводска. Ныне материалы раскопок, которые соотносились с «Чертежом...» М. Витвера, планом Т. Баландина, графическим изображением резиденции и другими известными документами, находятся в фондах Национального музея Республики Карелия. В ходе поиска в 1996 и 1998 гг. специалисты натолкнулись и изучили возможный угол фундамента царского дворца.

На глубине 30 см от земной поверхности археологи выявили крепкое 6-метровое бревно и под прямым углом следы деревянных конструкций в виде истлевших бревен и плах. находка позволила заявить, что остатки бревен и настила из досок в плане напоминают угол срубной постройки «Дома Царского Величества». Однако исследователи сразу же поразила малозначительность предметного материала. находки оказались совсем не царскими. Среди них медная копейка Петра I, датируемая 1711 г., «окончины слюдяные», фрагменты фарфоровой и винной посуды, керамика, железный наконечник кайла и кованые гвозди. Правда, недалеко от фундамента «дворца» археологи зафиксировали остатки непонятного, но очень любопыт-

ного гидротехнического устройства. На глубине 25–30 см на фоне подстилавшего желтого песка был отмечен 6-метровый контур траншеи шириной до 70 см, углубленной в материк на 40 см. На ее дне по центру залегала твердая «полоса древесного тлена» толщиной 2 см и шириной до 30 см.

И хотя в заполнении кроме обломка чубука голландской белоглиняной курительной трубки и фрагмента чернолощеной керамики, изготовленной московскими гончарами, ничего не было обнаружено, археологи сразу поняли, что перед ними остатки деревянной трубы для транспортировки воды от Онежского озера. В петровское время вододействующие механизмы с подпорными запрудами и насосами в Олонецком уезде не являлись редкостью. Однако походил ли онежский водовод на водяную машину, отмеченную берлинским мастером Г. П. Бушем на «Плане крепости, города и местоположения С.-Петербурга», сказать уже невозможно.

Как бы там ни было, обнаруженные остатки петровской постройки, к сожалению, с трудом свидетельствуют о грандиозности усадьбы. В этом смысле хотелось бы изучить всю территорию, на которой находился Петровский дворец. Что касается скромности находок у монаршей обители, то она закономерна и лишней раз подтверждает разовость эксплуатации онежских хором. И, конечно, маловыразительность материала свидетельствует о ретивости «главного командира» Олонецких заводов А. С. Ярцова, которую чиновник проявил в конце XVIII в. при сносе царского дворца.

Как «умирал» особняк Петра Великого?

Что же произошло с хоромами после смерти монарха? Документы Национального архива Республики Карелия указывают, что с 1727 по 1732 г. строение на онежском берегу вообще не ремонтировалось, а «надсмотрщик» Петровского завода Е. Дейхман с хитрецей утверждал, что «за гниlostию» царскую усадьбу «починить... невозможно», с оговоркой, «разве оный дворец вновь перестроить и с покаями».

Тем не менее в 1732 г. по указу правительствующего Сената хоромы требовалось исправить и в будущем «починкою» содержать. «Доношение» в Берг-коллегию от Канцелярии Олонецких Петровских заводов зафиксировало сумму на починку дворцов, равную «денег 231 руб. 64 1/8 коп». Очередной указ Сената от «ноября 15-го дня... 742 г.» гласил: «Тот дворец до будущего впредь... содержать так, как оный поныне имеется». Однако грозные реляции из Санкт-Петербурга разрешить вопрос без серьезной финансовой подпитки были не в состоянии.

Во время царствования императрицы Елизаветы Петровны предпринимается очередная попытка сохранить царский дом у Онего. Реляция, отправленная в Берг-коллегию в 1745 г., сообщает «за тою гниlostию и весьма ветхостию» дворец императорского величества решительно требует перестройки, иначе он, не имея «жительства», может «принять наибольшую гниlostь». И вновь чиновничье равнодушие победить не удалось. Финальная попытка сохранить возведенную «в давних годах» резиденцию относится к зиме 1756 г. В Петербурге вышел новый указ – ввиду того, что от «великих дождей и сырости» потолки особняка

упали, а «крышка... развалилась», необходимо годные «к живью покои» вновь починить, чтобы «за непокрышкою» они в «худобу» не превратились.

Вскоре усадьбу Петра Великого ожидала незавидная судьба. Нерасторопность власти привела к разгрому царских хором, их, образно говоря, пустили под топор. Сохранился ордер от 23 марта 1772 г. обер-прокурора Сената М.Ф. Соймонова о постройке из бревен «дворцового строения» заводской лаборатории. Для этого государев дворец усилили настоячивого А. С. Ярцова по бревнышкам раскатали и в «назначенном месте» устроили с «добавлением новых бревен» промышленную «лабораторию». Через несколько лет, летом 1785 г., путешественник и академик Н.Я. Озерецковский, сообщая о березовой роще, «насажденной Петром I при дворце», отметил, что от дома «ныне видно только основание». А через два десятилетия петрозаводский любитель старины, шихмейстер Т.В. Баландин, составляя по «сказаниям старцев» описание и «натурные обмеры» объектов заводского посада, с горечью отметил лишь едва видимые руины «бывшего дворца, пруда, палисада и существующего в остатке березового сада».

Так бестолково и бесславно роскошный «Дом Его Величества» у Онежского озера, уникальный памятник Петровской эпохи Русского Севера навсегда ушел в небытие.

Иллюстрации предоставлены автором

□

Михаил Юрьевич ДАНКОВ

родился в 1954 г. в Архангельске.

Окончил Петрозаводский государственный университет.

Научный сотрудник Национального музея Республики Карелия.

Автор более 200 научных публикаций

по истории и культуре Русского Севера.

Работа поддерживалась Институтом «Открытое общество»,

Шведским институтом (Стокгольм),

Национальным музеем Мальты (Ла-Валетта),

Восточноевропейским архивом при университете г. Бремена (ФРГ).

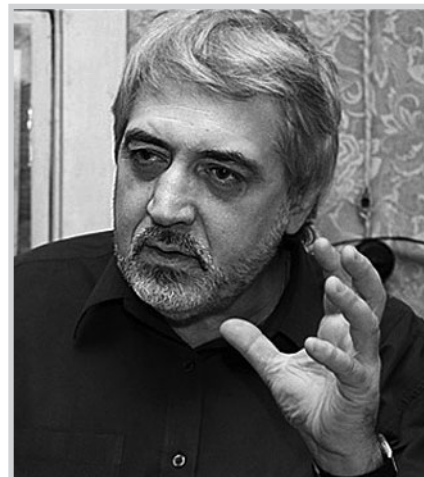
Научный руководитель

исследовательского проекта «Осударева дорога»,

действительный член Русского Географического общества,

член Союза дизайнеров России,

заслуженный работник культуры Республики Карелия.



ВО ИМА ТВОЁ...



*Историко-
этнографический
роман
Журнальный вариант*

Андрей ФАРУТИН

г. Петрозаводск

Посвящается дочери Алесе

*Протяну я Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос её:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздала во имя твоё...
Булат Окуджава*

Книга первая
СЕВЕРНЫЕ ЗАВЕТЫ

Пролог

Захороводившая к Васильевскому вечеру рождественская метель плотно залепила снегом хлипкие ставни на узких окошках, сложенных из довольно крупных кусков слюды-мусковита. Добывали их в районе к западу от Беломорья и ласково прозывали «кабанчиками». Изнутри избы на их блестяще-тёмной слюдяной поверхности весёлыми малиновыми искорками играло отражение пламени длинной лучины, под небольшим уклоном воткнутой в пристроенный на углу широкого стола поставец. Возле него подслеповатая старушка ловко скручивала нить из взломаченного клокка льняной кудели, который шапкой свисал с наверхия деревянной прялки, украшенной по лопастке и всей шейке резным узором с простой обереговой росписью. Пряха время от времени меняла догоравшие лучины на новые, загодя приготовленные на столешнице.

На приставленных возле натопленной печи полатах шаловливо устраивались ко сну внучка Василисы Артемьевны Дарьюшка и внучок Тёмка, с упрямством перетягивавшие друг у друга края лоскутного одеяла, ширины которого с лихвой бы хватило, чтобы укрыть ещё пару таких же пострелов.

— А ну цыть, егозята! Ежели вы не утишитесь, я ноне старинки сказывать не учну.

Ишь как вредну привычку взяли промеж собой цапаться! Пока батюшка ваш жив был, этакого сраму не случалось... Ужо нажалуюсь на вас деду Егору, когда ён с Даниловской пустыньки вертается. От уж ён задаст вицей по мягкому месту, коли маменька Настасья никак вас наказать не удосужится, — незлобиво ворчала привычная к детским проказам бабушка, выискивая доводы, чтобы хоть немного пристрожить разыгравшихся ребятишек. Минувшей весной остались они сиротками после смерти на Водлозере их отца Никиты, утонувшего во время рыбалки.

Тот глухой Водлозерский сузёмок затерялся в бескрайней дремучей тайге к востоку от Онежского озера. Как почти весь Русский Север, к концу XVII столетия он оставался приютом свободных от крепостной зависимости насельников — исстари живших в пределах Обонежской пятины бывлой Новгородской республики землешцев, рыбаей и полесников, а также позже сбжавших от ярма боярской неволи скрытников да скитников, в том числе участников разгромленного разинского восстания. Здешние жители по примеру святых с недалних Соловков, которые осмелились воспротивиться расколовшим страну церковным реформам патриарха Никона, преимущественно исповедовали попавшую в опалу древлеправославную дедовскую веру, а посему подвергались жестоким гонениям властей, но нисколько не утратили внутренней духовной крепости в свойственном тем местам общинном единении.

Большаком одной из крестьянских общин, сложившихся в Водлозере вокруг островной деревушки Коскосалмы, старожилы не первый год избирали знатного полесника Егора Фомича Дмитрова. Соседи уважали его не только за хозяйственную сметку, но и за ум, широкие познания, почерпнутые им из старопечатных церковных книг. На Рождественскую неделю он уехал с гостинцами в основанную на реке Выг Даниловскую обитель, уже становившуюся тогда крупнейшим центром беспоповского Поморского согласия и распространившую своё влияние на иные водлозерские поселения. А его сноха Настасья, вдовица утонувшего сына Никиты, загостила на праздниках у родичей в другом местном староверском центре — селе Куганаволок, расположенном на южном побережье озера...

— Бабушка, помнишь, ты сказывала нам старинку про Ваську Буслая? Расскажи ещё про его похождения, — опасаясь обещанного отказа начитывать полюбившиеся народные песни, попросила скоро утомившаяся Дарья.

— С чего вдруг у тебя к этакому негоднику да шалопуту интерес проснулся? — подивилась сказительница.

— Просто мне его нынче один мальчишка с Ангилоры напомнил... Мы туда утречком ходили с нашими ребятами с горки на салазках кататься... А ентот Колька Онуфриев приставать к нам зачал. Всё норовил непременно следом за мной пристроиться на ледяном спуске да в сутолке потолкаться и пощипаться... Наши-то парни защитить меня пытались от его приставаний, поссорились с ним. А ён сразу в драку полез да всем им таких тумачков надавал, что мы оттуда скорёхонько сбежали...

— И впрямь неужемная буслаевская порода в ём проглядывает, — покачала головой бабушка. — Но тебе-то, Дашутка, небось, совсем несараско от его приставаний было. Скорее приятно, что на тебя этакий сорванец ослепившее внимание обратил. Признайся честно.

— Ну, вот ещё, можно подумать, что ён нахальством да силушкой своей меня сблазнит, — смущённо хмыкнула под нос пятнадцатилетняя девчушка, вошедшая как раз в тот возраст, когда любые знаки внимания со стороны сверстников действительно ловились с чутким оценочным ожиданием.

— Тады и ни к чему лишний раз вспоминать про всяких беспокойных неслухов. Того же Василия Буслаева народ за силу его славную, конечно, уважает. Но за его гордыню безмерную и глупость несусветную ясно осуждает в старинах своих. Сей богатырь всему новгородскому обчеству себя противопоставил, многих достойных горожан сдуру побил. Вместо того, чтоб защищать своих соотичей от беды грозной и ворога лютого. Не тот ён человек, на коего молодым пристало равняться...

— С виду, конечно, новгородский гость Садко поразумнее Буслая будет, — согласилась сперва Дашутка и добавила: — Но силёнками с ним ничуть не сравнится, зато по характеру строптив нисколько не меньше. Ён ведь тоже всему купеческому Новгороду дерзкий вызов бросил.

— Верно, — кивнула Василиса Артемьевна, — но Садко же не ради похвалы али токмо спасения собственной жизни невзгоды одолевал, а и для прибытка ближним. Да мало ли ещё достойных богатырей на Руси! И у всех судьбы да характеры розные. Далеко не каждый вослед за ними может пример праведной жизни подать.

— Слыхали мы уж, бабушка, что самые лучшие из них Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович... Но ёни же совсем геройские, какие-то больше сказочные, что ли, не такие настоящие, как живущие кругом люди...

— А мне дак Дюк Степанович и Чурила Плёнкович тоже нравятся... Тем, что сами по себе живут, по своему хотению, как им на ум взбредёт... — вставил вдруг спорное мнение неразумный девятилетний Артём.

— Видать, я допреж не всё о них порассказала. Хотя бы про то, что ум-то у них недолог, зато панского гонора в избытке. От уж кто точнёнхонько не годится в настоящие герои. Оба ёни бессовестные хвастуны да пустообрёхи, токмо богатством кичиться горазды и личные похоти тешить.

— Но кого ж ты ещё, бабушка, к добрым героям прибавишь? — спросил Тёмка.

— Да хоть тех же простолюдинов — могучего пахаря Микулу Селяниновича и умелого ремесленника Никиту Кожемяку. Ёни всегда идут на подвиги безо всякой корысти... Из других мудрого князюшку Вольгу Всеславьевича тоже можно смело назвать... Ён мне своим вельми пользительным чародейством нашего деда-ведуна Пешу Корелянина из Подгорья напоминает... А про самого первого богатыря земли Русской Святогора вы разве запомнили? Пусть ён остался в памятях людских одиноким сказочным великаном, но ведь и иное о ём народ с уважением да жалостью рассказывает. Сами подумайте, как тяжко жилось этакому большатке на матушке сырой земле, с трудом его вес выносившей. Ён же токмо по крепким Святым горкам мог без опаски хаживать, а в мягкой земелюшке опосля, как в омуте, утоп. Кстати, бают, что тот Святогор неприкаянный в стародавние времена по совету Микулы Селяниновича в наши северные края заглядывал к знатному кузнецу-чародею...

— К вековечному Ильмолайнену, что ли? — удивилась Дарьюшка.

— Може, к карелу Ильмолайнену, а може, к спускавшемуся сюда с горних высей самому пророку Или, кователю молний и повелителю громов... — предположила Василиса Артемьевна, меняя догоравшую лучину на новую. — В той древности далёкой не разбери-пойми.

— А зачем Святогор на север ходил? Чего проведать хотел? Какое напутствие получил? — привязка знакомого сюжета к близким местам сразу усилила интерес юных слушателей к словам опытной рассказчицы.

Умела она хитрыми уловками добиться их внимания к старинам, которые знала во множестве. Не раз бывало, что она легко подбирала любопытные примеры к каким-нибудь житейским случаям, или своей фантазией освежала прежние сказы новыми поворотами и подробностями, или же запросто переносила место действия сказочных героев в родные края. Да к тому ж настолько переиначивала былинные тексты, что порой их можно было спутать с не менее древними карело-финскими рунами. Их заносили сюда соседи-чухонцы, которые наряду с русскими каликами переходили нередко странствовали по окрестным весям со своими эпическими сказаниями.

Вот и песню об исполнении данного Святогору пророчества Василиса напела на свой лад:

*— О судьбинушке Святогор да хотел прознать...
И узнал от свого прорицателя,
Колдуна-ведуна и кователя,
Весть желанную, долгожданную,
О женитьбе скорой во чужих краях,
В дальнем царствии, во Поморском том.
Там невеста его тридцать лет ждала,
На гнощице больна дожидалася.
Богатырь нашёл неживу её,
Под корнями корою покрытую.
Ён ударил ей в грудь кладенцом-мечом
И пять сотен рублёв положил для ней.
И уехал к себе, опечалившись,
Опечалившись да пригорюнившись.
Токмо Плёнку ту пробудил удар,
Боли вылечил, с плена вызволил...
От сосновой коры отряхнувшись,
Возродилася раскрасавица,*

*Красна девица да во всём соку.
И молва о ней по земле пошла —
Перекатами да перелесками.
Святогорушка возвратился к ней
И женитьбу справил, как пророчилось.
А потом токмо шрам на груди узрел
И узнал следок кладенца-меча,
Своей сабельки да тяжёленькой.
Тады понял ён, что судьбу нашёл,
Что судьба никак не минуется.
Как написано на роду кому,
Так сбывается с верностью по сему.*

— А Чурила Плёнкович, получается, сын этой Плётки и Святогора? А опосля же Святогор убил свою любимую жену за то, что ёна ему с Ильёй Муромцем изменила... А от кого ж всё-таки сам Муромец свою силу великую получил — от калик переходящих али от дыхания умирающего Святогора? — по вороху посыпавшихся вопросов чувствовалось, что в голове несмышлёныша Артёмки совершенно перепутались разные былинные истории.

— Ничего ты, Тёмка, не малтаешь, — возразила ему Дашутка. — От Святогора Илья Иванович токмо часть силы перенял, иначе бы тоже не смог ходить по сырой земле. Но начальную силу вдохнули в него Ангелы Божии, кои под видом калик пришли к нему в дом, где ён 33 года сиднем сидел... Ведь правда, бабушка?

— В народе и так, и этак бают.

— Но ведь те кроткие Ангелы совсем не похожи на того, который полтыщи лет назад спускался с небес на нашу Ангилову горку. Сказывают, наш Ангел был весь огненный, грозный и страшный. Почему так? — снова любопытствовала внучка.

— Ангелы — существа духовные, бестелесные, не от мира сего, — терпеливо толковала Василиса Артемьевна. — Ёни как посланцы и верные вестники Господа Вседержителя могут разное обличие принимать. С какой целью Бог их с небес на землю посылает, такой вид ёни и сподобятся принять. К Илье Муромцу ёни наведались мудрыми старцами, каликами переходящими, дабы исцелить праведного могучего богатыря, будущего защитника земли Русской. Но в наш сузёмек Ангел Божий сошёл для вящего устрашения живших здесь чухонцев-

язычников, наставляя их скорее принять истины Христовой веры, посемерён и облачился для убедительности в грозный огонь. Дабы послание Царя Небесного вернее дошло до людей...

— Ещё я от ребят слышал, что Илья Муромец тоже из наших краёв происходит. И прозван ён так по недалёному Муромскому мысу в Онего-озере. А потом ён будто бы постригся в монахи и почил старцем в стоящем там же Муромском монастыре. Неужто верно? — поделился Артём распивавшими его досужими домыслами.

— Каждной местности любо этакое славного витязя своим ближним считать. Ёно и впрямь этак выходит, что для всех русичей Илья Иванович стал общим и любимым героем. Да и не токмо для русичей. Слыхала, что чухонцы тоже о ём свои песни складывают. Бывает, сама уж теряюсь в догадках, кого ёни имеют в виду, когда поют о вековечном кователе Ильмолайнене — своего ли какого древнего кудесника, али библейского Илью-пророка, али богатыря Муромца, — призадумалась бабушка Василиса и вдруг встрепенулась, приметив, что смотала в нить всю висевшую на лопастке кудель. Но за новую пряжу братья уже не стала. Пора было всем ложиться почивать. Да только пришедшая на ум память ещё об одном местном предании пока не давала старушке возможности утомониться. — А знаете ли вы легенду о золотой бабе, кою будто бы выковал себе в жёны тот самый Ильмолайнен за место своей утраченной супруги?

— Я слышала, что её где-то у нас на Водлозере прятали, токмо мне говорили, что энто вовсе не обычный языческий идол, но вылитая из золота Богородица с Младенцем-Христом, — припомнила дошедшие до неё слухи Дарья.

— Ну, никто из ныне живущих воочию ту золотую деву не видел. Мне от моя баушка сказывала, что приняли веру в Иисуса Христа карелы больше ста лет тому назад. И передали ту бабу на сбережение появившимся на Водлозере русичам-пустынножителям, подивившим их своим праведным житием, безмерной святостью и несотяжением. Наверное, как раз потому люди стали связывать её с нашей Царицей Небесной. Хотя изначально карелы пели в своих древних рунах именно о жене Ильмолайнена, коя не смогла заменить ему тёплую земную женщину. Пождите-ка, я попробую припомнить хоть кусочек той

песни, что слышала однажды от Пешы Корелянина. Правда, он называл того кузнеца по своему, по-карельски — Ильмариненом.

Василиса Артемьевна ненадолго сосредоточилась, вспоминая мало знакомый ей текст карельской руны, а потом для разгона стала сказывать предварительные подробности:

— Значица, сначала кузнец-кудесник получил из раздутого им горна чудную золоторунную овцу, опосля славного среброгривого жеребчика, но всё никак не прекращал работу. Пробовал снова и снова. А потом случилось так...

*Сам кователь Ильмаринен
Раздувать мехи подходит.
Раз качнул, качнул другой раз,
И потом, при третьем разе,
Посмотрел на дно горнила,
На края горящей печки, —
Что выходит из горнила,
Что на дне там происходит?
Из горнила вышла дева
С золотыми волосами
И с серебряной головкой,
С превосходным чудным станом,
Так что прочим стало страшно, —
Ильмаринену не страшно.
Стал трудиться Ильмаринен,
Сам кузнец, над изваяньем,
Ён ковал, не спавши, ночью,
Днём ковал без остановки.
Ноги сделал этой деве,
Ноги сделал ей и руки,
Но нога идти не может
И рука не обнимает.
Ён куёт девице уши,
Но ёни не могут слышать.
Ён уста искусно сделал
И глаза ей, как живые.
Но уста без слов остались
И глаза без блеска чувства...*

Ну и дальше в том же роде. Дескать, положил кузнец выкованную им золотую бабу рядом с собой в постель, однако, как ни укутывал её одеялами, всё же не смог одолеть её холода и добиться отклика человеческих чувств. Посему наконец отказался от своего творения. Оттого золотая баба у нас на Водлозере опосля оказалась.

— Неужто, бабушка, никто не ведает, где же старцы-пустынники её спрятали? — с горящими глазами спросил Артёмка.

— Кто-то, конечно, ведает. Есть у братьев-староверов потаённое местечко, где ёни наши святыни от слуг антихристовых надёжно прячут. Да посему ёно и тайное, дабы туда никому неповадно было сунуться.

— А девчонки мне сказывали, что когда ту золотую деву на лодке в новый тайник по Водлозеру перевозили, будто бы у неё один пальчик отломился и на дно упал. И где-то там до сих пор свечение дивное над озером примечают, — Дарья дополнила легенду новой подробностью.

— Ежели так, то водлозерские водяные цари ужю никогда сие сокровище никому не отдадут, — отметила бабушка Василиса ещё одну особенность того медвежьего угла.

— Неужто ёни не поддадутся даже на уговоры всесильного лесного хозяина, про встречу с коим дедушка Егор рассказывал? — не унимался Тёмка.

— Да что им за указчик — тот лесной хозяин? Ёни же в другой стихии живут и дружбу с лешаками вовсе не водят. И вообще, наши водяники — донельзя вредные бесы. Тело вашего утопшего батюшки нам так и не отдали. А деда Пешу тады известили, что скоро война будет долгая да кровавая. Люди бают, что московский царь Пётр готов на юге с османами-басурманами замирииться, дабы на севере взяться грозных свеев воевать... Не разбери-пойми, чего дальше ждать? Спаси и сохрани нас, Отец наш Небесный! Пречистая Богородица, моли Бога о нас! Помогите нам, Ангелы-заступники и все святые угодники! — старуха трижды с поясными поклонами двуперстно перекрестилась на образа, заставила наскоро помолиться внучат и велела им отходить ко сну.

За окнами по-прежнему по-волчьи выла злая пурга. Засыпавшие в тот Васильевский вечер водлозёры ничуть не чаяли, что по указу государя Петра Алексеевича с утверждённым им новым летоисчислением ненароком вступили в 1700-й год от Рождества Христова, в переломное столетие нарождавшейся новой эпохи.

Часть первая.
Вольному — воля

Сон о Стеньке Разине

Тревожное видение ворвалось вдруг в Илюхин сон, прежде спокойный и благодатный. Приснился ему недавно почивший дед Ероха, о кончине коего внук крепко горевал. Будто бы молился Ерофей Кириллович с двумя незнакомыми Илье мужиками перед чудной иконой Пресвятой Богородицы в каком-то большом светлом храме. Справные кафтаны и удалая стать выдавали в спутниках деда удачливых казаков с Дона. Слева от него стоял кражистый атаман, широкогрудый, русоволосый, с курчавинкой в отливавшей рыжиной бороде и властным дерзким взглядом, мало похожим на подобающее святому месту христианское смирение. Казак справа был чуть поуже в плечах, но тоже ладно скроен, мускулист, ростом повыше и темнее волосом. Он хоть и был видом суров, гораздо трепетнее шептал молитвы.

Внезапно кругом потемнело. Из ближнего к Младенцу-Спасителю глаза опечалившейся Божией Матери потекла по иконе драгоценная слеза. С разбойным присвистом в храм влетел ветер и поднял пыльную спиралью кручёный столб, принявшийся яро буравить нижним остриём каменные плиты церковного пола. Плиты не выдержали, треснули, стали рушиться вниз, уходя из-под ног схватившихся за руки оторопевших богомольцев. В образовавшемся проёме сверкнули языки адского пламени, пока далёкого, но уже обжигавшего воздух грозным жаром. Кудреватый атаман, внешне ничуть не выдавший страха перед нагрянувшим бедствием, всё-таки оступился первым и повис над огненной бездной, потянув за собой стоявшего рядом Ероху, которого в свой черёд цепко держал за другую руку отпрянувший к спасительной стене второй казак.

Вот уж и дед Ерофей соскользнул с каменной тверди. Того и гляди, потеряет опору последний удерживающий товарищей дончак. Но тут тянувший всех в огненное море казак крикнул что-то лихое напоследок, решительно разжал свою руку и со скривившей губы гневно-озорной усмешкой полетел вниз, ох-

ваченный всепожирающим пламенем. Только после того Ероху вытащил на поверхность уже вроде и не прежний его знакомец, а отдалённо напоминавший его монах-схимник, одетый в длинную рясу и надвинутый на старческие брови чёрный клобук. И части разрушившегося было пола снова восстановились, сдвинувшись с громким треском вплотную.

...Казалось, именно тот треск разбудил Илью, однако, очухавшись ото сна на широкой лавке, он услышал звук наяву. Не сразу понял, что до него донёсся шум от ломки ледяного панциря, сковавшего на зиму реку Шексню. Попытался выглянуть в окошко, но ничего не разглядел сквозь тёмные слюдяные пластины, соединённые с рамами и меж собой свинцовыми спайками. Сунул босые ноги в плетёные из мягкой бересты следки, заменявшие белозерским чухарям домашние тапочки, накинул на плечи овчинный тулупчик — да так полуголый, в одной холщовой рубахе до колен, выскочил на возвышавшееся над хозяйственным подклетом крытое крыльцо.

Очень любы были Илюхе всякие проявления мощи природы — грозы, ураганы, бураны... Ну, конечно, если они ему самому ничем не угрожают, а посмотреть на игрища стихий можно вот так, со стороны. Тогда точно всё происходящее кажется увлекательной игрой, которую то ли для развлечения своего от упокоения привычной небесной скукой, то ли от вечного недовольства неодолимой греховностью людской периодически устраивают Ангелы Божьи, насылая на землю устрашающие её обитателей громы и молнии, свирепые осенние вихри и слепые снежные бури.

Право же, не дай Господи, оказаться в такой гибельный миг в дальней дороге, в открытом поле, даже в прикрывающей человека деревьями дремучей тайге — невелика та защита от вырывающегося с корнями вековые ели могучего ветродуя. Всё одно сшибёт с ног, закрутит, заметёт, угробит...

В том и прелесть стороннего наблюдения за картинами этакого безудержного разгула природных силищ! Во внутреннем переживании чувства острой опасности, на этот раз далёкой, да вдруг написанной на роду и когда-нибудь вполне вероятной в самой близости, таящей угро-

зу и оттого загодя ощущаемой пробегающими по коже мурашками.

Час был ранний. А в середине апреля ночи на Вологодчине ещё долгие. На сумрачном небе проглядывал среди тёмных туч серп тусклого месяца. Лишь на востоке чуть рассветило. Впрочем, предутренние сумерки вовсе не мешали разглядеть ширь белой реки, окаймлённой за прибрежными промоинами густыми лесами и только вчера выглядевшей почти цельным снежным полотнищем. А нынче покрылась она трещинами от разломов, вдоль которых всё заметнее становилось покачивание со скрежетом трущихся краями огромных льдин, упрямо пытавшихся отколоться от общей глыбы, чтобы предаться вольному движению по шекотававшему их снизу бурному потоку.

Наконец один ледяной островок бочком надвинулся сверху на соседний, придавил его своей тяжестью, обломил нырнувшую под воду кромку толстого льда и сам тут же раскололся на вставшие дыбом куски помельче. А те стали дробить другие сдвинувшиеся на освободившееся место крупные осколки — с грохотом, с серебряными брызгами ледовой крошки и вырвавшихся из-под спуда водяных фонтанчиков. Вскоре накопившееся в трещинах напряжение разрешилось чередой новых разломов по центру реки, где наметились в нешироком поначалу канальце подвижки напивавших друг на друга льдин. Шексна зашевелилась и потекла дальше вместе с набиравшим силу ледоходом.

— Ильмо, туле тянне, — ворчливо позвала парня в дом тоже проснувшаяся от шума старуха вепсянка, смотрительница дедовской усадьбы, где Илья остался пожить после недавних похорон Ерофея Белозерского. — Каццио, холод-то какой. Родной язык, что ли, запоматывал? Ходь в избу, говорю, вишь, как студёно, ненароком простынешь гольцом на морозяке. Да лоб перекрести, прежде чем за порог выскакивать.

— Не шибко и студёно, баба Акулина, шелонник добрым теплом пахнул. Видать, оттого и лёд на Шексне так рано треснул, — возвратившись через сени в не запиравшуюся до сороковин горницу, откликнулся Илюха. Всё же он зябко поёживался от свежести, отчего нас-

коро натянул на замёрзшие ноги согретые на печке порты и шерстяные носки.

Старая нянька, наперсница бабушки Дуни, рано погибшей и потому знакомой внуку только по рассказам родичей, нашептывая под нос молитвы, высекала кресалом огонь, чтобы растопить печь и приготовить завтрак. Вот искра зацепила клочок подложенной под сухие щепки кудельки, старуха раздула огонь, вскоре охвативший растопку надёжным пламенем, тут же взявшимся облизовать жадными языками поленья покрупнее. Акулина удовлетворенно обернулась к боковой стене, на которой ближе к переднему углу висело предназначенное для обиталища отлетевшей души узорное полотенце над аккуратно застеленной лавкой, где по обычаю на каждую ночь до сорокового дня поминовения устраивалась постель для её усопшего хозяина.

— Не забыл, чай, что деду твоему ноне девятины, — скорее не для напоминания, а для порядка сказала старуха, перекрестившись на убранные чистыми рушниками тёмные иконы, строгими ликами взиравшие вниз с прибитого между стенами поставца под потолком.

— Такое разве забудешь, — опечалась, ответил Илья. И вдруг его осенила догадка, следом вылившаяся в торопливые реплики: — А ведь я, наверное, потому и проснулся ненароком... Похоже, дедушка мне о себе напомнил в нынешнем странном видении... Точно-точно, сон был в память о том, как он познакомился со Стенькой Разиным и Фролом Минаевым, когда ходил с ними на богомолье в Соловецкий монастырь...

— Этга когда он свою жёнку и четырёхлетнего Павлушку на три месяца бросил?

— Ну да, уж лет сорок с лишком назад. В тот год Степана Тимофеевича казаки первый раз на Дону атаманом кликнули. А с его есаулом Фролом дед Ерофей в персидском походе побратался. В его честь и мово старшего брата назвали. От него, помнишь, дядька Фёдор ещё с Азова весточки передавал, когда Минаев уж сам был атаманом всего войска Донского и водил вместе с казаками наших стрельцов на турок по воле царя Петра...

— А опосля он на старости лет в монахи постригся да и помре Филаретом-схимником? Как

же, помню, Ерофей Кириллович, когда получил о том известие, шибко занедужил, почитай, на полгодочка слёг и уже не оправился от кручины. Прости ему, Господи, грехи тяжкие! Сколько уж он помыкался по белу свету, чего только не спытал на своём веку, но чужой заедать не стал. Царствие ему Небесное!

— Так оно и есть, баба Акулина, — подтвердил Илья. — Привиделось мне, что атамана Разю огонь испепелил. А дедушку будто бы именно старец-монах из геенны вытащил, но который раньше казаком был. Разве ж случайно дед Ероха в Великую субботу перед Пасхой Богу душу отдал? Не зря говорят, что усопшим в этот день сразу двери рая распахиваются.

— Ты бы, внучок, съездил на кладбище да помянул старика по-христиански.

— Сёдни, бабуля, дома его помянем. Братовья обещались скоро подъехать. И себе, и деду баньку жаркую справим. А завтра, на Радунцу, по дороге к Вологде вместе с ними на кладбище заглянем. Самый что ни есть христианский помин будет нашему деду.

— Я тады калитки вам напеку, стал праздничный накрою, — засуетилась старая хозяйка. — А ты, Илья Павлович, всё ж встань, помолись на образа. Не забывай утреннее правило, дабы и тебе, и дедушке было покойнее. Хоть чухари мы, а всё православные...

По рождению Илья впрямь мог считаться наследником обитавшего в былые века подле Белого озера летописного племени весь, поскольку чудинками были и его бабушка Авдотья Никитична, и мать Ульяна Гордеевна. Да и прабабку Марфу местные прозывали кайванкой за то, что она тоже происходила из чухонского корня — из родственной корелы, массово переселявшейся со смутных времён после шведских гонений от побережья Ладоги или, как бытовало в просторечии, из финской области Каяни. Жившие окрест русичи, уже не помнившие своего племенного истока — от древних словен, кривичей или вятичей, ничуть не отделяли от местного сообщества белоглазую чудь, жили с ней ладно и почти сплошь перероднились. Потому чудской язык был вовсе не чужд многим вологжанам, а для иных оставался вторым родительским.

Дед Ерофей рассказывал, что сам появился

на свет полурусским из-за печального случая. Дескать, нагрянувшая в 1630 году на Вологду моровая язва унесла жизнь совсем ослабевшей при родах двух его старших братьев-близнецов супруги стрелецкого полусотника Кирилла Оглобли Екатерины. Ещё до того как схоронить и оплакать жену, тот вынужден был взять в няньки для малых детушек рано овдовевшую чухонку Марфушку, славившуюся покладистым нравом и знатными знахарскими способностями, что в чудских племенах остаётся делом обычным. А со временем, сам став вдовцом, как-то прикипел к ней по-мужицки да и прижил вскоре третьего сына. Венчаться другой раз посчитал за гораздо больший грех, чем случившееся сожительство без венца. Но сына родным признал безоговорочно. Только подалее от пересудов отселил младенца Ерошку с матерью из города в отстроенную для них усадьбу на берегу Шексны.

Люди судачили, что многое в жизни Илюхиного прадеда, бывшего посадского человека Кирюхи Оглобли, с отрочества ходившего возчиком с купецкими обозами в разные края Руси, связалось с его трепетным почтением к новой царской династии Романовых.

С юности паренёк отличался недюжинной физической силой, испытанной в обычных кулачных боях стенка на стенку, которые по излишнему запалу участников порой оканчивались тем, что Кирюха разгонял не унимавшихся настырных соперников тележной оглоблей, за что и получил своё прозвище. Его богатырская силушка стодилась в Смутное время, когда молодой боец вступил в вологодское ополчение, освобождавшее Отечество от польско-литовских захватчиков под рукой доблестного князя Димитрия Пожарского и первым бросившего клич к единению русского народа на священное противоборство с неприятелями нижегородского гостя Козьмы Минина.

После одоления Смуты отличившегося в кровавых сражениях вологжанина без колебаний взяли в стрелецкую службу, стали уважительно величать Кириллом Егорьевичем. Поскольку же повышение его статуса столь счастливо совпало с соборным возведением на российский престол юного царя Михаила Фёдоровича Романова и последующим утверждени-

ем на патриаршестве его родителя, из первых бояр постриженного в монашество под именем Филарета, новоиспечённый стрелец прочно воспринял с получившими власть по Божескому промыслу правителями все благодные перемены в государстве и личной судьбе.

В державе Российской тяжёлые последствия смутных времён действительно мало-помалу изживались, течение жизни в провинции тогда чуть утишилось, вошло в прежнюю колею. Однако семейная жизнь Кирюхи сложилась далеко не сразу. Ещё с десятка лет мешало тому постоянное участие в боевых походах то супротив засевших на новгородских землях шведов, то на долго промышлявшие в северных лесах шайки «панов», как прозывали отколовшихся от войск интервентов в поисках лёгкой добычи малоросских козаков и заплывавших в чужих краях литвинов, не однажды пытавшихся осаждать и штурмовать даже недалёкий Кирилло-Белозерский монастырь, считавшийся мощной крепостью.

Только к тридцати годам женился Кирилл Оглобля на приглянувшейся ему посадской девице Екатерине, внешне красивой, но, увы, больной. Она успела родить ему до сыновей-близнецов трёх слабеньких дочек, из-за привязчивых детских хворей почивших в младенчестве. Обрадованный нечаянным рождением долгожданных наследников, стрелец сразу озаботился их здоровьем и даже имена им выбрал ради крепкого небесного покровительства в честь первых особ царственного дома, незадолго перед тем отметившим пятидесятилетие восшествия на престол Михаила Фёдоровича: старший был крещён Фёдором, младший — Михаилом. А потом и в их семьях повелось крестить первенцев-пацанов именами друг друга.

Призванную беречь крепость малышей няньку Кирилл Егорович тоже выбрал не просто за её знахарский опыт и женскую статью, но и с иным умыслом: ведь звали её Марфа — точно так, как в иночестве прозывалась боярыня Ксения Романова, бывшая супруга патриарха Филарета и мать действовавшего российского самодержца. Тут, видать, и суеверия народные сказались, и неизбывная дедовская вера в святое заступничество Пресветлой Богородицы, которая не может не заметить сло-

жившуюся в именах символику. Так или иначе, хитрый отцовский расчёт вполне оправдался. То ли по соизволению высших сил, то ли благодаря заботливому догляду полюбившейся всем няньки-маменьки Фёдка с Мишкой выросли крепышами, в могучую батину породу. За ними в будущем закрепились новая родовая фамилия — Кирилловы, а позже им досталось по законному наследству и отцовское стрелецкое служение.

Байстрюка Ерошку нарекли так за то, что уж с утробы матери, как только его освободили от родовой рубашки, он выскочил непоседливо голосистым, ершисто волосатым, но довольно хлипким по сложению, не в пример упитанным и спокойным старшим братьям. Ему от бати осталось только отчество. Фамилию же определили по случаю предполагавшегося для него иного служения — монашеского, отделив для того вторую часть от названия знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря, где мальчонке предстояло сначала суровое воспитание и обучение, а затем обещанное отцом пострижение во избавление от родительских грехов.

Впрочем, подросток Ерофей Белозерский, получив у строгих иноков, приставленных к отдававшимся в монастырское послушание детям, приличное по тем временам образование, от завещанного ему пострига всё-таки наотрез отказался и сам выбрал себе другую беспокойную судьбу. О ней-то вперемешку с заученными наизусть молитвами вспоминал вслед за прочими семейными преданиями увлечённый разгадкой тревожного предутреннего видения Ерохин внук Илья.

Обереги Ерохи Пурги

Рассеянно помолвившись и перекусив наско- ро сготовленной яичницей, крынкой молока и краюхой ржаного хлеба с загустевшим мёдом, Илья открыл заветный дедовский сундучок, обитый по тёмному дереву начищенными медными полосками. Ерофей Кириллович берёт в нём дорогие его сердцу вещицы, как он с напускной важностью в голосе говаривал, «талисамяны». Каких только странных арабских, персидских, татарских словечек не нахватался

дед за время своих скитаний в далёких южных краях — не каждому сразу даже внятное объяснение мог дать, пускаясь в туманные сравнения с русскими понятиями. А это пояснял с уверенной простотой: «Обереги памяти».

Из левой стороны сундука Илья первым делом достал толстенный «Апостол», печатанный ещё Иваном Фёдоровым затейливыми рукописными буквицами. Его купец Белозерский выкупил из богатой монастырской библиотеки, насчитывавшей не меньше двух тысяч томов рукописных и печатных книг. Закладкой меж его страниц на особо любимых дедом «Деяниях апостола Павла» лежала иссохшая, но некогда аккуратно сложенная кожа. Внук знал, что это та самая «родовая рубашка», в которой появился на свет горласто-ершистый счастливек Ерошка. Таким его считали с младенчества, хотя при родах он чуть не задохнулся в том плотном кожаном мешке и позже познал гораздо больше лиха, чем напророченной счастливой доли. По обычаю столь судьбоносную приметку принято было хранить именно в важных церковных книгах — ради облегчения мирской жизни её обладателя. Как бы для приманки вольной пташки счастья.

А и в самом-то деле, в чём суть того желанного житейского счастья? Не в том ли, чтобы достойно пережить выпадающие на долю человека невзгоды, не сломаться, не спасовать под ударами судьбы, но, твёрдо выдержав их, одолев всяческие препятствия, уйти в иной мир со спокойной уверенностью в хорошо сделанной работе по умножению талантов чистой души человеческой? Уж в этом смысле Ерофея Кирилловича точно можно назвать счастливчиком.

Невелико было б его везение по раннему принуждению, но не по убеждению сделаться неуспокоенным иноком. Отданный в семилетнем возрасте в Кирилло-Белозерский монастырь в тяжкое учение, быстроглазый мальчишка не раз перечил седобородым наставникам в рясах и, хотя знания схватывал буквально на лету, дольше других сверстников простаивал на коленях на жёстком горохе или чаще грелся под мокрыми розгами.

Потому так желанны были для него короткие отпуска на волю после многодневных постов:

зимой — на Рождество, весной — на светлую седмицу после Пасхи, летом — после Петровок до самого Ильина дня. Тогда батя Кирилл Егорович, по уговору с монастырским начальством и, разумеется, за посильные дары или пожертвования, забирал пацана в Вологду, где позволял порезвиться со старшими братьями, учил всех троих освоению ратных приёмов, разрешал даже пострелять на выселках из своей огромной пищали по самодельным мишеням.

Такие забавы нисколько не сравнимы с нудной зубрёжкой в душной монастырской школе, со скучным житьём по строгому распорядку да под суровую диктовку, с однообразной чередой молитвенных послушаний и куда больше запомнившимися вспышками телесных наказаний за малейшее проявление непослушания... Никак не могла уготованная ему монашеская жизнь примирить с собой вольнолюбивую натуру Ерошки.

Слава Богу, в обители это со временем поняли и перестали настаивать на скором постриге юного послушника, для начала назначив его после курса обучения в служение по обширному монастырскому хозяйству. Служил Ероха и поварёнком, и плотником, и конюхом, а уж когда совсем окреп, стал, как и его батя в юности, сопровождать обозы с предназначенными для монашеской братии товарами да снедью по просторам Русского Севера, где у богатого Кириллова монастыря было немало вотчин, изобильных рыбных промыслов и кабальных данников среди напрочь обнищавших крестьян.

Оберегом памяти о той поре остался в дедовском сундучке увесистый кистень — чугунный шарик в кожаной оплётке, крепившийся прочной двойной уздечкой на плече под армяком. Вроде и не видать у обозника никакого оружия, но стоит только наскочить на него лихим людям, как чёрная смерть на длинном ремне может стремительно вылететь из его рукава на неосторожно подставленные на опасно близкое расстояние головы. Постаревший стрелецкий пятидесятник Кирилл Оглобля, прослышав об одном таком боевом эпизоде, в котором отличился ловкой удалью его с виду щуплый, но жилистый Ероха, аж прослезился от гордости, вспомнив свою мятежную молодость, и окончательно простил непутёвого сы-

на за допущенное им нарушение отцовского обета. Сам договорился с монастырём о размере откупа, сосватал у чухаря-купчика Никиты Авдеева приглянувшуюся парню невесту Дуняшу и отдал молодожёнам для житья ту самую усадьбу на Шексне. В начатое сыном купеческое дело старик со сватом тоже своим невеликим прибытком вложил — царёво жалованье стрельцам частенько задерживали, потому они пытались сами прокормить семьи или торговлишкой, или какими доходными промыслами.

Вот и память о бабушке Дуне — Илья достал из сундука ладанку чёрного бархата, в которой хранились несколько записок с заветными заговорами и молитвами, прядь белокурых волос, витые серебряные серёжки с голубым малахитом, простенькое закладное колечко из зелёного нефрита, подаренное женихом при сговоре о сватовстве, маленькая иконка Владимирской Божией Матери в затейливом окладце, искусно украшенном зернью по филигрании...

Похожий образ Богородицы в тёмном омофоре, крепко прижавшей головку младенца Христа к своей правой щеке, Илья видел в давешнем сне. Ну да, конечно, эту чудную иконку дедушка привёз как раз с Соловков, где выменял её у торгаша-монаха за дорогущую золотую цепочку. Исстари считается, что первый список Владимирки сделан евангелистом Лукой на обрезке доски от стола в доме самой Пречистой Девы Марии ещё при её жизни, а значит, передаёт наиболее верное портретное сходство с ней. Лик Царицы Небесной на этой иконе, подаренной Константинопольским патриархом великому князю Юрию Долгорукому, традиционно грустен, но, пожалуй, теплее и проникновеннее, чем у более строгих канонических вариантов.

Впрочем, история умалчивает, какая именно икона поразила Стеньку Разина на Соловках. Может быть, более характерная для соловецких храмов Смоленская Одигитрия или молящаяся за спасение грешных душ Боголюбская Богоматерь? Известно только, что даже суровый донской атаман внутренне восхитился затаившейся в очах Её иконописного образа невыразимой боли за весь род человеческий, в чём признавался и случайному спутнику Ерохе.

В провожатые к следовавшей на поклонение в Соловецкий монастырь станице донских казаков Ерофей Белозерский попал действительно случайно. Было это лет через пять после свадьбы с Дуняшей, осенью 1661-го, когда самостоятельно занявшийся торговым делом молодой купец возвращался с товаром из Великого Новгорода. На постоялом дворе где-то на Валдае он встретился с глянувшимися ему вольными дончиками, искавшими толкового проводника на север. Выделявшийся среди станичников атаманским норовом Степан, Тимофеев сын, хоть уж бегал разок на Соловки за девять годков до того, но уверял, что в подробностях дорогу запомнил. Позже он, разоткровенничавшись под хмельком, сказал Ерохе, который был младше Разина всего на три года, что иные селения на карельской земле хотел бы миновать вовсе или пройти наскоком, чтобы не быть узнанным из-за какой-то провинности, допущенной им в прошлый раз.

Самый близкий товарищ Разина, бабник и задира Фролка Минаев, с которым Ерофей особенно сдружился по родству непоседливых характеров, нашептал потом новому приятелю, что по молодости Разя в том паломничестве к святым местам кого-то ненароком пристукнул до смерти, потому, дескать, снова на Соловки двинулся, чтобы отмолить грехи былые и будущие, коих у любого лихого казака копится без всякой меры.

Порывистый Белозерский душевно откликнулся на предложение случайных знакомцев, поручил своим обозникам довести гружёные телеги до Вологды без него и предупредить родных, что вернётся ближе к зиме, а сам увязался в дальний путь со станицей. Прежде он не однажды хаживал вдоль берегов Ладоги и Онегозера, добирался вплоть до Выговского края, где у Кириллова монастыря ещё оставались корыстные интересы, порой оспаривавшиеся тамошними Клименецкой и Палеостровской обителями. Но за Выг-озером до той поры ему бывать не доводилось. Знамо было всякому, что в Поморских уделах оспорить что-либо у всесильных Соловков мало кому удавалось.

— Где соловчане десницу наложат, нашим кирилловцам уж делать нечего, — с разумением пояснял Ероха казакам хозяйственные тре-

ния между крупнейшими и богатейшими обителями северных земель. — По Свири тоже вологодским лишнего не обломится — тут монастырь святого преподобного Александра Свирского крепко лапу держит. Чуть севернее хозяйничают ИONO-Яшезерский и Важеозерский монастыри, а дальше к Западу начинаются Коневецкие да Валаамские вотчины...

— Что ж ты, Ерофей, отношения меж свято-русскими столпами всё своей купечкой меркой меряешь? — подначивал собеседника неугомонный Фролка.

— А как иначе? Чернецы — тоже люди, они тоже кушать хотят. Пусть мяско монахам устав пробовать не велит, но от доброй рыбки в скромные дни ни один из них не откажется. А кто ж им её дать, как не кабальные данники-хрестьяне? За то, чтоб на них ярмо набросить, монастыри промеж собой и тягаются, да за наделы земельные, даруемые по царёвым грамотам, — со знанием дела растолковывал Ероха.

— Неужли у царя и московских бояр своих земель тут нетути? — дивился Фрол.

— Допрежь не бывало, ибо едем мы по былой Обонежской пятине Господина Великого Новгорода, где собственные вотчины, деревеньки, а то и отдельные крестьянские дворы в скудных на жильцов селениях имели тамошние бояре да посадники. Теперь их всё чаще раздирают в кабалу как раз монастырские приказчики. Хучь, вестимо, все мы люди осударевы, подневольные, кажный назначенную ему мзду в казну платит...

— А вот Стенька считает, что на севере люди всё ж живут повольнее, чем на югах.

— Не ровняй, Фрол, ваши донские вольности с нашенскими. Может, оно и так где-нибудь в укромных уголках безлюдного Поморья или в таёжной глуши, куда мытари воеводские да монастырские келари добраться не сподобятся. А в прочих местах людишки несут одинако тяжкое бремя. Там не до жиру — быть бы живу... — не уступал в споре Ерошка. — Не сам трудник, так обчина за его долги в ответе. Оттого остальным соседям, уразумей, легче совсем не становится. Ить со всех тады три шкуры сдерут. Посему не гони ты пургу почём зря.

Вот за это любимое дедовское изречение, коим Ерофей Кириллович зачастую осаживал

иных спорщиков, попутчики-казаки прозвали его Ерохой Пургой. С такой кличкой он позже участвовал в знаменитом персидском походе разинцев по Кизилбашскому морю, а затем и в грозном народном восстании, гневом отчаяния обездоленной голытьбы вздыбившем вскоре Поволжские земли...

Поводом искать защиту у знакомых дончаков стали трагические события, случившиеся ещё через шесть лет после того памятного хождения на Соловки. Сметливый Ероха использовал то путешествие для наведения мостков с поморскими рыбаками. Ближе к зиме, после осенней путины, регулярно навещался на север за дешёвой морской рыбкой с парой-тройкой воев. К той поре жизнь семейства Белозерских вполне наладилась на небольшие доходы — особенно от рыбной торговли. Однако ж не зря говорится: счастье в оглобли не впряжётся.

Беда пришла откуда не ждали. В недалёком от Шексны Ферапонтовом монастыре назначили тогда место ссылки бывшему патриарху Никону, после громкого раздора с государем Алексеем Михайловичем попавшему в жестокую опалу, но долго пытавшемуся в не столь уж тяжком заточении пестовать прежнее честолбие. В окрестностях властолюбивого затворника невзлюбили. Местные жители, среди которых оставалось много ревностных приверженцев старой веры, не могли простить Никону не принятых ими нововведений церковной реформы. Насельники соседнего Кирилло-Белозерского монастыря стонали от непомерных аппетитов ничуть не избавившегося от своевольства бывшего пастыря, требовавшего от них увеличения поставок на своё подворье снеди, сена и дров. Торговые люди жаловались на скаредность никоновских служек, нещадно сбивавших цены на добротные товары. И буквально вся округа задрожала в страхе от беспокойных гостей, зачавших в Ферапонтову обитель.

Не однажды наезжали к Никону то царские посланники, то именитые дворяне как из самой стольной Москвы, так и из ближних городов и усадеб. Обычно их сопровождала охранная свита из жильцов-захребетников, отработавших своё содержание верной службой богатым родовитым особам. По наглости по-

ведения эти вооруженные отряды скорее напоминали шальные разбойничьи шайки, отчего справедливо сравнивались в народе с достопамятными опричниками.

Жертвами одной из таких опричных ватаг оказались осенью 1667 года супруга Ерофея Авдотья Никитична и его престарелая мать Марфа Васильевна, возвращавшиеся по лесной дороге домой из Кириллова монастыря, куда они ездили на бричке на праздничную Покровскую службу. Старушка, было, попыталась урезонить богато разодетых ездовых, наскачивших на богомольцев с нечистыми помыслами, но бессовестный пьяный дворянчик попросту её зарубил. А белокурую красавицу Дуняшу, не спрашивая ни имени, ни отчества, его подручные накрепко скрутили верёвками, увезли в какую-то дальнюю усадьбу на реке Вологде, где скопом снасильничали и потом утопили. Вот тебе и Вологда — светлая вода...

Окровавленное тело бабушки, заброшенное ветками и листвой неподалёку от проезжей просеки, нашёл дня через три десятилетний Пашка, кликнувший на поиски пропавших родных крестьян-соседей с собаками. Её схоронили ещё до возвращения с севера Ерофея Кирилловича с его рыбным обозом. По пересудам среди возмущенных местных жителей вскоре ясно определился и след разбойного отряда, полонившего Дуню. Распалившийся праведным гневом Ероха по возвращении уже точно знал, где искать насильников. Его старшие братья-стрельцы, почитавшие нянюшку Марфу сыновней любовью, твёрдо поддержали опасное начинание, только форменные кафтаны свои оставили дома да маски надели, чтобы не быть узванными. Даже законопослушный старик Оглобля, от пережитого горя слёгший на предсмертном одре, с тяжёлым сердцем попустил сыновей на тайный бунт.

Понятно, чтобы избежать вероятных подозрений согладатаев-ярыжек, братья с особым тщанием подготовились к боевому делу: умело разведали подступы к той дворянской усадьбе, загодя нашли благовидные предлоги для отлучки, о Ерохе вовсе распустили слух о долгом отъезде на север вместе с сыном... Ударили в самую сатанинскую ночь — на рождественский сочельник, когда у хозяина в горнице остались после

трапезы только захмелевшие захребетники. Безвинных стражей оглушили и связали. Попавшуюся на глаза дворню тихо согнали в дальний овин и заперли. Двери помещичьих хором подпёрли бревном. Дом запалили с четырёх сторон, не пожалев на растопку сухого хвороста и сена. А потом с углов метко били из пистолей и пищалей по окнам, когда в них пытались выскочить из пламени вооружённые люди. Сабли погантиль их кровью совсем не пришлось.

Мечь получилась жаркая, жуткая, беспощадная. Люди после обсуждали тот случай именно как дело неузнанных мстителей. О причастности Ерохи, конечно, подумывали. Но его и след простыл. Правда, затерялся он отнюдь не на севере, а на юге. Как раз тогда сопровождаемый Павлухой Ерофеем Белозерский двинулся к Дону. Весной, прослышав о намерении знакомого Стеньки Разина сбегать за зипунами в богатые хвалынские земли, он оставил сына в Воронеже на попечение близких дончакам торговых людей и успел добрататься до Паншина городка, чтобы вовремя присоединиться к собравшейся вдогонку разинцам ватаге Серёги Кривого. Лучшим пропуском в ряды казаков стали рассказы Ерохи Пурги о личном знакомстве с самим наказным атаманом и его любимцем Фролом Минаевым.

Вот она память об участии деда в персидском походе — искусной работы прочная кольчужка, чуть порванная на правом плече, и острый, по-восточному чуть загнутый тонкий кинжал с украшенной самоцветами рукоятью в чеканных золочёных ножнах...

Едва успел Илья вытащить из сундука особенно любимые им воинские обереги, как слышал призывный крик с другого берега узкого заливчика, отделявшего усадебный полуостров Белозерских от прямой дороги к Кириллову монастырю. Выйдя на крыльцо, он увидел за полоской ещё крепкого льда, по которому была проторена неширокая тропа, двух спешившихся с лошадей стрельцов, одетых в тёмно-синие походные кафтаны, видневшиеся из-под накинутых поверх бараньих полушубков. В них парень сразу узнал ожидавшихся им братьев — родного Фролку и троюродного Мишку Кириллова.

Братья приехали...

— Эгей! Здорово, братцы! — зычно крикнул Илья через заливчик. — Не бойсь провалиться, ходь с конягами прямо по тропе. Тута ледяной наст прочнее камня, так его за зиму утопали.

— Добре, коли не шуткуешь, — откликнулся невысокий коренастый крепыш Фрол, за сметку, основательность и стойкость в драках признанный ровесниками жожаком. — А то нас с Михой сумление загрызло, кабы не скупнуться в этакий ледоход.

— Для верности хучь бы деревянные мостки постелили, матушки вы мои, — пробубнил себе в нос дородный детина Мишка, вслед за Фролом сторожко выведивший свою лошадь на лёд с пологого берегового обреза.

Пока гости переправлялись к усадьбе, Илья дал наказ выскочившему во двор из пристроенной торцом прямо к хозяйскому дому соседней избы Акулининому внучонку:

— Васятка, затапливай баньку. Воду туда я уж с вечера наносил и в кадки, и в бочки. Ждал только, когда брательники нагрянут. Теперь пора.

Вихрастый подросток Васёк, подтянув постоянно спадавшие с шуплого тельца штаны, запроваленные в серые валенки, мигом кинулся исполнять ответственное поручение, поскольку догляд за баней входил в число его усадебных обязанностей наряду с уходом за скотиной в хлеву, расположенном по другую сторону большого двора, обнесённого по периметру косой изгородью из бросовых осиновых кольев.

Акулина Власевна меж тем суетилась у печи и споро накрывала стол поспевшей выпечкой: пусть, дескать, робятушки перекусят с дороги горячими калитками с толокном, а уж оставшиеся с осени разносолы и запаренную в чугунке сытную баранину испробуют после банной помывки.

Илюха, обув подшитые по подошве крепкой материей дедовы валенки и напялив тулуп, спустился вниз, чтобы обнять братьев и помочь им расседлать лошадей.

— Что же вы ноне не в лепых красных одёжах пожаловали? — поинтересовался он у приезжих. — Чай, праздники на дворе. Деда наши завсегда гордились алым цветом своих кафтанов.

Говаривали, что они достались им по праву первого стрелецкого полка, созданного государем Иваном Васильевичем Грозным именно в Вологде...

— Ох, Илюшка, не сыпь соль на раны, — обнимая младшего брата, с грустинкой ответил Фрол. — Много с тех пор воды в Шексне утекло. Сам знаешь, нынешний-то царь Пётр стрельцов вовсе не жалует. Ну и чёрт с ним! Прости, Господи! Мы и без царёвой любви да ласки перебьёмся. Главное, чтобы Бог нас не оставил. Христос воскресе, братка!

— Воистину воскресе! — парни смачно похристосовались звонкими поцелуями.

— Видать, кровавый цвет стрелецких кафтанов напоминает антихристу Петрушке об устроенных им жестоких казнях в Белокаменной, — включился в объяснение дылда Мишка. — Скоро четыре годочка сполнится, как сгнули там дед Фёдор и всё семейство повешенного дядьки Михаила, моего полного тёзки. Благо, мой тятка в Москву не переехал. А то б и мы сложили уже вместе с родичами свои буйные головушки. Эх, матушки вы мои, хучь и требует от нас Господь смирения и всепрощения, а сердце от гнева и обиды не стихает... Прости мя, Господи, грешного! Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — Илюха, чуть приподнявшись на носки, трижды облобызался с наклонившимся к нему могучим троюродным братом.

— А проще-то сказать будет, что разноцветная полковая форма теперь напрочь отменена, — добавил рассудительный Фрол, по характеру скорее напоминавший практичного отца Павла Ерофеича. — Всем стрельцам теперь выданы походные кафтаны — кому такие вот тёмно-синие, кому совсем чёрные, как рясы монасей. Уж тыщи три стрельцов из северных городов согнал нонче в Вологду царский стольник Афоня Бренчанинов. По всему видно, что наше стрелецкое воинство собирают в последний поход на свеев. Чем он там закончится — одному Богу известно. Лишь бы не позором памятной Нарвы... Другое ясно: скоро всю стрелецкую рать поменяют на новую регулярную армию. И нас с Михой тоже в солдаты забренют, ежели живы останемся или, как ты, не пристроимся в купецкие приказчики под защиту бурмистерской грамотки.

— К гадалке не ходи — ваши чухарские ведуньи точно так же скажут, матушки вы мои. Иначе ж зачем сам осударик Пётра, прости Господи, к концу апреля в нашей Вологде ожидается? — выдал наконец медлительный, но острый на словцо Мишатка главную новость, распиравшую его изнутри своей очевидной значимостью.

Фрол тут же зацепился за появившийся в разговоре повод:

— Ты, Илюха, тоже царя Петра увидеть сподобился. Батя зовет тебя вертаться в Вологду вместе с нами. Есть у него какое-то важное поручение. Похоже, куда-то он хочет тебя послать с товаром. Так что, купчик, будя прохлаждаться. И ты без дела не останешься. А заодно нас с Михой на войну проводишь.

— Я уж сам собирался к батю. Вот завтра на Радуну и тронемся. До обеда успеем дедову могилку проведать на монастырском кладбище, а к вечеру до дома доберёмся. Пока же идите, позавтракайте, чем бабка Акулина угостит. Да не треплите лишнего про царскую особу. Мало ли кто сторонний прослышит — беды не оберёшься. А я пристрою коней в стойла, насыплю им овса и обещанную баньку проверю, — отправив братьев в горницу, Илья занялся хозяйственными хлопотами.

Когда он вошёл в дом, братовья уже перекусили и с интересом разглядывали разложенные на крайней лавке «талисамяны» деда Ерофея, которые Илья не успел убрать в сундучок.

— Хороша кольчужка, — потряхивал Мишка в руках восточный доспех, дивясь необычному голубоватому отливу плотно сплетенной в тонкие колечки калёной стали. — Как будто рыба чешуя на свету бликает. Жаль, по размерчику маловата. Даже на Фролку не налезет. А в бою бы от вострой сабельки она нас верно защитила.

— Точно так. Дед рассказывал, что от принятых этой кольчужгой сабельных ударов у него на теле лишь синяки оставались, — включился в беседу Илья. — Но вот когда его тяжёлым бердышом под селом Мурашкино вдарили, она чуток порвалась на предплечье, а его самого топор всё ж не порубил — лишь ключицу перешибло...

— Слышал, что в той бойне вашему деду не одним бердышом по плечу досталось. Павел Ерофеич сказывал, что нашёл его к вечеру в

порушенной засеке среди мёртвых, без сознания, с пробитой головой, в луже крови...

— Да, ему повезло, что против повстанцев в том деле стояли в царёвых войсках вологодские стрельцы. Нашему батьке вовремя удалось найти среди них уж тогда ставшего пятидесятником Фёдора Кирилловича и твоего деда Михайлу. Они младшего братца не выдали палачам князя Долгорукого, выручили, тайком обрядили раненого в стрелецкий кафтан и скоренько отправили под приглядом сына на телеге домой, как своего бойца, с надёжной подорожной. Не то ведь мог он оказаться среди тех шести десятков пленных, кому прямо на месте головы срубили или петли на шею набросили.

— Это сокровенное семейное предание я помню. Но вот как Ерофей Кириллыч оказался тогда с дядей Пашей именно под Мурашами? — спросил всегда удивлявшийся переплетениям судеб общих предков Михаил.

— Под Мурашкино, дурень, — шутиливо хлопнул увальня Миху по богатырскому плечу улыбнувшийся Фролка и стал по порядку растолковывать полюбившиеся с детства дедовские похождения. — Так то ж есаула Ероху Пургу сам Разин послал поднимать на бунт северных крестьян. Дед по дороге от двигавшегося на Симбирск казачьего войска, где потом разинцев разгромили царские воеводы, пошёл в нижегородские земли через Воронеж. Там он закопал в тайном местечке свою долю добытых в Персии сокровищ и взял с собой оставленного у купца Горденёва сына Пашку. Они догнали атаманов Максима Осипова и Янку Микитинского ещё перед приступом Алатыря и до конца октября успели во многих успешных боях поучаствовать, пока не попали под удар собранного супротив них сильного войска. У деда, помнится, была грамотка тех времён. Как её тогда называли, разинское прелестное письмо... Да вот же оно. Спрятано от чужого глаза. Нашли бы его ярыги — не миновать деду лютой казни. Но от него тогда в суматохе отстали. И про отлучку долую не спросили, и бывшие вины не вспомнили. Как же, слух-то прошёл, что он за батюшку царя свою кровь пролил...

Фрол отыскал на дне сундучка завернутый в плотную холстину потемневший от времени пергаментный свиток и попробовал прочи-

тать по складам каракули казацкого писаря-грамотея, по всему видать, тщательно выводящего текст с какого-то готового черновика и даже пытавшегося украсить буквицы замысловатой вязью:

«Гра-мота от Сте-пана Тимо-феевича от Ра-зина. Пи-шет вам Сте-пан Тимо-феевич всей черни. Кто хо-чет богу да госу-дарю по-слу-жить да и вели-кому вой-ску и Сте-пану Ти-мо-феевичу, и я вы-слал ка-за-ков и вам бы за одно измен-ников вы-ва-дить и мир-ских кра-ва-пивцев вы-ва-дить. И мои ка-заки ка-ко про-мысль станут чи-нить и вам бы итить к ним и ка-баль-ные и апаль-ные шли бы в полк к моим ка-закам».

— А вон, глядь, на обороте ещё приписка есть, лично для деда сделанная, — добавил более бойкий на чтение Илья, особенно гордившийся сей адресной персоналией: «Дана сия грамота есаулу великого казацкого войска Ерофею Пурге под городом Саратовом лета от Сотворения мира 7179-го».

— Как же так получается, матушки вы мои, вроде Разин против царя да бояр народ на войну повёл, а в грамоте своей пишет: «Хто хочет богу да государю послужить»? — не переставал дивиться Миха.

— Да это сказывалось нарочно, дабы не отпугнуть от бунта крестьян, которые верили в царскую справедливость, — врезавшимися в память дедовскими словами пояснил Фрол уловки хитрого донского атамана, а вприбавку к тому вставил полюбившуюся внуку присказку самого Ерохи Пурги, привезенную им из боевых походов: — Эвон как смекнул казак... Тогда с войском Степана Тимофеевича как будто бы шли сам царевич Алексей Алексеевич, на самом деле умерший в начале того года, и опальный патриарх Никон, который вовсе не вылезал из Ферапонтова монастыря, хучь казаки загодя упрашивали его переметнуться к ним.

— Между прочим, подходы в Ферапонтову пустынь подсказал казакам наш дед, — перебивая брата, снова встрял Илюха. — Он сказывал, что ещё до того, как ушёл вместе с Серёгой Кривым вниз по Волге догонять разинцев на Хвалыни, подробно объяснял в Паншином городке наряженным к Никону посланцам от Разина, как к нему добраться тайными тропами

и кого вызвать, чтоб устроить с ним секретную встречу без догляда следившего за бывшим патриархом пристава. Те казаки звали Ероху Пургу с собой, но уж больно ему хотелось в персианских краях свою удачу спытать. А они добрались в Ферапонтово лишь к осени, когда дед всю махал сабелькой в Реште и Фарабаде. Сам так свою судьбу решил: пусть будет что будет.

— Уж вряд ли сам человек по собственной воле судьбой распоряжается. Матушки вы мои, она без всякого спроса своё гнёт — ноги сведёт, а руки свяжет...

— Не о том тебе толкуют. Чуешь, Миха, выходит, Степан Тимофеевич задумал войну супротив царя задолго до персидского похода, раз его люди за два года перед восстанием самого Никона на мятеж подбивали, — вразумлял троюродного брата Фролка.

Тут в горницу вернулась с охачкой дров Акулина Власьевна и погнала увлёкшихся беседой братьев мыться:

— Будя лясы точить, банька уж от жара ломится. Васятка от дыма её проветрил, воду согрел, веники распарил. Лёгкого вам пару, робятки!

Парни долго ждать себя не заставили. Не одеваясь, дружно сыпанули с крыльца в приземистую избёнку, из двери которой густо валил скручивавшийся от весеннего ветерка спиральными струями белый дым. Баня топилась по-чёрному. Но после проветривания угара в ней почти не чувствовалось. Под висевшим на длинном крюке слюдяным фонарём стояла бочка с холодной водой. Никакого металлического котла с кипятком на печи не было. Воду грели в большой деревянной кадке раскалившимися булыжниками, которые Васятка загодя таскал с каменки над очагом бучильными клещами, не забывая при том повторять заветный приговор: «С водой как хошь, но кадочку мою не трожь». Ладно сбитые шайки поменьше стояли на крепких скамьях вдоль противоположной от печки стены, в них уже запаривались мокрые берёзовые веники. Один веник лежал отдельно в уголке на широком полке, устроенном под самым потолком, где сидеть мужикам можно было только полусогнувшись.

В предбаннике разделись, сложив одёжу на лавках. Илья отдельно от своих отложил чистую рубашку и дедовы порты, развесил на вбитых в стену крючках из крепких корневищ четыре захваченные из дома полотенца.

— Для кого лишнее-то прихватил? — спросил Мишка.

— Это для нашего деда — таков у чудинов поминальный обычай, — пояснил Илюха. — Вряд ли на сороковины нам с Ерофеем Кирилловичем в его баньке попариться доведётся. Так хоть ноне, на девятый день, попросаемся с ним по-чистому, как положено. Когда париться будем, ты его веничек на полке не трогай... Ну, я первым зайду, запалю новую свечу в фонарике, чтоб вы сослепу о горячую печурку зады голые не обожгли. Вперёд, славяне! Счас чухари зададут вам жару...

Втроем в бане, конечно, оказалось тесновато. Здоровенного Мишатку, чтобы он не толкался и не задевал головой потолочные доски, сразу положили на полку. Илья зачерпнул ковшом горячую воду из кадки, заправленной бабкой Акулиной душистыми лесными травами, плеснул из неё на каменку. Пар видимой волной с шипом ударил вверх, окутав сразу повлажневшие тела туманистой дымкой и шибанув в носы хмельным духмяном. В нагретом помещении вскоре действительно стало совсем жарко.

— Братуха, поддадим-ка сначала Михайле Фёдоричу, чтоб не занимал долго лучшее место, — предложил Фролу Илья.

Подбросив для верности на шипящие камни ещё одну пайку воды, братья принялись охаживать прикрывшего от жара уши ладонями Миху по всей его необъятной фигуре, едва уместившейся на просторной лежанке.

— Матушки вы мои, пожалейте, ради Христа! Ужо уши трещат и кожа разрывается... — наконец взмолился раскрасневшийся, как варёный рак, Мишатка. — Наверное, в геенне огненной прохладнее будет, чем в вашем аду. Жарьтесь тут без меня, черти чухарские. Прости мя, Господи, грешного...

Богатырь, согнувшись в три погибели, поспешно сполз на пол и в парных клубах вынырнул в предбанник.

Оставшись вдвоём, Фрол с Илюхой вдоволь

насладились любимым самоистязанием, то и дело поддавая парку и поочередно наявивая друг друга вконец излохматившимися, быстро потерявшими жухлую листву и согнувшимися от вялости голиками. Потом сами выскочили освежиться в предбанник, уступив Мишке место для мытья. Помылись скоро — ведь всё удовольствие северной бани именно в парилке.

Уже одевшись, Илья не забыл сказать напоследок:

— Наш дедуля паче всего прочего любил погреть на добром парку свои старые косточки. Как тебе, Ерофей Кириллович, по нраву ли прощальная баенка?

А затем, открыв дверь в парную, как сызмальства учил внуков дед, с поклоном добавил:

— Благодарствуем хозяину баенному и хозяйке баенной с детишками за славный пар, за тёплый приём, за ласку и добрую сказку!

Уставшие с дальней дороги парни, окончательно разомлевшие после бани, легли отдохнуть в горнице: Фрол — на Илюхиной лавке, Мишка постелил себе овчину рядом, прямо на полу. А Илья, немного погодя и чуть поостыв, забрав приготовленные для деда чистые одёжи и полотенце, отправился через заливчик в ближнюю деревню, чтобы по чухарскому обычаю отдать бедным людям последний дар Ерофея Кирилловича.

Поминальное застолье

Возвратившегося в усадьбу Илью с нетерпением ждали отоспавшиеся братья, нагуливая разыгравшийся аппетит вокруг щедро накрытого стола. Стол стоял вдоль Илюхиной лавки наискосок от печки, торцом к углу с иконами и застилавшемуся на ночь ложу адива, или гостя, как называют у чухарей после похорон поминаемого усопшего. Столешница была накрыта праздничной белой скатертью, искусно вышитой по окоёму красно-коричневыми руническими узорами. На ней дымился поставленный в центре чугунок с бараниной, рядом — большая плошка пареной репы, открытый рыбник с судаком на длинной посудине. Из разной высоты глиняных горшочков выглядывали солёные огурчики и резаные бе-

лые грузди, крашенные в луковой шелухе варёные яйца и сами очищенные луковицы, густая сметана и жёлтые кусочки плававшего в холодной воде жирного вологодского масла, мочёная брусника и сладкая морошка. На плетёной из бересты корзинке над оставшимися с утра калитками грудой лежали ломти свежеспеченного ржаного хлеба, на широком блюде — стопка блинов. В печном углу высились две корчаги с домашним квасом и малиновой бражкой, чернолощёный керамический кувшин с овсяным киселём... На стороне покойного отдельно для него выставили блюдо с пышно намазанной сметаной, круто посоленной хлебной краюхой и чашечку с киселём, вместе накрытые большим румяным блином.

Пока Фрол с Мишкой спали, Акулина Власьева успела приготовить всё это угощение в своей избе, присоединившейся к хозяйскому дому и соединенной с ним внутренним переходом через сени и хозяйственные пристройки.

К поминальному столу также пригласили Васятку со старшей сестрой Дуняшей и их родителей — сорокалетнего сына Акулины Прохора и невестку Варвару, вместе со старухой поддерживавших порядок в усадьбном хозяйстве. Гости сели напротив братьев с другого края стола, к которому приставили скамью от дальней стены. Стряпуха пристроилась на табурете ближе к печке, потому как вольно рассевшийся на лавке рядом Мишатка занимал сразу два места, заслонив собой добрую половину окна. Перед каждым участником застолья стояли деревянные миски с резными ложками и керамические кружки. Для надёжного освещения сумеречной горницы зажгли не только лучины в кованых поставцах, но ещё две дорогие свечи ярого воска.

— Ну, детушки мои, давайте помолимся перед трапезой, — по старшинству взяла на себя обязанности распорядителя торжества баба Акулина, после прочтения «Отче наш» благословившая стол двуперстным крестным знаменем. — Теперь накладывайте себе кушанья по вкусу, наливайте кисель, а я первая поминальное слово скажу...

Сгорбленная седая вдовица придала изрезанному морщинами лицу подобающее скорбное выражение и со слезой в голосе запричитала:

— А-вой-вой, дорогой ты наш Ерофей Кириллович!.. Почто же ты ушёл от нас безвременно, на кого нас оставил горемычных? Как мы славно жили при тебе, соколик ты наш ясный — как за крепкою каменной стеночкой, беда и горюшка не веда!.. Хучь сам ты немало лиха пережил, страдая немилосердно от тяжких душевных язв и кровавых телесных ран. Ой, как счастлив ты был коротко с подружкой моей Дунечкой!.. Но отняли у тебя любимую жёнушку бесы окаянные. И матушку твою Марфушку порубили жестокие ироды. И вся жизнь твоя оттого наперекосяк пошла. И бросился ты очертя бедную головушку смертушку себе искать во широком поле да волюшку вольную в неизвестной стране Муравии! Но берёг тебя Господь во всех суровых испытаниях, в битвах яростных, в болезнях и напастях... И в дальних персидских краях ты голову не сложил, и на буйной Волге-реченьке ворогом не посечен, и в нижегородских лесах от казни верной братцами был бездыханный чудесно спасён... Слава Богу за всё! Образулся ты, наш батюшка! Успел снова дело торговое наладить и сына Павлушку, приставив к нему, на ноги поднять. И внучата у тебя выросли удалые да смекалистые. Вижу зорким оком своим: возрастают Фролушка и Илюшка статью и норовом в тебя, Ерофеюшка. Значица, не зря ты на земле мытарился, а посему и загробные мытарства буде легче тебе пройти. Покойся с миром! Царствие тебе Небесное!

Все встали и молчком выпили поминальный кисель. А когда рассаживались, заёрзавший Мишатка локтем толкнул в бок Фрола и с нетерпеливым намёком повёл глазами на лежавшую между ними походную котомку. Впрочем, напоминание было лишним — Фролка, собравшись с духом, сам уж обращался к бабке Акулине с постыдным для староверов предложением:

— Разрешите нам, Акулина Власьева, деда Ерофея по-солдатски напитком покрепче помянуть. Мы тут с Михой по сему случаю захватили с собой полштофа сивухи. Дедуля ведь и сам, бывало, от неё не отказывался...

— Да, умел Ерофей Кириллович и крепкие вина пить, хучь запойное пианство не жаловал. Так что я вам, молодцам, не судия. Вы ему и роднее будете, и сами хозяева в этом доме.

Пейте что желаете, токмо меру знайте, — огорчённо махнула рукой старуха, доставая с висевшей близ запечья полки оловянные чарки.

Мишка мигом вынул из кожаной котомки деревянную баклагу и бережно налил в них пахучую зеленоватую самогонку. Однако ж Илья вслед за остальными гостями отказался от предложенного запретного угощения и отодвинул поставленную ему полную чарку на дедово место, под поминальный блин, ограничив себя выставленной строгой Акулиной ягодной брагой, по малой крепости сравнимой с тем же квасом.

— Дозвольте и мне вспомнить мово деда добрым словечком, — встал с лавки светловолосый сероглазый Фрол, от волнения теребя ещё невеликий, но уже заметный рыжий ус. — Поскольку отец наш был немало делами купецкими занят, мы с Илюхой всё больше под дедовым приглядом росли. Его добрые сказки, страшные былички и невероятные были с младенчества слушали. Его правду впитывали, как и молоко нашей матушки. Мы очень любили Ерофея Кирилловича и до сей поры им шибко гордимся. Мне, как старшему брату, досталось от него особое наследство — славное имя дедова побратима Фрола Минаева. Его Ероха Пурга заслонил от удара вражеской сабли во время устроенной тогда персами нашим казакам предательской резни в заморском Реште. Деда в тот раз незадолго перед тем добытая им счастливая кольчуга спасла. Побратались они с героем-казакон кровью от ран, полученных в том бою. Потом они, защищая друг друга, бок о бок бились и в Фарабаде, и в туркменских землях, и на Свином острове, где сложил голову разинский побратим Серёга Кривой... А по возвращении в Астрахань Ероха, по наказу войскового есаула Ивана Черноряца, сообщая с другими сотоварищами уберёт Фролку от гнева самого Стеньки Разина, который спяну собирался рубануть своего любимчика за его домогательства к персидской княжне. Помните, её опосля грозный атаман отдал в дар Волге-матушке... Аккурат по тому случаю, дабы промеж казаков опасного разлада не учинилось. И хучь не пристал Минаев к народному восстанию за волю всеобщую, но ратными делами своими подсказал нам другой путь честного служения Богу и Отечеству — верную защиту

православных земель от ворогов. Эвон как смекнул казак... Нам с Михой вскоре предстоит именно сей путь христианских воинов. А на нём примером для нас станут крепкая дружба и памятные подвиги деда Ерофея и его побратима, донского атамана Фрола Минаева. Помянем их вместе. Вечная память!

Фрол с Мишкой дружно выпили свои хмельные чарки и, разогнав крепким зельем с новой силой прорезавшийся аппетит, жадно набросились на еду, уже мало обращая внимание на нарочитую сдержанность других участников застолья. Миха сначала смачно откусил половину солёного огурца, следом отправил в рот кусок горячей баранины с хрустящей луковицей, попутно продолжая начатую троюродным братом тему:

— Мои-то дед и тятя тоже ить атамана Минаева знавали, матушки вы мои... Вместе с ним они под Азовом сражались... Дедушка Миша там и остался... Погиб от басурманской пики восемь лет назад, когда сообщая с донскими казаками наши стрельцы брали штурмом азовские башни во время первого похода на юг царя Пётры... Михайлу Кирилычу сполнилось тогда уж шестьдесят пять годочков. Понятно, хучь и опытен был, да не столь расторопен, как в молодости. Тятка Фёдор Михалыч чуток не поспел его прикрыть от опасности, убивцу его срубил, да уж поздно... Пистолы-то у него разряжены были в бою... Там и схоронил отца свово, в чужой земелюшке... Вот как получается, вашего-то Ероху Пургу братья спасли под Мурашкином, и Соловецкое возмущение деда Миху посылали усмирять — без единой царапины возвратился, и на тебе, под Азовом не поспел-таки увернуться от гибельной пики... Давайте-ка, матушки вы мои, помянем вместе с Ерофеем Кирилычем всех наших предков — и прадеда Кирилла Егоровича Оглоблю, и сгинувший в жестокосердной Москве корень Фёдора Кирилыча, и мово геройского деда Мишу, и других родичей усопших... Пущай всем им земля будет пухом!

Раздухарившийся от печальной памяти Михы быстро плеснул себе и Фролке из стоявшей под рукой баклаги и тут же опрокинул чарку одним глотком. Сотрапезники поддержали его скороспелый почин, хоть немного путанный, но, по сути, верный.

После недолгого молчаливого поедания праздничной снеди, пока в головах собравшихся роились разбуженные поминальными речами мысли и воспоминания, разговор за столом возобновился и слово за слово стал общим. Особенно с того поворота, как Илья рассказал всем свой странный предутренний сон.

— От ить и впрямь дивлюся я столь разным судьбам сих трёх славных воителей, — вступил в беседу обычно не слишком говорливый Прохор, словно для убедительности выкатывая из больших белесых глазниц бездонные колодцы синеватых зрачков. — На что уж Степан Тимофеевич без того был вольный казак, но взял да на самого царя, на всё боярство толстопузое, на устои государственные бедноту за всеобщую волю поднял... За то народ его помнит и чтит, а вот церковь анафеме предала...

— То ж не наша церковь — никонианская, прости мя, Господи, грешную! — двуперстно крестясь, дёрнула шуплого мужа за рукав толстуха Варвара.

— Погодь, дай мыслью закончить, — отмахнулся Прохор. — От я и сравниваю. Тот же Фрол Минаев на большое восстание вместе с Разиным не отважился, а сколь в других бесчётных сражениях людей погубил. Враги они там, персы, татары, басурманы — не суть. Все — люди... А он ить крови их пролил немерено... Но душу свою, выходит, спас, коли успел перед смертушкой в монахи постричься...

— Шалишь, Прохор! Вспомни, что благоверный князюшка Ляксандра Невский тоже ворогов Руси ничуть не жалел, немало он их собственноручно посёк и на Неве-речке, и на Чудском озере, и в иных славных битвах. Когда же отравленный татарвой постригся в схиму, был по праву причислен к лику наших святых небесных заступников, — в защиту своего тёзки возразил вдруг осерчавший Фролка.

— Не о том толкую, Фролушка. Я ить к тому говорю, что неисповедимы пути Господни! — важно подняв указательный палец вверх и закатив глаза, со значительностью перешёл к изложению главной своей тезы редко высказывавший затаённые думы Прохор Силантьевич. — Нам, мирным чухарям, пахарям да лапотникам, вовсе невдомёк, как вообще люди убивать друг дружку могут. То ж грех великий, смерт-

ный, непрощаемый... А богушка простит его во власти своей! Вот я теперь о Ерофее Кирилыче скажу... Прям не ведаю, как бы я сам пережил, ежели б мою матушку Акулину разбойник какой лютей срубил, ежели б мою Варварушку лихие люди обесчестили и у меня навеки отняли... Не приведи, Господи! Може, не дотянуться мне до решительного Ерофея, до смелости и дерзости его, до гнева, его ослепившего... Однако ж понять его могу. Жалею его по-христиански, бедолагу, и в своих молитвах смиренно прошу ему прощения. И мыслью так: коли в сердцах людских к человеку грешному понимание, жалость и прощение остаются, то и сам Всевышний должен его понять, пожалеть и простить! Мир праху Ерофеюшки!

Все снова дружно выпили, согласившись с тем, что всё-таки есть в столь непростых, выстраданных суждениях Прохора голая сермяжная правда. Илью это рассуждение повело дальше — в цепь доказательств привидевшегося ему во сне неперемного спасения мятежной души деда. Он с горячностью взялся обосновывать своё понимание ситуации:

— По моему разумению, на геенну огненную обречён всякий нераскаявшийся грешник. Если, конечно, сам Господь его не простит по особливому к нему расположению. Я тоже уважаю и люблю атамана Разина за помысл его праведный. И если Прохор прав, и так же, как мы, к Степану Тимофеевичу относился большинство православных, то он впрямь заслуживает прощения Божеского за грехи земные, вольные или невольные. Но с другой стороны, тут сумление покоя не даёт. По гордости своей великой, по несгибаемости характера, по полной уверенности в правоте затеянного им дела Разин в своеволиях своих ничуть не покаялся... Дескать, пусть будет что будет. Даже перед плахой он твёрд остался. А на спасительное богомолье в Соловки в третий разок сбежать уж не успел...

— Може, ему двух соловецких ходок сполна хватило, дабы вымолить себе прощение за все прегрешения? — вставил еретическую реплику не слишком богобоязненный Миха.

— Ты, Михайла, лучше помолчи малёк, а то договоришься невесть до чего, до энтих, как его... грязных индулигенций католических, —

строго осадил захмелевшего соседа серьёзно слушающий младшего брата Фрол.

— Ну да, индальгенции Православием осуждаются как неоправданная попытка обмануть самого Бога пустым земным откупом от нераскаянных грехопадений, — продолжил Илья. — Однако ж у Фрола Минаева и деда Ерофея было времечко исповедовать и отмолить грехи свои тяжкие. Не случайно же у славного казацкого атамана сама мысль такая возникла — непременно почить в монастыре. А вспомните нашего дедушку: когда он от ран оправился, сколько раз по святым местам хаживал... И до светлого Валаама добирался, и в таёжный Муромский монастырь, и в те же Соловки, и к нашим чудинским святым Александру Свирскому и Ионе Яшезерскому ходил... Не говоря уж про Ферапонтову и Кирилло-Белозерскую обители, на которые он паче иных щедро жертвовал со своих купеческих доходов. Посему, уверен я, заслужил Ерофей Кириллович жизнь вечную и покойную. И Господь о том нам верный знак дал, приняв его душу аккуратно в Великую субботу. Царствие ему Небесное! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — порывисто встав, хором воскликнули сотрапезники, не забыв снова трижды похристосоваться со своими соседями.

Когда опять взялись за кушанья, неугомонный Мишка всё-таки ввернул ещё пару едких замечаний:

— Матушки вы мои, ты, Илюха, так горячо вещаешь о духовности, как проповедник с амвона. Неужли сам собрался в чернецы податься, чтоб нас, неразумных, на путь истины наставлять?

— Кто же загода судьбу свою знает? Ни от чего зарекаться нельзя. Все под Богом ходим. Ты ведь тоже сказывал, что постоянно вместе со своей матерью Царицу Небесную вспоминаешь, когда говоришь «матушки вы мои»...

— Пожалуй, да, присказка моя оттого пошла... Уел ты меня, братишка, — усмехнулся Миша. — А всё же деду вашему легко было потом по монастырям хаживать попутно с торговыми поездками да отщипывать толику на пожертвования от нажитого добра. Возросло-то оно, как на дрожжах, из несметных сокровищ, добытых в Персии, до срока спрятанных, а после вовремя откопанных и сбережённых от разора...

— Не завидуй, Миша, Ерохе Пурге, — опять стал увещевать закадычного приятеля-родича Фролка. — Во-первых, не такие уж несметные богатства ему достались после дележа обчей казачьей добычи. Так, что называется, небольшая кубышка со золотом-серебром да побрякушки разные с драгоценными камнями... Во-вторых, благо то, что он не продувал причитавшуюся ему долю добытого в кабаках, как иные отпетые питухи. Не промотал бездумно, не похерил подаренное ему судьбой достояние, но с умом его нарастил, отчего, не обижая себя и близких, получил возможность поелику помогать и бедным людям, и святым обителям. Эвон как смекнул казак!

— И то верно, к чему мне вообще на чужое добро зариться и чужой жизни дивиться... Свою-то не знаю как ещё проживу. И вспомнит ли кто меня добрым словом, как деда Ероху, — сдался наконец перед авторитетным словом Фрола поначалу всегда упрямившийся во хмелю Мишка.

Они вдвоём уже изрядно набрались забористой сивухи и от надоевших разговоров постепенно склонились к более лирическому настроению, которое выплеснулось вдруг в протяжную заунывную песню о беспощадных лесных разбойниках и их грозном атамане Кудеяре, нашедшем потом спасение души в иноческом служении Богу. Подхваченная остальными, старинная песня крепла, ширилась, рвалась наружу через приотворенную в сени дверь, оставленную для хозяина-адива, будто бы только что вышедшего из своей избы прогуляться во двор вечности...

Гой ты, воля-волюшка, манящая, желанная! Как любя, как сладка ты кажешься человеку бесправному, безответному, хлебнувшему лиха да горюшка, но вдруг сбросившему с себя хомут тяжкий, иго царских и боярских надсмотрщиков, лютых воеводских служек и дворянских опричников, лихоимных ярыжек-крючковторов и вороватых монастырских доглядчиков... Тогда уж расправит человеке вольные плечи, станет сам себе хоть атаман, хоть князь: куда хошь — туда и лась. С тяжёлым кистенём или вострой сабелькой в рученьке удалой враз забудет, что был он такой-рассякой, сермяжный, армяжный да лапотный... В лесу ли глухом, в

шалашах на полянках укромных, в степи раздольной, на широкой реке или на просторах морских — всюду, где нет уж за ним пригляда начального, строгого, а то и вовсе жестокого, любой почует себя настоль свободно, что никакого наказания сурового за свои разбойные сво-волия не чаёт, не ждёт, не страшится. А если кто встретится ему на пути из былых началь-ных людишек, так в самом свободном казацком сердце какое-то начало начальственное просы-пается, душа мщением разжигается, злоба ярая скрежетом зубным будится — тут, глядь, ненароком и рука раззудится. В бою же нечаянном вовсе рубишься за вольную долю свою новую с отчаянием, напрочь забывая, что кровь супротивников будто водицу на землю сырую проливаешь, клинком беспощадным плоть жи-вую, тело человечье вспарываешь, руки, ноги, головы безжалостно кромсаешь... Да в такой жестокой резне и свою кровушку нисколько не жалеешь, чтобы продлить мгновения уже исп-робованного на кус сладкого свободного житья. А дальше будь что будет — как судьби-на сложится... Как Бог рассудит!

Отъезд

На следующее утро парни встали спозаран-ку, предвидя долгий путь. Без стороннего пригляда бегло помолились на красный угол, не утруждая себя чтением всего утреннего пра-вила. Позавтракали оставшимися от давешней трапезы угощениями, которые бабка Акулина с вечера заботливо прикрыла чистыми поло-тенцами. Слезшие с тёплой печной лежанки Фрол и Мишка на сей раз не отказались от сладкой малиновой бражки, поправившей ма-лость зачумленные сивухой головы. Заслышав движение в хозяйской горнице, из сеней скоро появилась ночевавшая в своей избе старая нянька, сразу взявшаяся собирать дорожные котомки и корзинки, укладывая туда узелки и туески с едой, баклаги с квасом и молоком.

Илья сложил в свой походный мешок заве-щанную ему дедом кольчугу, которую соби-рался подлатать у знакомого вологодского кузнеца, а кинжал сразу повесил на кожаный пояс. Соловецкую иконку Богородицы пред-

ложил взять с собой Фролу как оберег от предстоящих военных опасностей. Остальные талисманы из дедова сундучка увязали отдель-но и тоже прихватили в Вологду, как наказы-вал Павел Ерофеич.

Основательность сборов натолкнула Илью на мысль, что все они, отъезжающие нынче из дедовской усадьбы, покидают её очень надолго. Быть может, навсегда. Поди ж знай, какая судь-бина ждёт их впереди — на поле брани или на дальних купеческих дорогах. Оттого на душе стало неуютно, тоскливо, как в далёком детстве, когда из дома разом отлучались по тор-говым делам и батя, и оставшийся ещё в си-лах Ерофей Кириллович. Сердце защемило с такой остротой, что светлые глаза двадцатилет-него парня невольно затуманились. Приметив-ший растерянность младшего брата, Фрол не-нароком толкнул его в спину и шепнул на ухо:

— Будя нюнить, братуха, не то совсем Акули-ну разжалобишь. Глянь, она же счас нам такой плач устроит, что мы от её слёз просохнуть не поспеем. А мокрых нас свежим ветром вернее застудит.

Старая чухарка действительно снова смор-щилась всем лицом, как в давешнем своём слове-причитании в память о Ерофее.

— Власевна, ты нас раньше времени не опла-кивай, как покойников, — с напускной стро-гостью предупредил няньку Фрол, подпоясы-вая кушаком стрелецкий кафтан. — Пропла-чешься чуть погода, когда мы отъедем. Без того на душе кошки скребут, а с твоей горячей сле-зой в спину дорога вовсе может не заладиться.

— Нешто я вам зла пожелаю, детушки вы мои! — едва сдерживаясь, как родных, обнима-ла и лобызала парней старуха. — Да не оттого вовсе плач мой ноне радуничный, не вас я хо-ронить собралась. А потому плачу, что по сво-ему здоровью ведаю, не дожидаться мне вас бо-ле, не увидеть очей ваших ясных... Следом за дедом вашим пора мне погребальный саван готовить. Знать, не стренемся мы ужю на этом свете, прощаемся до сретенья на небесах... Вспоминайте меня, грешную, хучь иногда добрым словом да честной молитвой. Ступай-те с Богом! Доброго вам пути!

Совсем сгорбившаяся в прощальном поклоне бабка Акулина троекратно перекрестила уже

одевшихся братьев, топтавшихся на пороге с поклажей в руках. Они в ответ тоже неуклюже поклонились старой хозяйке и в смятенных чувствах вышли наружу.

Тёмную конюшню освещал факелом сонный Васятка, а Прохор возился с лошадьми. Оглянувшись на подходивших седоков, он приветствовал их смущённой улыбкой:

— С добрым утром и с праздником светлой Радуницы! Кони накормлены-напоены, в дорогу готовы. А уж седлайте их, робятки, сами. Я ить ваших особых хозяйских ухваток не ведаю да и чья где упряжь, не разберу... Разе Илье Павловичу помогу лошадку наладить. Верно, Илюха, на своём любимом Буцике поедешь?

— Куда ж я без него — никак тоже дедов подарок, — откликнулся Илья, подходя к норовистому вороному жеребцу с аккуратной расчесанной гривой, который, почуяв приближение хозяина, уже нетерпеливо приплясывал в стойле и фыркал в предчувствии скорого вольного скака.

Вообще-то, дед Ерофей, начитавшись в монастырской библиотеке о деяниях великого греческого полководца Александра Македонского, в честь его коня прозвал жеребчика Буцефалом. Но не склонный к высокопарности Илюха сократил кличку до ласкового Буцика, что всем больше приглянулось.

Братья взялись седлать своих коняг и пристраивать вокруг сёдел дорожную поклажу и кобуры с пистолями. Лоснившийся от заботливого ухода в отблесках факела Буцик, конечно, выглядел гордым красавцем в сравнении с более возрастным и спокойным Гнедком Фрола и серой Мишкиной кобылицей Ладой, столь же дородной и крепкой, чтобы с запасом выдерживать вес своего седока. Да и сам Илья был одет поярче, чем братья-стрельцы, — в малиновый суконный кафтан с серебряными галунами и красные сафьяновые сапоги, на его плечи была накинута лохматая белая бурка, голову прикрывала такая же папаха. Словом, наряд был довольно броский, иноземный — из тех, какие Ероха Пурга видывал у южных горцев. Но, безусловно, удобный и вполне тёплый.

— Ты, Илюха, своим казацким видом да с таким гнутым кинжалом на боку всех монасей в Кирилловом монастыре распугаешь, —

съявил Миха, привыкший ограничивать себя форменным стрелецким обмундированием. — Бедные иноки, матушки вы мои, невзначай подумают, что к ним недобитые разинцы из окрестных лесов нагрянули!

— Не, Мишка, то совсем не казацкий наряд, — тоже подтрунивал рассмеявшийся Фрол. — Дед Ерофей сказывал, что у горских народов таких страшных разбойников абреками величают...

— А что сие словцо означает? — Михаил пытливо взглянул на Фрола.

— Ну, это что-то вроде отбившегося от стаи одинокого волка — то ли головорез, то ли сорвиголова, то ли голова садовая...

Илья обиделся.

— Сами вы головы садовые и дубины стоеросовые, — вскипел он в ответ на шутки. — Ничего не понимаете! Так же гораздо удобнее верхом ехать, чем в тяжёлой шубе или тесном тулупе. Бурка и от холода тебя прикрывает, и движения не сковывает. Руки свободными остаются, потому мне и кинжал легче выхватить, и пистоль достать. — Будто в подтверждение он выпростал руку из-под одеяния. — Не мешало бы для всей воинской конницы такую форму ввести. Помяните моё слово, когда-нибудь так и будет. Может, уж у царя Петра ума на то хватит. Ввёл же он для солдат новые добротные мундиры и новое вооружение...

— Царь Пётр много чего нового заморского вводит, да как бы сам дух русский из всех нас не повывел, матушки вы мои, — зло сплюнул в сторону Миха, для которого всякое упоминание о молодом государе отзывалось душевной болью.

— Будя спорить по мелочам. Пора в путь — светает уж! — обрубил затевавшуюся перепалку Фрол, выводя Гнедка из конюшни. Ненадолго остановился перед крыльцом, с которого провожали отъезжающих бабка Акулина, тётка Варвара и Дуняшка. Сняв стрелецкую шапку с куньей опушкой, трижды перекрестился и поклонился им в пояс:

— Спасибо дому сему! Не поминайте лихом, молитесь за нас... Даст бог, ещё свидимся...

Братья последовали его примеру, а затем, попрощавшись с Прохором и Васяткой, друг за другом повели коней в поводу по ледяной тропе через лахту. Только выбравшись на береговой бугор, они по-молодецки вскочили в сёдла, по-

махали напоследок в сторону покинутой усадьбы и сдержанной рысью двинулись по петливой лесной дороге, твёрдо наезженной до самого Кириллова монастыря. Там, на монастырском кладбище, землю под которое в складчину выкупили местные купцы, упокоился их дед.

Гость с севера

Гость с далёкого Выга Андрей Денисов заночевал перед Радунницей в доме вологодского купца Павла Белозерского, знакомого ему по торговым делам. Был он на семнадцать лет моложе хозяина, готовившегося встречать 45-летие. Но по стати они были схожи: оба среднего роста, крепко сбиты, русоволосые, ясноглазые... Разве что окладистую бороду Павла Ерофеича уже пробили серебряные нити седины, а круглая бородка более худощавого выговского большака по-молодому рыжела и курчавилась.

Община беспоповцев раскольнической Выговской пустыни, расположенной в глухих северных лесах за Онего-озером, избрала Андрея Денисова одним из своих вожakov за сметку и недюжинные хозяйственные способности, которыми он немало порадел в обеспечении обители зерном, скудно рождавшимся на скупых таёжных подсеках.

Киновиархом Даниловского монастыря, давшим ему имя и духовно направлявшим единоверцев, оставался Даниил Викулин. Бывший дьячок Шуйского погоста с малолетства придерживался старинного поморского обряда, а потому сбежал от притеснений никониан к скрывавшимся в карельских чащобах твёрдо исповедовавшим дедовскую веру старцам. Вместе с ними он основал в 1694 году разросшееся к началу XVIII века скрытое от светских властей и церковников-реформаторов общежительство, или, по-гречески, — киновию. Деятельный восемнадцатилетний Андрей тоже приложил руку к созданию староверского поселения на Выге, собравшего поначалу до сорока общинников, но по юным летам ещё не мог претендовать на главенство, заслуженное им позже.

Денисов особо гордился именно тем, что монастырская община беспоповцев организова-

на в строгом соответствии с древними традициями пустынножительства первых монахов-христиан, которые на Руси со временем утратились. По его убеждению, это стало одним из поводов для раскола церкви и решительного отречения упрямых староверов-нестяжателей также от прочих никонианских реформ, проводившихся погрязшими в роскоши иерархами официальной церкви. Разговор на эту тему с семейством Белозерских у него состоялся накануне вечером, когда в купеческом доме тоже справляли девятины по усопшему отцу Павла.

— Паче прочих понимаю я батюшку твоего Ерофея Кирилловича в том, что не смог он преломить себя в ранних летах и принять монашеский постриг в Кирилловом монастыре, — говорил молодой гость хозяину, конечно же, как обычно, горячо упирая на свои незыблемые убеждения. — Ибо разращение нынешних монашей благами земными, щедрыми воздаяниями государей да бояр, алчное накопление земельных уделов, кабальных данников, осязаемых богатств антихристового мира — всё сие происходило на его детских глазах. И ни в коей мере оно не могло примирить искренность чистой веры с тяжкой скверной мирских злоупотреблений...

— А ить в начальные годы своего существования святая обитель Кирилла Белозерского была как раз твёрдым примером нестяжания, — напомнил Павел.

— К нашим праотцам, — убеждённо толковал не по годам мудрый Андрей Денисов, — истинным православным святым, в землях русских просиявшим, как и к первохристианам, ни у кого не может быть никаких претензий. Вспомним того же праведного преподобного Пахомия. Тринадцать столетий назад создал он в Египте первую киновию, коя стала примером для нашей северной общины. Мы строим жизнь именно по её уставу — соборно и бескорыстно. Никто из наших общинников не имеет права ничем володеть самолично. И пищу, и одежду, и орудия труда — словом, всё необходимое для жизни и работы на благо обители иноки от неё же и получают. Наша пустынь тем и сильна, тем и привлекательна для страждущих — общим радением на благо всех и общинной заботой о каждом...

— Сколько же у вас теперь народу на Выге собралось? — поинтересовалась любопытная супруга хозяина Ульяна Гордеевна.

— Не поверите! Почитай цельный город в дремучей тайге вырос, с деревянной крепостью, со своими малыми посадами, с мастерскими ремесленников и прочим обширным хозяйством... Всего насельников уж поболее тыщи наберётся. И мужчины, и женщины есть, — удовлетворённо перечислял Денисов. — В основном, в работном возрасте. Да за престарелыми в своей богадельне приглядываем. Да младенцы появились. Теперь ведь не все у нас в монашеский постриг просятся. Иные миряне, бежавшие от боярской неволи, просто вблизи селятся. С надеждой на прокорм от общинных трудов. Но спрос за то со всех един: дабы устав наш и дедовские заветы строго блюли.

— Как же сам-то ты, Андрей Дионисьевич, к такому нелёгкому житию привык? — не унималась с расспросом хозяйка. — Поговаривают, что ты не простолудин, а чуть ли не из княжеских кровей происходишь...

Андрей согласно кивнул:

— Вообще-то, родился я неподалёку от нашей Выговской обители, в Повенецком рядке. Отец мой Дионисий, прозванный Вторушиным, впрямь есть росток захудавшей ветви некогда именитого рода князей Мышецких. Но прадед во времена Смуты оставил наследные новгородские вотчины, дабы не покоряться захватившим их свеям, а батюшка обеднел совсем. Аж до того, что вынужден был собственноручно крестьянствовать в Заонежье. Его даже так в грамотах записывать стали — крестьянином-однодворцем. Сиречь, в крепость его, как дворянина, взять никому немочно, сам бы вправе крепостными владеть, да средств на то нетути. Однако же, спаси его Господи, воспитал он нас сызмальства по правилам древлецерковного благочестия и дал нам доброе домашнее образование. Вот мы с братом Симеоном да с сестрой Соломонией, чтоб не быть обузой семье, и подались в леса. И батюшка с младшим нашим братишкой Иоанном тоже к нам присоединились. Вместе стали свободными рабами Божьими, как все мы себя на Выге прозываем.

— А почему же торговлишкой занялся? — из-

далека повернул беседу в деловое русло ожидавший многообещающих переговоров хозяин. — Ить ваши благочестивые старцы купецкое сословие не шибко-то жалуют. Тоже косятся на нас, купцов, как на слуг антихриста и мамоны. Обидно бывает слышать упрёки несправедливые: что будто бы все дела наши от лукавого.

— Тут, соглашусь, перегиб есть. Но и ты признай, почтенный Павел Ерофеич, что купец купцу рознь. Один только ради барыша неумеренного торговлю ведёт. Купит где-то товару негодного на деньгу, лишнюю полушку прибавить пожадничает, а продать норовит за рубль. Честно ли так прибыль на собственное благосостояние добывать? Не собирайте себе блага земные — вот как заповедал нам Сын Божий Иисус Христос в святом Евангелии.

— Видывал я, конечно, этаких купчиков-хитроvanов. Но мы-то, грешные, по совести стараемся торговать, а всё ж хоть какой-то прибыток иметь должны. И в дело пустить, и семьям на прокорм, и на посулы всяким лихоимным служилым людям. Что тут греха таить... — заспорил опытный купец. — Иначе чего ж ради я буду зазря по свету мотаться в поисках товара подешевле, чтоб потом его по той же цене в другом месте продать, где спрос на него гораздо выше, а потому он вдвое или втрое дороже стоит? Доход не живёт без хлопот, а в убыточной торговлишке никакого проку нетути.

— Вот ты близко и подошёл к тому смыслу, какой вкладываем в торговое дело мы, выговцы, — Денисов постарался ответить обстоятельно. — Нам ведь там, в лесных чащобах, много чего для жизни не хватает. То, что своими руками соделати можно, мы, понятно, содеем. Но то, что от нас вовсе не зависимо, иными способами добывать принуждены. Для верности уразумей. Пашни мы уж расчистили свыше пятисот десятин. Да лугов столько же имеем на прокорм коровьего стада в сто двадцать голов. Однако ежели травку для своих коровёнок мы и на лесных полянках всегда накосим, то рожь и ячмень на наших каменистых землях не каждый год в достатке урождаются. С погодой не угадать. Климат северный — зяблый, строптивый, суровый... Бывает, поля в цвету градом побьёт, снегом придушит, заморозком выстудит...

— Это летом-то?! — ахнула от удивления обычно помалкивавшая при свёкрах невестка Лукерья. Её внимание постоянно отвлекал теребивший за материнский подол малыш Ерошка, уже соскочивший с мамкиных рук, но неустанно тянувшийся к привезенным благодушным гостем лакомствам: сладким леденцам, мягким пряникам и дивным по вкусу, пропитанным сахарным сиропом долькам цукатов.

— Да, уж в начале лета. На северах на сей счёт шутейную поговорку придумали: дескать, хорошо, когда лето у нас короткое, но малоснежное. Почитай, так оно и есть. Неурожай у нас обязательно случается через три года на четвёртый, а то и чаще или вовсе подряд. В иные годы собранного зерна на хлеб для всех насельников не сполна хватает. Живём вельми скудно. Посему соборно благословила меня община большаком на ведение хозяйства и хлебной торговли. Никак не прибытка или излишеств каких ради, а только для обеспечения пропитанием большого нашего семейства. Именно с того торгу начаша братству некое споможение чинити.

— Понимаю нужду вашу, Андрей Дионисьевич, — вернулся к главной теме почувствовавший следующий поворот беседы поднаторевший в торговых сделках Белозерский. — Положись на моё твёрдое купеческое слово: готов помочь единоверцам чем смогу. Без всякого расчёта на лишнюю прибыль, но с надеждой на то, что вы меня в убыток не введёте, в разоре по миру не пустите. По нашему скудному разумению, любое дело всё ж окупаться должно.

— Спорить не буду. Вам, мирянам, к нашенскому постничеству непривычным, впрямь, как птицам небесным, корм от Господа нужнее бывает. А своих иноков, коих к торговле привлекаю, я гораздо строже учу, по нашим давним северным заветам: купечествовати, а ничего не стяжати, торговати, а прибытков не собирати, много о куплях подвизатися, а сокровища себе не ожидати... Аще в заповедях святых Ефрема Сирина и Василия Великого указано сие верное средство для устройства праведной жизни: благопослушная торговля помогает напитать алчущего, одеть и накормить нищего.

— Не поверю, чтоб сам ты с твоим-то умисцем в ущерб своей общине купечествовал.

— Правильно, что не веришь, — легко согласился Денисов. — Подвести или обмануть общину я никак не вправе и в установленном порядке обязан держать перед нею строгий отчёт во всех расходах и доходах, о чём в книжечке заветной записи веду — кому за что дадено, от кого сколько получено, чего потрачено, по какой цене куплено...

— Ну, уж этому ты меня, Дионисьевич, не учи. Сами с усами. Знаем, как экономствовать и учёт вести, чтоб с дымом печным не вылететь.

— Наслышан я, Павел Ерофеич, о твоей хватке, расчётливости и честности. Посему и обращаюсь к тебе с предложением от всей Выговской обители — стать в Вологде нашим тайным коммерческим агентом, как нонче на европейский лад говорится. Знаю, надёжные грамоты на право свободной торговли от московской Бурмистерской палаты у тебя уже выправлены и на твоё имя, и на сынка твоего Илью Павловича. Прочные связи с низовыми городами хлебного Поволжья наладил ещё твой батюшка Ерофей Кириллович. Царствие ему Небесное! В сотоварищах у тебя тоже состоят достойные купчины из нашей староверской братии. О справедливой оплате уговоримся, не обидим. И добрую пушную рухлядь сможем взамен зерна поставлять, и крепкие кожи собственной выделки, и рыбку копчёную, и медь красную, которую сами добываем и плавим. А теперь ко всему прочему большое ювелирное дело затеваем. Пришли к нам давеча умелые мастера по тонкой скани да искусной зерни. Душа христианская радуется, глядячи на сотворенные ими осьмиконечные кресты, складни, оклады для икон и книг Божественных. Знать, нам кроме хлебца также самоцветные камни понадобятся на украшение сих культовых вещиц, кои будут зело потребны всей староверской Руси. Выгоду свою считай сам — с тем прицелом, что мы берём взаём от добрых людей из половины денег на торг. Так что, ударим по рукам о первом сговоре?

— Где наша не пропадала! Так ты сладко, Андрей Дионисьевич, напел нонче о выговских возможностях, что у меня аж слюнки потекли. Спаси и сохрани, Господи, не введи мя во искушение! Всё ж будем помнить, что уговор наш не только ради вящей выгоды, но и

для укрепления дедовской веры. Вот моя рука. Уверен, батюшка мой Ерофей Кириллович одобрил бы сие богоугодное начинание. Помянем его добрым словом.

— Да, о батюшке твоём, Павел Ерофеич, до сих пор добрая слава и в наших поморских краях сохранилась, — заверил Денисов. — Рыбари Нюхчи и всего Терского берега Беломорья знали его как честного купчину и душевного человека. О нём теперь точно можно сказать нашими заветными словами: на земле торговати, а прибыль на небесех стяжати. Помяни, Господи, свободного раба твоего Ерофея во Царствии Небесном! Аминь...

Вологда ждёт царя

Стой поры, как отбыл к себе на север Андрей Денисов, минуло больше недели. В самой Вологде снег почти стаял, хоронясь потемневшими проплешинами лишь в тенистых закоулках и в глубине сырых канав. Дороги заметно очистились от непролазной грязи, окаменело окрепли, но ещё не пылили. Освободившаяся от ледохода полноводная река вблизи устроенных по её пологим берегам скороспелых верфей стала быстро наполняться отменно просмоленными новодельными судёнышками, спешно строеными с начала года набранными на столь большое дело плотницкими артелями.

Немалый флот снарядили тогда в Вологде по государевым указам. Порядок их появления свидетельствовал о весьма тщательной продуманности никому ещё не понятного и по ходу событий уточнявшегося царёва замысла, который всеми строго исполнялся для какой-то тайной цели с чётко предусмотренным запасом времени. По первому указу от 31 декабря 1701 года заложили 100 дощаников и 20 барок с затребованной полной оснасткой: «с парусы и с якори и с канаты и с верёвки и со всякими судовыми припасы для сплавления в них в г. Архангельск воинских снарядов и ратных людей». Подоспевший следом второй указ от 9 января неимоверно усложнил поставленную задачу: сделать дополнительно 225 барок «со всякими судовыми припасы, чтобы каждая барка поднимала четыре

тысячи пуд и чтоб строение их было окончено в марте месяце неотложно».

В марте же из стольной Москвы от Монастырского приказа наконец-то пришла прояснившая причину обширных и спешных работ грамота, адресованная Вологодскому архиепископу Гавриилу — о подготовке к приезду в Вологду царя Петра.

К концу апреля наполненный суетой ожиданий северный город напоминал потревоженный медвежьим вниманием пчелиный рой. Каждый день из столицы прибывали всё новые кареты с именитыми боярами и знатными иностранцами, включая посланников зарубежных держав, крытые возки с дьяками и подьячими разных казённых приказов, телеги с обслуживавшей царскую свиту дворней и дорожными припасами, конные офицеры и пешие колонны солдат Преображенского и Семёновского полков... Стрельцов из Вологды вывели в ближние деревни, а на городских улицах привычными стали солдатские караулы в новоманерной форме: в приплюснутых чёрных треуголках и мундирах из толстого зелёного сукна, в красных долгополых епанчах и с грозными фузеями, пуще всего пугавшими зевак примкнутыми к ним начищенными до блеска багинетами.

Обычно принимавший знатных приезжих уютный Спасо-Прилуцкий монастырь на сей раз не мог вместить всех прибывавших из Белокаменной высоких гостей. Многим из них пришлось селиться в хоромах и добротных домах местного начальства и купечества. На постой к Белозерским встал солидный иностранец лет сорока. Представился гравёром Адрианом Шхонебеком. Приглашённый из Нидерландов самим государем известный художник-график возглавил созданную тогда при Оружейной палате гравировальную мастерскую.

В хозяйской светлице не раз заходили разговоры о скором приезде в Вологду царя Петра, о затеянных им реформах и непонятных замыслах. У Шхонебека иногда гостили состоявшие на государственной службе иноземные офицеры. Однажды двое из них допоздна засиделись за хлебосольным столом и, изрядно выпив принесенного с собой рейнского вина, разоткровенничались в распалившемся между

ними споре. Будто упрямые русские бояре, состязались они в своеобразном местничестве: дескать, кто из них стоит к государю ближе и лучше знает его планы.

Особенно хорохорился громогласный земляк художника капитан Питер ван Памбург, толстый самоуверенный детина с торчащими усами. Захмелев, он становился крайне несдержан, а порой просто невыносим даже для хорошо знавших его сослуживцев. Повод для гордости у этого бывалого и авторитетного морского волка, конечно, был, однако по свойственному ему неумеренному бахвальству он приписывал себе гораздо больше заслуг, чем имел на то оснований.

Принятого на службу в русский флот в 1698 году Памбурга назначили командовать «Крепостью» — одним из лучших построенных в Воронеже петровских кораблей. Год спустя на своём быстроходном 46-пушечном фрегате он доставил по Чёрному морю из Керчи в Стамбул чрезвычайное русское посольство, направленное для подписания мирного договора с турками. Но чуть не сорвал важную дипломатическую миссию, устраивая на палубе буйные кутежи с приглашёнными с берега иностранцами. Однажды, напившись до чёртиков, он приказал палить холостыми зарядами из корабельных пушек прямо в стамбульскую гавани, чем вызвал неудовольствие самого султана.

А ему что с гуся вода, осталось потом говорить о своей решающей роли в конечном успехе посольства. По его словам выходило так, что переговоры будто потому и ускорились, поскольку напрочь раздражённые его необузданными действиями османы посчитали за лучшее завершить их без лишних проволочек, чтобы быстрее избавиться от беспокойного присутствия в Мраморном море вооружённого военного корабля русских с неистовым голландцем во главе. Хотя в действительности царскому посланнику Емельяну Украинцеву пришлось почти целый год уламывать султанских вельмож и для подписания соглашения о 30-летнем мире пойти всё же на значительные уступки.

В доме Белозерских капитан тоже не на шутку разгорячился в споре со своим новым знакомцем — французским дворянином де Герен-

ном. Капитан испытывал к нему чувство зависти за то, что тот на первом году службы в русской армии получил высокое звание генерал-инженера. Всегда аккуратного, шеголеватого одетого Жозефа Гаспара Ламбера де Герена нанял для возникших с началом Северной войны фортификационных надобностей русский посланник при дворе короля Августа Второго князь Григорий Долгорукий по хвалебным рекомендациям хорошо знавших его польских военных. Случилось это лишь в 1701 году в Варшаве, потому француз ещё не имел возможности проявить свои способности.

Как раз в оценке применения собственных талантов, за которые они были приглашены на службу в Россию, иностранцы решительно разошлись в толковании целей нынешнего похода царя Петра в Архангельск. В присутствии любопытствовавшего разговором хозяина гости пытались говорить по-русски, а потому коверкали с трудом выговаривавшиеся слова чужого им языка.

— На мой разумений, наш сюзерен желайт укрепит свой норд порт и надёжна оборонит его от новый атак шведска эскадра, — с трудом подбирая слова и нещадно нарушая правила малознакомой ему русской речи, убеждённо говорил Ламбер де Герен. — Потому я нушен ему там как мастейр на постройка крепость.

— Мастера там и без нас былъ, и зольдат своих вполне хватяйт, — чуть увереннее справлялся с русским языком более привыкший к нему Питер ван Памбург. — Год назад они шведский эскадра от Архангельску отбилъ без такой большой сила, коя туда пошойл с нами. На цель для оборон довольно было послать один Корнель Крюйс...

— О, я слышалъ об сей вице-адмираль много хорош слов...

— Ничего хорош в нём нету. Он пустой звон и обманшик, — вспылит Памбург, недолюбливавший Крюйса за успешную карьеру и особое расположение государя. — Ты же знайт, Адриан, он тоже называйт свой родина наши Нидерланды. Хотя сам норвег и без всяких слав служилъ в голландский флот.

— Не надо говорит плохо о Крюйс, Питер, — попытался успокоить соотечественника осторожный Шхонебек, всячески избегавший

участия в скандалах. — Признай, он моряк с большой опыт. И знайт толк в постройка корабль. Царь при мне ошен хвалиль его за большой работ на верфи в Воронеж, особенно за фрегат «Гото Предестанция».

— Крюйс не сам его постройль. Хотя ты, Адриан, рисоваль сей фрегат даше лучше, чем он есть. Вы видель гравюр наш знаменит мастер, месье де Герен?

— О та, месье Шхонебек — гранд артист, ошен больший ху-до-шен-ник...

— Я ещё умеи делайт географик карт. И уже знай, што царь Питер хошет, што я сделайт карта на низ река Двина.

— Эта твой задач што попутник ветер. Я думай, мой тёзок Питер идёт на ошен большой и опасный поход. Мы сами вместе с зольдат будем пойти от Архангельска города на самый шведский земля...

— Куда вам, горемычным, без привычки идтить по дремучим лесам и непролазным болотам — ноги собьёте или утопнете зря, а уж заплутае в чащобах наверняка. Пусть там близко видать, да далёко шагать, — со знанием дела степенно вступил в разговор помалкивавший до тех пор Павел Ерофеич, хоть и участвовавший в застолье, но ничуть не употреблявший хмельного зелья.

— О нет, вы не так меня поняль! Мы пойти не на земле, а на русский флот, под парус, — для вящего подтврждения своей догадки громко хлопнул в ладоши голландский капитан, обрадованный тем, что никто кроме него не смог уразуметь столь смелый замысел непредсказуемого в решениях царя Петра — внезапно ворваться с моря прямо на вражескую территорию и врасплох захватить шведскую столицу Стокгольм, пока главные войска короля Карла увязли в центре Европы. — Вот на што там нушен мы, моряки...

— Сумлеваюс я, уважаемые господа иноземцы. Наш государь никогда не пойдёт на этакое безрассудство. Его сила здесь — в опоре на родную землю. Ближняя соломка лучше дальнего сенца. Даст бог, его величество придумает что-нибудь понадёжнее. Царёв глаз далече сигае. А вы подождите пока со скороспелыми суждениями. И ради всего святого, не ссорьтесь по пустякам — как бы беды в моём доме не вышло,

— сказав своё веское слово и с поклоном перекрестившись, русский купец вышел из-за стола якобы по неотложным делам, тем намекая засидевшимся гостям о позднем времени.

Прибытие Петра Первого

Для приёма государя по его личному настоянию был отведен едва ли не единственный в Вологде каменный жилой домик вдовицы голландского купца Иоганна Гоутмана, где царь Пётр останавливался ещё в прошлые приезды сюда в 1692—1694 годах. Одноэтажный этот беленький домишко в три окна на каждой стене стоял невдалеке от реки, посреди двора, окружённого хозяйственными постройками и другими жилыми строениями. В одно из них без возражений переселился с матерью и супругой Катериной Ивановной сын почившего голландца Иван Алферьев, посчитавший за великую честь уступить российскому самодержцу две так глянувшиеся ему светлые комнаты с привычным для него европейским интерьером.

Вологодское начальство, конечно, готовило пышную встречу Петру Алексеичу и сопровождавшему его царевичу Алексею Петровичу, но избегавший тогда появления среди толпы народа государь прибыл в свою гостиницу украдкой. Сначала с вестовым прискакал царский фаворит Александр Меншиков, о котором давно говорили как о самом верном слуге и ближайшем товарище Петра. Он осмотрел приготовленные комнаты, распорядился, что нужно ещё сделать, где поселить царевича с его воспитателями, как разместить свиту и охрану. А поздно ночью от стоявшей по дороге церкви Феодора Стратилата подъехали кареты с эскортом драгун.

Государь, привычный к дальним путешествиям и ночному бдению, соскочил на землю бодрый, одетый в походный офицерский мундир капитана-преображенца. Уснувшего в пути двенадцатилетнего Алёшеньку он приказал не будить и на руках отнести в отведенные ему покои, где также разместились наставники царевича немец Мартин Нейгебауэр и Никифор Вяземский. Они старались внешне не показывать, что на дух не переносят друг друга, отче-

го взаимно интриговали и часто ссорились. В других домиках остановились генерал-фельдмаршал Фёдор Алексеевич Головин и прочие приехавшие в свите ближние офицеры. С собой царь позвал одного Меншикова.

Высоченный Пётр едва не ударился лбом о притолоку, входя под сводчатые потолки приземистого домика. Сразу широкими шагами подошёл к натопленной голландской печке, облицованной изразцами, к которым приставил ладони для отогрева. Осмотрелся вокруг.

— Приятно видеть, Алексашка, знакомую с юных лет обстановку, — по-простому обратился царь к Меншикову, которого впрямь давно считал своим соратником.

— Да, мин херц, здесь мало что изменилось, — улыбочиво поддержал воспоминания сюзерена услужливый порученец. — По всему видно, что хозяева помнят о пребывании у них вашего величества и решили устроить в этом доме музей в вашу честь.

— С них станется. Вот же люди. Где ни ступлю, сразу окрест слухи расползаются: в этом доме государь останавливался, на этой кровати почивал, в этом кабаке отобедал, за этим столом водку пил, в этой кузне самолично молотом стучал по наковальне...

— Так ведь народу в диковинку ваше простецкое с ним обращение. Былых-то государей никто вблизи да без парчовых нарядов не выдывал. Всё только на троне да в золотых одежах...

— Ты что, белены объелся — тоже меня за нецарское поведение попрекать вздумал? — рявкнул Пётр, сверкнув глазами.

— Никак нет, мин херц, мне ваше поведение очень даже любо, — суетливо попытался исправить невольный промах испугавшийся вспышки царского гнева ординарец. — Да и народу простота гораздо больше по нраву, чем безответное упование на несбыточную царскую милость как на нежданно справедливый Божественный промысел...

— Врёшь, хитрюга. И бояре, и простолюдины волками на меня смотрят за то, что я с места помазанника божьего до самых низов спустился. Будто бы тем непорочную честь царскую уронил, замарал, в крови измазал... Я им что — целка старой девы, коя до смерти невинность блюдёт, если на неё никто не покусится?

— Не спорю, есть и такие глупцы, — потупив глаза, заметил Меншиков. — Но ведь умных людей теперь тоже довольно во всех сословиях. С вашим именем, мин херц, они связывают ожидания решительных перемен к лучшему — к пробуждению дремотной лапотной Руси и ее прорыву в ряд благоденствующих европейских держав.

— Умеешь ты, Алексашка, витиеватыми словесами меня вылизывать, — немного успокоенный лестью, но всё ещё возбуждённо продолжал царь. — Хотя сам знаешь, что на площадях, на папертях, даже в иных боярских родах меня клянут почём зря. Спят и видят моё скорое падение, если невмочь мне будет одолеть свейского братца Карлуса.

— Ей-богу! Не вру я, Пётр Алексеевич. За других-то самодержцев только молитвы народ шептал, а о вашей персоне уже при жизни легенды складывает. Точно-точно, где вы только ни появитесь, слово какое скажете или сделаете чего, так тот эпизод сразу сказами былинными обрастает про невиданного досель царя-работника, который умеет ценить мастерство и сметку простого человека и сам трудов тяжких не чурается.

— А ну-ка расскажи для подтверждения какие-нибудь анекдоты. Может, уже вологодские байки слышал? Только давай к столу сядем, перекусим с дороги. Вижу, что с угощениями ты расстарался на славу. Знал, чем ублажить, чтобы мне слушать было аппетитнее, — Пётр налил себе из серебряного кубка чарку любимого им венгерского вина и на закуску руками отломил от выставленной на большом блюде румяной курицы мясистую ножку. — Присоединяйся, Данилыч, по-свойски, тут чужих глаз нет.

Меншиков осторожно сел на стул напротив государя, отхлебнул глоток налитого себе золотистого токая, но к еде не притронулся, а достал сложенные вчетверо листики из-за красного обшлага офицерского преображенского мундира, который в отличие от простого петровского был украшен золочёными пуговицами, галунами и кистями. На этих шпиргалках он для памяти успел сделать пометки о ходивших в народе байках про приключения российского властелина. Ведь загодя знал бес-

тия, что зайдёт о них разговор. Повернув записки к свету свечей, он начал перечислять помеченные эпизоды:

— Поверь на слово, государь, о тебе уже десятки историй сочинили да ещё с разными вариациями. Иные чистая выдумка, но есть такие, о коих сам вспомнишь...

— Да читай уж, не томи моё любопытство. Сам разберусь, где сказка, где быль.

— Ну вот, например... — углубился в свои записки поручик. — Помнишь, Пётр Алексеевич, как мы с тобой по вологодским краям в былые годы хаживали. Однажды, значит, был ты на реке Вытегре в деревеньке Вяньги и ненароком, оставшись один, уснул на Беседной горке, а камзол с себя снял и рядом положил...

— Точно, — ухмыльнулся Пётр, — был у меня тогда нарядный лиловый камзол с серебряным позументом из цветов да листиков. Проснулся, а его след простыл — умыкнули ворюги вытегорские.

— О том и сказ, — обрадованно поддержал Данилыч воспоминание самодержца. — Ты тогда прозвал их за кражу «воры-вытегоры, камзольщики» и велел эти слова на отлитой из большущей сковороды медали начертать да ту медаль в ближней часовне повесить.

— Делать мне больше нечего, только медали для воров отливать... Там же иначе казус закончился. Помню, ушлый мужичок, который камзол утащил, узнав, что самого царя обокрал, с повинной явился. И всё жалился, что хотел из глянувшейся ему лазоревой ткани красивых шапок для своры своих детишек нашить. Глянул я тогда на его нищее семейство да пожалел бедолагу, простил и одежду ему оставил. Будто бы мне надеть нечего?

— Такой вариант тоже в памятке моей отмечен — о великой щедрости и милости царской. А ещё то, что ты тому мужику, коего в свой камзол обрядил, будто бы фамилию новую дал, назвал его Обрядиным. Так она за семейством евоным и закрепилась.

— Это, видать, его соседи так за сей счастливый случай прозвали, — улыбнулся Пётр.

— Ещё будто бы название той Беседной горы произошло как раз от того, что ты, государь, беседовал там по душам с местными стариками и запомнился им своим добрым нравом и

мудрыми высказываниями. А ещё будто бы и само понятие «вытегра» от тебя пошло, когда ты тамошним купцам за их лихоимство сказал: «Вы — тигры!» Или точно так же, но уважительно отозвался о трудолюбии встретившихся тебе работных людей...

— Ха-ха-ха, эка хватило. То ж река так издревле называется, — царь от пробившего его смеха чуть не поперхнулся глотком венгерского.

— Оказывается, ты, государь, ещё и другое наименование в обиход ввёл — «тотьма», — всё увереннее чувствовал себя Меншиков в роли сказителя. — Помнишь, на Сухоне по возвращении из Архангельска мы останавливались обедать на большом каменном острове посреди реки. В половодье-то только верхушка его на поверхности торчит, а со спадом уровня воды он выступает обширно. Так теперь тот островок Царским столом зовётся. И ты, будто бы глядя во время обеда на дремучие леса по берегам, сказал о них: «То — тьма». Теперь где-то в тех местах поселение с сим именем основалось.

— Вот уж придумают невесть что. Припишут лишнего — оглянуться не успеешь, как в истории наследил.

— Отмечены у меня и вполне содержательные случаи, — увлечённо продолжал царедворец. — О том, как ты с могучим кузнецом силой мерился. Ты, дескать, его подковы гнул, пока он добрую не выковал, а он потом твои серебряные рубли, данные ему в оплату, запросто ломал. И ты его, значит, за ответный сей смелый жест ничуть не наказал, а оценил по достоинству, поблагодарил за урок и щедро наградил... Или о том, как ты отстранил от управления карбасом рассердившего тебя лоцмана на той же Сухоне и велел его за борт выбросить. А тот плыл следом и всё продолжал криком подсказывать, как правильнее судно вести, чтобы на мель не сесть. И ты его простил за верность да сметку и тоже щедрой награды удостоил... Или совсем реальная история рассказывается о том, как ты на Белом море чуть не помешал кормщику Антипу Тимофееву яхту мимо скал провести. Он тебя тогда от руля резко оттолкнул, чтоб кораблик от крушения спасти. Но ты за то не обиделся, опять же не высек строптивца за неуважение к царской персоне, а, напротив, одежей своей шкиперской пожаловал и от монастырской кабалы освободил.

— Да, сия оказия вправду случилась, когда я первый раз на Соловки по морю ходил под парусом. Что ж, выходит, вроде как без осуждения обо мне в народе говорят? — ожидающе взглянул Пётр на ординарца.

— Какое осуждение, Пётр Алексеевич? С превеликим почтением. И с огромной надеждой на то, что столь милостивый да расторопный царь во всех государственных делах будет справедлив да удачлив, — не жалел лести приободрившийся сказитель..

— Твои бы слова да богу в уши! И заодно всем московским жителям, от коих я только и жду какого-нибудь подвоха.

— Перемелется всё, государь, мука получит-ся славная, из которой мы добрых хлебов напечём. Глянь, как уже многое изменилось с потешных времён...

— Кстати, Данилыч, помнишь, именно Вологда стала тогда поворотом от былых потех наших к большим делам?

— Мне ли не помнить! Как раз десять лет назад, забросив игры на Переяславльской верфи, ты сначала нацелился на здешнем Кубенском озере флотские манёвры отрабатывать. Но, когда убедился в его мелководности, перенёс интерес на строительство настоящих морских кораблей в Архангельске, а потом — в Воронеже супротив турок.

— Вот и теперь наступает ещё более переломный момент, — насытившийся Пётр поудобнее устроился на лавке, неспешно раскурил походную трубочку и, пристально взглянув на собеседника, наконец решился на откровенное признание, смысл которого по возможности утаивал даже от своего ближайшего помощника. Однако и на сей раз он не стал выкладывать свою идею сразу, а решил наводящими вопросами проверить, есть ли опасения в том, что кто-то мог разгадать его истинные намерения. Повернувшись вполоборота к окошку, за которым мигали факелы гвардейских караулов, царь краем глаза внимательно присматривался к реакции Меншикова на свои слова:

— Как сам-то думаешь, Данилыч, чего ради мы попёрлись нынче в Архангельск с пятью батальонами самых верных солдат и с такой огромной свитой?

— Мин херц, я же слово в слово помню твой

указ, который собственноручно писал до передачи его дьякам для отсылки. Там в точности так было сказано: «для нынешнего военного с швейским королём случая и неприятельских людей внезапного приходу к Архангельскому городу водяным путём».

— И ни у кого не возникает сомнений, что в том указе я для отвода глаз мог рескрипцию сию внести?

— Откуда сомнениям взяться, если твой посланник в Голландии Андрей Артамонович Матвеев в своём донесении сообщил, что шведская эскадра собирается нынешним летом повторить неудавшееся в прошлом году нападение на Архангельск?

— Сопоставь-ка по времени, когда то донесение из Голландии доставили и когда мы стали к своему походу готовиться? — хитро прищурившись, спросил царь.

— Ну, кажется, в марте та дипломатическая почта пришла. Все тогда стали живо обсуждать возникшую угрозу. Да ещё немало удивлялись твоей, мин херц, прозорливости по заблаговременно начатой подготовке к отражению неприятельской атаки...

— Точно так! Заметь, слухи о возможном появлении шведов на дальнем севере широко распространились гораздо позже. Сначала я отправил сюда собирать стрельцов Афоньку Бренчанинова и разослал указы в Вологду о скорейшем строительстве флота для переброски в Архангельск ратных людей, а потом и многочисленной свиты. Почему так? И зачем, по-твоему, я потащил туда с собой кучу бояр и зарубежных посланников?

— Нешто тебе, государь, святое видение было, раз ты раньше угадал затею Карлуса?

— Не будь дурнем, Алексашка! Ляпнешь где-нибудь этакую глупость про святое видение, а его тут же в исторические анналы занесут. Стыда потом не оберёшься... Вникни в суть: я сам своими действиями сию затею Карлусу подсказал. А он на мой подвох купился и сам стал поддерживать обманку о якобы готовящейся к штурму Архангельска эскадре. На деле же, уверен, никакой баталии там нынче не будет. Но все вокруг должны быть убеждены, что именно такая угроза меня больше всего пугает и заботит. Что в ожидании её я пробуду

на севере до глубокой осени и дам возможность брату Карлусу спокойно повоевать против моего союзника короля Августа в Польше и Саксонии. Пусть сопровождающие меня дипломаты, все шпионы и наши собственные изменщики успеют написать своим адресатам достоверные депеши о моём твёрдом решении именно оттуда, из Архангельского города. Вот для чего я взял их с собой.

— И, наверное, ещё для того, чтобы они на Москве в твоё отсутствие воду не мутили? — вставил Меншиков, показав, что какие-то соображения у него всё-таки есть.

— Верно, мне только бунта очередного за спиной не хватает...

— Да ещё в решающий, в самый ответственный момент!

— Ах ты, плут! Выходит, мой замысел для тебя не тайна вовсе? — раскусил наконец Пётр словесную игру верного товарища. — Признавайся как на духу, Данилыч, о чём имеешь свои догадки, откуда их вывел, кто ещё может их знать?

— Да ей-богу, Пётр Алексеевич, ничего я толком не ведаю, — мелко крестясь, отступил от грозно надвинувшегося на него с топорщившимися усищами царя нарочито испуганный поручик. — Просто я же всегда рядом с тобой — глаза мои что-то видят, уши слышат, но уста на крепкий замок заперты. Будто я закона не знаю: божьи дела проповедаю, а тайну царёву храни...

— Повторяю, говори без утайки, что и как по случаю выведал? Может, прошу из милости, как того вытегорского камзольщика.

— Ну, однажды я призадумался, мин херц, отчего ты часто засиживаешься над трактатом архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия о трёх путях в свейскую землю. Вот уж мудрая у него голова! Худого не присоветует. Сообразил я тогда скудным умишком своим, что не случайно владыка прислал тебе свои изыскания почти сразу после Нарвского разгрома. Верно, подсказку какую придумал. И вижу, что ты, государь, тоже с большим вниманием отнёсся к его запискам, прячешь их от всех в секретное местечко, потом снова перечитываешь, какие-то пометки делаешь... Словом, запало что-то важное в твою светлую головушку. А уж

когда ты и от меня созревший в тебе замысел утаивать начал, я ещё внимательнее стал приглядываться к твоим распоряжениям, указам, попыткам к осуществлению даже не состоявшихся по разным причинам действий...

— О каких это ты несостоявшихся действиях толкуешь?

— Да хотя бы о твоём намерении нынешней зимой штурмовать по невскому льду Нотебург, — напомнил Меншиков. — Ты ведь всерьёз на сию мысль запал, с ближними воинскими начальниками советовался, долго и подробно обсуждал планы подхода войск, обеспечения их всем необходимым снаряжением, детали строительства штурмовых укреплений, удобные места сосредоточения артиллерии... Тогда ты даже нового генерал-инженера Ламбера де Герена к себе вызывал и озадачивал подготовкой к приступу. Но потом от того почина вдруг отказался и аккуратно взялся готовить поход в Архангельск. Как сейчас помню, ты же до марта фельдмаршала Шереметева той задачей в напряжении держал, пока по каким-то соображениям не передумал. А я уж заприметил, государь, если ты что-то серьёзно задумаешь, то никак не отступишься. Только по-иному дело повернёшь, чтобы оно надёжнее сладилось. Не верю я в те бредни, что ты два северных маршрута в свейскую землю выберешь — по морю и напрямки по тайге. Там мы себя от России отрежем, что равносильно самоубийству. Значит, остаётся третий подсказанный преосвященным Афанасием вариант. Как его в воинской науке называют — скрытный обходной манёвр... Правильно я, значит, понимаю: цель остаётся та же — Нотебург?

— Умный ты чёрт, Данилыч. За наблюдательность и безупречную логику хвалю, — Пётр миролюбиво потрепал Меншикова по плечу, не скрывая восхищения талантом своего приближённого, из простого торговца пирожками выросшего в опытного царедворца. — Но если ты об этом кому проболтаешься, поверь, язык отрежу. Именно от скрытности сейчас конечная наша фортуна зависит. Пусть Карлус думает, что обманул меня, пусть поглубже втянется с основной своей армией в войну с саксонцами и поляками, пусть увязнет там до распутицы. А мы его сами за нос проведём. Как снег на голо-

ву обрушимся всеми силами на сей зловерный Нотебург. Он у меня костью в горле торчит, дорогу к Балтике перекрывает. Зимой почему его штурмовать не решился? Не оттого, что нагрянувшая посреди января оттепель лёд в Неве подмыла. Крепость сия, надо признать, зело сильная. Вдруг бы с ходу не взяли, тогда в осаде без тёплых квартир войско своё зря поморозил. Или вовсе бы сгубил в баталиях со швейскими подкреплениями из Кексгольма, Ниеншанца и Выборга. Расчёт на внезапность тут мог не оправдаться. А нам никакой конфузии допускать боле немислимо. Бить надобно наверняка, не оставляя противнику ни единого шанса... Знаешь, кстати, как сей город у новгородцев прозывался?

— Кажется, Орешек.

— Вот мы сей орех и попытаемся скоро разгрызть. Окончательно и бесповоротно.

— А ну как Август под натиском Карлуса не выдержит, капитулирует и нас одних супротив всех швейских войск оставит?

— Я Августу на подмогу стрелецкие полки посылаю. Для того их и собираю, чтобы последний раз послужили Отечеству в славном ратном деле, отвлекли на себя шведов в приграничных польских землях. Да и частям новой армии приказал постоянно тревожить шведские гарнизоны и в Лифляндии, и в Приладожье, дабы по возможности подальше отодвинуть подкрепления свеев от Нотебурга. Пусть для виду прежняя позиционная война привычно продолжается. Пока мы могучим кулаком в намеченном месте не ударим.

— Мин херц, уж не знаю, какую ты всё же от Архангельска обратную дорогу выберешь, чтобы к Нотебургу нежданно подойти. Однако не мешаает подумать, как на этом этапе тоже засекретить движение нашего войска.

— Тут ты прав, Данилыч, — царь в самом деле ненадолго задумался в поисках решения задачи и затем продолжил: — Надобно надёжно перекрыть от всяких соглядатаев все возможные пути до Ладоги. Об этом я на досуге поразмыслю. А ты подбери для такого дела расторопного офицера. Желательно не из наших изнеженных боярских детей. Тут кроме желанья, верности и рвення ещё физическая крепость, выдержка, терпение потребуются. Лад-

но, на сегодня хватит. Давай-ка соснём чуток. Скоро нам снова с тобой по Вологодским краям помотаться придётся. На пару недель здесь задержимся. Дальше тронемся в середине мая, когда уж и северные реки ото льда очистятся.

Купеческая сметка

Ближе к середине мая Павел Ерофеич снова встретился со своим двоюродным братом и сотоварищем Захаром Авдеевым. Они сели за широкий стол в задней горнице стоявшей на оживленной торговой площади лавки Белозерских, чтобы обсудить завершавшиеся хлопоты по снаряжению хлебного обоза в Даниловскую обитель. Оба купца не скрывали приподнятого настроения. Торговля их за последний месяц шла бойко и удачно, настолько велик был спрос на продовольствие съехавшихся в Вологду гостей

— Верно говорится: хорошо дешёво не бывает. Мясо и рыба у меня почти кончились. Молоко, масло, творог, яйца — всё, что мои поставщики из деревень привозят, влёт уходит. Квас совсем иссяк, морсы едва варить поспеваем. Мёд и соль тоже на исходе. Муку скоро по сусекам мести будем, — радостно скалясь, перечислял приметы своего условно бедственного положения шебутной Захарка. — Ежели москвичи у нас задержатся, как бы не пришлось пустить в оборот выделенные для даниловцев запасы зерна.

— Окстись, Захар Николлаич! Негоже нам купецкое слово рушить. Тут дело не продажное, а заветное. Хотя вижу по довольствию на твоём лице, что ты, как обычно, шутикуешь, — улыбнулся Белозерский. — Небось, за месяц полугодовой навар взял?

— Блиско к тому, потому и впрямь шутикую, Павел Ерофеич. В кои-то веки ничего от порчи выбрасывать не довелось. Всё уходит с невиданным прибытком. Но всё-таки надеюсь, ежели у меня какой товар поиздержится, ты же выручишь по-братски? Ты меня знаешь, верну сторицей. Свои люди — сочтёмся.

— По-братски, оно, конечно, выручу. Да сам понимаешь, цена по товару и товар по цене, по-сему наценочку тады к выгоде своей всё ж сде-

лаю. Зря, что ли, я заранее готовил закрома к сему нашествию из Москвы, о коем с января известия до нас дошли, — Павел, пряча усмешку в кулак, хитро взглянул на сразу посерьёзневшего партнёра. — Да не журишь ты, Захар. Это теперь я пошутковать удумал. Тут нам не придётся с тобой ничем делиться и ссориться. Царская флотилия уже готова к походу. Через день-другой выступит. Надьсь на пиру у преосвященного Гавриила о том было твёрдо сказано. Погулял государь по нашим краям, осмотрел свои владения, намыллил шею нерасторопным целовальникам, порадел за мастеровых людишек, дабы новыми сказами в памяти народной отметить, да теперича только попутного ветра ждёт.

— На кой ляд ему попутный ветер? Когда вниз по течению да с добрыми гребцами на вёслах все его кораблики быстрёхонько до Сухоны долетят, — вновь повеселевшим голосом вернулся в разговор Захар.

— Гребцы у него и впрямь хорошие. Наш-то владыка Гавриил давеча засмотрелся на дружную вёсельную работу преображенцев бомбардирской роты, кои шли на государевых шлюпах, да так расщедрился, что выдал Ивану Денисову со товарищи 5 рублёв на двадцать человек. Они ко мне в лавку заходили отовариваться закусью, а сивуху в соседнем кабаке брали цельными корчагами. И всё в шатры свои потаскали, что вдоль кремлёвских валов стоят. То ли ноне на долгом постое у них дисциплину послабили, то ли отличившимся гвардейцам поблажку сделали перед следующим рывком на вёслах...

— Да уж, редкая удача солдатакам улыбнулась. Обыкновенно преосвященный всё больше для высоких особ старается. Он же лонись тем у великого государя похвальную грамоту себе выхлопотал, что из собственного дома 200 пудов котловой меди на пушки отдал вдобавок к церковным колоколам. Хороши запасы у бедного слуги божьего?

— Не судите, да не судимы будете! Простим, брат, владыке Гавриилу те его накопления, кои он добровольно пожертвовал на алтарь Отечества. Ты вот лучше послушай, чем он потчевал государя-батюшку на данном ему 12 мая обеде, — Павел Ерофеич достал из-за пазухи небольшой свиточек, который раздобыл через про-

нырливых приказчиков, наладивших связи с подворьем архиепископа, чтобы при случае тоже своевременно предложить туда срочно затребованные товары. Расправив запись на столе ладонями, купец стал выразительно перечислять поставленную к торжественной трапезе снедь, дивясь размаху царского пиршества, в общем-то, по-походному довольно скромного: «...два калкуна, шесть индеек, пять гусей дворовых, 24 гуся диких, заплачено домовым крестьянам за 21 барана, рыбы живой 11 лещей, 70 щук-колодок, 45 язей, 125 щук и 125 язей живых, 90 окуней, 18 фунтов икры...»

— Слышал, что лещей, щук-колодок и язей поставил Ванька Шитиков за 2 рубля 26 алтын и 2 деньги... А Иван Рынин чёрную икру продал аж за 13 алтын...

— С живой-то рыбкой, признаться, я тоже чуток подсуетился, вовремя предложил из свежего поступления через ближних к архиерею людишек. Между тем Рынины на нынешних поставках по случаю приезда государя покруче иных заработали. Старший-то Иван ещё на конюшню дал для царских выездов 9 сёдел, 10 уздечек, 4 крыльца к сёдлам, 17 упряжей, 8 железных стремян да осьмерых своих прислуг приставил в помочь... За всё ему заплачено 10 рублей и 5 алтын. Ну и сынок рынинский Ванька Нефёдов не промахнулся с доходом — за 14 четвертей пивного солода 7 целковых оторвал, считай, взял по полной мерке. На то и нужен вброс, дабы уважить спрос.

— А Петька Дышев сказывал, что мёду и перепущенной патоки на 9 рублёв продал! Кстати, 2 пудика медку Петруха перед тем у меня покупал на четверть дешевле. Даже Васька Сидоров умудрился всучить для архиерейского пиршества за 1 рубль 15 алтын и 2 деньги залежавшиеся у него с осени 6 глиняных немецких кувшинов с оловянными крышками, 1 хрустальную и 2 стеклянные сулейки. И сопровождающим государя дворцовым поварам Ивашке Петрову со товарищи отдельно дадено за работу на царском обеде цельных 4 рублика. Откуда у Гавриила столько деньги завелось?

— Да то наш богачей Гришка Оконнишников расщедрился, добавил деньжат в Гавриилову казну из своего немалого прибытка. Он же на себя оторвал подряд по снабжению продо-

вольствием расквартированного в Вологде войска. Вот и ссудил с дохода Софийскому архиерейскому дому 57 рублей под будущий расчёт и сам две бочки рейнскова вина поставил с отсрочкой платежа. Да третью бочку сего винашка какой-то домовый крестьянин по найму стряпчего Ивана Сечихина из Москвы привёз.

— Серёге Лукьянову тоже за его ткани отстегнули 2 рубля и 16 алтын. Владыка купил у него 3 аршина красной тафты, пол-аршина атласу и четверть аршина тафты жёлтой, кои держаны на образы, складыванные в раздачу ради Благословения великого государя, царевича и бояр...

— Царевич Алексей ко всему прочему получил в подарок от преосвященного Гавриила кубок «серебряной золочён, промеж поддном и верхом персоне человечья, весу в нём фунт без двух золотников».

— Знатный подарочек, дорогущий, нам такие вещицы не по карману дарить...

— Больше-то расходов на приём царя и его свиты с их скорым отъездом у владыки не предвидится, посему в хозяйственной книге архиерейского дома уже подбиты произведенные по сему случаю траты — всего на 132 рубля и 22 копейки!

— Хорошо погуляли гости дорогие. Я целую говяжью тушу за полтину с прибытком продаю и на жизнь не жалею. А тут этикие деньжищи вчистую потрачены. Да прибавь, сколько денег от себя приезжие за наши товары оставили. Редко когда Вологда знала деньки со столь счастливым достатком!

— И, боюсь, не скоро боле узнает, — вздохнул Белозерский.

— Почему так, Павел Ерофеич?

— Разве ж не ведаешь, Захарушка, что все помыслы государя Петра Алексеевича в войне со свейми нацелены на выход России к Балтийскому морю? С той силищей, кою он собирает, рано или поздно царь своего добьётся. И тады как бы нам, вологжанам, плакать не пришлось. Ить торговый путь к Архангельскому порту, что нас сейчас немало кормит, потом захиреет совсем. Останется нам уповать на иные сторонние прожекты.

— Так мы ж с тобой аккурат с выговцами большое хлебное дело затеваем, — напомнил Захар. — Наш товар не медведь, всех денег не съест.

— О том я тебе и толкую. Уразумел, наконец, дальний расчёт на будущее? — Павел стукнул ладонью по столу и спросил: — Сколько мы там ноне даниловцам зерна собрали?

— Всё, как сговаривались с Денисовым. Всего для первого разу собрано 60 мешков по три пудика. На две трети отменная яровая рожь, что у них на севере не растёт почти. Да на треть добрый ячмень — и на хлеба годный, и на семена для нового урожая.

— Верно, груз, как раз посильный ихней сойме. Нам теперича пора свою баржонку с зерном в дорогу наладить.

— И не забудь Илью своего наставить, чтоб нонешним летом оплату больше пушниной да чистой медью брал. По оговоренной мерке, а то и с запасом на следующий обоз. Запас ить карман не тянет. Да скажи, чтоб выбирал товар с разбором. Иначе купишь лишнее, а продашь нужное. Рыбку копчёную оттуда лучше ближе к зиме вывозить, дабы не испортилась в дороге. Кож разных пусть по лоскутику захватит для оценки нашими мастерами. Авось тоже после поболе закажем, ежели проверку выдюжат, — с горящими азартом глазами перечислял Авдеев. — Что там ещё, говоришь, Денисов предлагал? Скандь да зернь в оклады для икон? К сему тонкому товару не помешает с собинным вниманием присмотреться. Покажем знающим людям, може, впрямь обозначится спрос на наше староверское искусство. Да и свои божницы заодно украсим. Как считаешь, Ерофеич?

— Узнаю авдеевскую сметку. У тебя торг будто сам по себе счёты сводит. И дед наш Никита, и батя твой Николай словно родились с этакой купецкой жилкой. У тебя тоже, Захар, не грех коммерции поучиться, — одоблив внимательность родича к мелочам, Павел вдруг с грустью вспомнил о матери. — Посему удивляюсь, как в вашем семействе маманя моя выросла. Ить она мечтательная была, нежная, напрочь лишённая житейской практичности и расчётливости. Отец мой Ерофей Кириллович потому и любил её крепко. Так, что всю боль свою по её утрате в жестоком мщении выместил. Но забыть её никак не смог и на других жёнок уже не заглядывался...

— Да, я тоже запомнил тётю Дуню красивой,

добрый да ласковой, — искренне опечалюсь, поддержал Авдеев. — Всякий раз, как подумаю о жуткой смертушке её и бабушки твоей Марфы Васильевны, верь не верь, у самого рука к ножу тянется — кому бы за зло неизбывное отомстить. Сколько ж горя принесли простому люду всякие поместные владычники. Жаль, не удалось атаману Разину их змеиную породу под корень вывести, чтоб до конца порадеть за народное счастье. Теперича остаётся уповать на то, что хоть Пётр-антихрист своей жёсткой рукой обуздает своеволия обнаглевшего дворянства.

— Право, не знаю, Захар Николаевич, на кого и уповать кроме Бога в чайном устройстве справедливого мира, — с сомнением покачал головой Белозерский. — Ить я вблизи видал ту разинскую казацкую вольницу, когда с отцом довелось повоевать за нижегородских повстанцев. Уверяю тебя, в их отрядах тоже желанного порядка и лада не наблюдал. Да и батюшка мой скоро разуверился в своих мечтаниях о счастливом и вольном казацком царстве. Никак не мог он смириться с жестокостью своих сотоварищей, частенько проявлявшейся вне боя, без крайней потребности самозащиты, а только по неумеренной злобе. Даже мне тайком сказывал, что не верит в то, что можно всеобщей правды достичь, ежели в сердцах людей неправду с корнем не вырвать... Може, как раз за такие праведные мысли простил его Господь, спас на смертном поле сражения под Мурашкино? Да тем на новое разумение наставил.

— Ух, и мудрый мужик был твой Ерофей Кириллович, — согласно кивнул головой Захар. — В деле нашем характером твёрд, в дедовской вере стоек, к людям простым милостив... Погодь, никак нонче сороковой день будет с его кончины?

— Точно. Вчера я ездил в Кириллов, ночевал там, утречком побыл на могилке батюшки. Ужо к полудню скорым скоком назад обернулся. Теперь самое время баржу готовить. Чтоб сразу, как царская флотилия вниз по Вологде уйдёт, Илья с бурлачками нашими на Шексну груз потянули. Отправляю я с ним Гришку Фомина. Приказчик он опытный, калач тёртый, пустое на порожнее не променяет...

Как понять властелина?

Вдруг с улицы послышался растущий шум. Вот Софийского собора и стоявшего рядом с ним окружённого каменными стенами архиерейского дома, близ которых раскинулись на пустырях под кремлём шатры преображенцев и семёновцев, всё явственнее доносились крики восторженной толпы и ружейные выстрелы. Причину переполоха вскоре пояснили пришедшие в лавку Илья и Ванюшка Воронцов, сбежавший из Кириллова монастыря на Выг послушник в подряснике и чёрной скуфейке на голове.

— Это царь Пётр пришёл к своим солдатам с Козленской слободы, где мы его с Ванькой вблизи видели, — поздоровавшись с родными и запросив кружку холодного кваса, увлечённо делился своими впечатлениями Илюха. — Государь-то наш ненамного Андрея Денисова старше, только ростом будет заметно повыше и в плечах пошире...

— И властный такой, дёрганный, страшный... Сам пьяный и табак постоянно курит, всё трубкой дымит, аки Горыныч-змея... Сущий антихрист. Свят, свят, свят! — нервно крестился испуганный нечаянной встречей с гонителем староверов юный Ванюшка.

— Да с виду ничего в нём страшного нету, хотя щека впрямь, бывает, дёргается, — заспорил Илья. — И глаза действительно у него, наверное с похмелья, малость блестят после вчерашнего пира. А може, с волнения, с азарту... Он же к нашим канатчикам пришёл полюбопытствовать, как они верёвки крепкие вяют. Сам попробовал, даже увлёкся... Потом стал на прочность проверять канаты разной толщины. Представляете, перетягивания устроил. За один конец вервья сам взялся со своими офицерами да боярами, а за другой наши козленские ребята потянули...

— Ну и кто кого? — не удержался от вопроса заядлого болельщика Захарка, подавшись всем телом вперёд с загоревшимися глазами. — Неужто бояре наших осилили?

— Куда ж холёным боярским сынкам супротив артели матёрых канатчиков выдюжить? Конечно, козленские их перетянули. Но сам-то царь, сразу видно, один на один может силуш-

кой с любимым из слобожан поспорить. И надо отдать ему должное, азартен, да не обидчив. Нашим артельщикам серебра щедро отсыпал, поблагодарил за мастерство и стойкость. Те ему в ноги на колени бряк, а он осердился нарочно. «Для кого, — говорит, — я указы пишу? Не доведено, что ли, до вас моё повеление: больше не потребно перед царём да боярами на коленках ползать. Довольно теперь кланяться с соблюдением собственного достоинства. И писаться отныне каждому по имени и отчеству!»

— Ужели сам царь так сказал? — не веря ушам, переспросил Захар.

— Вот вам крест святой! — Илья в подтверждение своих слов торжественно перекрестился. — Народ возликовал в восторге. Государю иконку в дар поднесли с образом Неопалимой Купины. Он её с почтением принял, поцеловал... А потом говорит, оставьте, дескать, сию икону в память обо мне в ближней Покровской церкви. И не забывайте молиться за меня и об успехах державы нашей Российской.

— От ить хитрован каков! Знает же, что среди вологжан много староверов, у коих за царя-антихриста молиться не принято, — заметил суть уловки Павел Ерофеич.

— А он так и сказал на сей счет: «Ведомо мне, что есть среди вас раскольники, кои за государя молиться отказываются. Так вы хоть о рабе Божьем Петре молитесь. С меня и того будет довольно», — пересказав царёвы слова, Илья тайком наблюдал, как от удивления округлились глаза отца и дядьки, у которых без того уж зрело невольное расположение к необычному самодержцу, объяснимое именно тем, что он ещё раньше твёрдо вступился в защиту интересов купечества, а теперь столь смело подтвердил своё уважение ко всем мастеровитым простолюдинам.

— Пойдём-ка, Ерофеич, поглядим тоже на царя-батюшку, — предложил Захар.

— Видывал я его уж не раз и в былые времена, и вчерась, когда он навеселе возвращался с архиерейского обеда к Готманше со сворой пьяных свитских. Скоро тридцать лет мужику стукнет, с виду, конечно, повзрослел. Но посмотришь на его попойки — всё покажется, что ветер в голове гуляет. Иной раз впрямь сумлене берёт в том, сможет ли царь Пётр с такими

своими слабостями вырулить нашу Расею к свету справедливости. Никак в толк не могу взять, как в нём уживаются великие помыслы и бесовские увлечения. И неизвестно, что же в будущем пересилит. Это тебе не канат перетягивать в Козленской слободе, — Белозерский-старший огорченно махнул рукой, не скрывая внутренней борьбы в своей душе между ростками уважения к государю-труженику и разочарованностью в его мирских забавах, далёких от идеалов староверской стойкости. — Так что нечего мне смотреть на то, как он час своих гвардейцев винищем опаивать будет. Не хочу лишний раз сердце себе бередить. А вы ступайте, гляньте со стороны ради назидательного урока. Но в толпу не лезьте, а то ить раздавят ненароком или паче того разорвут в клочья за случайное проявление непочтения к царской особе...

Проводив из лавки ближних, Павел Ерофеич заперся в своей горенке на крючок. Вспомнив о сороковинах отца, посидел в горестных раздумьях у стола. Потом достал из закрытого шкафчика том «Апостола», привезенный сыновьями из шекснинской усадьбы, открыл его на заложенных бабиной родовой рубашкой страницах. Попытался было углубиться в нравоучительное чтение о деяниях бывшего преследователя первохристиан Савла, позже принявшего мученическую смерть за искренне признанную им единственно верной Христову веру. Но рассеянные его мысли всё ж убежали от намеренного желания сопоставить уготованную персональную судьбу с данным ему святым именем к невольно возникшему её сравнению с беспокойной жизнью уже ушедшего в легенду разинского есаула Ерохи Пурги, понапрасну искавшего с оружием в руках высшую житейскую справедливость в утверждении казацких вольностей... А следом, с новым логическим мостиком, подумалось о прежде отличавшемся жестокими гонениями русских раскольников взбалмашном царе Петре, только что невзначай высказавшем готовность пойти на поблажки для них...

С чего вдруг? Чем объяснить сей неожиданный шаг властелина? Откуда вообще возникают первопричины иных судьбоносных решений, переворачивающих или жизнь одного человека, или даже существование целых народов и

стран? Только из продиктованных стечением обстоятельств эмоциональных порывов? Или из их рационального осмысления, из голого практического прагматизма, в коем любой сметливый купец знает такие премудрости, что может дать фору самому государю? О нет, во избежание бедствий новой смуты, конечно же, не тот желанный разинским повстанцам своевольный мир нужен нынче вконец ослабленной матушке-России. Но скорее твёрдый порядок в государстве и осознание каждым человеком своего места в нём...

Да и что значит он — клич тот лихой: «За свободу, за волю, за равную долю»? Для кого эта доля равной-то будет? С кем воля вольная разделится? Кому достанется вся полнота свободы? Ведь если кому что добавится, то у кого-то непременно отнимется. Опять придут вслед честным бойцам новые, не менее сильные, но корыстные людишки, скорые на злые делишки — и то, что было обещано всей голытьбе, возьмут да присвоят себе. Никого не пожалеют, не пожалуют, не подумают о нужде-море, о твоём личном горе, о твоих лохмотьях-одеждах, чаяниях и надеждах... Им ведь важнее самим урвать своё, даже то, что прежде было твоим. Какая она, в самом деле — разгульная вольница-раздольница, желанная казацкая община? Новое царство, в котором царём, разумеется, самым справедливым, станет какой-нибудь горлан-атаман, обычно радеющий ближним казачкам, а не сторонним мужичкам? Куда же крестьянину податься, ремесленнику, купцу или монаху — снова в тягло, в бунт, на плаху? Что же есть настоящая воля? Воля есть то, что в тебе самом твёрдым духом возрастает и случайно не растает. Она лишнего не просит, но вдаль мечтой уносит. Она не требует ни награды, ни возмещения, не несёт в себе угрозы и возмущения. И от других никакого соизволения не спрашивает. Если уж не по нутру тебе какое-то дело, так и не делай его. А если, напротив, чувствуешь, что дело именно твоего участия ждёт, так не погнушайся к нему руки приложить, чтобы с радостью пожить. Это же в твоей воле! Её только надо осознать и верно следовать ей, подчиняться только ей, если она действительно твоя. Она внутри тебя, человеке! Горит, зовёт, как в церкви свечи... Сам всё понял, сам решил, сам ис-

полнил... Вот же она — воля твоя полная: что намечено, то исполнено. Не общая, а личная. Не навязанная кем-то со стороны, а вырвавшаяся в твоей душе. Не безоглядно опьяняющая в случайных порывах толпы и оттого ликующая в её увлекающем к губельным завихрениям потоке оголтелым самоотрицанием, но крепкая в истоке, устойчивая к чужим порицаниям, выстрадавшая тобой, убедительная, самоутверждающая! Воля — вовсе не разгул случайно отпущенных с привязи буйных чувств, не похоть тела, не предвестье неминуемого бедствия, но мощное начало глубокого человеческого самопознания, живого дела, продуктивного самостоятельного действия!

Капитан Ладогин

После изрядных возлияний на вторничном устое у владыки Гавриила и спонтанно устроенных в следующий день игрищ с вологодскими канатчиками в Козленской слободе да шумной пирушки с верными гвардейцами, царь Пётр вовсе не утратил контроль за событиями. В тот же вечер у него загодя было назначено совещание со старшими офицерами, на котором деятельный самодержец объявил, что на завтра, в праздник Вознесения, намечено быть отплытию всей флотилии в сторону Архангельска. Определили распорядителей, ответственных за соблюдение порядка погрузки в суда сопровождавшей государя свиты, гвардейских батальонов, продовольствия, оружия, боеприпасов... Во время погрузки сам Пётр Алексеевич с высшим по воинскому званию Фёдором Головиным решил устроить смотр стрелецким частям, которым спозаранку назначили сбор возле Спасо-Прилуцкого монастыря.

Покончив с обязательными процедурами по подготовке к отплытию из Вологды и разослав порученцев для исполнения данных им распоряжений, Пётр снова заперся в своём домике вместе с Меншиковым. Тот почтительно стоял ближе к двери, скрестив руки на груди, и в ожидании приказов наматывал на указательный палец длинные кудри рыжеватого парика. Царь задумчиво вышагивал по комнате. Потом вдруг резко остановился, словно расста-

вив в ряд ворох занимавших его мыслей. Достал из кармана украшенный венценосным вензелем бархатный кисет с ароматным голландским табаком и искусанной по чубуку трубочкой, плотно её набил, придавив табачное крошево пожелтевшим большим пальцем, прикурил от горевшей свечи.

— Ну что, Данилыч, пожалуй, загостевались мы тут, — смачно выпустив густую струю дыма, Пётр бросил взгляд на ординарца. — Погуляли вволю по здешним краям, окунулись в жизнь глубинки, отдохнули на славу, винца доброго откушали... Пора и честь знать. Хочу теперь за пару деньков нагрязнуть в гости в Холмогоры к владыке Афанасию. Но до отъезда у нас ещё дельце осталось. Помнишь уговор насчёт надёжного офицера, коего можно послать к Ладоге для выставления заслона от лазутчиков?

— Так точно, мин херц, — Меншиков тут же бросил забавляться париком и выпрямил спину. — Он уж вторую неделю дежурит со своими семёновцами в ближних караулах.

— Из семёновцев? Кто таков?

— Поручик Александр Ладогин!

— Постой-ка, откуда-то мне сия фамилия знакома, — царь нахмурился, напрягая невесть чего испугавшуюся память. — Ладно уж, напомни сам, раз он твой протеже.

— Фамилия сия знакома тебе, государь, по давнему Шаковитовскому делу, когда мятежные стрельцы чуть не склонились на сторону сестры твоей Софьи, да вовремя одумались, поддержав ваше с братом Иваном окончательное утверждение на царстве...

— Тьфу! К стыду своему, припоминаю ту позорную августовскую ночь, когда я в исподнем ускакал из Преображенского в Троицкую лавру, получив известие от верных людей о подготовке сестрицей моего убийства. Ну да ты уж тогда со мной был и ночевал вместе в одной горнице с пистоллями наготове, — правая щека Петра заметно задёргалась.

— А теми верными дозорщиками, кои нас упредили, были малые начальные люди Стремянного стрелецкого полка — пятидесятник Мельнов и десятник Ладогин, — невольно сделал шаг к царю Меншиков, готовый схватить того за плечи, предупреждая вероятный нервный припадок.

— Но того Ладогина вроде иначе звали, — присев на лавку, Пётр постарался взять себя в руки глубокой успокоительной затыжкой, от которой вдруг хрипло закашлялся, чем скинул внезапно охватившее его напряжение, чреватое крайним срывом, которые с ним периодически случались. К тому же предупредительный любимец уже одной рукой похлопывал его по спине, а другой наливал из кувшина морс из мочёной брусники. Когда кашель удалось унять, Данилыч нейтрально-спокойным тоном продолжил пояснения:

— Ты совершенно прав, мин херц. Старшего брата Яшкой кликали, а младший, Сашка, с конями перемётчиков оставался, пока они тебе докладывали о жестокосердном замысле Софьи. Он ещё в стрельцы принят не был по малолетству. Увязался в тот раз за гонцами из тяги к приключениям. И с тех пор у нас насовсем остался, записавшись в потешные.

— Вообще-то, к стрельцам Стремянного полка у меня спроса нет. Они остались мне верными и после пополнили гвардейские батальоны. Однако выносить сам стрелецкий дух я боле не могу. Уж больно от него разинщиной пахнет. Почти двадцать лет эта вольница с бердышами мне нервы мотала, ближних бояр резала, чуть меня самого не сгубила... Сам знаешь, как издегали меня уверившиеся в своей незаменимости стрельцы-бунтовщики. Не ведаю, как мне завтра перед ними держаться, — Пётр задумался и, приняв решение, добавил: — А впрочем, пушай у фельдмаршала Головина на сей счёт голова болит. Я со стороны погляжу на это воинство. Хочу убедиться, что оно ещё сможет и брата Карлуса за его пышный парик подёргать. Потом уж всех их или в солдаты зачислим, или в городскую стражу переведём...

— Смею повторить, что Сашка Ладогин в стрельцах не служил. Солдатскую лямку в Семёновском полку тянул честно. Отличился храбростью и в Азовских походах, где был ранен османской саблей, и под Нарвой, после которой в связи со страшной убылью офицеров из капралов сразу произведен в поручики. К тому же, как ты и требовал, он не из мягкотелых боярских сынков, сам к нижним чинам близок, терпелив, характером твёрд, телом и духом крепок... Ему можно доверить любое дело. Ручаюсь, не подведёт.

— Вижу, Данилыч, что ты его хорошо знаешь, раз так веришь ему. А я тебе доверяю, в таких делах больше некому. Что до того, как я невзначай на стрельцов отвлекся, так сам понимаешь — то моя большая мозоль. И ты её разбередил тяжёлыми воспоминаниями в самом уязвимом месте. Как бы я хотел забыть тот обуявший меня страх... Почитай впервые тогда в истерику сорвался, чуть не голышом сбежал...

— Успокойся, мин херц, — уточнил Меншиков, — я ж тогда твою одежду с собой захватил, и ты сразу в лесочке переоделся, как только мы по пути остановились. Когда нас охрана догнала, ты уж в кафтане был. Считаю, никто твоей промашки не приметил.

— Будто не приметили! Слышал, что сестрица Софьюшка сполна смеялась над моей конфузией. И в народе не сказы, но именно насмешливые анекдоты обо мне сочиняли.

— Да и что с того? Кто такая нынче Софья, где те мятежные стрельцы-зубоскалы? Всё уж быльём поросло. И кто есть ты для народа русского — надёжа-государь! Сам же меня уверял, что великая гиштория России сейчас только начинается...

— Ты прав, Данилыч, негоже мне теперь расслабляться, — зло оскалился Пётр. — Как ты мне говаривал, после драки хорошо смеётся тот...

— У кого зубы целы остались, мин херц.

— Вот-вот! А мы на свои зубы не жалуемся, — царь уже взял себя в руки. — И брата Карлуса в ключья порвём, и любого иного врага загрызём до смерти. Дай нам бог только с силами собраться и супротивников вокруг пальца обвести! Зови своего тёзку. Но пока не кликну, ждите за дверью. Я сам ему сейчас в дорогу поручения напишу.

Первым делом царь написал письмо окольничему Петру Матвеевичу Апраксину, сидевшему воеводой в приграничном Новгороде и отвечавшему не только за оборону северо-западных русских земель, но также за нанесение урона шведским гарнизонам на сопредельных территориях между Ладожским озером и Балтийским морем. Следующим адресатом царского послания оказался воевода приладожского Олонца Семён Фёдорович Барятинский, оборонявший государственные рубежи в Карелии. Ещё одну записку царь черкнул на упо-

ловиненном листике — как менее значимое внутреннее распоряжение по войску. После, чуть поразмыслив, отыскал среди бумаг гербовый лист и уверенно вывел на нём вдруг пришедший в голову указ.

— Данилыч, ты там? — окликнул Пётр и, увидев в проём открывшейся двери ожидавших его сигнала офицеров, позвал. — Заходите, у меня всё готово.

Вслед за Меншиковым строевым шагом вошёл рослый крепкий шатен с заметным сабельным шрамом на левой щеке. Треуголку он держал на согнутом локте. На его шее под воротом виднелась серебряная серповидная пластинка с памятной надписью «1700. NO. 19» — такими знаками с выбитой на них датой наградили офицерский состав лейб-гвардии за храбрость и стойкость, проявленные в Нарвском сражении. Бравый служака громогласно представился:

— Поручик лейб-гвардии Семёновского полка Александр Ладогин!

— Ну что ж, господин поручик Ладогин, Александр Данилович рекомендует тебя для исполнения важного поручения...

— Рад служить вашему величеству!

— Не только мне, дружок, послужишь, но всей державе Российской!

Вообще-то, в обычных обстоятельствах Пётр Алексеевич всё меньше жаловал высокопарные слова и театральные жесты. Однако иногда ещё давали себя знать прежние привычки потешных времён, особенно тех весёлых хмельных пирушек с приближёнными соратниками, которые по заведенному порядку обставлялись в свободной игровой манере, требовавшей от участников действия и нарочитой театральности, и высокого штиля изречений в духе древних античных героев. Да и осознание положения самодержавного русского властелина, творца истории, придавало царю подобающую моменту величественность. Тут обозначился как раз подходящий случай. Понимая это, Пётр старался формулировать суть поручения как можно чётче:

— Итак, господин поручик, задание будет зело трудное и ответственное. Тебе предстоит сформировать роту солдат и пройти с ней по вероятным маршрутам движения людей от Ладожского озера до Онежского. Перво-на-

перво вдоль Свири, а также по лесным дорогам и годным для судоходства рекам дальше к северу. Задача состоит в том, чтоб солдатики твои, как бреднем сорный омут, вычистили с сих дорог вероятных вражеских лазутчиков, дезертиров и всякий разбойный сброд. Крайний срок исполнения поручения — середина августа. В крупных поселениях на Свири и у её истока с Онего-озера оставишь караулы для контроля за обстановкой. Уразумел? Какие будут вопросы?

— Задача ясна! — отрапортовал стоявший навытяжку Ладогин. — Вопрос один: из кого ваше величество прикажет формировать отводимую под мою команду роту?

— Молодец! Вижу, что суть уловил, раз сразу спрашиваешь о людях, коих тебе понадобится немало. Из наличного состава гвардии я тебе, конечно, столько выделить не могу. Разрешаю взять десяток знакомых семёновцев, на коих сам готов положиться. А доберёшь первый плутонг из здешних стрельцов-охотников покрепче. Всех их тоже переоденешь в солдатскую форму. Вот тебе распоряжение на сей счет, — царь протянул поручику свою записку, а следом стал поочерёдно передавать заготовленные свитки. — Сначала доберёшься со своим эскортом до Новгорода, доставишь сие послание воеводе Апраксину. Я поручаю ему оказать тебе всяческое содействие в наборе твоей роты из солдат инвалидных команд. В тамошних госпиталях остались на излечении раненые участники Нарвской баталии и прочих стычек со шведами. Многие из них уже в добром здравии и вполне годятся в пополнение. Уверен, наберёшь там еще три-четыре плутонга. Своих семёновцев поставишь над ними капралами. Дальше двинешься к Олонцу — вот письмо воеводе Бяратинскому. Обговоришь с ним план облавы, уточнишь маршруты, кои в первую голову требуется прикрыть крепкими заслонами. Он подскажет, поможет, даст проводников. Ясно?

— Так точно, ваше величество!

— А вот меня одно обстоятельство всё же смущает, — Пётр со смешинкой в глазах глянул на лица стоявших перед ним офицеров, в которых выразились признаки недоумения. Выдержал небольшую паузу для закрепления

эффекта неожиданности и только после того протянул Ладогину гербовый лист с печатью. — По-моему, не по чину поручику командовать целой ротой. А посему отныне быть тебе, Александр Ладогин, вровень мне — капитаном. Прими указ о твоём новом офицерском звании. Понятно, оно присваивается тебе не по лейб-гвардии Семёновскому полку, но ниже оттого не станет. Поздравляю с производством в чин, господин капитан!

— Рад служить вашему величеству! — выпалил не скрывший радости в голосе офицер и, чуть запнувшись, вспомнив недавнее царское наставление, добавил: — И всей державе Российской!

— Смотри-ка, Данилыч, а твой протеже впрямь быстро смыслённый. На лету данные ему уроки схватывает, — рассмеялся довольный царь.

— Не сомневаюсь, что он и подмётки у любого из-под ног оторвёт с таким высоким чином, — поддержал Меншиков.

— О том я и подумал, — заметил Пётр. — Ему же с большими боярами-воеводами доведётся стренуться. А они мало к чему почтение имеют кроме высокого чина и знатного положения. Да и местных начальников капитанское звание в тех диких краях скорее урезонит. Итак, капитан Ладогин, прими в дорогу моё доброе напутствие: ступай с Богом!

Детали стратегической операции

Проводив порученца и убрав со стола ящичек с бумагами, Пётр с Меншиковым сели перекусить и продолжили разговор о задуманных военных действиях.

— Догадываешься, Данилыч, какие ещё пожелания я высказал в письмах к Апраксину и Бяратинскому? — спросил царь, отрезая от бруска плотного вологодского масла упругие ломтики и приминая их ножом к куску хлеба. Дальше беседовали, прихлебывая деревянными ложками горячие наваристые щи из керамических горшочков.

— Полагаю, мин херц, как ты говорил раньше, речь идёт о более активном давлении на шведов в приграничных областях.

— Скорее, даже не о давлении, а о выдавливании противника с занимаемых им сегодня выгодных позиций. У швейского генерала Абрама Крониорта в западном Приладожье войск, пожалуй, поболее будет, чем у нашего Петра Апраксина. Но они зело рассредоточены отдельными гарнизонами по разным крепостям и небольшим хуторским мызам. К тому же, как мне доносили, сей Абрам — хоть и жестокий начальник, но вояка нерешительный, не в пример бравым братьям Шлиппенбахам. Значит, есть возможность разрозненные части свеев по очереди с насиженных насестов повыбивать.

— Насколько я знаю, у Петра Матвеевича под рукой только два новых солдатских полка с приданными им стрельцами. Хватит ли для наступательных ударов?

— Добавим драгун — вполне боеспособный корпус получится. Тут главное — не расплыть силы, а бить по отдельным укрепленным пунктам собранным воедино кулаком. Если обеспечить на избранных участках численный и огневой перевес, шведы не удержатся, отступят, — уверенно рассуждал Пётр. — Шереметев уже доказал в Лифляндии верность такой тактики. Вот и здесь важно к началу осени отогнать Крониорта подальше от Нотебурга и перекрыть все дороги для возможной переброски туда серьёзных подкреплений. А когда Шереметев и Репнин соединятся там с Апраксиным, да мы с севера со своей гвардией подкрадёмся, тогда в такие щипцы Орешек возьмём, что он, даст бог, за недельку-другую расколется. И в открытом поле нам с нашей силой никто не сможет противостоять без главной армии Карлуса. Быстро до Балтики дойдём и своими крепостями там прикроемся...

— А не забыл ты, государь, про эскадру адмирала Гидеона фон Нумерса, что в Ладожском озере крейсирует и способна всю обедню нам испортить?

— Хотел я Нумерсу противопоставить шесть фрегатов, кои приказал в январе заложить на реке Сясь. Но как отписал наместник стольник Тагищев, что-то там не срастается. Обещает к осени спустить на воду только два судна. Да и то с оговорками. Дал воеводе Апраксину поручение подумать на сей счёт. Хорошо бы корабли Нумерса подкараулить на стоянке близ берега и

внезапно атаковать на лодках. В абордажном бою шведы свои преимущества утратят. А там уж кому матушка-фортуна улыбнётся...

— Замысел, конечно, смелый, заманчивый, но... — Меншиков в нерешительности замялся, сделав вид, что прихватил большой кусок мяса, который не может разжевать.

— Данилыч, ты не мямли, договаривай... На то ты мой ближний советник, дабы от ошибок меня уберечь. Сказывай, в чём сомнение возникло? — строго спросил Пётр.

— Да как-то, мин херц, по-партизански тут получается. Дескать, шапками шведов закидаем. А они ведь воины умелые. Сам знаешь.

— Ну, положим, какие у них морячки — смелые да умелые воины, сие нам как раз неизвестно. Вот и выпадет случай проверить. По моему разумению, в управлении парусами они наших мореходов, может, пока поспоривистее будут, но от резни в абордажных баталиях, думаю, напрочь отвыкли. Да и не ждут они от нас этакого, как ты говоришь, партизанского наскока. В том и соль — в неожиданности атаки. И что ты вообще имеешь против партизанских действий? Чем они тебя, Данилыч, так смущают?

— Вовсе они меня не смущают, государь. Просто тут верный расчёт требуется, быстрота, натиск... В таких рискованных делах успех зависит от всяких случайностей.

— Алегер ком алегер. То бишь, как говорят французы, на войне как на войне. Хватит уж нам тени Карлуса пугаться.

— Оно верно, на смелого собака лает, а труса в ключья рвёт, — поддакнул Меншиков.

— Нас под Нарвой Бог выучил и теперь выручит. А то, что русские люди быстро учатся воевать по-новому, они уже доказали, — Пётр даже верный пример нашёл к случаю: — Помнишь, к нам в начале весны приезжал на Москву поп из Олонца Иван Окулов?

— Помню, конечно. Ты же самолично его пригласил, чтобы щедро наградить за то, что он, со швейских мест к нам перебежавши, набрал отряд охотников для партизанских рейдов по шведским тылам.

— Вот тебе достойный подражания опыт умелой партизанщины, — царь взялся развивать глянувшуюся ему идею. — Летучие отряды хорошо знакомых с местными лесами охотников

способны и ощутимый урон врагу нанести, и сковать его войска, предупреждая их вероятные наскоки на наше приграничье. Воеводе Семёну Барятинскому именно сию тактику надобно шире использовать. Иначе с его малыми силами он серьёзного наступления своеё не выдержит. Успокаивает лишь то, что им самим нет резона для глубокого проникновения в те глухие земли. Значит, и наше продвижение с севера они не учуют, если рота Ладогина не пропустит к ним случайных послухов.

— Никак не пропустит, государь, можешь не сомневаться, — твёрдо заверил Меншиков и, уже убрав после ужина посуду, вернувшись в комнату с графином вина, наконец восхищённо оценил дошедший до него во всём блеске замысел самодержца: — Пётр Алексеевич, теперь я понимаю, почему ты так секретил от всех свою задумку. Ты же, как великий полководец, всё рассчитал, учёл все мелочи, предстоящие манёвры своих и супротивных войск... Мне их будущие передвижения сейчас ясно видятся, буквально как ходы разных фигур на шахматной доске — с одним неминуемым исходом. Не знаю уж, на каком там ходу, но осенью ты швейскому королю точно мат поставишь...

— Пока только в этой партии, Данилыч. Следующие будем разыгрывать уже в Прибалтике, помаленьку отщипывая у Карлуса сначала Лифляндию, потом Курляндию, — довольный Пётр, улыбаясь, как мартовский кот, расслабленно сидел на лавке, закинув руки за голову и сладко потягиваясь. Глаза его были закрыты, но в ушах, кажется, тихо напевал ему о скором исполнении давних мечтаний лёгкий балтийский бриз.

На просторах Онего

Просторы Онежского озера поразили Илью и привязавшегося к нему в дороге Ванюшку Воронцова необъятной ширью, в которой едва угадывалась линия горизонта, поскольку гладь воды вдали незримо сливалась с небом. Если с правой стороны соймы постоянно виднелся лесистый берег, то по левую руку и незнамо как ещё далеко впереди раскинулось настоящее море — без кромки, без края, без всякого ощущения вероятной

где-то земли. Парни, никогда не видевшие столь неизмеримо открытой местности, не уставали любоваться её вольным размахом, яркими солнечными бликами на волнах, бегущими вслед за барашковой пеной отражениями таких же белокурых облаков, сопровождавшими их беззаботными чайками, то стайками кружившими в вышине, то отдохавшими на озёрной поверхности, вблизи выглядевшей илесто-тёмной, но потом всё больше голубевшей, казалось, до самых небес... Этот широкий, вольный, продуваемый свежим ветром мир порождал в их душах похожую свободу чувств и воспоминаний.

Грузовая сойма отошла от Вытегорского причала уже на переломе Петровского поста — со значительным отставанием от предполагавшегося графика. Но произошло это вовсе не по вине Ильи и распорядительного Григория Фомина, исполнявшего обязанности приказчика с завидной расторопностью и добрым знанием дела. Они прибыли к промежуточному месту назначения с грузом зерна как раз к концу мая, точно к сроку, обещанному Денисову Павлом Ерофеичем. Но в ожидании продолжения пути до Даниловской обители мешки с хлебом на две с лишним недели пришлось перенести в амбар, устроенный встретившими вологжан местными староверами в деревеньке близ впадения в Вытегру речки Вяньги.

Случилось так, что предназначенное для путешествия судёнышко буквально перед их прибытием уходило за рыбой и попало в шторм. Разгулявшийся ветер и грозные волны унесли его к западному берегу Онего с сорванными парусами и сломанными мачтами. Пока незадачливые мореходы пережидали непогоду в спасительной бухточке, пока наскоро чинили оснастку и возвращались в Вяньгу, пока устраняли на судне другие поломки и течи, прошло так много времени, что Илья с Иваном успели сходить в особо почитаемый православным людом монастырь Александра Свирского, расположенный неподалеку от реки Свирь ближе к Олонцу. Туда, вниз по течению, добирались на лодке с опытным проводятым, знавшим коварные пороги. Обрато шли вдоль берега пешком...

Впрочем, не о том благочестивом паломни-

честве сначала вспомнилось ненароком задремавшему на палубе Илюхе.

Почитай, месяц миновал с того дня, как отчалила от вологодских пристаней внушительная царская флотилия. Перед её отплытием родичи ходили к Спасо-Прилуцкому монастырю, где проходил смотр стрелецкого войска. Долго и понапрасну выглядывали среди стрельцов своих ближних — Фрола Белозерского и Михаила Кириллова. Оттого изрядно разволновались, в неведении беспокоясь об их судьбе, пока генерал-фельдмаршал Головин с искристым орденом Андрея Первозванного на парадном мундире и голубой лентой через плечо кричал с коня вдохновенную речь. Он надрывно призывал испытанное в боях Христово воинство к героическому спасению матушки-России и одоление свейских супостатов на полях сражений в сопредельной Польше.

Собравшиеся на поле стрельцы и посадские воложане слушали его вполуха и с гораздо большим вниманием поглядывали на скромно державшегося чуть поодаль царя Петра. Тот, критически оценивая войско, нервно пощипывал усики и о чём-то переговаривался с Меншиковым, хоть и одетым в форму поручика бомбардирской роты преображенцев, но на деле выглядевшим по-генеральски — и по щедро украшенному золотом костюму, и по пышному белому плюмажу на роскошной офицерской шляпе...

Тревожное недоумение родных развеялось лишь после того, как сине-чёрные стрелецкие колонны с натужными криками «Ура!» прошли мимо государя и его свиты строевым маршем, понятно, по стройности своей ни в коей мере несравнимым с чётким движением вымуштрованных гвардейских полков. Когда Пётр Первый, не очень-то довольный проведенным смотром, уже ускакал с сопровождавшими его офицерами к ожидавшей отхода флотилии и пространство возле монастырских стен заметно очистилось от народа, задержавшихся Белозерских вдруг окликнули подходившие к ним два солдата-семёновца, в которых не сразу можно было узнать Фролку и Мишку.

— А мы тут с Михой подумали, чего нам делать в той зачуханной Польше?.. Всё одно потом, ежели не убьют вдали от Родины, всем

стрельцам к солдатской форме привыкать придётся. Вот и решили переодеться в неё пораньше, да так, чтоб сразу в гвардейцы попасть, — подойдя ближе, обнимал удивленных и обрадованных Лукерью и Ульяну Гордеевну улыбавшийся Фрол.

— Точно, чего лишнего ждать да догонять, раз такой случай подвернулся, матушки вы мои... — здоровался за руки с Павлом Ерофеичем и Илюхой впрямь выглядевший матёрым гвардейцем Мишатка. — Подошёл наместник к нашему костру семёновский капитан Ладонин, кликнул охотников записаться в солдаты и идти с ним куда-то на север. Мы первыми отозвались, быстрее прочих смекнули, что лучше поближе к своим краям быть, чем в дальних заграницах безвестно сгинуть.

— Ой, неспроста вас, робята, так скоро перерядили. Не слишком ли опасное дело вам предназначено? — с обычной ноткой сомнения качал головой умудрённый опытом Белозерский-старший. Однако же он ничуть не мог скрыть удовольствие при взгляде на преобразившихся братьев, которым новое обмундирование было и к лицу, и в самую пору.

— Эх вы, короткоштанники! Теперь я над вашими нарядами буду потешаться, как вы над моей буркой, — напротив, не упустил случая приколотнуть старших братьевёв Илья. — Чулочки случаем с ножек не спадывают, башмачки тупоносые не жмут, треуголочку куцую с головки ветром не сдувает?

— Изыди, насмешник! Дай нам самим к новому облачению привыкнуть. Пока, в самом деле, я чувствую себя в нём как редька на яблоне, — отмахнулся Мишка, оглядывая на себе вполне подогнанные по его размеру детали мундира. — Заметь, что Фролке оказалось труднее и кафтанчик, и обувь подобрать. Он же будет чуть пожиже моего воистину гвардейского телосложения.

— Ладно хвастаться, братишка, была бы шея — хомут найдётся. Так и всем остальным нашим охотникам ладную форму подыскали, — Фрол шутливо погрозил Мишатке пальцем и, обратившись к родным, добавил: — Извиняйте, нам пора идти. Пока нас только предупредить отпустили, чтоб вы зря не беспокоились. А когда будем готовы к выступлению в поход, обещали

дать время на побывку, попрощаться с семьями. Разве что с тобой, Илюха, как я понимаю, мы теперь долго не увидимся. Да и свидимся ли вообще? Помни о нас, брат, да и мы тебя не забудем. Кстати, держи заветную дедовскую иконку, тебе она нужнее. Мы-то с Михой вдвоём, как-нибудь друг за дружку постоим. Удачи тебе в дороге и крепкой защиты Царицы Небесной!

— И вам желаю удачи, братья мои! Постарайтесь вернуться живыми, — откликнулся Илья, после чего парни обнялись и трижды поцеловались друг с другом.

...Воспоминания Илюхи нарушил скрип державших широкие паруса на мачтах шпринтовых рей. Кормщик Корней Матвеев крикнул помощникам подтянуть их иначе, чтобы снова поймать изменивший направление ветер. Два морехода тянули на себя передний парус на фок-мачте, поставленной на форштевне, другие крепили канат, привязанный к рее на грот-мачте. Илье пришлось отодвинуться, чтобы не путаться у них под ногами. Но вот Корней дал отмашку закончить поправку такелажа и, слегка сменив положение руля на корме, придал судну прежний ровный ход.

Илья снова с головой окунулся в недавнее прошлое и предался течению избирательной памяти. С записавшимися в солдаты братьями он впрямь больше не увиделся, поскольку уже на следующий день отбыл с грузёной баржей на запад в сторону Шексны. Провожали их на причале только отец и дядька Захар.

Маманя Ульяна Гордеевна вволю отплакалась дома, собирая ненаглядного сыночка в дальнюю дорогу. Долго по-бабьи причитала о выпавшей ей горькой доле почти одновременно расставаться сразу с обоими сыновьями. Глядя на неё, следом разнюнилась и впечатлительная Лушка, с тревогой ожидавшая своей очереди проститься с уходившим на войну мужем. От таких слезливых провожаний Илье стало не по себе, и он выскочил болтаться во дворе с Ванькой Воронцовым, которому грешным делом позавидовал за его одинокое сиротство. Но теперь ему почему-то стало совсем тоскливо, он корил себя за то, что хоть ещё немного времени не побыл рядом с матерью, не поговорил с ней по душам, не нашёл верных слов, чтобы успокоить её напоследок.

Как же мы бываем по молодости невнима-

тельны и даже жестоки к своим родителям, самоуверенно отмахиваясь от их ласки, кажущейся слишком навязчивой, от их предостережений, наставлений, советов... Но потом, глядишь, пройдёт времечко, останешься ты один на один с собой и вдруг ощутишь, что некогда желанному одиночеству вовсе нечего завидовать, что от нехватки привычного родительского внимания где-то внутри тебя образуется щемящая пустота, жалость и к себе самому, и к обиженной твоей неблагодарной чёрствостью маме... Особенно если ты, может быть, больше не свидишься с ней никогда, не сможешь обнять её, прижать к своей груди, приголубить, поддержать ласковым словом...

Мужики всё-таки расстаются как-то проще. Наверное, потому, что им на роду написано чаще уходить из дому, что-то вечно искать, а иногда и находить нечаянную удачу. Понимают: никуда не денешься — так надо. Дела ждут, которые никто за них не сделает. Назначенные им дороги не пройдены, которые никто за них не пройдёт. Судьба у каждого такая, какой с кем-либо другим не поменяешься.

Отец Павел Ерофеич и дядя Захар именно так просто и сдержанно напутствовали Илью на причале, как всех прочих уходивших с ним товарищей, как Григория Фомина, как Ванюшку Воронцова, как грузчиков и взявшихся за длинную бечеву бурлаков — дескать, всем попутного ветра, доброй дороги, с Богом! Верим, что вернётесь с удачей, будем ждать и молиться за вас. Ну, конечно, перед отплытием крепко обнялись по-родственному, как заведено, но без бабского надрыва, без слабину и соплей. Правда, провожавшие ещё долго махали руками с берега, пока баржа не скрылась за изгибом реки. Вологда осталась далеко за кормой. Вместе со всем детско-юношеским прошлым.

Отчего же с нахлынувшими переживаниями подступил к горлу предательский комок, выдавливая нежданную слезинку? Илья прикрыл лицо рукавом, будто отгораживаясь от яркого солнца, незаметно просушил невзначай посыревшие глаза. Из-под ладони взглянул на Ванюшку, который, встав на колени у невысокого борта, продолжал замороженными глазами смотреть на озеро. Потом окликнул приятеля затерзавшим его вопросом:

— Ваня, а ты веришь во всякие пророчества о будущем, в то, что сбываются гадания и предсказания человеческой судьбы?

Застигнутый врасплох пацан от неожиданности слегка вздрогнул, обернулся к Илье всем телом и, осмысливая заданную ему тему, раздумчиво ответил:

— Знамо дело, ежли они от самого Бога исходят и вкладываются в уста великим святым для наставления человек, как в Священном Писании, оно, конечно, верю...

— А если не от Бога?

— Значица, то лукавый ворожит, бесы путают. Так они только и норовят нас обмануть полоче. Знамо дело, чего же им верить? Это ты, что ли, о том случае, как тебе давешняя вещунья по руке гадала? Дескать, ждёт тебя, молодец, дальняя трудная дорога, непредсказуемый перелом судьбы, изменение былых ожиданий, поскольку скоро встретишь ты большую любовь... Но, вот беда, разлучат вас страшные неодолимые препятствия... Любимая тебя от напасти смертной спасёт, и ты её уже вовек не забудешь. Но увидеть её тоже никогда больше не сподобишься и в отчаянии оставишь тяготы мира сего... Дак то же, знамо дело, обычный набор любой опытной гадалки. Наш отец Иона этаких хитроvanок у Кириллова монастыря не раз за руку ловил, обличал в мошенничестве и гнал взащей. И мне их секреты толково объяснял.

— В чем же состоят сии секреты?

— Да в том, что по очевидным внешним приметам легковверных людей гадалки им паутину предсказаний сплетают. Видит она, что одет ты справно, значица, не из бедных — либо купец, либо приказчик. А что ж обычно торгового человека ожидает? Знамо дело — дальняя и непременно трудная дорога. К тому же ты молод и пока не женат. С девками, может, поигрывал, да не наигрался. Наверняка мечтаешь встретить настоящую любовь, завести семью, род свой продолжить. Не мне же послушнику в скуфейке, уже отказавшемуся от мира, вещать о всяких там искушениях любовными утехами... А вот тебе, парню здоровому да ладному — в самый раз... И не беда, ежли гадалка чуть слукавит.

— Но как же быть с предупреждениями про угрозы всяческие, спасение от смерти, отчаяние, отказ от мирской жизни? — не унимался Илья.

— Дак то же обязательно для нагнетания страху говорится, для испытания полноты чувств, дабы жизнь тебе мёдом не казалась. А ежли не случится по сказанному, ты ж в обиде не останешься. Знамо дело, только рад будешь более ладному исходу. Ошибка в обман не ставится, — скалился от смеха подтрунивавший над приятелем подросток.

— Всё у тебя, Ванька, просто получается. А мне вот показалось, что было в словах той ведуньи некое верное предзнаменование... Когда глянула она в мои глаза своими чёрными очами, то будто внутренности острым шилом пронзила. Сначала меня изнутри огнём жарким обожгло, но тут же следом холодом кладбищенским повеяло...

— Знамо дело, умеют сии черноглазые колдуньи морок на человека нагнать. Могут и не так расстараться за звонкую монету. Ты сам-то ей сколько за гаданье отвалил?

— Да, почитай, всю мелочь, что в кармане оставалась — три деньги и две полушки. Как затмение на меня нашло — что попало в горсть, то и отдал, — словно оправдывался смущённый Илюха.

— Цельных две копейки! За этакие деньжищи как ещё та смоляная ведьма тебе прынцессу заморскую не просватала... — снова расхохотался Ванька. — Хорошо хоть мы успели хлебушка и овощей купить за Вознесенским перевозом, не то б в дороге нам самим, как нищим, побираться пришлось, чтоб с голодухи не сдохнуть.

Привязчивая черноглазая вещунья действительно встретилась юным паломникам после того, как они, возвращаясь из Александровского монастыря, переплыли широкую реку на Вознесенской паромно-лодочной переправе и прикупили в запас постной пищи на оживлённом базарчике, казалось, ни днём, ни ночью не умолкавшем возле тамошнего поселения. В этот исстари наезженный торговый тракт стягивались все дороги с юга — и от Белозера, и от самой Москвы. Далее он пролегал вдоль западного побережья Онежского озера по зажиточным сёлам, где тоже жили предки современных вепсов, прозывавшие себя тогда людикайне или людиками. Шёл тот путь к знаменитой ярмарке в заонежской Шуньге, к студёному Белому морю и устроенной на его

островах святой Соловецкой обители, к вечным льдам страшного Ледовитого океана.

До Даниловского общежития староверов этим путём тоже можно было везти зерно на телегах, однако передвижение большого обоза по земле в не ярмарочную пору наверняка бы вызвало подозрения следивших за соблюдением установленных порядков цепких ярыг и приставания местных целовальников на непредвиденных заставах, что грозило немалыми поборами. Потому предусмотрительные выговские раскольники обзавелись перевалочными пунктами не только в устье Вытегры, но и на северо-восточном берегу Онего-озера в Пигматке. Оттуда без лишнего догляда переправляли товар прямо в Данилов или к иным скитам на севере.

Ночёвка у Муромского мыса

Сойма шла по волнам ходко и по времени, казалось, долго. Начиная давать знать о себе голод. Периодически грызли сухари и сочную морковь, но это не спасало. По всем срокам должно было вечереть. Но за бортом как раз стояла самая пора северных белых ночей, потому ни ощутимого глазом потемнения далее, ни красочно-алого заката солнца всё ещё не наблюдалось. Наконец Корней Матвеев заметил впереди береговой мысок, на котором стоял Муромский Свято-Успенский монастырь, и предупредил всех, что намерен зайти на ночёвку в известную ему бухточку, прорезанную на побережье за монашеской обителью устьем речушки Гакугсы. Там решили бросить якорь, сварить на костре котелок каши и отоспаться от изрядно надоевшей качки.

Это удобное местечко было хорошо знакомо всем онежским рыбакам, а потому заботливо обустроено ими обложенным камнями кострищем и прочно вбитыми вокруг него деревянными скамьями. Ближе к кустам стоял вместительный шалаш, земляной пол которого устилала ворохи сена, а крышу поверх связанных в поперечинах жердей укрывали густые хвойные ветви. Корней показал новичкам, что в ямке под корневищами ближней сосны стоявшими здесь прежде мореходами оставлены отточенный топорик, сухие дрова

на растопку и старый чугунок с завернутой в тряпицу солью.

— Таков у нас заветный обычай — не только о себе думать, но и порадеть о тех, кто придёт сюда следом, — пояснил Корней, обстоятельно меняя старую затвердевшую соль на свежую пайку. — Точно так же полесники в тайге поступают, оставляя друг другу в охотничьих избушках и на лабазах самые необходимые в трудных обстоятельствах вещицы — топор или нож, дровишки с кресалом, сухари да соль... На всякий непредвиденный случай. Вдруг у заплутавшего в дебрях путника под рукой не окажется именно того, что поможет ему выжить.

— Добрая привычка, — согласился Григорий Фомин. — А монахи муромские как на это соседство смотрят?

— Свыклись уж. Не тревожат наши артели. Более того, малую мзду свою берут за пригляд. Глякось, вон уж отрок от них поспешает за дежурным алтыном. Готовь плату за стоянку, приказчик. Сия издержка, Григорий Васильевич, в твои расходы входит.

Со стороны тянувшейся к бревенчатым монастырским стенам по берегу длинной песчаной дюны впрямь появился послушник в подряснике, сравнимый по возрасту с Ванькой Воронцовым. Он отвязал от прикола маленькую лодчонку и, вскочив в нее, ловко загребая широким веслом от разных бортов, быстро переплыл речку и приветствовал поджидавшего его знакомого кормщика.

— Бог в помощь, Корней Матвеевич! Далёко ли путь держите?

— Да вот, провожаю новых купцов в Повенецкий рядок.

— Никак опять даниловским раскольникам груз везёте?

— Это, братец, не твоё ума дело. Может, торговые гости амбары решили на севере поставить, чтоб на ярмарку в Шуныгу с товаром сподручнее поспевать было. Так что ты, Геня, лишнего не выведывай. Держи алтын, и спаси ты, Господи, за приятную встречу!

— Мне-то ваши секреты, Корней Матвеевич, неинтересны. А вот игумен с келарем, наверное, любопытствовать будут.

— А ты им, Геня, так и скажи. Дескать, вологодские гости новое торговое дело затевают и

отныне частенько тут будут плавать, а значаца, всякий раз свою лепту для вашей святой обители давать. Прощевай покедова. Низкий поклон от меня передай батюшке игумену.

— Коли так, счастливого пути и до новых встреч!

Довольный легкоисполненным поручением, парнишка столь же скоро добрался до другого бережка и побежал к монастырю, высившемуся над пологим побережьем. Корней вернулся к своему экипажу, ожидавшему у пылавшего костра наваристой гречневой каши, уже чавкавшей в подвешенном на длинной жерди артельном котелке. С аппетитом насытившись горячей пищей, мореходы с Фоминым залезли отсыпаться в шалаш. Вволю подремавшие в пути Илья и Ваня вызвались подежурить у стоявшей на якоре соймы.

Встретившуюся на пути новую монашескую пустынь они в сей раз решили не посещать. С одной стороны, несмотря на светлый вечер, на самом деле было изрядно поздно, чтобы тревожить иноков сторонним вниманием. С другой стороны, ребята сами боялись там проболтаться о настоящей цели своего путешествия. Наконец, их память переполняли совсем ещё свежие и яркие впечатления от недавнего паломничества в особо чтимую на Русском Севере святую обитель преподобного Александра Свирского, о которых как раз зашёл у них душевный разговор у не загухавшего костерка.

— Объясни мне, Ваня, как так можно навсегда отказаться от мирской жизни и уйти в монастырский затвор? Неужели ты лично не ждёшь уже в миру ничего хорошего? — спросил Илья напарника, удивляясь принятому им в столь раннем возрасте твёрдому решению податься в монашество.

— Знамо дело, мне после смерти родных одному в жизни не пробиться и ждать ничего хорошего не приходится. Как сгорели мои батюшка с матушкой и сестрёнками в ночном пожаре, так меня одной только мыслью пришибло — отомстить их грехи для спасения душ ближних в Царствии Небесном. Ни о чём ином боле думать не могу.

— Оно, конечно, тебя, значит, горе в иночество погнало. Другого, глядишь, заест нужда беспросветная. Третьего несчастная любовь

загрызёт. Четвертому раны да увечья не позволят прокормить себя самостоятельно... Но ведь сколько сильных, здоровых, не слишком обиженных жизнью людей просто так в монаси уходит — по зароку, по убеждению, по чистой вере... — не оставлял расспросы Илюха. — Вот тот же преподобный Александр Свирский в 26 лет на Валааме постригся. Вполне сознательно, да ещё вопреки воле его родителей. Уж на десять лет старше тебя и беды похожей не знал... Жил себе до тех пор простым чудинком Амосом. И на тебе, словно озарило его. И в какую же силу святую воздержанием и молитвами потом вошёл. Уму непостижимо!

— Святой Александр, знамо дело, величайший духовный пример для всех нас. Вишь, как у него обернулось. Родители поначалу супротив его иночества были, однако по его убеждениям сами постриглись в монаси: отец Стефан — в батюшку Сергия, мама Васса — в матушку Варвару. Счастливое единство святой семьи! Тут и позавидовать не грех.

— Да я уж и без того завидую его стойкости и самоотречению. Его подвижническое житие даже представить себе немислимо — в сырой пещере на Валаамском Святом острове он по собственному желанию целых десять лет провёл в полном безмолвии... Да после многие годы в глухих чащах совершенно один жил на Рошинском озере, куда его голос ангельский направил Святотроицкую обитель созидать... Ты вот, Ваня, давеча говорил, что мы по пути от Вознесенского перевоза до Вяньги могли без пищи с голоду сдохнуть. А преподобный Александр совсем позабыл в затворничестве, что такое мирская пища. Как в его житии сказано: не хлебом питался, «а зелием зде растущим».

— Впрямь великой силой наделил его Господь — и терпение дал безмерное, и дар ясного предвидения, и мудрость врачевания всяческих хворей, — восхищался Ванюшка жизнью святого подвижника. — За то Вседержитель и отметил своего избранника вниманием небывалым — Сам в извечной славе Троицей ему явился в пустыни таёжной.

— Никак сие явление Троицы в голове моей не укладывается. В Библии как-то привычнее читать про праотца Авраама, коему Господь наш

Пресвятой Троицей явился возле мамврийского дуба да поведал ему о скором рождении сына от его престарелой жены Сары и о намерении жестоко наказать погрязших в грехах жителей Содомы и Гоморры. Но чтоб так, в нашей глуши северной, к простому чудскому отшельнику, который мог быть твоим соседом, вдруг пришёл со словом поддержки наш Небесный Отец вкупе с Сыном Христом и Святым Духом... Сначала поражаешься неизмеримости случившегося, потом восхищаешься оказанным смертному сородичу вниманием Всевышнего, наконец вдохновляешься на духовные подвиги по примеру преподобного Александра...

— Знамо дело, меня там в самое сердце поразило неизбывным страхом Божиим, — привычно крестясь, признался Воронцов. — От того ещё больше окрепло во мне намерение отрешиться от грешного мира.

— Честно тебе скажу, Ваня, меня невольно тоже похожее желание посетило. Потому я себе в ладанку горсть землицы отсыпал с того места, где почти двести лет назад Александр Свирский церковь Живоначальной Троицы поставил.

— А я ещё отдельно взял горсточку у Покровского храма, где позже явилась отцу Александру Пречистая Богородица с Предвечным Младенцем... Поистине, вся земля в той пустыни святая. Одно жаль: порядки там никонианские — они мне не по нутру.

— Бога это вовсе не касаемо. Ему служить всюду можно. Главное, чтоб с чистой душой и крепкой верой сие делалось, — Илья не заметил, как сам увлёкся утверждением ответов, которых искал в разговоре с другом. — Чтобы Его Божья воля твоей стала. Чтобы по прошествии своего земного пути мы бы тоже могли удостоиться от Господа вечного прощения, заключённого в великих словах, сказанных Всевышним преподобному Александру Свирскому: «Аз же ти мир Мой оставлю и мир Мой подам ти».

Окончание первой книги следует.

Значения устаревших и диалектных слов

Адив — гость (*вепс.*), иносказательное именование поминаемого после смерти человека.

Алтын — денежная мера или монета достоинством в 3 копейки.

Амвон — возвышенная площадка в церкви перед царскими вратами в алтарь.

Багинет — штык, примыкавший к фюзее.

Баклага — небольшой сосуд для жидкостей с крышкой и пробкой.

Бердыш — старинное оружие, копье и топор на длинном древке, алебарда.

Большак — глава староверской общины или отдельного крестьянского хозяйства.

Бредень — небольшой невод для ловли рыбы в мелководных местах.

Голик — веник, метла из оставшихся без листы прутьев.

Деньга — денежная мера или монета достоинством в полкопейки.

Десница — правая рука.

Епанча — широкая и длинная накидка, плащ.

Зерьнь — напайка в ювелирных изделиях мелких золотых или серебряных шариков.

Золотник — старая русская мера веса (около 4,26 г).

Кайиване — прозвание русскими карел, переселенцев из финского края — Каяни.

Калкун — большой индюк, блюдо из индюшки.

Каццио (*вепсск.*) — смотри.

Клобук — монашеский головной убор цилиндрической формы с креповым покрывалом.

Корчага — большой глиняный горшок.

Кудель — обработанное для выделки пряжи льняное волокно.

Лахта — мелкий залив, губа.

Ловас (лабаз) — помост на ветках между деревьями, обычно сооружаемый для охоты.

Мамона — идол наживы, символ стяжательства, жадности, чревоугодия.

Малтать — понимать.

Мытарь — сборщик налогов.

Омофор — священная одежда, накидка, плат-наплечник, у епископов лентообразный.

Плутонг — подразделение в составе роты, идентичное современному взводу.

Полесник — охотник, полесовать — охотиться.

Полушка — денежная мера или монета достоинством в четверть копейки.

Рига, ригача — хозяйственная постройка для сушки снопов с местом для обмолота.

Санник — большая наезженная дорога, зимник.

Сараскать — пугаться, бояться, страшиться: сараско — боязно.

Скань — то же, что филигрань.

Свеи — шведы.

Скуфья — остроконечная бархатная шапочка у духовных лиц, включая послушников.

Сойма — килевое двухмачтовое судно малой и средней грузоподъемности.

Станица — в данном случае небольшой походный отряд казаков.

Сузёмки — глухой лес.

Сузёмок — лесная округа, признаваемая общей территория проживания группы людей.

Сулея, сулейка — плоская склянка, бутыль.

Туле тянне (*вепск.*) — иди сюда.

Филигрань (скань) — ювелирная техника ажурного плетения узоров из тонкой проволоки.

Фузея — заменившее мушкет солдатское ружьё.

Фунт — русская мера веса, равная 409,5 г.

Целовальник — по присяге целовавший крест представитель властей на местах.

Чудины — прозвание вепсов русскими соседями.

Чухари — самоназвание вепсов в районе Белозерья, чудь белоглазая.

Шелонник — юго-западный ветер.

Ярыга — низший государственный служащий, исполнявший полицейские функции.



Андрей Яковлевич ФАРУТИН

родился в 1957 г. в Петрозаводске.

Окончил факультет журналистики

Ленинградского университета.

*Работал в периодических изданиях Карелии
и собственным корреспондентом московской*

«Независимой газеты».

Пишет стихи, прозу, публицистику.

Выпустил поэтический сборник «Источники света» (2007),

*книгу публицистики «Зерна рода: опыт самоидентификации
русского карела — славянина и финно-угра» (2012).*

Член Союза журналистов России с 1980 года.

Заслуженный журналист Республики Карелия.



Марина КАКСИМКОВА

*родилась в п. Белый Яр Калининградской области.
Окончила Калининградский политехнический техникум.*

С 1988 года проживает в г. Сегеже.

*В настоящее время работает экономистом
в Сегежской центральной районной больнице.*

Пишет стихи с 14 лет.

*Участница двух полиграфических сборников
интернет-поэзии
и коллективного сборника «Сегежа, здравствуй!» (1994).*

В журнале «Север» публикуется впервые.

**Марина
КАКСИМКОВА**

*г. Сегежа,
Республика Карелия*



«Льетса музыка усталая...»

* * *

Я в мантию гнетущего бессилья,
Как в саван, всей душой облачена.
Одна. Одна! И сломанные крылья
Не вылечат ни гордость, ни весна.

Он, как и я, казался одиноким.
Он был — мой мир, кумир души моей.
Но кто же знал, что может быть жестоким
Любимый, самый лучший из людей.

Убито эго, скомканы желанья,
И рвётся стон из попоранной души.
Но в дальних закоулочках сознания
Надежда свою миссию вершит...

ОТТЕПЕЛЬ

Всего лишь оттепель. А мне уж кажется,
Пришла весна. Сугроб нахохленный,
Уставший за зиму, теперь уляжется
Вздремнуть под солнцем. Мухи дохлые

Средь рам заклеенных вдруг зашевелятся
И оживут. Гляди, на тополе
Уж почки пухлые по веткам лепятся,
Вот-вот раскроются. А во поле,

Вон на пригорочке, черны проталинки
Видны уже. Но с сердцем не поспоришь —
Кричит (укутавшись, надевши валенки):
— То не весна, а оттепель всего лишь!

В ПУТЬ

Современность. Прогресс. Стыков нет, и теперь
 Смолкли стуки вагонных колёс.
 По накатанным рельсам удач и потерь
 Кто б меня в неизвестность унёс?

Я поеду туда, в беспросветность и мрак,
 В мерзкий холод и злую жару,
 Где хозяин из дому не гонит собак,
 Где я выживу или умру.

Я хочу происшествий, накала страстей,
 Смерть – за смерть и до гроба – любовь.
 Чтоб в лесу – георгины, что крови красней,
 А не проклятый болиголов!

Я поеду в любую бескрайнюю даль
 Ради страсти и вечной любви.
 Я развею любую тоску и печаль.
 Я поеду. Ты лишь позови!

Этот праздник настал. Он позвал, обещав
 Всё, что грезилось в дивных мечтах.
 Почему я уже не сижу на вещах
 И восторг не сверкает в глазах?

Мне постылой романтика чудится вдруг,
 И не видно былой красоты...
 Всё угасло, что радость дарило вокруг,
 Ведь позвал меня он, а не ты...

* * *

Льётся музыка усталая.
 В волны звуков я, упавшая,
 Бьюсь, как птица запоздалая,
 Стаю где-то потерявшая.

То звучанье – не мелодия, –
 Голос струн души растоптанной,
 На любовь и жизнь пародия,
 Чувств моих обрывок скомканный.

Нет, не нужно этой музыки! –
 Ветра свист пускай услышится!
 Мне не нужно жить, как узнице –
 На свободе легче дышится!

Вялость с крыльев обессиленных
 Я стряхну и птицей синою
 Запаю, и в песнях нынешних
 Не услышите уныния!!!

Виктор КУТКОВОЙ

г. Великий Новгород

Утренний луч солнца бил в окно. Обнаружил себя черноватый дым свечей, который тут же перемешивался с клубящимся голубым дымом диаконского кадила.

Георгию Шалашникову казалось, что при посредстве луча сам Бог наглядно высвечивает в душе скопившиеся грязью слои грехов.

И когда подошла очередь Гоши исповедоваться, то он сообщил о своих частых опозданиях на богослужения. Отец Трифон немного помолчал и вкрадчиво произнёс:

– Благословляю служить в алтаре.

Ровно через неделю Шалашников пришёл на полчаса раньше начала литургии.

Священник, как всегда, принимал исповедь. Заметив Георгия, он движением руки показал, чтобы тот проходил в алтарь.

Два знакомых семинариста (братья-двойня) уже были там и, присев на широкую трубу отопления, служившую батареей, экзаменовали друг друга по догматическому богословию. Но, увидев входящего Гошу, они встали и троекратно с ним облобызались.

– Отец Трифон молвил – будешь помогать нам по службе, – манерно налегая на букву «о», произнёс Адам. Ростом он уродился немного ниже Богдана, потому казался чуть моложе.

– Это не честь, а епитимья по грехам, – признался Шалашников.

Братья, усмехнувшись, помогли ему правильно сложить стихарь, дали крестом вверх на руки, и новоиспечённый алтарник отправился за благословением к отцу Трифону. И, когда Георгий вернулся в алтарь, Богдан его встретил вопросом:

– Скажи, сколько воле у Господа нашего Иисуса Христа?

– Нет, ребята. Не впутывайте меня в свои

ПОД
ВОДОЙ
РАССКАЗ

рассказ

игры. Иначе взаимно начну пытаться о Баухаузе или хайтеке, — последовал ответ.

Богдан почти обиделся:

— Сравнил! Догматы должен знать каждый православный христианин.

И он, обращаясь к Адаму, скомандовал:

— Давай!

Адам устоялся в одну точку, стих, а потом, изредка постреливая глазом в Гошу, заработал губами:

— В начале седьмого века при византийском императоре Ираклии возникла ересь, получившая название монофелитской. Слышал про такую? Её сторонники учили, что Господь имел две природы (божественную и человеческую), но единую волю, разумеется, божественную. Церковь выстояла подвигом Максима Исповедника и его учеников. Советую запомнить имя означенного преподобного отца — пригодится. Ересь была осуждена на Шестом Вселенском соборе в шестьсот восьмидесятом году. Отцы Собора провозгласили: Христос имеет две воли, но человеческая подчинена божественной. Это следует уже не запомнить, а зарубить на носу.

Георгий облачился в стихарь, показавшийся ему неким далёким, но мистическим родственником тонкой византийской кольчуги; закрыл глаза, сосредоточился, вздохнул и «расплатился»:

— Во-первых, догмат провозглашён и утверждён чуть позже — в шестьсот восемьдесят первом году. Это было результатом заседаний Собора, то есть итогом, но никак не началом работы. Во-вторых, верите ли вы в своё спасение для вечности?

Братья переглянулись. Адам, разводя руками, озабоченно произнёс:

— Кто знает, сколько мы ещё нагрешим...

Осваивая прорези в стихаре для достижения своих брючных карманов, Шалашников притворно удивился:

— Вы — будущие пастыри — не верите в своё спасение?! В таком случае как же собираетесь спасти паству?

— Ну, допустим, мы верим, — откликнулся Богдан. — И что?

Гоша покачал головой:

— Спасшиеся для вечности уже пребывают в

ней. А коль так, то и мы с вами являемся из вечности не только свидетелями Собора, но и его участниками.

— Ну ты даёшь! — нараспев протянул Адам, снова переглянувшись с Богданом.

— Что тебя поражает? — спросил Георгий, доставая расчёску. — Да мы с вами прямо сейчас находимся в вечности!

— Это как? — попробовал уточнить Богдан.

— Алтарь храма и есть вечность, — отозвался Шалашников и на ощупь причесался.

— Ну ты даёшь! — засмеялся Адам. — И на каком же Соборе мы сегодня присутствуем?

— На Шестом Вселенском. Ты сам пересказал его догмат, — невозмутимо ответил Гоша и ловко отправил расчёску в карман. — Именно поэтому положительная воля людей и побеждает отрицательную, что меньшинству живых праведников в любой точке земной истории помогает сонм праведников из вечности, под её знаком — *sub specie aeternitatis*. Таким образом через людей вершится воля Божественная по сию сторону бытия.

Богдан, пряча улыбку в уголках рта, предложил:

— Не пора ли, братие, во исполнение воли Божией приступить нам к исполнению своих обязанностей?

После чего вручил Адаму и Георгию по тонкой пачке записок о здравии живущих и об упокоении душ усопших.

— Читаем, — крестясь, согласился Адам.

О соборной воле праведников Гоша почему-то вспомнил во время поиска дома Надежды. Причин вроде бы и не было...

Шалашников необъяснимо почувствовал, что эта воля противостала его желанию видеть девушку. Заговорила совесть? Нет. Никаких угрызений на сердце — душа пребывала в состоянии младенца. Но младенца разбудили; он сидел, протирая глаза, и пытался понять, по какой причине ему не дают спать; даже не плакал.

С Надей Гоша познакомился на выставке.

Это был заказ — следовало оформить промышленный павильон ко Дню города. Девушка настойчиво упрасивала представить продукцию её фирмы по возможности заметней. Георгий сначала отмахивался от подобных просьб, доносившихся с разных сторон (коль на каж-

дую из них откликаться согласием, то не соберёшь экспозицию — всё в ней станет главным), но милое, умное лицо просительницы, украшенное светлыми веснушками по обе стороны трогательно правильного носа, красивый рот, особенно при улыбке, вобравшей в себя некий тайный смысл, постепенно вершили своё дело. Гоша умом сопротивлялся неизбежным приключениям, а душа, как античная сирена, разубеждала его, считая приключения заманчивой романтикой. Воля молодого человека за пядью пядь отдавала сокровенные территории под напором учащающихся улыбок. А когда выяснилось, что Надежда серьёзно увлечена поэзией, то Георгий не устоял перед соблазном блеснуть своими стиховедческими познаниями.

Вот он и шёл к девушке слушать её до сих пор неведомые вирши. Да и ради них ли одних?

Переполненный предвкушениями, Шалашников свернул в тёмную низкую арку.

После яркого солнца во тьме глаза слепли. Ориентиром служил слабый свет во дворе-колодце. Громко раздавались собственные шаги. Звук отдавался вверх под сферой.

Георгий подумал, что здесь вполне можно снимать детективный фильм. Ну и Надежда! Неужели она живет в столь мрачном месте?

И предчувствие не подвело: любитель поэзии, углубившийся до середины арки, внезапно, дерзко, отчаянно был атакован: справа кто-то его так сильно схватил и дёрнул за шиворот, что он просто влетел в дверной проём, после чего дверь громоподобно захлопнулась.

Вот на такие приключения Гоша всё-таки не рассчитывал. Что за дела? Неужели промышляет обнаглевшая шпана? Или незаметно вдруг возник из темноты безызвестный ревнивец и решил мстить? Других причин вроде бы нет.

Шалашников сжал в булыжники кулаки, приготовившись к драке.

Но кто это?

Георгий от удивления приоткрыл рот.

Перед ним во весь свой средний рост стоял сухой, поджарый дед, с дымом седых волос на голове и в бороде. Потрясающе! На старике ладно сидел светлый подрясник, особенно подходивший к сизоватым сединам. Талию

обхватил узорочный пояс искусной золототканой работы. Морщинистое скуластое лицо лучисто светилось добротой.

— Однако есть ещё порох в пороховницах! — с изумлением и в то же время смеясь изрёк Георгий. — Бывший самбист? Давненько меня никто так не таскал...

Вместо ответа старик взял Гошу под локоть и повёл по бесконечно длинному коридору.

— Куда это мы? — недоумевая, спросил незадачливый любовник. — И вообще, что происходит?

Старик безмолвствовал.

Шалашников не сопротивлялся, почувствовав нечто важное впереди. Следовало учитывать и силу старца; к тому же церковный вид, благодатность, спокойствие, доброта на ясном лице вызывали исключительно доверие и только доверие. Тем не менее странность свалившихся обстоятельств давала о себе знать. «Надеюсь, не на заседание же масонской ложи идём!» — успокоил себя Георгий.

Бесконечная алебастровая стена коридора, огромная и чистая, с тремя нишами закрытых белых дверей была расписана множеством изображений незнакомых лиц, подавляющее большинство из которых являлись детскими. Опытный глаз Гоши уловил полное отсутствие в них всякой сусальности. На проходивших мимо смотрели взрослым острым зраком дети со всех концов света.

— Чьи это портреты? — поинтересовался Шалашников.

— Это не портреты, а лики мучеников и страстотерпцев, — ответил старец.

— Почему же здесь так много детей?

— Потому что столько их убивают взрослые люди.

— Где, когда и какие мерзавцы?

— Каждодневно в материнских утробах и реке на войнах. Ну, а кто — сам догадайся. За счёт младенцев чин страстотерпцев — самый многочисленный.

Старец и Георгий приблизились к одной из бронзовых дверей. Она тут же открылась. Навстречу вышел кудрявый молодой человек, под опеку которого старец и передал Гошу, совсем истомлённого любопытством.

Лицо нового спутника отличалось изыскан-

ной восточной тонкостью, переходившей в своеобразную красоту. Грузин? Особенно выразительными были крупные карие глаза, неотразимо притягивавшие к себе Георгия (в радужных оболочках померещилось даже его собственное отражение). Крепкий бритый подбородок придавал волевой, но не хищный вид. За таким парнем бесстрашно шагнёшь в огонь и в воду.

— Что происходит? — поинтересовался у него Шалашников.

— Сейчас увидишь. Прошу лишь об одном: говори правду, — чисто по-русски, без акцента ответил незнакомец.

Они оказались в тесном полутёмном притворе. Литая массивная дверь в храм была заперта.

Что-то знакомое показалось Гоше.

Но не успел он подумать о своём, как дверь распахнулась и статный красавец ввёл Георгия в храм, залитый убажжающим душу холодноватым утренним светом.

Невероятно!

Это именно тот храм, в котором он, Шалашников, с недавних пор и алтарничает. Всё-таки бывают чудеса на свете...

Гоша искал взглядом отца Трифона, но не находил. Странно...

Зачем приводить человека в храм через малопонятную интригу, если он по воскресеньям и церковным праздникам сам исправно посещает богослужения?

Раздался знакомый женский голос:

— Раб божий Георгий Шалашников. Полный возраст — тридцать один год. Из них более двух лет — в церковном браке с рабой божией Аполлиной. Детей нет. Профессия — дизайнер. Несёт послушание алтарника во славу Божию, то есть бесплатно. Обвиняется в нарушении клятвы супружеской верности...

Голос доносился сверху. Гоша понял: с хоров. Улучив момент, он метнул туда взгляд и убедился в правильности своего предположения. Говорила она — Надежда, почему-то одетая во всё чёрное. «Неужели у неё траур? Наверное, для строгости», — решил Георгий.

Он почти разгадал тайну улыбки.

Стало быть, Надя умышленно подстроила эту западню?

Шалашникову случайно подвернулось слово «спектакль», о которое он ожёгся и отбросил мгновенно.

Театр в храме невозможен. Разве позволили бы нечто подобное отец Трифон, известный строгостью на всю округу? Дело слишком серьёзное...

— Поклонись Великому Архиерею, — настоятельно предложил проводник, пригибая спину Гоше.

Тот же лишь сейчас заметил в потоке света, бьющего чуть ли не ярче прожектора, подобие величественной фигуры, восседающей на горнем месте. Или на Престоле? Попробуй разбери, глядя на солнце... По обе стороны от светящего двенадцать других архиереев расположились на длинных скамьях, обычно пустых во время иерейского богослужения.

На свет невозможно было смотреть.

У Георгия подкосились ноги, и он упал ниц. Стало страшно.

— У этого раба Божия остаётся возможность быть оправданным и попасть в Царство небесное, — тихо произнёс кто-то из епископов.

Лысый диакон с осанкой столичного профессора, держа орарь в поднятой руке, огласил басом:

— Люди свидетелие, воидите по иерархии!

Шалашников понял, что он действительно смотрит на происходящее практически из вечности; во всяком случае, находится на её пороге.

Первым явился и стал на амвоне отец Трифон.

— Что ты можешь сказать о предстоящем рабе нашем, сын мой? — послышался из света властный голос.

Священник, посмотрев на коленопреклонённого Георгия, медленно ответил:

— Я его духовный отец. И если он в чём-то виноват, накажи прежде меня. Да, не святой, но на исповеди он постоянно и чистосердечно кается в своих грехах. От коих я и разрешаю людей властью, данной...

Диакон, остановив священника, передал ему благословение Великого Архиерея пройти в алтарь.

Гоша уткнулся лбом в пол и лежал ни жив ни мёртв. Однако кудрявый незнакомец решительно поднял его с колен.

Почему незнакомец? Кого-то он напоминает... Кого?

Два иподиакона ввели бледного Адама. Вид у семинариста был таким, точно его самого сейчас начнут в чём-то обвинять. После веле-ния говорить Адам, бегающими глазками ози-раясь на Георгия, быстро выпалил:

— Могу свидетельствовать одно: он — непростой. Не ведаю, хорошо это или плохо, но он далеко не простец — и судить не мне. Я не виноват, что он такой. Об амурных делах спросите у самого Гоши.

Адама отвели в сторону и поставили возле солеи.

Вошёл раскрасневшийся Богдан. Юноша выглядел сконфуженным, словно его разде-тым привели сюда прямо из бани. Молчал. За-минка затягивалась не по чину. Диакон мало-заметно дёрнул сзади семинариста за подряс-ник. Богдан слегка прокашлялся, давая по-нять причину своей задержки, и начал:

— На мой субъективный взгляд, обвиняемый Георгий — из разряда странных, чудаковатых личностей. Вполне допускаю, что он на полном серьёзе может отправить кому-нибудь на тот свет своё послание, с полной уверенностью в получении адресатом. Или обвиняемый умыш-ленно хочет быть странным? Зачем? Юродству-ет?! Ради чего? Цирк уехал, а один клоун остал-ся. Альковные дела оставляю в стороне. Мне как духовному лицу в будущем она сфера про-тивопоказана. При условии хотя бы лёгкого ду-ховного врачевания, брат Георгий, возможно, станет положительным примером православ-ного христианина. Ибо как человек он, кажет-ся, добрый, начитанный, трудолюбивый...

Богдана неожиданно перебил опекун Гоши:

— Прошу слова!

Храм сковала гулкая тишина.

Из ослепительного алтаря прозвучало:

— Можешь говорить.

Не сходя с места возле Шалашникова, пере-бивший Богдана к Богдану и обратился:

— Разве в духовной семинарии не учат эле-ментарному правилу аскетики на случай «ка-жимостей»? От чего ты предлагаешь исцелить этого человека? Сказано же вам: «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как напи-сано: уловляет мудрых в лукавстве их». Неуже-

ли слова панихиды и евхаристические молит-вы об усопших не достигают другого — невидимого — берега жизни? Или для тебя всё это не послания?!

Богдан вместо красного приобрёл почти фи-олетовый цвет. Он попробовал оправдаться:

— То ведь — Богу, а я говорил о послании людям.

— А разве люди там пребывают не в Боге? — осадил его говоривший, прострелив взглядом.

Семинарист затрепетал:

— Я не осуждаю. Хотел как лучше...

Повисло в воздухе безмолвие. Храм продол-жал наполняться умным светом.

— Отведите юного скрытого завистника на колокольню. Пусть остынет, подумает и заод-но, дабы не отвык, понесёт славное послуша-ние звонаря. Звон врачует, — озвучил свою во-лю Великий Архиерей.

Иподиаконы тут же удалили Богдана из храма.

На смену ему появилась Полина, жена Гоши — модная блондинка с фривольным взором. Когда её поставили в центре подкупольного квадрата, она, поморщившись, без всяких це-ремоний сразу же сообщила:

— Подаю на развод. Хватит! Ибо и Бог разре-шил разводиться в случае неверности одного из супругов. Это же сущее свинство, коего я считаю себя недостойной.

В алтаре возникло непонятное движение. Стараниями рук Георгий отчаянно попытался защитить глаза от света. И всё-таки руки здесь мало что могли сделать. Требовалось необык-новенное усилие души. Она запредельно нап-ряглась и... обрела зрение. Светился сам Вели-кий Архиерей, а не просто огромное количест-во свечей. Шалашников ещё больше напряг внутренние силы и заметил, как с синего бар-хата скамьи поднялся один из иерархов (Геор-гий узнал в нём доброго седовласого старца), который кротко обронил:

— Владыко, позволь слово молвить.

— Слушаем тебя, возлюбленный.

Старец, расправив на себе складки полис-таврия, продолжил:

— Никакой измены не было. Существует ве-роятность того, что она могла произойти, но в реальности её нет. А вот сия молодая особа

(епископ указал на Полину) воистину дважды изменила своему мужу, как ни старался я таковому погубительному действу препятствовать.

Полина, скривив губы, возразила:

– Имею право.

– Кто тебе его дал? – спросил старец.

– Бог! Бог дал мне свободу воли. Разве не так? И нечего лезть в личные дела. Я же в ваши не лезу.

Старый епископ, махнув рукой, сел на место.

«Богдана спровадили на колокольню фактически лишь за осторожный подход, а высокопреосвященство гнёт в сторону католического юридика – и все молчат», – подумалось Адаму, удачно сдавшему зачёт по церковному праву на прошлой неделе.

Великий Архиерей произнёс:

– Дух животворит, а буква убивает. А ещё заповедано до скончания мира: «Да любите друг друга».

После чего распорядился обождать Полине и Адаму в притворе.

Оттуда навстречу им проследовала женщина предпенсионного возраста – тёща Шалашникова Зинаида Зиновьевна.

Иподиаконы поставили и её в центре храма.

Она, недолго думая, вспыхнула, подобно дочери:

– За что? Прожито трудное детство, лучшие годы отданы стране. Какой позор...

Зинаида Зиновьевна поднесла носовой платок к глазам, но она то ли смотрела мимо алтаря, то ли, ослеплённая слезами и светом, не видела Великого Архиерея, поскольку с её накрашенных губ сорвалось:

– Товарищ судья, обязана доложить: этот... (говорившая запнулась, подбирая слово, но, так ничего и не подобрав, покрутила пальцем у виска) каждое воскресенье ходит в церковь. Представляете?

– И что?

– Искалечил жизнь моей дочери.

– Чем?

– Женишьбой! Я сразу была против их брака. Вы же знаете мужчин: в каждом из них притаился кто? Верно! Особь, стирающая свои корыстные интересы ниже поясного ремня. Фрейд на редкость оказался честным джентль-

меном. Мужскому собранию, правда, трудно понять здесь столь деликатную точку зрения слабого пола. Прошу учесть.

Гоша по обыкновению заскрипел зубами.

Когда взгляд Зинаиды Зиновьевны встретился с его взглядом, женщина не сдержалась:

– Заработал на Магадан? Тоже мне, дизайнер!

Великий Архиерей обратился к обвиняемому:

– Почему ты выбрал эту профессию?

Шалашников не ожидал такого вопроса, засмутился, но, вспомнив совет своего благодетеля говорить только правду, нехотя ответил:

– Сначала привлекло броское слово. ДИЗАЙНЕР! Звучит современно, громко, многообещающе. А во время учёбы нам, студентам, объяснили: дизайнер занимается формированием жизненной среды целых народов. У немецкого философа Мартина Хайдеггера термин «дазайн» означает «здесь-бытие». Меня это увлекло. Настоящий специалист в нашем деле познаёт волю народа: как он хочет жить? И своей личной волей я призван соединиться с волей народной. Иначе не улучшить общую жизнь. Без хорошего дизайна нет счастливого дазайна! Простите за каламбур. Сегодня вынуждает задуматься главная проблема моей профессии: каким образом учесть волю Божию в условиях, когда мир распоясался и открыл войну против своего Творца?

– Не слушайте его, товарищ судья! – вставила слово Зинаида Зиновьевна. – Любит он, греховодник, наводить тень на плетень. Эх, если бы был жив мой муж...

Не выдержала на хорах до сих пор терпевшая Надежда:

– Тётя Зина, побойтесь Бога! У вас мужика никогда и не было ведь. Все же знают. Могу документ достать.

Зинаида Зиновьевна на мгновение онемела, а потом и Надежде покрутила пальцем у виска:

– Экая Цецилия... Мало тебе лоха зятя!

А тут ещё и заступник Гоши добавил, будто копьём уколел:

– Мы успели выяснить, что твоя дочь вдвое виновней.

Отец Трифон покинул алтарь и попытался

женщину успокоить, однако его старание оказалось напрасным. Страсти накалялись:

— В чём дело? Товарищ судья, у меня на руках повестка; в ней сказано: я — свидетельница по делу обвиняемого Шалашникова, моего... (говорившая опять запнулась, подбирая слово, в результате — лихо провела ладонью над теменем). То же самое написано в повестке дочери. А выходит — это мы с ней обвиняемые?

Из алтаря послышалось:

— Так бывает. Особенно с теми, у кого нет на устах слова «прости».

Зинаида Зиновьевна теперь приставила ладонь ребром к переносице и, выглядывая из-под неё, совсем не смешно осклабилась:

— Что за суд? Адвокат зятя выступает в роли моего прокурора (тоже мне, змееборец!), да ещё и фамильярничаёт со мной на «ты». А судья спрятался в крошечной тьме (стыдно стало?) и, по сути дела, превратился в адвоката подсудимого. Перед кем извиняться? Перед мужчинами?! Мне самой впору подавать на вас жалобу в высшие инстанции.

«Змееборец» глянул на отца Трифона и рубанул рукой по воздуху. Наотмашь. Накрест. Но зримо лишь для иерея.

Священник наклонился и что-то сказал на ухо женщине. Та сразу же осеклась, залепила рот руками и на цыпочках попятилась к выходу.

После возникшей паузы захотела высказаться Надежда. Ей позволили, напомнив о желательной краткости.

— Теперь вы поняли, почему я позвала к себе Георгия? — обратилась она к епископам. — Чтобы полюбить, человек сначала должен доверять тому, с кем собирается связать свою жизнь. Известная истина. Это так же, как в Церкви: через изначальное доверие мы затем приходим и к глубокой вере. О чём вы знаете лучше меня. В любви тоже нельзя без веры. Кто за врага пойдёт замуж? Любишь того, кто кажется тебе всю жизнь родным и верным, хотя знаешь его совсем недавно. Есть большая вероятность ошибиться, тем не менее человек всё равно обречён доверять, ибо нет другого пути к любви. Без доверия нет внутренней цельности человека. Ревность потому и оскор-

бительна, что разрушает непреложное доверие, а значит, целостность взаимоотношений мужчины и женщины. Простите за мирские аргументы. Но прошу Суд учесть: Георгию я почему-то доверяю... С другой стороны, зададимся вопросом: остались ли для него благополучные варианты в этой семье? Что будет дальше? Пустота или любовь. Неволя формальности или настоящая свобода выбора. Благословите и мне выбрать, дабы таким образом покончить с одиночеством, открыть себя для Другого. Да, я нарушаю кодекс суда присяжных: заседатель не должен на открытом процессе выступать в поддержку подсудимого. Потому добровольно слагаю с себя вверенные мне полномочия. Ибо любовь рождает жизнь, а буква закона... — Надежда замолчала, не в силах продолжать дальше. — Прошу понимания и прощения...

Она поклонилась в сторону алтаря, поведя рукой вниз. Движение получилось естественным, пластичным, законченным. В нём различимо обнаружилась исконная древность поклонов кротких русских женщин.

— Ты сама себя сделала одинокой, недавно отказав в доверии прежнему поклоннику. Впрочем, это, кажется, жертва... Считаешь Георгия более надежным? — очаровательно улыбаясь, поинтересовался энергичный спутник Шалашникова. И серьёзным тоном добавил:

— Однако мы до сих пор не слышали последнего слова обвиняемого,

— Это верно, — отозвались иерархи.

Георгию диакон выразительным жестом указал на место, где совсем недавно стояли жена и теща.

Перекрестившись, Гоша начал с того, что упрекнул себя в неумении организовать собственную жизнь. Всё дело заключалось для него в воле, точнее, в её отсутствии. Она часто бездумно принимается чужая или столь же бездумно кому-то навязывается. А ведь воля — это свобода. Это жизнь духа, его энергия и в то же время — её результат. Гоша сознавал высоту тех, перед кем объяснялся; попросил извинить его за, возможно, излишнее напоминание известного факта: для Максима Исповедника воля всегда означает отношение к «другому». Но как люди относятся друг к другу?

Шалашников с оговорками позволил себе обратиться к философии. Не случайно Шопенгауэр писал о воле к жизни, а Ницше — о воле к власти, хотя обе они неразрывно взаимосвязаны для западноевропейца в ключевом понятии «произвол». При этом забыта главная воля — Божия, решившая сотворить саму жизнь. Георгий себя ругал: именно нарушая волю Божию, ограничив себя лишь собственной самостью, он торил путь к Наде, хотя воля праведников напоминала ему о себе. Поэтому в качестве самоосуждения выступавший не побоялся закончить речь цитатой известного русского святителя: «Держащийся своей воли повреждает и погубляет этим все свои добродетели».

— Раз так, то сможешь ли ты простить Аполлинарию? — осведомился Великий Архиерей у обвиняемого.

— Она до настоящего времени не каялась, — ответил Георгий, и на душе у него заскребли кошки.

Тогда в алтаре было решено вернуть из притвора удалённых.

Полина, видимо, просвещённая Адамом, а скорее, устыженная словами старого епископа (или преображённая светом из алтаря?), брела понуро. Тигровый шарфик, до того болтавшийся у неё на груди, теперь покрывал крутые светлые локоны. Глубокое декольте она накрест положила кистями рук, и возникало впечатление, что молодая женщина собралась причаститься. За ней следовал Адам, тоже потерявший себя, но уже не бледный.

Никто и ничего не хотел больше говорить.

Диакон подал заступнику Шалашникова знак, призывавший того в алтарь.

У боковых врат восточный красавец, оглянувшись, улыбнулся Гоше. По губам можно было прочитать несколько тихих слов:

— Живи по правде. До встречи!

Неизвестный, но полюбившийся друг скрылся.

На кого же он похож? И ведь явно похож...

С памятью сегодня беда...

Почему-то стало тревожно. Оно и понятно: мало хорошего остаться без защитника.

Каков будет приговор? Каково наказание?

Диакон всё ещё деловито ходил по соле.

Он, глядя на хоры, позвонил невидимым колокольчиком в руке и лишь затем окончательно удалился в алтарь.

Надежда, встретившись взглядом с Георгием, интригуя погрозила ему пальцем, потом успела согласно кивнуть диакону и через окно тем же играющим жестом позвонила Богдану на колокольне.

Грянул звон.

Даже по первым звукам становилось понятно то, как старается семинарист. Колокола заливались...

С началом звона неспешно пошли навстречу друг другу створки Царских врат. Они скоро сомкнулись, сделав недоступными для глаз блистающего Великого Архиерея и епископов на синтроне. В щели оставалась заметной бегущая алая завеса, скрывавшая врата со стороны алтаря. Она наполнилась светом и превратилась в кровавый закат. Однако сам свет весьма тусклыми отблесками проникал теперь в храм. Возможно, поэтому и зажгли паникадило.

Георгию показалось, что в храме поселился вековой покой. Только огоньки свечей и лампад, горевшие теперь ярче и без всякого дыма, едва заметно колыхались из стороны в сторону, словно подтверждали не какую-нибудь голографическую реальность, а настоящую, нет, сверхнастоящую действительность. Огоньки навсегда стали неугасимы. Воздух благоухал афонским ладаном, очевидно, от кадильного фимиама из алтаря. Установилась тишина; такой Гоша не встречал целую жизнь. Некоторое время лишь Богдан обрамлял её своим звоном, и всё же наступил момент, когда смолкли и колокола.

В душе тревога обернулась грустью. Какая любовь к близким дорогим людям без неё? Впрочем, грусть таинственно перерождалась в неопишное блаженство. Кто его испытывал, тот знает. Отчего душа всегда почему-то плачет.

По щеке Шалашникова поползла слеза, но он не устыдился её, не отёр.

Невесомо спускалась с хоров великолепная Надежда. Так сходила могла только она. Даже старая разохшаяся певучая деревянная лестница под ней на сей раз молчала. Слева в сто-

роне, склонив голову, закрывала лицо руками Полина. Из притвора возникли фигуры Богдана и мигом сбегавшего за ним Адама. Запыхавшиеся братья устали на Царские врата, замерев столбами по обе руки от Гоши.

Извне (с улицы? или из коридора, по которому попал в храм Георгий?) донёлся нарастающий гомон, похожий на утреннее многоголосье лесных птиц. Прозвучал внезапно и завораживающе. Количество пернатых умопомрачительно нарастало и приближалось к храму с каждой секундой. Во всяком случае, так слышал обомлевший Шалашников.

Картина прояснилась, когда тяжёлые деревянные двери притвора распахнулись и в храм наводнением хлынула огромная толпа детворы. Большинство её были дошкольниками. За считанные минуты стало настолько многолюдно и тесно, что Георгий, Богдан, Адам, Полина и Надежда оказались прижатыми друг к другу. Даже хоры переполнились детьми.

— Не кажемся ли мы со стороны островом в сияем ювенильном море? — неизвестно кого задумчиво спросил Гоша. — Но где отныне та или иная сторона, чтобы с неё посмотреть?

Несколько детских голосов зазвенело:

— Воскресение Христово видевшие...

Сразу же, став волей единой и неоспоримой, к ним присоединился весь храм, вместе с «островом».

После слов «...распятие бо претерпев, смертию смерть разруши» голоса разделились на два клироса. Второй клирос подхватил:

— Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...

И когда праздничный тропарь полностью был пропет, — погасло паникадило; долгожданно для «острова» двинулась, наконец, в обратную сторону завеса; медленно начали открываться главные врата храма.

Какова будет воля свыше?

Из безлюдного алтаря ударил свет, и на амвон вышел с Чашей сияющий отец Трифон.

Виктор Семёнович КУТКОВОЙ

родился в 1949 году на Кавказе.

Автор пяти монографий и более семидесяти научных статей,

а также романа «Царская земля»,

повести «Посреди нас» и многих рассказов.

Публиковался в журналах «Москва», «Роман-журнал XX век»,

«Русская провинция», «Духовный собеседник», «София» и др.

Член Союза художников РФ.

Кандидат философских наук.

Живет и работает в Великом Новгороде.

В журнале «Север» публикуется впервые.



**Вячеслав
САВАТЕЕВ**

г. Москва



«И комиссары в пыльных шлемах»

*(революция и гражданская война в русской прозе 1920–30-х годов:
Д. Фурманов, Ю. Либединский, Я. Катаев)*

1

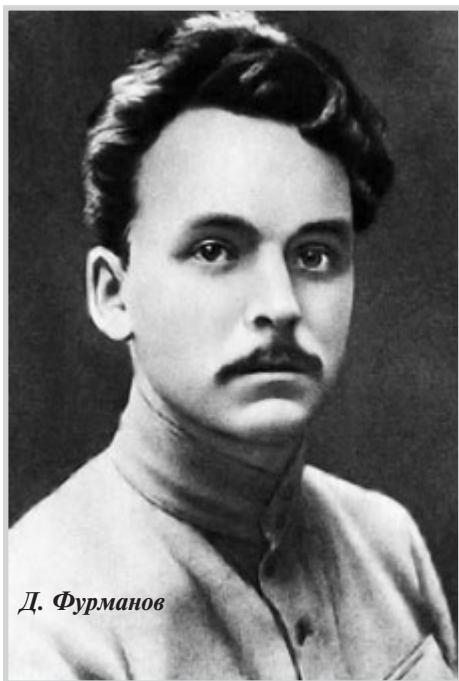
Революция и гражданская война стали центральной темой нового поколения писателей, пришедших в русскую литературу после Октября 1917 года. Французский поэт П. Беранже задолго до этого времени писал: «Если к правде святой / Мир дороге найти не сумеет, / Честь безумцу, который навевает / Человечеству сон золотой». Каким должен быть писатель в новых условиях? Об этом немало размышлял Дмитрий Фурманов. Он считал, что в «бурю гражданских боев» нельзя писать «об особенностях греческих ваз... Они, конечно, красивы и достойны, а все-таки ты сукин сын: или по идиотизму, или по классовости»¹. «Для фарфоровых ваз есть фарфоровое и время, а не стальное». Да, время было явно не «фарфоровое».

Его первая повесть «Красный десант» (1921) по тематике и художественным приемам тесно примыкает к романам «Чапаев» (1923) и «Мятеж» (1925), являясь по сути первой частью трилогии о гражданской войне. Писатель шел малопроторенными путями в советской литературе. В повести, во многом еще несовершенной, он создает ряд портретов ко-

мандиров и бойцов Красной армии. Порой эти портреты похожи на эскизы, в них еще нет должной глубины, психологической сложности. Автор подчеркивает физическую силу и душевную открытость своих героев, их яркую индивидуальность.

Персонажи Фурманова во многом документальны в своей основе; общая же атмосфера повести, самый ее пафос наполнен романтикой, героизмом, жертвенностью, духом победы. Таков командующий Кубанской армии Епифан Ковтюх, человек, преданный революции, отважный, увлекающий за собой бойцов. Он один из тех, кто устанавливал советскую власть на Кубани. Он возглавляет операцию «Красный десант», в результате которой «беляки» разбиты наголову. Его образ напоминает героев русских былин. При всем этом он – живой человек, талантливый руководитель, «переигрывающий» своих врагов, добивающийся победы в труднейших условиях. «У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь /.../ Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх».

По мнению писателя, этот командарм – один из тех, кому было суждено остаться в памяти народной полуполюгендарным героем. «Вокруг его имени уже



Д. Фурманов

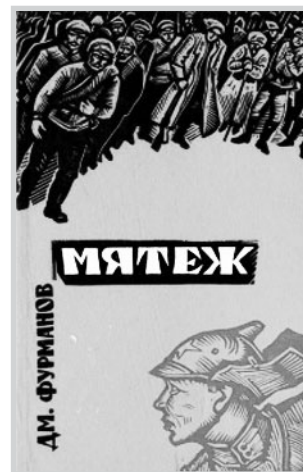
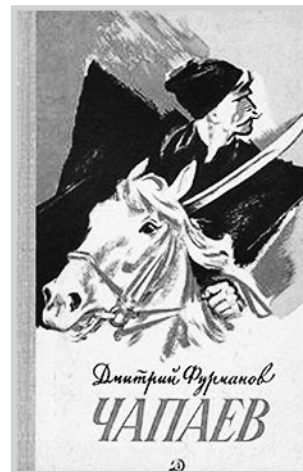
складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные танцы ко всяким большим событиям...» Знал бы Фурманов, какая страшная судьба ждет этого богатыря в реальности! Он погибнет не от пули белогвардейцев – его бросят в подвалы НКВД, и он будет расстрелян в тридцать седьмом. Его имя долгое время будет в клейменных списках – «враг народа»... Под стать Ковтоху и его заместитель – Ковалев. Не вспомнить, сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Не сосчитать, сколько раз был ранен... «Я не знаю, – пишет автор, – есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек – не понять». Колоритен образ и эскадронного Чобота – словно отлит в камне: «высокий, мускулистый, могучий». Полуголодное бродяжничество из города в город, из конца в

конец по широкой Руси, нескладная семейная жизнь – ничто не убило в нем бодрого духа, какого-то ясного, оптимистического отношения к жизни.

Писатель не жалеет высоких, восторженных слов для характеристики своих героев. Они идут в тыл врага, преодолевают одну опасность за другой, мужественно сражаются с врагами, побеждают их. «Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно/.../. Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей». К радости примешиваются и печальные ноты. Еще недавно никто не знал, как обернется эта рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу. Теперь, плывя обратно, бойцы не досчитывались в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей. Повесть «Красный десант» – в целом удачная попытка документально-художественного повествования о революции и героях гражданской войны, получившая свое развитие в последующих произведениях писателя.

* * *

...Внутренние часы Д.Фурманова не могли не подсказывать: у него мало времени и надо торопиться писать. Пришло время «Чапаева» – и его нельзя было больше откладывать. Задумана книга была еще в 1919 году, когда Фурманов был комиссаром 25-й дивизии, которой командовал В.И.Чапаев. После этого писатель несколько лет осмысливал накопленный материал, изучал документы, архивы, вел переписку с теми, кто, как и он сам, был непосредственным участником описываемых событий, вел дневник. «На первое место выступил Чапаев, – записывает он в марте



1922 года, – тут материала много, и в первую очередь материал, хранящийся в моих дневниках. Его очень, даже очень много. Кое-что останется неиспользованным. Кроме того, копаюсь в архиве Красной армии, некоторые книги принес Кутяков /.../ послал кому надо письма в Самарскую губернию в Заволжский ПУОКР, пороюсь в архиве ПУРа – словом, постараюсь сделать все возможное к тому, чтобы действие разворачивалось на фоне конкретной обстановки, вполне соответствующей действительности».

Он делал заготовки к будущему роману, в частности, написал целые главы, которые будут использованы в произведении, – такие как «Пилюгинский бой», «Лбищенская драма», некоторые другие. В

том же году Д.Фурманов приступил к непосредственной работе над произведением. Началась «борьба с материалом», как писал сам Фурманов. Надо было отобрать главное, характерное. Предстояло решить, как соединить, «переплавить» в единую ткань документы, историческую основу с собственно художественной «обработкой».

Книга Д.Фурманова – это не просто беллетризованная биография Василия Ивановича Чапаева. Хотя бы потому, что автора интересует не одна фигура главного героя; не менее важны другие персонажи, атмосфера, среда, в которой действуют персонажи. Роман построен на документальной основе; однако не меньшее значение в нем имеет и очевидное «домысливание», принципы и способы художественного обобщения. Создавая образ легендарного народного вождя, писатель ставил перед собой и более общую задачу – показать сложный и неоднозначный процесс «рождения героя», «переделки» стихийного бунтаря в сознательного, дисциплинированного борца за дело революции.

Эта задача в известной мере идеологизировала роман, усиливала «агитационную» составляющую. Однако следует признать, что «борьба с материалом» в основном шла под знаком «переплавки» документального материала (самого по себе важного) в художественное произведение с его собственными законами. Это в значительной мере и предопределило победу художника над идеологом, обеспечило широкий успех произведения.

В наше время авторы некоторых «разоблачительных» публикаций о Чапаеве и романе Д.Фурманова пытаются убедить, что «живой человек (Чапаев) был совершенно не похож на того, кто стал героем книги Дмитрия Фурманова и снятого по ее мотивам фильма»². Говорить так – значит искажать творческие установки писателя, не видеть и не понимать особенностей жанра, образной системы произведения. Он не ставил перед собой задачи фотографа, ему важнее было показать не внешнее, а внутреннее сходство своего героя с оригиналом.

Чапаев в романе – именно «живой человек», автор во многом «поднимает» его, сглаживает некоторые углы, но не скрывает, а подчеркивает самобытность его характера. Приступая к работе над романом, писатель спрашивал себя: «дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную?» И отвечал сам себе: «Склоняюсь больше к первому». Современный критик и литературовед С.Поварцов в связи с этим писал: «Соблюдение такого баланса давалось Фурманову с трудом. Тем не менее легенда состоялась»³. Да, легенда состоя-

лась, но прежде всего потому, что в основании ее была историческая реальность.

С самого начала образ «народного героя» сравнивается с такими представителями русской «вольницы» в прошлом, какими были Пугачев, Стенька Разин, Ермак. В этом пантеоне Чапаев занимает достойное место. Главные черты его характера – «удаль и молодечество». Он больше именно герой, чем борец, революционер. «Самобытная, яркая, колоритная фигура», «оригинальная личность», – отмечает Федор Клычков. Он с тревогой думает о том, как трудно будет этого героя сделать подлинным революционером, обуздать его стихийную силу, направить ее в нужное русло, заставить служить партии.

В романе (глава «Степь») есть сцена бурана, неуправляемой стихии, хаоса, который служит своеобразным символом, ключом к характеру Чапаева. «Ветер дул резкий и неопределенный: он рвал без направленья, со всех сторон, словно атаковал невидного врага, кидался на него, как пес цепной, впиался, рвал остервенело, но каждый раз могучейшим пинком отшвыривался вспять». Писатель здесь, как и в «Красном десанте», использует прием контраста: небольшая физическая сила – и огромная духовная власть над массой. Чапаев выделяется из массы – «почти женские руки», «тонкий нос», «тонкие губы», «бритый подбородок», «фельдфельские усы»... И далее: «умные глаза», «лицо матовое, свежее, чистое».

Автор создает портрет своего героя в динамике. Вот он готовит план наступления на врага. «То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах /.../. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты развевались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утренник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники. Чапаев шел в наступленье!»⁴

Перед нами сильный, волевой командир, знающий, чего он хочет. Он не остановится перед крайними мерами, кто бы перед ним ни был, если тот проявляет трусость или допускает серьезную ошибку. Ярче всего характер Чапаева, его бойцовские, командирские качества проявляются непосредственно в бою. Он считает, что надо верить в свою победу – иначе не победишь. Перед боем он поет песни со своими бойцами – это своеобразный акт духовного, эмоционального единения с теми, кто идет за ним на смерть. Песни народные, революционные – они также призваны поддержать веру красноармейцев в свою победу.

Герои Фурманова, даже безымянные, видятся ему святыми, отдающими свои жизни ради общего дела революции. «Эти вот худенькие веснушчатые руки уже не будут сложены на животе – они будут разметаны, как в бреду, по сторонам, и будет похоже, словно мужичка распяли и невидными гвоздями приколотили к снежному лону... Оловянный взгляд так же неподвижен, как теперь: мертвый, остывший взгляд похолоделого трупа». Смерть страшна, но жизнь отдана ради будущего, – этот мотив проходит через весь роман, наполняет его оптимизмом. Перед нами вариация «оптимистической трагедии» – смерти единичного «винтика» во имя жизни единого целого, некоего братского единства. Следует признать, что в ряде случаев эти мотивы звучат недостаточно органично, проступает некоторая плакатность, публицистичность.

Автор не забывает отметить и психологические нюансы переживаний своих героев; и тогда звучат «человеческие» ноты. Говорится о чувстве естественного страха перед боем: «Сердце сплющивалось и замирало тем необъяснимым, особенным волнением, которое овладевает всегда при сближении с местом боя и независимо от того, труслив ты или робок или смел и отважен: спокойных нет, это одна рыцарская болтовня, будто есть совершенно спокойные в бою, под огнем, – этаких пней в роду человеческом не имеется». Эти рассуждения далее подкрепляются реалистическим изображением той растерянности, паники, которую испытывает Клычков в сломихинском бою. В противовес Клычкову, испытывавшему страх и растерянность, Чапаев чувствует себя в стихии боя как рыба в воде. «В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто демонов крылья, летевший по ветру, – из конца в конец носился Чапаев». «Летающий», «носящийся» Чапаев – чем не вариант ковра-самолета, на котором летают герои русских фантастических сказок! Это звездный час самого Чапаева, его бойцов. «Чапаев держал в руках коллективную душу огромной массы и заставлял ее мыслить и чувствовать так, как мыслил и чувствовал сам». После боя отношения Чапаева с бойцами меняются, он становится мягче, радушнее. «Я вам командир, но командир я только в строю». Прав критик В.Чалмаев, который отмечал: «В митинговых сценах романа, дышащих редкой силой страстей, наглядностью помыслов и простодушных решений, – источник огромного обаяния, открытости характера Чапаева, всей его энергии самодвижения через времена и континенты»⁵.

Д.Фурманов использует различные приемы для того, чтобы создать психологический рисунок своего героя, раскрыть его национальную подоснову. Чапаев предстает типичным русским человеком, с

его открытостью, вспыльчивостью, которая быстро сменяется отходчивостью. Его душа нарастает; он легко «идет на удочку», так распаивается, что «сердце видно»; он честолюбив, порой не в меру хвастлив. Чапаев «доверчив, как малое дитя», это «орел с завязанными глазами»; «этот кремневый, суровый человек, этот герой-партизан может быть, как ребенок, прибран к рукам». При всем этом голову он носит «высоко и гордо» и его имя «имело магическую силу». Автор пытается понять и объяснить читателю уникальный исторический момент, рождающий именно таких героев, как Чапаев. Об этом, в частности, мы находим характерные размышления Клычкова в главе «До Белебея». «Чапаевы были только в те дни – в другие дни Чапаевых не бывает», – считает Клычков. «Боевая страда – чапаевская стихия»; «его родила та масса, в тот момент и в том состоянии», – объясняет далее автор самый феномен Чапаева. Писатель не уклоняется от разговора о трагической стороне революции и гражданской войны, не избегает порой грубых, натуралистических сцен, «ужасных повестей», свидетелем которых он был.

* * *

Следующий роман Д.Фурманова – «Мятеж» не имел такого громкого и заслуженного успеха, как «Чапаев», но и в нем читатель находит много ярких красок и характеров того бурного и драматического времени, которые и сегодня неотделимы от эпохи революции и гражданской войны. И на этот раз знаковая творческая лихорадка охватила Д.Фурманова, когда он приступил в работе над новым романом. «Опять, как перед «Чапаевым», занимает дух. Опять растерялся; не знаю, в каком лице, в какой форме повествовать, как быть с историческими документами и проч.», – вспоминал он. Место действия романа «Мятеж» – Туркестан, Семиречье. Произведение со сложной проблематикой, развернутым конфликтом, многозначной системой образов написано от первого лица. С первых же его строк мы погружаемся в мир контрастов, где, с одной стороны, господствует «дремотная Азия» с ее тысячелетними традициями и обычаями, с ее восточным колоритом, пряными запахами, яркими южными красками. А с другой – в него врывается хаос гражданской войны, посланцы Советской России, несущие с собой знамена новой правды, новую власть, которую нелегко принять местному населению, с его обычаями и представлениями.

Писатель сразу и четко обозначает жесткую классовую расстановку противостоящих сил. Про-

тивники новой власти – это и остатки белогвардейцев, и кулацкое «отродье», и мусульманство, и местные богатеи, и казаки, и живущие неподалеку, за границами Китая, киргизы, изгнанные туда в 1916 году царской властью, да и многонациональное местное население – прежде всего киргизы, с которыми тоже трудно найти общий язык в прямом и переносном смысле.

Автор-повествователь постоянно подчеркивает, что ему придется действовать в незнакомой обстановке, среди людей, которых он недостаточно знает, не понимает их. Его сбивает с толку, когда вместо привычных рабочих кепок он видит «то чернopolую шляпу, то увесистую шапку, картуз крестьянский», а то «белую долгую простынь, замотанную так хитро и ловко, – туземный головной убор». И слышит непонятные слова, незнакомый язык. «Что он, этот говор: про радость, довольство идет или зло потешается, прокликает, каркает беду? Не знаем, не знаем, – ничего не поймем», – приговаривает он.

Д. Фурманов пользуется приемом вставок, носящих характер самостоятельных сюжетов, новелл. Это, в свою очередь, придает роману черты панорамы, когда центральное действие как бы обрастает дополнительными сюжетными линиями, при этом работающими на общий замысел. Таковы сюжетные линии, связанные с возницей Клим Климичем, Иваном Карпычем. Так, Иван Карпыч с крайним недоверием относится к людям, которые приехали из России утверждать новую власть. И у него есть на то свои основания. По его выражению, ревком – это те, «у кого глотка шире была, тот и в ревком». А в состав Советов, считает Иван Карпыч, по преимуществу вошли те, кто «свои делишки выделявали» да о своей выгоде думали: «валяй, дескать, – наша взяла». И вывод из всего этого неутешителен: «народу везде много, только работников вот не хватает».

Центральная часть романа посвящена приходу в город Верный (Алма-Ата), центр Семиречья. Здесь завязывается узел, состоится неизбежная схватка противостоящих сил. В своем описании напряженной атмосферы, событий вокруг мятежа писатель использует различные документы, телеграммы. Это усиливает впечатление правдоподобности, непридуманности. Одновременно в романе много массовых сцен, которые написаны выразительно, хорошо передают настроение «толпы», ее поведение. Следует отметить, что интернационалистская идеология автора порой приглушает мысль о месте и роли русского народа в революции, в органах новой власти. Так, в романе приводится документ, в котором звучит требование бороться за «подлинно советскую власть». Для этого необходимы выборы, а не назначение; власть должна отвечать пе-

ред народом. Далее авторы воззвания говорят о необходимости допустить к власти представителей русского народа, в то время как в настоящее время у власти находятся «иностранцы». Отныне все народы, живущие в России, свободны, равны, говорится в документе. «Мы не сделаем никакого насилия над народностями, но не позволим делать насилие над русским многострадальным народом, над русским крестьянином, рабочим, трудящимся. Мы это насилие видим со стороны шовинистской, не истинно Советской власти».

Приведя это воззвание, писатель ставит его в ряд документов, в которых отражается враждебная идеология, и не находит нужным возражать против этого. Для автора это – «отрыжка» мелкобуржуазной идеологии, которая мешает утвердить высокие интернациональные цели. Между тем в этом пренебрежении «русским вопросом» была ахиллесова пята новой власти; без решения этого вопроса невозможно было рассчитывать на широкую национальную и социальную базу своей поддержки.

Впечатляющие картины мятежа предстают в заключительной части романа. Это – хаос, буря, лавина, вулкан, лава – природная стихия, которую чрезвычайно трудно обуздать. «В грозной обстановке грянул мятеж. В Семиречье в те дни – что на вулкане: глухо выли подземные гулы, раскатывались зловещим, жутким рокотом – все ближе, явственней, тревожней. И каждый миг можно было ждать: распахнется вот наотмашь широкий каменный зев, раздастся еще шире накаленная глотка, и вымахнет из нее с воющей бешеной силой расплавленное море, – помчится с присвистом, с гиком огненный ревущий ужас, все сжигая, унося, затопляя на мертвом пути».

Что остановит бешеную лаву? Где сила, что осмелится перегородить ей путь? Писатель прибегает к риторическим фигурам, нагнетая ощущение опасности, грядущей катастрофы. Единственная сила, которая сможет победить эту слепую стихию, – организованная воля коммунистов, красноармейцы, подчиненные дисциплине, – убежден автор. Следует признать, что приемы, сравнения, метафорика в изображении поведения перед схваткой, самого мятежа выглядят все же несколько однообразно, монотонно. Писатель не всегда находит емкий, свежий образ, часто использует поверхностные сравнения. «Близилась гроза, – пишет, например, автор. – Хохотали зловеще вдалеке первые смутные раскаты. В душной испарине близкой бури было трудно дышать». Более живо, красочно выглядят сцены, где писатель затрагивает острые моменты, где герои показаны не в статике, а в споре, полемике, говорят не в бровь, а в

глаз. Таких диалогов немало в романе. В них – ощущение реальной жизни, голоса «толпы». «Посмотрите, кто в Семиречье у власти: Фурманы, Шегабутдиновы, Линденбаумы: разные жиды, киргизы и мадьяры. А трудовые крестьяне снова – в рабстве». Сам автор характеризует это как «демагогию», призывы к свержению советской власти...

Писатель стремится воссоздать объективную картину недовольства властью, говорит о радикальных требованиях мятежников. Дать оружие рядовым красноармейцам, разогнать трибуналы, отменить расстрелы. Ропот восставших: «– Подлецы разные... Укрылись по трибуналам... расстреливать... наживаться. Мы кровь проливали... разнести трибуналы до основания». Дали им «честное слово», обещание не расстреливать, распустить трибуналы, чтобы успокоить бунтовщиков. Однако что такое «честное слово»? Уж, конечно, не слепое ему служенье, – довольно откровенно пишет Фурманов. Только целесообразность – и больше ничего. Если будет надо – тотчас же от обещания готовы отказаться; ради достижения «светлой» цели хороши все средства. Знают это и восставшие, а потому обещаниям не верят.

В чрезвычайных обстоятельствах оправданны и чрезвычайные меры, действия, убежден автор. Коммунисты вынуждены хранить свои тайны, секреты, потому что они находятся в осажденной крепости. Они готовы сами умереть за счастье народа, но готовы и убить своих единомышленников, если те нарушают клятву. Так, после телеграммы из центра они приняли «тайные» решения – и тут же расписались в том, что каждый обязался «хранить в строжайшей тайне» все, что говорилось между ними, а также обещал неукоснительно выполнять данные поручения. И в заключение – «за нарушение тайны обрекаем себя на расстрел». Жертвенность, кровь, расстрел – Фурманов считает возможными подобные меры, когда речь идет о служении высокой цели. Это новая религиозность, которая приходит на смену религии «старой».

Итак, чрезвычайное положение требовало чрезвычайных мер. В ответственный, переломный момент – когда Фурманову предстоит выступить перед толпой восставших против советской власти, – он формулирует своеобразный катехизис коммуниста, пропагандиста. Перед нами по сути психологический и стилистический шедевр, в котором уместилось многое. Это, пожалуй, самое «агитационное» место в романе. Автор предлагает «взять в руки мятежную толпу», из официального доклада «построить агитационную речь», склонить людей принять свои требования. Что для этого нужно? Надо почувствовать свою силу, выступить твердо, уверенно,

без малейших уступок и колебаний. Это звучит как заклинание, как молитва перед боем, как мантра новой религии, которой поклоняются большевики.

Следует признать, что изображение того, как надо «взять толпу» и держать ее в своих руках, чтобы затем сделать с ней то, что задумано, – впечатляет. Чувствуется, что здесь автор исходит из своего богатого опыта пропагандиста. Обращают внимание точность, страстность описаний, эмоциональный накал. Фраза становится все более сложной, разветвленной. Перед нами опять-таки развернутое сравнение толпы с грозой: «Если нарастает, вот она, близится гроза, чуешь ты ее жаркое близкое дыхание /.../ иди – как над ревущими волнами ходят по зыбкому, дрожащему мостику, остерегайся, озирайся, стремись видеть враз кругом: пусть видит голова, пусть видит сердце, весь организм пусть видит и понимает, потому что кратки эти переходные мгновенья и в краткости – смертельно опасны».

Перед нами – стиль заговора, призванного гипнотизировать читателя. Стилистая избыточность напоминает проповедь, а не инструкцию партийного пропагандиста, что призвано подчеркнуть важность момента. Герой идет к толпе – как Христос шел на Голгофу. Погибнуть или победить. Здесь ощущается форсированная призывность пролетарской поэзии начала 20-х и словарь революционной романтики вперемешку с лозунгами «сверхчеловека». В этих интонациях угадываются герои ранних романтических рассказов М. Горького, и прежде всего пламенного Данко, готового пожертвовать своей жизнью ради освещения пути заблудившимся людям.

«Ты не на празднике, ты на поле брани, – настаивает далее автор романа, – и будь, как воин, вооружен до зубов. Знай хорошо противника». И опять звучит высокая патетика. Толпа – противник, ее надо взять «на узду». Как важно найти нужные слова для толпы – «чтобы дошли они к ней, проникли в сердцевину, как в мозг кинжал. Если в тон не попал – пропало дело: слова в пространство умчатся, как птицы». Здесь патетика сливается с известным практицизмом, которого требует борьба с противником. И вот заключительный «совет» автора: если все не поможет и тебе придется умереть – «сойди с трибуны, с бочки, с ящика, все равно с чего, сойди так же смело, как вошел сюда. Если быть концу – значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно!»

Герой одерживает победу над толпой. После этого повествование быстро следует к развязке, к своеобразному «хэппи-энду». Для побежденной стороны развязка звучит сухо и решительно – как очередь из автомата: «Выбрались из заточения осо-

бисты и трибунальцы, рьяно взялись за розыск – поимку мятежников: ловили по садам, огородам, вынюхивали в подвалах, погребях, навозных кучах, на чердаках, в траве, на деревьях, под перинами, в сундуках с бельем, ловили в горах, по дорогам, по селам, деревням. Скоро почти все главари были у нас в руках». Дальше – «Петров и с ним еще два-три убежали. Петрова потом пристрелили где-то в деревне, когда кинулся двором к тыну от накрывших его агентов». Еще: «Человек двенадцать главарей расстреляли. Остальных – разбросали в заключение или по другим губерниям и городам. Полки, которые было надо перебросить из Семиречья, перебросили. Кулачье семиреченское притихло, убедившись, как трудно бороться с Советской властью, как дорого обходятся попытки свалить ее с ног. Поистине – дорого. Это поняло не только кулачье Семиречья, но и крестьяне Тамбовщины, других краев и областей России». А позже, десятилетие спустя, в год великого перелома, комиссары «в пыльных шлемах» вновь придут в села и деревни, чтобы завершить то, что начали в самом начале двадцатых...

В романе «Мятеж» успехи тоже были впечатляю-

щими, но до «головокружения» все же было еще далеко, и Д. Фурманов не мог предугадать, чем все обернется. Хотя, наверное, он должен был бы кое-что предвидеть, предчувствовать, уловить в горячке тех лет признаки и опасность революционного «головокружения». Но сказано: лицом к лицу лица не увидать. А беспристрастным свидетелем событий и провидцем Фурманов точно не был. И кто осудит его за это? Конструкция «оптимистической трагедии», которой пользовался Д. Фурманов, станет довольно распространенной в советской литературе. Она зачастую держалась на искусственном, натужном пафосе. В книгах Д. Фурманова есть нечто большее – искреннее чувство, вера автора в идеалы революции, вера его героев в то, что светлое будущее возможно – его только нужно завоевать. И это правда. Но оказалось, что завоевать мало – это будущее еще труднее сохранить в чистоте, еще труднее не дать погасить огонь веры. Он так легко гасится. Фурманов этого не мог знать. Для этого надо было жить долго...



Ю. Либединский

2

Юрий Либединский говорил, что одним из толчков к созданию его повести «Неделя» (1922) было желание возразить тому, как изображал революцию, в частности, Борис Пильняк⁶. Тот, по выражению Либединского, видел в революции «свинство», а на самом деле герой революции – другой. Либединский видел основное противоречие эпохи гражданской войны в том, что она требует больших жертв. Пафос жертвенности, романтический ореол коммунистов, героев революции положен и в основу «Недели».

Уже в эпиграфе к повести, призвал сам Ю. Либединский, «в свернутом виде» были заключены и главная тема произведения, его цели, герои, стремление поведать о себе, о своем поколении и времени... «О нас, о нашей жизни и нашей борьбе» – вот тема, материал, которых хватило писателю, по сути, на всю его творческую жизнь.

Современный исследователь (Г. Медведева) определяет основные мотивы повести: это «мотив весны, мотив борьбы и весны, мотив борьбы и героизма коммунистов, мотив враждебного старого мира». Исподволь, но накрепко завязывается центральный конфликтный узел повести: для того чтобы вырастить хлеб, нужны дрова, а для этого, в свою очередь, необходимо отправить боевой отряд за город, ослабить оборону города. Напряжение на-



растает после облавы на «бывших», затаившихся во всех порах городка. Бандиты предпринимают попытку свержения советской власти, однако красным удается подавить бунт; повесть заканчивается победой, похоронами убитых красноармейцев.

Главные герои повести – коммунисты. На субботник, на заготовку дров они идут как на свой последний бой. И деревья гибнут в этом бою как герои. Этим чувством проникается даже беспартийный Мартынов. «Звенели пилы, и деревья содрогались. Когда их подрубали, они тяжело падали, ломая ветви свои и соседней; их тела распиливали и легко, с маху раскалывали круглые чурбаны. Пеньки покрыты были душистой слезой; умирая, дерево благоухало, и горький запах осины сливался со свежим и сладким ароматом березового сока...»⁷ В этом – прозрачная символика: так умирают люди, отдающие жизнь за светлую идею.

Городок изредка беспокоит колокольный звон, гудок тревоги, призывающий людей к общим делам. Но за всем этим – тайная, скрытая жизнь. Внешне простая, обыденная – такая, как накануне кулацкого бунта – «не подвиг, не смерть, а просто бессонная ночь...». И в этой «бессонной ночи» происходила «воодушевленная работа» нескольких сот коммунистов, «чистивших» город ночью от «контрреволюционного элемента». И эта «работа» выглядит впечатляюще: «руководители облавы объезжали районы и повсюду то и дело выводили из ворот испуганных и заспанных мужчин, передавали их пикетам, а те препровождали в центральный штаб облавы, где регистрировал, допрашивал, выяснял личность молчаливый Горных, который не спал уже третьи сутки». Характерно, что сцена заканчивается в бодро-оптимистической тональности: «всходило молодое, веселое солнце», а у одного из героев – Мартынова – всего-навсего «болела голова»... Еще оптимистичнее представлена картина коммунистического субботника, на который сгоняется все население городка, включая «бывших».

Образы коммунистов представлены с явным сочувствием, это во многом мечтатели, идеалисты, романтики, склонные к жертвенности. Вот перед нами один из старых коммунистов – Робейко. Он тяжело болен, но, попав в плен к бандитам, «своих врагов не боится и презирает их», проявляет недюжинное мужество и погибает несломленным. Робейко обладает авторитетом не только у своих товарищей по борьбе, но и у молодежи, которые берут с него пример нравственной твердости, идейной убежденности. Неизлечимая болезнь, героическая гибель создают особый ореол, который призван вызвать читательские симпатии.

Несколько по-иному представлен образ комму-

ниста и опытного руководителя Зимана. Среди разрухи, когда людям не хватает хлеба и дров, он думает о будущем, мечтает о хозяйственном расцвете своего края через десять лет. Он утверждает, что «под землей дремлет» огромное количество торфа, тепловой энергии и придет время, когда будут построены электростанции, появятся торфоразработки. Тем самым автор эмоционально связывает своего героя со светлыми планами будущего, которое должно наступить после гражданской войны. Надежды и планы «мечтателя» местного масштаба явно переключаются не только с конкретными планами «освещения» России «лампочками Ильича», но и с более общими планами «кремлевского мечтателя» выволить Россию «из мглы». Этот мотив играет важную идейно-художественную роль в структуре произведения Либединского.

Твердым, «железным» коммунистом предстает в повести руководитель городской организации ЧК Климин. «Дело наше – тяжелое дело», – говорит он о чекистах, о важности «твердой руки». Он сам признает, что в революции он возненавидел раньше, чем полюбил. Ему приходится расстреливать врагов, и это дается ему «нелегко»... В этом образе писатель затрагивает вопрос о праве и ответственности большевиков вершить суд над людьми от имени революции. Однако во всей своей остроте и сложности эта проблема у Либединского не раскрыта.

В повести есть рассказ о смерти чекиста Сурикова. По характеристике Климина, Суриков был хорошим партийным работником, пропагандистом, но слишком доверчив, ему не хватало бдительности, ненависти к врагу, поэтому он оказался «плохим чекистом». Настоящие чекисты, говорит нам автор, – не должны никому доверять, следует постоянно помнить о врагах, это особая каста, особая человеческая порода. Таков, например, следователь ЧК Горных, «боевой парень». Ему чужда беспечность, хотя он молод и сначала тоже допускает ошибки. Но в решительный момент в нем пробуждается энергия, незаурядный талант организатора. Это он пришел к рабочим в депо, всех поднял на борьбу с бандитами. Горных принадлежит к твердокаменным, идейным, убежденным бойцам революции, они приходят на смену старой гвардии...

Противоположный коммунистам лагерь представляют несколько «бывших» – офицер Репин, мелкий хозяйчик Сенатор, некий безымянный «рыжий», другие бандиты, кулаки, активно настроенные против новых порядков. Пожалуй, наиболее выразителен Рафаил Сенатор, владелец реквизированной аптеки; «маленький, толстенький, в черном жилете без сюртука». Он легко возбуждается, срывается на крик: «– Советская власть хочет всему народу доб-

ра? – опять кричал Сенатор. – Но разве я не народ, разве он не народ? – И пальцем указал Сенатор в сторону рыжего, который одобрительно мычал. – Какое ж они нам добро сделали? Ободрали как липку...» Читатель видит, как в жестокой классово-борьбе принимают участие представители обоих лагерей. Расправляются со своими врагами Репин и его сторонники, расстреливать приходится чекисту Климину и его подчиненным. Однако автор несколько не колеблется в ответе на вопрос: кто виноват в этой братоубийственной гражданской войне? Не принимает он и ответа, что виноваты обе стороны. Авторский ответ вполне очевиден и однозначен: виновны «бывшие», это они развязали сопротивление против воли народа, воли революции...

Есть в повести и несколько персонажей, которые не сразу определяют свою позицию в борьбе, колеблются, порой не могут сделать свой выбор. Революция для многих, и прежде всего для тех, кто не понимает, что происходит вокруг, – «странная сила». По-своему привлекателен, драматичен в повести образ красноармейской учительницы Лизы Грачевой. Пережив гибель близких людей, Грачева утрачивает слепую веру в Бога, участвует в субботнике по заготовке дров, проникается идеями борьбы за справедливость. Но она «выдумала свою революцию и свой коммунизм, Христос, которому она молилась раньше как небесному царю, приобрел для нее новое значение: он спустился на землю и стал покровителем коммунистов – людей, борющихся за счастье человечества». В образе Лизы Грачевой писатель показывает один из путей в революцию – через соединение веры в бога и веры в социальную справедливость.

Первая повесть Либединского с самого начала получила одобрительные отклики в печати. Так, Николай Бухарин писал, что «Неделя» была «первой ласточкой новой советской литературы». В ноябре 1922 года в «Правде» также была напечатана положительная рецензия Ю.Соболева; в январе следующего года (1923) в газете «Известия» появилась статья П.Когана, а в феврале состоялся диспут, на котором этот критик выступил с докладом. В нем Коган назвал повесть Либединского знаменательным явлением современной литературы, утверждая, что автор «Недели» впервые показал внутренний мир коммуниста.

Сам писатель подчеркивал: «Я все время пытался добиться наибольшей типизации и драматизации изображаемого». Это был сознательный выбор, в котором писатель пытался сочетать реалистический способ изображения действительности с романтизацией героев, ситуаций. И это нашло свое отражение в критических оценках повести. А.Серафимович

полагал, что обаяние «Недели» – в ее романтике. Однако с этим многие не соглашались и, в целом положительно оценивая дебют Либединского, критиковали автора как раз за излишний романтизм в изображении героев, за «односторонне-жертвенный пафос» и т.п. Так, Д.Фурманов, который сам в эти годы работал над книгой о гражданской войне, о Чапаеве, видел недостатки «Недели» в том, что у автора повести «нет партийной массы», а важно показать «массовость»; что неправильно подчеркнута исключительность героев, что коммунисты представлены у него преимущественно одиночками.

В конце концов и сам Либединский вынужден был признать, что в повести «у него перегиб к романтике». Читательский же интерес к повести объяснял тем, что он оказался одним из первых, кто обозначил качественно новый этап литературы. Он писал по этому поводу: «Почему «Неделя» так хорошо была встречена? Потому что она хорошо написана? Нет. Написана она по-ученически, растянуто и бледно. Автор даже не развернул сюжета и не мог отчетливо разбить повесть на главы /.../ «Неделя» важна не сама по себе, а поскольку она и целый ряд других начинают какой-то качественно новый процесс в литературе»⁸. Самокритично и верно, но лишь отчасти.

Как бы то ни было, первое произведение Либединского прочно вошло в историю русской литературы – наряду с книгами А.Серафимовича «Железный поток», Д.Фурманова «Чапаев», А.Фадеева «Разгром» и другими. После войны (1949 г.) Либединский задним числом пытался исправить свои настоящие и мнимые идейные недостатки, существенно переработав повесть, которая до этого выдержала не одно издание.

* * *

В 1925 году Ю.Либединским была написана и опубликована новая повесть – «Комиссары». В статье «Как я работал над «Комиссарами»» Либединский вспоминает, что он писал свое новое произведение между двумя партийными дискуссиями, между двумя этапами борьбы с троцкизмом. Писатель думал о своем участии в этой борьбе, об «ответе на смерть Ленина» – таковы, по его собственному признанию, были стимулы для создания «Комиссаров». По его же словам, на написание повести большое влияние оказал А.Фадеев, его роман «Разгром».

В «Комиссарах», как отмечал автор, три сюжетных узла: партийный коллектив; вопрос о принятии или непринятии нэпа; партийная чистка. «Материалом

«Комиссаров» служили действительные события, случаи, разговоры, отношения людей», – говорил писатель. В центре внимания Либединского – переход от гражданской войны к мирному времени. Видно стремление автора преодолеть «романтические тенденции», за которые его критиковали в связи с первой повестью, усиление семейно-бытовой линии, психологических характеристик героев.

«Комиссары» – произведение о вчерашних участниках гражданской войны, обладавших богатым военным и политическим опытом, но нуждавшихся в перестройке «на марше». Перед нами сто человек, которым предстоит пройти шестимесячные курсы; среди них – и старые большевики (Злыднев, Шалавин), и опытные командиры (Гордеев, Арефьев, Медовой, Гладких), и молодые бойцы (Косихин). Сам писатель обращал внимание на «особую роль» образа Кононова. Далеко не все из них быстро привыкают к строгому распорядку, который «строится» на курсах усилиями Арефьева (он «крепко завинчивает»). Да, многие быстро втянулись, осознали необходимость учебы. «Но некоторым одиночкам этот порядок казался утерей завоеваний революции, утерей той солдатской свободы, которая в семнадцатом году привела их к большевикам».

В центре повести «Комиссары», как и в «Неделе», – образы людей идейно стойких, убежденных, подчиняющихся жесткой партийной дисциплине, во многом идеализированных рыцарей без страха и упрека. Такие, как командующий округом Гордеев. Это опытный, закаленный в боях командир и руководитель, человек твердый, даже беспощадный к врагам, но одновременно способный прощать ошибки тем, кто невольно заблуждается... Автор, с одной стороны, «смягчает» образ своего героя, но тут же подчеркивает, что его кажущаяся «простота» внешняя и он «постоянно полон зоркой тревоги». «Зоркая тревога», свойственная герою, как и всей партии, это некая антеевская связь с партией и народом, которой, по мысли писателя, и силен его герой.

Одно из центральных мест занимает в повести образ начальника курсов Арефьева. Бывший офицер, он назначен, чтобы «строить» курсы – и в прямом, и в переносном смысле. Не проходит и нескольких дней – курсы начинают свою работу, довольно быстро наводится и дисциплина, соблюдается порядок. Писатель показывает, как в ходе учебы растут, меняются его герои, становятся опытными организаторами и воспитателями. Таковы Лобачев, Кононов, Косихин, некоторые другие. Заводской рабочий Лобачев своей сестре Груне советует: «В церкву не ходи, читай книги...» В то же время он понимает, что одними советами не научишь: «надо съездить туда, вмешаться во все это и переделать, примером показать».

Как и в «Неделе», в новой повести большей части сознательных бойцов противостоит небольшая группа людей, чуждых пролетарской идеологии, не желающих подчиняться жесткой дисциплине, не принимающих новой экономической политики, которую провозглашает власть. Некоторые видят в этом отступление от идеалов революции, другие мечтают о «чистой» крестьянской коммуне, где будет всеобщее равенство и справедливость...

Острый конфликт в повести связан с образом Дегтярева. Сначала мы мало знаем об этом человеке. Но вскоре его разоблачают как классового врага, кулака, который прикидывается сочувствующим бедным крестьянам, новой политике партии; он «мешочничает», готовится выйти из партии. Особая опасность Дегтярева в том, что он вредит не открыто, а тайком. Гордеев говорит о нем: «Не думаю я, чтоб много таких нашлось среди нас, но лучше уж побеспокойте десятерых невинных, но изловите одного вот такого мародера, добровольного провокатора, партийного изменника». «Побеспокоить» десятерых невинных за одного «мародера», «провокатора», «изменника» – это и есть «чистка», которую объявляет Гордеев как высшую меру партийной справедливости...

Среди первых откликов на повесть Либединского была статья Д.Горбова «Итоги литературного года», в которой «Комиссары» рассматривались наряду с другими произведениями тех лет. А.Луначарский на международной конференции в Москве в 1927 году назвал автора «Недели» и «Комиссаров» в числе тех писателей «чисто пролетарского крыла», которые «составляют теперь едва ли не передовую группу нашей литературы даже в смысле формального совершенства произведений...».

* * *

Еще одно произведение Ю.Либединского – роман «Рождение героя» (1930) – также привлекло внимание читателей и критики. В нем представлен образ Степана Шорохова, в прошлом революционера, утратившего романтический взгляд на революционные события, погруженного в новые заботы и проблемы. Большое место занимает тема сложных личных, любовных отношений Шорохова. Он тяжело переживает смерть своей жены Наташи, и ему кажется, что «личная жизнь для него кончилась, что осталось только его революционное дело»⁹. Но он неожиданно влюбляется в младшую сестру жены Любу; писатель подробно описывает перипетии зарождающейся страсти, откровенные психологические (и не только) пере-

живания немолодого мужчины, и это оказывается едва ли не главным содержанием произведения...

Шорохов и Люба принадлежат к разным поколениям, поэтому часто относятся по-разному к жизни, к своим обязанностям. Новая жена оказывается мещанкой, которая интересуется только домашними делами. «Люба ложится, берет книгу, раскрывает и вдруг чувствует, что и эта книга и все остальное – лекции, и товарищи, и подруги, и ячейка, да, и ячейка – все это совсем не важное, постороннее, ее жизни не нужно, а самое важное – это то, совершенно необычное, радостное и страшное, что разворачивается между ней и Степаном Григорьевичем».

Шорохову, по сути, не удастся перевоспитать молодую жену, передать ей свой «революционный опыт», помочь «развиться, воспитать ее как хорошую коммунистку». Его раздражает «семейственный мирок» Любы – эта «пестрая вышивка на подокобнике, новенькая мясорубка, поблескивающая в углу, и разношенные уютные туфельки под кроватью». Во всем этом он видит «проявление старого мира, стихийно повторяющие себя извечные и ненавистные формы жизни». Он боится, что эти «извечные формы жизни» проникнут и в него, и Шорохов в какой-то момент «остро и холодно взглянул на Любу так, как смотрят на врага»...

Но бой с мещанством, с «семейственным мирком» не единственный фронт борьбы; не менее важен и труден бой с формализмом, бюрократизмом, догматизмом, с которым он встречается в своих коллегах, в том числе в молодых коммунистах. Так, помощник Шорохова Эйдкунен не умеет еще отличать «основную работу» от «партийных скандалчиков», он любит «расследовать, изобличать, допрашивать, обвинять», склонен к внешнему «порядку». Помощнику нужна какая-то общая система, которая позволяет ему не вникать в «индивидуальную психологию», в конкретный случай. Эта система внешне обладает «всеми преимуществами правильности», но на практике она лишь мешает разобраться в сложных, запутанных делах, с которыми приходится встречаться Эйдкунену и самому Шорохову. Попытка применить такую систему к «истории» с коммунистом Соловьевым, стрелявшим в свою жену, приводят к сомнительному выводу о том, что личные, любовные отношения мужчины и женщины должны быть столь же нормированны, как и производственные, партийно-уставные...

Та же склонность к «порядку», формализму присуща и опытному партийцу Горлину, который готов «бороться за чистоту нашей теории, за чистоту марксизма», но ни шагу не может ступить без «инструкций». Этот герой не способен видеть реальной обстановки, в которой живут люди. Он объявлял

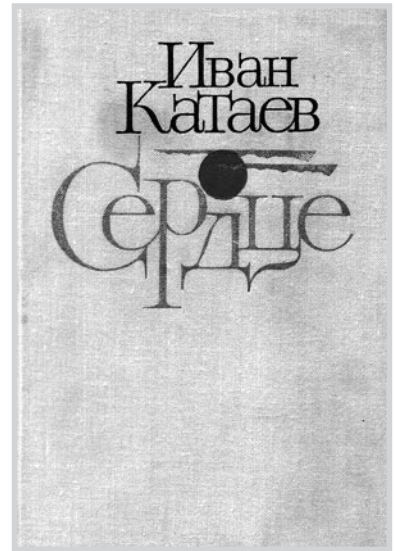
о беспощадной борьбе со взяточничеством и карьеризмом, но чем больше он «зажимал винт своего администрирования, чистого и мертвенного, чем больше горячности вкладывал в свои лекции, чем последовательней боролся с уклонами, которые обнаруживал его придирчивый ум, тем большее расстояние отделяло его и его друзей от многомиллионного, обездоленного и нищенствующего народа страны». Отрыв пропаганды и «борьбы» за чистоту марксистской теории, от живой жизни, от интересов людей – все это лишь создает «пустоту, которая окружала коммунистов», таких «теоретиков», как Горлин. Это он «разоблачает» коммуниста Селима, объявляет его оппортунистом, чуть не превращает его во врага советской власти...

Роман подвергся острой критике. Либединского критиковали за то, что автор не сумел в полной мере показать своего героя как коммуниста и руководителя, что излишнее место в романе уделено проблеме личных отношений мужчины и женщины, любовным переживаниям. Эти упреки были во многом справедливы. Однако при этом нельзя не отметить стремления писателя уйти от идеализации, преодолеть некоторые штампы, выйти на новый уровень изображения человека, пытаясь проникнуть в его внутренний, душевный мир. Правда, при этом Либединскому все же не удалось избежать вульгаризации, издержек псевдопсихологии, ошибочных «теорий» типа «живого человека» и т.п. И в целом следует признать, что после романа «Рождение героя» уровень художественной прозы Либединского пойдет на спад, хотя и после этого будет написано еще немало в различных жанрах.



3

При всей нереализованности творческих возможностей Ивана Катаева (он был репрессирован и погиб в 35 лет), можно со всей уверенностью сказать, что основные смыслы и принципы его прозы, особенности его художественного метода, индивидуальности проявились достаточно определенно и ярко. Некоторые его произведения, в том числе такие, как наиболее известные повести «Сердце» (1928) и «Молоко» (1930), напрямую, по времени действия, по непосредственной проблематике, узко понимаемой современности не относились к литературе о революции, затрагивали другие темы и проблемы. Но на самом деле их трудно оторвать от событий и проблем, которые поставила революция после февраля, а затем октября 1917 года.



Размышления о художнике, искусстве и их роли в революции, современном обществе нашли свое воплощение, в частности, в рассказе И. Катаева «Поэт» (1928). В нем звучит мотив жертвенности первого поколения революционеров-романтиков, участников гражданской войны. «По своему мироощущению Катаев несомненно был человеком религиозного склада, отсюда его всепрощение, отношение к коллективизации как духовной соборности и, наконец, так ярко выраженная в нем жажда испуительной жертвы», – писал о Катаеве хорошо знавший его литератор Г. Глинка¹⁰.

Позже писатель считал необходимым уточнять свое понимание гуманизма. «Термин «гуманизм» не следует понимать как христианское всепрощение, а как гуманность, внимание к человеку в противовес левовскому дяляческому культу вещи...» – говорил он¹¹. Можно, конечно, видеть в этом уступку тем, кто критиковал его за «буржуазный гуманизм». Однако не меньше оснований полагать, что писатель в самом деле не считал гуманизм «христианским всепрощением», а реальным противовесом механицизму нового времени, культу вещи, невниманию к человеку. Во всяком случае, замысел рассказа Катаева намного сложнее и глубже, чем увидели его некоторые критики.

Герой «Поэта» – Александр Гулевич, боец Красной армии, молодой пролетарский поэт, член Московс-

кого пролеткульта. Образ обобщенный, однако трудно избавиться от мысли о его автобиографичности. Повествование ведется от имени 17-летнего бойца, секретаря начпоарма, который любит поэзию, восторженно принимает Гулевича.

Писатель романтизирует героиню и трудности революционного времени; два этих полюса связаны друг с другом. Высокая мечта, вера в идеалы революции, порывы молодости, любовь, с одной стороны; и тяготы военной жизни, бедность, болезни, смерти, с другой. Эти полюса порой вступают в противоречие, в конфликт, но главный герой (а с ним и автор) пытаются соединить несоединимое; здесь жертвенность человека. Гулевич сочиняет стихи «на злобу дня», о подвигах своих товарищей по борьбе; но в то же время он пишет поэму «Голгофа», которая вызывает недоумение своей философией, идеализмом, отрывом от привычной революционной патетики, характерной для пролетарской поэзии тех лет.

«Что же тут пролетарского?» – недоумевает рассказчик, впервые услышав поэму Гулевича. То же недоумение вызывает у рассказчика одно из любимых стихотворений Блока. По его мнению, таким стихотворением должно быть «что-то очень бравое и громогласное»¹². Да и сам Гулевич не производит впечатления «бравого и громогласного». В его стихах много «нескладного,

темного, наивно высокопарного», – убежден автор, – но в них присутствует «генеральная идея эпохи». Он и размышляет в духе этой эпохи: «Любви, конечно, у нас не должно быть места, она отнимает слишком много времени и сил...»

Отдать жизнь мечте, пожертвовать своей жизнью ради будущих поколений... «Почему все так грустно?» – спрашивает герой-повествователь Гулевича. Почему Голгофа? «Почему вы написали – сгорим мы быстро?...у нас у всех большое будущее, и можно пока не думать о смерти...» Но Гулевич убежден, что он чувствует и пишет «не только за себя, но и за других, кто на самом деле проливает кровь и сам умирает». Однако эта вполне справедливая мысль о природе поэзии понимается им буквально, метафора обретает зловещий смысл, становится трагическим мироощущением. «Мы все погибнем, – прибавил он строго, – не сегодня, так завтра, не завтра, так через десять лет... Все! Мы обреченное поколение /.../. Боремся мы для будущих поколений, им и суждено воспользоваться плодами нашей борьбы. А мы должны бестрепетно принести себя в жертву».

Спор Гулевича со своим соратником по революционной борьбе – самое важное смысловое и художественно выразительное место в рассказе. «Что же они (люди), по-вашему, не имеют права на счастливую жизнь, на веселый труд, на искусство?» – «Не имеют, – отвечает Гулевич, – потому что борьба еще долго будет продолжаться, раз уж мы взялись перестраивать мир, так нечего за хорошую жизнь цепляться...» «Мы не имеем права на личное счастье», – убежден Гулевич. Он говорит, что намерен отказаться от права на личное счастье, на любовь и впредь постарается изгнать из своих стихов этот «мотив»...

Надо признать, что его лучшие герои, как и сам Катаев, отнюдь не всегда чувствовали себя лишь безгласными жертвами, неким базаровским «навозом под пашню», они видели себя активными участниками исторических событий... И поэтому творчество Катаева было живо не одним лишь гибельным ощущением происходивших перемен, – в нем было и неподдельное чувство «победы жизни», чего бы это ни стоило. Зная писателя говорили о его оптимизме, вере в будущее. Этим же объясняется та светлая, жизнеутверждающая нота, которая часто слышна в его произведениях. Иногда она звучит слишком звонко, открыто – особенно на фоне современных переоценок нашего прошлого; но всегда искренне и заразительно.

При появлении его первой повести «Сердце» критика в целом одобрительно отмечала интерес автора к теме, актуальной проблематике произведения, а также к тому, что основными персонажами Катае-

ва являются коммунисты, советские работники. Однако вслед за этим высказывался упрек, что при внимательном анализе обнаруживается «мнимая коммунистичность» этих героев, склонность автора к «гуманизму» мелкобуржуазного толка. Гуманизм Катаева доминирует над классово-пролетарской моралью, – делали вывод критики.

Повесть «Молоко» – по общему признанию, лучшее произведение И. Катаева. В ней привлекает свежесть авторского взгляда, оригинальность художественной концепции, доверительная авторская интонация. Писателю не удалось глубоко показать и полностью разобраться в социальных процессах, происходящих в деревне, в том, что несла с собой коллективизация. Но нельзя не признать заразительного, искреннего, любовного отношения автора к своим героям-труженикам. В этом смысле повесть явилась словом защиты перед неотвратимым «великим переломом», который во многом определил судьбу не только русской деревни, но и судьбу России в целом...

Центральный герой повести Нилов – в то время классово, экономически кулак, мировоззренчески поэт, что считалось тогда несоединимым – произносит монолог: «Молоко, – вижу я, – белое молоко прямыми, округлыми струями льется с неба. Белый ливень недвижно бушует вокруг, белый ливень, связавший землю и небо и меня захвативший в участники свои...» «Влага жизни, – развивает свой образ автор, – всеобщее молоко любви и родства /.../. Не земля, но влага. Я, и ты, и он – суть жизнь, а жизнь есть струенье, кипенье, взлет и никогда – покой /.../. Мы же из влаги рождаемся, – продолжается этот гимн молоку, – влагой питают нас матери наши, влагой насыщена наша плоть, ею движимая, ею мыслящая, из нее созидающая новые жизни»¹³. Яркие, вдохновенные слова старика, которые, как признает рассказчик, он высоко ценит и которые «можно уложить... в полный каталог марксизма». Это один из важных смысловых центров произведения, написанного в характерном для И. Катаева стилевом ключе.

В образе Нилова писатель показал реальный драматизм героя, оказавшегося на историческом распутье, ставшего помехой на пути развития новой деревни, призванной стать жертвой ускоренной модернизации страны.

И видно, что Катаев не мог полностью принять эту жертву; ему жаль своего героя, он не до конца уверен в его сущности как классового врага, он готов если не оправдать его, то пожалеть, посочувствовать ему. Вот почему мы ощущаем растерянность писателя, его раздвоенность. И это уже драма не только героя, но и самого художника. Позже писа-

тель будет пытаться преодолеть свою двойственность, противоречивость в восприятии действительности, но так и не сможет этого добиться: как честный художник-реалист он не смог пойти против правды жизни, правды художественного образа. Коллебия писателя не могли не почувствовать противники «Перевала», и Катаев попал под обстрел сторонников жесткого политического курса...

«И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной», – пели мы вслед за Б.Окуджавой еще недавно. Сегодня уже не поем; сегодня наше отношение к революции и гражданской войне не столь однозначное, каким было. Герои того времени запечатлены нашей литературой во всем многообразии и сложности. Свое место в ней заняли и голоса Д.Фурманова, Ю.Либединского, И.Катаева; в их судьбах нашли свое отражение наша общая судьба, история народа, ее литературы. Без прошлого нет будущего.

Примечания

- ¹ Д.Фурманов. Литературные записи. О содержании. // Заметки о литературе. М. 1979. С. 146.
- ² См. Аптекарь П. Человек, фильм и анекдот. // Время новостей. №24 (11 февраля), 2002.
- ³ С.Поварцов. «Крах еще одной легенды советской литературы». // Библиотека современника – 10 октября 2007.

- ⁴ Д. Фурманов. Чапаев. М.1968. С. 60.
- ⁵ В.Чалмаев. «Чапаев» Дм. Фурманова – легендарное и человеческое. //Русская литература XX века (В двух частях). Часть 1. М. 1991. С.222.
- ⁶ Непосредственным поводом для написания первой повести Либединского послужил рассказ Б.Пильняка «При дверях».
- ⁷ Ю. Либединский. Избранное: В 2-х тт.Т.1. М.1972. С.51.
- ⁸ Ю. Либединский. Учеба, творчество и самокритика. М. 1927.С. 39.
- ⁹ Ю. Либединский. Рождение героя. Роман. М. 1930.С.9.
- ¹⁰ Г.Глинка. На Перевале. Нью-Йорк.1954. С.169.
- ¹¹ М.Терентьева. Открытое сердце//Воспоминания об Иване Катаеве.М.1970. С.165.
- ¹² И. Катаев. Сердце. Повести и рассказы. М. 1980. С. 107.
- ¹³ И. Катаев. Сердце. Повести и рассказы... С.230.



Вячеслав Яковлевич САВАТЕЕВ

родился в 1939 г. в Москве.

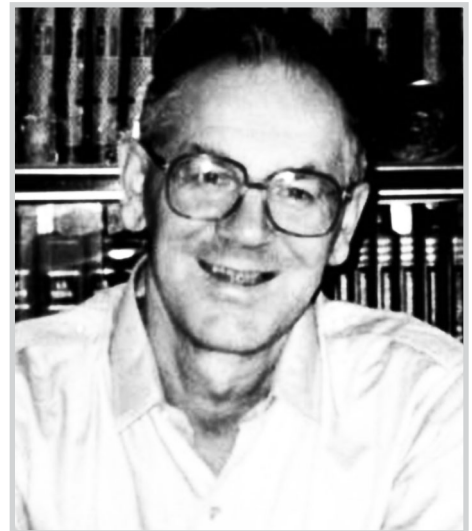
Критик, литературовед.

Автор нескольких книг и многих статей, посвященных русской литературе XX века, среди них – писателям 1920–30-х годов, военной и послевоенной прозе, периоду «оттепели», современной литературе.

Окончил Московский пединститут, в 1994 году защитил докторскую диссертацию «Художественные искания и кризисные явления в русской советской прозе 1950–80-х гг.».

Работает в Институте мировой литературы им. А.М.Горького РАН.

Постоянно публикуется в центральных литературных журналах и газетах.



**Елена
ТУЛУШЕВА**

г. Москва

**Мудес
хочется**
рассказ



— Тук-тук! Можно?

— Заходите.

— Я с мужем.

— Ну давайте вместе, куда ж его деть... Ого! Это кого ж мы рожать будем с таким папой?! В вас сколько — метра три?

— Два... — смущённый здоровяк протиснулся в кабинет.

— А вес?

— Сто двадцать.

— Что ж это вы, голубчик, эдакий шкаф, выбрали себе дюймовочку, а рожать-то ей как, подумали?

«Шкаф» сконфуженно заулыбался, отчаянно пытаясь сжаться.

— Да вроде она у нас небольшая, два восемьсот была по УЗИ в прошлом месяце, — посетительница пыталась пристроить спутника в какой-нибудь угол, но тот постоянно что-то задевал и в итоге предпочёл просто замереть, взглядом умоляя больше его не трогать.

— Тогда УЗИ, и — вперёд. Роды первые?

— Первые. Боюсь очень!

— Ну что, женщины веками рожали, ничего. А беременность какая?

— Я ж говорю, первая!

— До этого выкидыши, аборт, в том числе на ранних сроках?

— Нет, всё впервые!

— Ну, как скажете. Если вдруг вспомните, сообщите, — он быстро заполнял бумаги, про себя вынося вердикт: «Наверняка врёт! И что ты с ними делать будешь? Небось, наделала дел по юности. А если какие осложнения — нам ведь разгребать!» — он недовольно поморщился, вспоминая осложнённые роды годичной давности. После того случая он стал крайне скептически относиться к информации из уст беременных и сейчас по привычке внутренне проговаривал: «Врёшь. И тут тоже врешь».

— Игорь Владимирович, можно вас? — раскрасневшаяся толстушка застыла в дверях с извиняющимся взглядом.

— У меня пациент, — он резко обернулся и понял, что дело срочное. Вошедшая — медсестра Маша, работала в бригаде детской реанимации. Бригада укомплектована неонатологом и хирургом. Раз пришла за ним, значит, рук не хватает.

Просто так во время приёма никто не заходит: персонал вышколен, отделение платное, пациенты возмущаются.

— Минуту, — кивнул он Маше. — Видимо, «сверху» звонят, начальство, сами понимаете, — обратился он к пациентке. — Вы пока снаружи подождите, я быстро.

Как только вышли из отделения, Маша затараторила:

— Там Кузякин разрывается. У нас плановое кесарево. Тройня. У одного на УЗИ выявили то ли грыжу, то ли опухоль, в общем, не отойти. А тут экстренную привезли. Схватки в метро начались. У плода сердцебиение плохое, похоже, обвитие. Меня отправили помогать, но Александр Степанович послал ещё и за вами.

— А Усачёв где?

— Усачёв дома после суток: дежурил за Камышева, тот в больнице с язвой.

Когда они вбежали в палату, дежурная бригада суетилась в ожидании последнего этапа родов. Переодеваясь, моя руки, он отметил, что для ребёнка уже подготовили реанимационный набор.

Роженица была с виду крепкой. Длинные пшеничные волосы, даже слипшись от пота, сияли здоровьем. Орала она громко, значит, силы есть. Хотя обычно такие не орали. Он уже привык делить всех их на две категории: деревенские и городские. Конечно, не по месту жительства, на разговоры кто-откуда времени тут не бывало. Деревенские, в его понимании, — плотные, мясистые, с крупными бёдрами и сильными руками. Рожали они так, будто в поле косили: жарко, сил нет, тяжело, но куда деться, сделай дело и отдыхай. Такие инстинктивно знали, когда и как тужиться, как дышать. Городские же — вот это морока. Щуплые — в чём душа, всё за них сделай. И анестезию им побольше, и пить хотят, прям умирают, а тут ещё моду взяли за деньги мужиков своих притаскивают смотреть. Врачей не слышат. Ты им — «дыши», а они тужатся, ты им — «толкай», а они — «не могу!» Правда, такие тысячу раз потом отблагодарят, и мужики их всей бригаде и конверты, и бутылки носят. Тоже приятно...

Эта была из «деревенских», но, похоже, ребёнку что-то мешало, и орала мать беспрестанно.

— Так, заканчивай кричать. Тут работы на полчаса. Ну-ка, соберись!

Роженица будто и не слышала, только орала и мотала головой. По глазам коллег он понял, что шансы ребёнка невелики. Сёстры начали распечатывать дополнительный хирургический набор.

— Сколько уже?

— У нас она четыре часа, да плюс пока везли. Сама сказать не может, как давно первая схватка была. — Маша суетилась, поправляя ему халат и натягивая перчатки. — Сначала шло хорошо, думали, стремительные роды будут. А как головка показалась, так и застыло. Очень долго не продвигается.

— А резать, видимо, было поздно... — пробубнил он сам себе. — Что делать, Саш? Может, надавить?

— Да уже пробовали. Давай, может, ты посильнее... — на лице его друга блеснула испарина, сзади из-под шапочки пот каплями сползал по бритым складкам затылка за воротничок уже изрядно взмокшего халата. — Что-то неладно. Как выйдет, он — на тебе, мне — мать.

Через несколько потуг ребёнок наконец вышел. Мальчик. Синий. Тройное обвитие. Молчит.

Игорь быстро перехватил обмякшее маленькое тельце, в два шага перенёс его на столик, где сёстры уже приготовили трубки и отсос. Наспех обтерев недышащего младенца, он, как в режиме ускоренной перемотки, начал реанимацию. Счёт шёл даже не на секунды.

Вокруг было множество звуков. Саша сердито что-то требовал от сестры, со звоном бросал зажимы, равномерно пищали датчики давления, из открытого окна доносился звон трамвая. Но всего этого Игорь как будто не слышал. Его слух был настроен лишь на одну частоту: сигнал от этого маленького человека. Человек молчал. Игорь вновь и вновь методично выполнял инструкции учебника по экстренным родам. Он понимал, что каждая минута уменьшает шансы на жизнь, а каждая секунда может обернуться инвалидностью ребёнка.

Ему казалось, что прошло уже полчаса: время здесь растягивается. В реальности он спасал младенца всего несколько минут: без остановки делал непрямой массаж сердца, ощущая под пальцами крохотные рёбра, которые вот-вот готовы были треснуть под его натиском. А там, за ними, всё ещё молчало маленькое сердце.

«Давай, парень, давай. Мы с тобой прорвёмся!» — он пытался передать через пальцы свой импульс жизни, свою силу. «Давай, ты же мужик!» — уговаривал он.

«Стукнуло! Только что! пробилось ведь!.. Молчит... Ну что же ты?! Показалось? Не может быть! Это ни с чем не перепутать. Ну же, давай! Один раз уже смог. Давай, парень!» — под его пальцами отчетливо послышался второй удар. Тишина. Еще тишина. Молчит... Вот он: третий. Четвёртый. Ещё!

— Умница! Настоящий мужик! Борец! Давай, мой хороший, не останавливайся. Мать тебя как услышит, взлетит от счастья.

Младенец слабо двинул ножкой, подтянул обе ручки к груди, медленно заворочал головой и издал слабый шипящий звук. Игорь подхватил его, ловко хлопнул по ягодицам, повернул головкой вперёд.

Слабое подобие детского крика заглушили вздохи всей бригады.

— Красавец! — Игорь завернул его в полотенце и двинулся к матери. — Ну, заслужил, брат. Вот она — мамка твоя! — развернул малыша личиком к маме. — Что, выкладываю? — обратился он к Саше.

Саша недовольно поморщился и отмахнулся.

— Да ладно тебе, Александр Степаныч. Ты же помнишь, решение главного. «Психологи установили, что в первые минуты жизни ребёнку необходим телесный контакт с матерью...» — Игорь передразнил главврача.

— Да шли бы эти психологи... — беззлобно буркнул Саша, — в бухгалтерию. Давай, быстро, я ещё не закончил.

— Слушаюсь! — Игорь комично поклонился и поднёс младенца к лицу матери.

— Уберите, — едва слышно прошелестела женщина.

— Чего? — не расслышал Игорь. — Гляди, мама, вон какой у тебя богатырь! Давай положу его тебе, готова?

— Уберите, не хочу, — чуть громче прошептала она.

— Ну, приехали, «не хочу». Теперь, дорогая моя, лет на восемнадцать свои «хочу — не хочу» забудь. — Игорь поднял пищащего младенца повыше. — Теперь вот он за тебя решать будет.

— Не надо! Уберите! Я не хочу его видеть!

Игорь озадаченно замер. На родовые горячки он насмотрелся. Обычно он резко пресекал подобное поведение рожениц. А как по-другому: не рывкнешь на них, перестанут работать, а ребёнку-то ничуть не легче, чем им. Но сейчас он чувствовал такой прилив радости от того, что это маленькое сердце забилося под его пальцами. Ему не хотелось портить себе настроение, сегодня ещё до ночи дежурить в родовом.

— Ладно, отдыхай. А мы твоего красавца пока взвесим и измерим, — он направился к весам, бережно держа своего подопечного.

— Так, что тут у нас... Маша, записывай, три семьсот пятьдесят. Так... аккуратненько, головку... пятьдесят два сантиметра. Записала?

— Да-да, записала.

— Внешних повреждений не наблюдается. А конкретней наши неонатологи скажут, как освободятся.

— Игорь Владимирович, а как записывать — документов никаких нет.

— Как нет? А родовая карта? Сертификат? — он держал малыша, невольно покачивая, пока сёстры нагревали лампу для младенца.

— Ничего не было, — Маша поморщилась. — Ни карты, ни паспорта. Спрашивали фамилию — не говорит.

— В смысле — не говорит? — у Игоря неприятно потяжелело в груди. — Тебя как звать-то? — повернулся он к родившей.

— Наташа, — вяло отозвалась она, прикрывая рукой глаза от яркого света ламп.

— Ну, ты не в первом классе, полностью — фамилию, отчество. Ребёнка как назовёшь, решила?

— Иванова. Иванна.

— Так, ребёнок, значит, Иванов. Имя придумала ему?

Женщина молча отвернулась. Игорь начал раздражаться. Саша как-то странно на него взглянул и тоже раздражённо начал поторавливать сестёр:

— Я же сказал: восьмёрку! А вы мне шестой даёте! Вы на работе, внимательнее надо быть!

Игорь с мальчиком на руках подошел к матери.

— Так, давай-ка приходи в себя. Миллионы женщин рожают. Всё нормально. Нам тут время дорого, нечего тянуть. Карты у тебя с собой

нет. Кто-то привезёт? Иначе нам нужно будет взять у него кровь на ВИЧ, гепатит.

— Берите, делайте что хотите!

— Приехали! «Что хотите» не можем. Теперь на каждый чих подпись матери нужна. Твой ребёнок — тебе решать.

— Нет у меня ребёнка! — крикнула она внезапно. — Не-ту! Это не мой! Уберите!

На мгновение все замерли. Стало слышно, как жужжит, нагреваясь, ультрафиолетовая лампа над детским столиком.

— Ты чего? Ау, мамаша, ты уже родила! Живой он, всё хорошо! Ты что же, не слышала, как он кричал? Вот, смотри, богатырь твой.

— Уберите. Не хочу. Я его не хочу. Я не буду его брать, — женщина уже не кричала, а говорила громко, отчётливо и пугающе внятно.

— Игорь! — рявкнул Саша.

Игорь растерянно обернулся. Саша кивнул ему в сторону стола и чуть махнул локтем.

— Ничего, мой дорогой, всякое бывает! — приговаривал он, отворачивая всё ещё пищашего младенца, как будто заслоняя от матери. — Устала мамка твоя. Перепугалась, небось, пока ты молчал, — он сам бережно укутал мальчика в пелёнку и одеяло. — Но мы-то знаем, что всё у тебя в порядке, успел ты, братец, вовремя задыхал. Умница, обойдётся без патологий. У Александр Степаныча руки золотые! — малыш перестал пищать и как-то сосредоточенно начал разглядывать лицо врача. Игорь прекрасно знал, что в первые дни, а то и недели, младенцы не могут различать и понимать увиденное. Но сейчас он был готов поспорить, что этот ребёнок смотрел ему именно в глаза, причём серьёзно смотрел, осознанно. — Ух, какой ты! Да, брат, задумайся. С женщинами этими нелегко, попробуй пойми, что у них в голове! Ну, полежи теперь, погрейся, — он подмигнул малышу. Тот беззвучно шевелил губками. В груди всё так же неприятно давило. Когда он направился к Саше, ему показалось, что младенец смотрит ему вслед.

— Что у тебя? Помощь нужна? — он говорил уже негромко и выдержанно.

— Нормально, заканчиваю. Что думаешь, она из этих?

— Из каких?

— Сяких. «Кукушка»?

Игорь не хотел об этом думать, он всё ещё

чувствовал в пальцах отзвуки этих долгожданных ударов.

— Да не, просто очередная неженка. Распреживалась, вот и немного того на нервной почве, пока ребёнок молчал.

— Ну да. Вся ухоженная, а документов — ни единого. Как специально. Даже карточек кредитных не нашли. Подготовилась. Ты внимательно на неё посмотри.

— Некогда мне тут смотреть. У меня внизу контрактники. Так что если тебе помощь больше не нужна, я пошёл. — Игорь чувствовал, как в груди нарастает тяжесть.

Направляясь к выходу, Игорь мельком ещё раз взглянул на мать. Ничего особенного. Баба как баба. Ногти покрашены, вроде приличная, на мигрантку или бездомную не похожа. В груди у него уже ньюло так, будто сверху поставили мотоцикл. «Да мне-то какая разница. Мое дело — роды принимать, мне чистые мозги нужны, а не философствования!» — разозлился он.

— Игорь! Ты ещё здесь? Подойди! — послышалось сбоку.

— Тьфу ты, Кузякин, сядет, так не слезет, — пробубнил он себе под нос. — Что там у тебя? Тройня, говорят?

— Да у меня нормально, в третий загляни. Там одна акушерка, мне ещё зашивать, а там уже головка пошла.

В третьем боксе деловитая Мария Михайловна — акушерка с тридцатилетним стажем, уже организовала двух сестёр и готовилась сама принять роды.

— А, прислали! — забухтела она, снимая маску. — Ходят табунами, дел, что ли, у вас нет других.

— Нет-нет, я так, только если что пойдёт внепланово. Вы же сами справитесь? Или помощь нужна?

— Тридцать лет как-то обходилась. Вон ей помощь нужна. Успокой девчонку — перепуганная совсем. А здесь уж я разберусь.

Игорь улыбнулся ворчливой акушерке. Она, и правда, справлялась на «отлично» даже в экстренных ситуациях, ещё и врачей строила, если вдруг кто растеряется. Сейчас ему хотелось чего-то обычного, понятного. Хотелось, чтобы всё шло по плану. Нормальный ребёнок, нормальные роды, нормальная мать.

На столе он увидел пустые метрики.

— Давайте заполню пока. Что писать, Марь Михална?

— Ничего не писать! Партизаны у нас тут.

У Игоря кровь прилила к вискам, тяжесть из груди начала перекачиваться по всему телу, давя то на голову, то на ноги. «Ещё одна. Да что ж за день такой?! Чтобы два отказника за дежурство... Куда этот мир катится? — он поморщился от штампованной фразы. — Ну, с этой всё понятно», — он мельком окинул взглядом рожаящую. Ей с трудом можно было дать шестнадцать. Удивительно, что решила выносить. Хотя Игорь был уверен, что такие просто затягивают до последнего. Сначала не понимают, что беременны, потом боятся сказать, а потом уже поздно аборт делать. Девушка ныла и причитала.

— Больше не могу, подождите! Совсем не могу!

— Милочка, я-то подожду, а девчонка твоя на свет идёт. Не обратно ж её запихивать?

Игорь всегда удивлялся, с каким юмором и при этом с теплотой и заботой Мария Михайловна общалась с пациентками. За столько лет ей бы давно уже выгореть. Сама четверых родила. Обычно его коллеги, особенно женщины, особенно родившие, говорили с роженицами жёстко, подчас резко. Не хватало сил на нежности.

— Ты чего там уселся? — прервала она несвоевременные размышления Игоря. — Помоги человеку, успокой хоть. Или иди в свою операционную. Девчонка в первый раз рождает, молодая какая. Посмотрит на тебя и не захочет больше! — акушерка шутливо погрозила ему пальцем. — Ты давай, милая, соберись. Эти мужики просто не знают, как оно. Только кричать и могут. Нам ещё пару раз поднапрячься, и всё хорошо. Вон уже столик нагрели, ждём твою принцессу.

Игоря всегда успокаивала слаженная работа. В такие моменты он вспоминал, как в детстве отец первый раз показал ему улей и он никак не мог поверить, что пчёлы сами так всё выстроили, как по линейке. Марья Михайловна умела чётко организовать процесс. Рядом с ней он всегда чувствовал себя нерадивым мальчишкой, которому только и могут доверить смотреть со стороны. Но сейчас ему именно этого и хотелось — стать просто винтиком механизма, чтобы отвлечься от своих унылых мыслей. Он отстранённо смотрел на эту девочку: волосы каштановые, веснушки. На шее крестик на простой ве-

рёвочке. Ему и жалко её было, и злился он на таких. Понятно, конечно, что совсем ребёнок. Но если до секса додумалась, то предохраниться тоже могла бы. И ребёнку всю жизнь исколечит, и сама ведь взвоят потом, ночами спать не будет, думая, где теперь её малыш.

Громкий крик пробудил его.

— Умница! Без разрывов! Ты моя хорошая! Ох, красавица у тебя, ты глянь, какая глазастая!

Игорь машинально встал и направился к выходу. Он несколько раз видел, как потом эти девчонки плачут, как мечутся, подписывая отказную. Смотреть на это снова не хотелось.

— Всё нормально? Я пойду?

— Иди-иди. Отлично у нас всё! — Марья Михайловна обтирала звонко кричащего младенца.

Выйдя из бокса, он мельком заметил, как акушерка кладёт ребёнка на живот матери... Матери... Как они так: девять месяцев ходят и знают, что отдадут? А мужики-то их — тоже странные. Это ж твоя кровь, как ты её отдать можешь, кому? Ничего ж не может быть в этой жизни настолько твоим, как ребёнок, инстинкт самца должен срабатывать. Никакой закон или обман не сможет сделать его не твоим: природа сильнее, как бы дальше ни пошло, но ты дал ему жизнь... Игорь не считал себя религиозным. Да и о Боге вспоминал обычно только в самолёте, когда трясло. Но, размышляя об отказниках, он был уверен, что так нельзя. И не важно почему. Просто нельзя, и всё.

Он спустился в платное отделение. Хотелось пить и выпить. Ещё хотелось в душ, смыть впечатления. Возле кабинета нетерпеливо расхаживал здоровяк. Его жена сидела, обмахиваясь журналом.

— Проходите! — буркнул Игорь. — Прошу прощения, вызвали. — Он совсем не был расположен к лишним разговорам и хотел пресечь излишнюю болтливость, свойственную беременным.

— Так... значит, УЗИ. Ложитесь. А вы берите стул, пододвигайте к монитору.

На экране замелькали привычные очертания. Всё выглядело нормальным. Хотя здесь можно не дёргаться. Он на автомате высчитывал замеры, заносил в карту, а в пальцах всё ещё ощущал робкие удары.

— Что-то не так?! С ней всё в порядке? Она в

последнее время стала очень мало толкаться! — женщина с испугом переводила взгляд с молчащего врача на озадаченного мужа, не имея возможности заглянуть в монитор.

— Растёт, вот и меньше места остаётся, чтобы шевелиться. Всё в норме. Я отклонений не вижу. По срокам — тридцать восемь недель.

— А лежит нормально? Нет показаний к кесареву?

— Если бы были, я бы сказал.

— Уф, слава богу! Я просто испугалась, мало ли что! — она умиротворённо улыбалась мужу, удивлённо глядявавшимся в шевелящиеся на экране тени.

— Меньше себя накручивайте, и ребёнку спокойнее будет. — Игорь вдруг почувствовал какую-то странную тоску. Он смотрел на эту пару и представлял, с какой любовью они будут держать новорожденного, как этот «шкаф» всё же заплачет, перерезая пуповину, как целая делегация будет встречать её у дверей на выписку с шариками, надписями на асфальте, наклейками на машине. А для другого, такого же крохотного человека, первая встреча с родной матерью останется единственной. И забирать его будут дежурные сёстры дома малютки. А его мать скорей всего уже сегодня под расписку уйдёт через запасной выход, не выдержит после нескольких часов в палате с другими женщинами, не спускающими с рук своих малышей.

Пациентка что-то говорила, он машинально кивал в ответ для приличия ещё несколько минут, пока совсем не выдохся.

— Как схватки начнутся, берите такси и сюда. Обычная скорая не станет вас спрашивать, в какой роддом.

— А если не начнутся?

— Да куда они денутся. Кто там у тебя — мальчик?

— Девочка! — с нежной улыбкой выдохнула она.

— Ну, девочки могут лениться. Тогда через две недели будем стимулировать. Только предварительно позвоните, договоримся. Все-го вам хорошего, меня ждут в родовом.

Закрыв кабинет, он зашагал в сторону выхода. Уже два года как не курил, но сейчас очень надеялся угоститься хоть одной сигареткой.

— Вот видишь, всё хорошо, а ты переживала, — здоровяк обнял свою жену и поцеловал в макушку. — Только ты уверена, что хочешь рожать у этого? Какой-то он неприятный.

— Да вроде уже решили. Не знаю, может, просто занятой очень...

— Уж мог бы запомнить, что у нас девочка или хоть в карте подглядеть или на экране своём, раз такой занятой. Он за это деньги получает.

— Ты не заводись. Главное, чтобы не грубый, чтоб во время родов не прикрикивал, а то я ещё расплачусь.

— Ещё чего! Я рядом буду, я на него сам прикрикну, если надо. Идём. Мороженого хочешь?

— Давай! Лимонного.

Игорь не спеша подошёл к турникету на входе. Охранник поделился с ним «Явой». Дрянная редкостная, но стало полегче.

— Это вы Игорь Владимирович? — окликнули сбоку. Доктор устало обернулся. Лопухий парень лет шестнадцати растерянно теребил пакет из соседнего супермаркета.

— Слушаю вас. Только я очень тороплюсь.

— А я вас везде ищу! Я на минутку! Вот! — парень протянул пакет. Спасибо вам!

— Это что? — Игорь озадаченно взглянул на пакет, потом на его дарителя. Волосы растрёпанные, лицо неумытое, рубашка в пятнах пота, как у него бывает после дежурства.

— Это вам. Ну и тем, кто там ещё был. В магазине только это было. А мы потом уж отблагодарим нормально.

— За что? Вы, собственно, кто?

— За жену! То есть за ребёнка! За дочку! — парень широко улыбнулся. Игорь скептически окинул взглядом собеседника ещё раз. Обручальное кольцо у того и правда имелось.

— Мне сказали, принимали вы и акушерка Марина... Забыл отчество. Это вам чаю попить. Что успел. Я ведь как ночью с ней приехал, так всё боялся отойти. Думал, это у них быстро.

— У нас нет Марин. Вы ничего не путаете на радостях? Спасибо, конечно, но мне, видимо, стоит это кому-то передать. Я роды сегодня ещё не принимал.

— Как же? — озадачился парень. — А мне сказали... Жена моя — Светка. Маленькая такая, с вес-

нушками, волосы тёмные. Час назад родила! Дочку! Мы ещё не назвали: она переживала очень, сказала, что имя выбирать будем только после того, как родит. Первая у нас. Во, вспомнил: Михална. Марина Михална — акушерка.

У Игоря в голове складывалась картинка, но вид паренька не внушал доверия.

— Мария Михайловна принимала... Это сколько же вам лет?

— Девятнадцать! Обоим! — засиял лопухий.

— Мы со школы вместе. Сразу поженились и это... Доча теперь! Спасибо вам!

— Да мне особо не за что. Основную работу делают женщины, мы лишь страхуем. Не равнато ли вы решились?

— Не, мы много детей хотим, пока молодые!

— парень почему-то похлопал себя по голове, как будто там находился источник молодости.

— Короче, я побежал — Светка велела в церковь зайти, поблагодарить, что всё хорошо. У неё ведь всё хорошо там? У них то есть.

— Да, всё в порядке, насколько мне известно.

— Спасибо вам! До свиданья! — парень впихнул Игорю в руку измятый пакет и побежал к калитке.

Игорь рассеянно смотрел ему вслед. Потом заглянул в пакет: «Тортик и конфеты. Девчонки будут рады. Смешной какой — папаша...» В груди стало полегче. «Много хотим», — Игорь хмыкнул, вспоминая растрёпанный вид паренька. Хорошо, если так. Посмотрим, что ты через год скажешь.

В родовом уже ощущались сумерки. Каждое время дня здесь сопровождалось своим ритмом работы. Под вечер рожают больше. Счастливых измученных женщин с закутанными конвертами у груди вывозили на каталках. Звуки отделения превращались для него в шум единого механизма. Работа была отлажена, как в муравейнике, хотя внешне могло показаться, что персонал двигается хаотически, бездумно перебегая из угла в угол.

— Какой бокс рождает?

— Пятый!

— А почему орёт третий?

— Обезболивающее ждёт! Анестезиолог в первом — отойти не может, там кесарево с астмой, побочки на наркоз бояться.

— Пошли Валю в третий, обезболит своей болтовнёй.

Игорь пару минут наблюдал за своим «муравейником», пытаясь отключиться от эмоций и настроиться на рабочий лад. В конце коридора стояла странная парочка: мужчина и женщина в бахилах и наспех накиннутых одноразовых халатах. Женщина беззвучно плакала, приложив ко рту бумажный платок. Мужчина что-то ей говорил, то как будто злясь, то пытаясь приобнять.

Игорь двинулся к ним. Явно не комиссия и не интерны. Не роженица. Родственники. Плачет — что-то случилось. Но почему сюда пустили? Если рожают в VIP-боксе, то сопровождающие находятся внутри — санитарные нормы. В случае осложнений должны проводить из отделения. Другим женщинам вовсе ни к чему переживать за чужие беды: им всем рожать в ближайшие сутки, и так перепуганы собственными схватками.

— Вы к кому? — начал он нарочито жёстко, как будто именно эти двое были виноваты в его сегодняшних наплывах сентиментальности.

— Мы из шестого блока. У нас контракт, подписано вашим главным, — мужчина говорил выдержанно, но, видимо, из последних сил. Казалось, сейчас сорвётся на крик или плач. Женщина не поднимала глаз.

— Родственники? Почему не внутри? — он осёкся, понимая некорректность вопроса. Шестой блок как раз VIP. Раз вышли, значит, там плохо. Теперь в лучшем случае женщина окончательно расплачется, в худшем — начнет рассказывать, что произошло, а то и истерить на весь коридор.

— У нас тут беременные, со схватками, обстановка нервная. Давайте я вас провожу в холл. Там кулер с водой, автомат с кофе, передохните, — ему совсем не хотелось знать, что произошло.

— Спасибо, — мужчина поднялся, поддерживая жену под локоть. — Идём, посидим, всё будет хорошо.

Игорь довёл их до выхода. Мужчина поблагодарил кивком. Возвращаясь в отделение, Игорь в очередной раз за сегодняшний день пытался перекрыть доступ к своим чувствам, мешавшим работать. Хотя бы на ближайшие три часа. Ему необходимы трезвый рассудок и уверенные руки.

Постепенно работа пошла ровнее. Он помог Кузякину, принял ещё двое родов, ассистировал при кесареве, заглянул на вечерний обход в детс-

кую реанимацию. Напряжённый день съёживался под натиском густых августовских сумерек. Там, снаружи, они уже заволакивали небо, проникая во все закоулки. И только здесь, просачиваясь сквозь распахнутые окна, вступали в неравную схватку с ярким больничным светом.

Поток рожающих временно прекратился. Следующий наплыв обычно наблюдался к трём часам ночи. Обычно это были те, кто чувствовали первые схватки ещё с вечера, но думали, что обойдётся. А потом, посреди ночи, просыпались с уже отошедшими водами. Привозили их быстро, хотя некоторые успевали родить в скорой или в приёмном внизу.

Но всё это позже. К тому времени Игорь будет спать дома под мерное жужжание телевизора. А пока отделение затихает, чистится, приходит в себя. Санитарки неспешно шелестят пакетами, сёстры загружают боксы лекарствами, врачи засели за карты. Любимое время дежурства. Обычно в такие минуты ему приятно было пройтись по палатам, поговорить с новоиспечёнными мамками, заглянуть в детское отделение. Там, в детском, он особенно остро ощущал свою причастность к этому священному действию природы. В своё дежурство он чувствовал себя первым крестным отцом всех этих малышей. Если Бог есть, он где-то наверху — над всеми людьми. Тогда он, Игорь, вот здесь, на земле, на своём участке, как маленький бог. Именно родов. Именно сегодня.

В ординаторской, обложившись бумагами, Саша накручивал на пластиковую ложку заварную лапшу.

— М-мм, жаходи. Чай шкыпэл вон, — прокартавил он с набитым ртом, кивая в сторону бурлящего чайника.

— Спасибо, гурман ты наш. Камышев с язвой, и ты за ним собрался? — Игорь плеснул кипятка и плюхнулся на диван напротив Саши. — Печенье, что ль, дай?

— Вон тортик бери, Марь Михална угостила. Наш любимый — с ромом. — Саша пытался поймать соскальзывающую макаронину. — Тыфу ты, идиоты, хоть бы вилку положили... Эта-то все-таки ку-ку.

— Чего? — Игорь не понял, о чём идёт речь.

— «Кукушка», говорю, наша, отказную написала, зараза.

Игорь с раздражением подумал, что лучше бы и не заходил. За вечерней работой он отключился от воспоминаний об отказниках. А теперь в пальцах снова ощутил те слабые удары маленького сердца. Он постарался вспомнить наставления их профессора по этике. О праве выбора женщины, о жизненных препонах, о которых врач может и не догадываться, о том, что лучше неродная, но любящая, чем родная, но не готовая к своей миссии... Игорь взглянул на торт и вспомнил смешного молодого папашу. В душе что-то смягчилось. Ему захотелось и эту женщину простить, найти ей оправдание.

— Может, некуда ей взять его. Хорошо хоть родила, а не убила в утробе.

— Да кто знает, может, пыталась, вот он у нас едва живой и вылез. Карты-то нет. Я ж говорил, специально без документов, чтобы мы её в отчётности зафиксировать не смогли. Хитрая.

— Да кто знает, чего у неё в жизни было. А тройное обвитие у любой бывает, сам знаешь. Может, у неё мужик урод, не примет, а она любит его до безумия. Может, у неё рак или Альцгеймер, вот она и не хочет, чтобы ребёнок потом по ней тосковал. А может, её вообще изнасиловали.

— Давно это ты, Игорь Владимырич, в сказочники заделался? Сам-то хоть веришь в свои бредни?

— Да просто денёк сегодня тот ещё, — Игорь смутился, что Саша уличил его в сентиментальности.

— А, про странности... У Кузякина-то сегодня VIP-шники что отчудили! Там суррогатная мать, эти ей все по высшему разряду оплатили, нарядились, все роды там торчали, на камеру снимали. А она родила, а отдавать отказалась!

— В смысле? — Игорь не успевал переваривать все этапы истории.

— Без смысла! На руки взяла и как заревёт, мол, не отдам, он мой, не могу. У Кузякина первый раз такое. Он их выставил, пытался с ней поговорить, а они и сами давай реветь.

— Я видел их, — Игорь представил себя на месте Кузякина — стал бы он вмешиваться, уговаривать... — Вот и не поймёшь, кому из них сочувствовать. Они, наверное, бесплодные... А получается, по закону ребёнок их, если яйцеклетку ей пересаживали?

— Да нет у нас никаких законов, ты где жи-

вёшь?! Она выносила — ей решать. Хоть пять-сот контрактов подпишет, за ней последнее слово. А вот ей точно взять некуда. Девчонки сказали, у неё своих трое, мужа в пьяной драке убили год назад. Решила заработать, чтобы детей поднять. Не заработала! Они теперь, наверное, и деньги за роды потребуют вернуть и за беременность. С чего она отдавать будет. Но вцепилась — ни в какую.

Игорь медленно переваривал услышанное... У него ни разу не было родов с суррогатными, и он слабо представлял, как это бывает. Сразу ли отдают родителям или выкладывают на живот. Или к груди прикладывают. Дают ли попрощаться или поскорей уносят... Он представил эту женщину, сидящую там, в навороченной палате с малышом, которого она носила, зная, что отдаст. И вот — не смогла. Держит его и плачет. Думала, сможет, но природа взяла своё. И как она вместо денег принесёт домой ещё одного голодного птенца. И как она дальше с ними будет...

— А эти какие-то крутые, с главным всё напрямую решали, фамилии зашифрованы, чтобы никто не узнал потом. Понакупили уже всего, всю палату заставили и игрушками, и люльками, одежками. Не знаю, уехали или сидят ждут, вдруг передумает...

— Вот не позавидуешь! Слушай, а там кто у них родился?

— Да вроде пацан. Да кто б ни был, им от этого не легче.

— Может, им этого предложить? «Кукушонка» твоего?

— М-мм, ну предложи, и чего? Они своего ребёнка ждали. Суррогатная, это ж биоматериал их!

— А я тупой такой, не знаю. Но я ведь вот про что: если они так хотели ребёнка, может, возьмут? Такие крутые, наверняка всем близким растрезвонили, может, она даже фальшивый живот носила, чтобы не догадались. Как им возвращаться без ребёнка? А тут в тот же день, в том же роддоме, как будто знак, понимаешь? Да и мать эта, мы с тобой подтвердим, вполне нормальная, на наркоманку или сумасшедшую не похожа, младенец без патологий...

Саша нахмурился:

— Чудес, что ли, захотелось? Так это ты, Игорьёк, не в том месте работаешь. Ты бы в фокусники пошёл, пусть тебя научат.

— Да ну тебя, — Игорь хотел разозлиться, но почему-то расстроился. Чудес и правда хотелось. Настолько, что комок подкатил.

— Может, тебе выпить?

— Может. Ты налей, а я пойду всё-таки попробую с ними поговорить. Я быстро.

Саша сочувственно проводил приятеля взглядом.

— И заявление на отпуск заодно напиши, а то совсем чудить начал! — он достал из ящика потёртую флягу, две крохотные рюмки и аккуратно расставил на столе.

□

Елена Сергеевна ТУЛУШЕВА

родилась в 1986 году в Москве.

*Окончила Институт психотерапии и клинической психологии
и Институт психоанализа.*

*В 2015 году окончила Высшие литературные курсы
при Литературном институте имени А.М. Горького.*

*Публиковалась в журналах «Наш современник»,
«Роман-журнал XXI век», «Московский вестник»,
«Невский альманах», «Родная Ладога» и др. изданиях.*

*Лауреат V Международного форума славянских литератур
«Золотой Витязь», молодёжной премии журнала
«Наш современник», конкурса «Северная звезда» журнала «Север».*

Живёт в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.



Константин Петрович ЛУКЪЯНЕНКО
 родился в 1948 г. в Алдане, Саха-Якутия.
 Много ездил по стране и за рубежом.
 Работал в центральной прессе,
 сотрудничал с крупнейшими издательствами,
 такими как «Наука»,
 «Восточная литература», «Политиздат».
 Автор книги стихов
 «Песни ветра» (М., «Текст», 2006).
 В журнале «Север» публикуется впервые.



**Константин
 ЛУКЪЯНЕНКО**
 п. Вяртсиля,
 Республика Карелия

МУЗЫКА СВЕТА

Этой ночью с этим светом
 Я не знаю, что поделать,
 У кого спросить об этом,
 Оказавшись у предела,
 За которым все иначе,
 Нет ни снов, ни слов, ни мыслей,
 Словно Икс внутри задачи,
 Безответности повисли.
 Непривычно. Нежный голос,
 Свет луны еще нежнее,
 Обо что ты укололась,
 Если ты – как ворожея?
 Если в будущем, как в прошлом,
 Ты лучи под ноги стелешь,
 Если мне никак не проще,
 Если я живу не в теле,
 Если я – твоя протяжность,
 Устремленье, зов, небрежность...
 Если мне уже неважно
 То дыханье жизни прежней,
 Не успевшей на подножку
 Отходящего экспресса...
 Свет крадется осторожно
 Вдоль чернеющего леса,

«С ЛЮБОВЬЮ

ПОЧТИ НЕЗЕМНОЙ...»

ФЕВРАЛЬСКИЕ МЕТЕЛИ

С азартом почти новогодним,
 С любовью почти неземной
 Метель за метелью сегодня
 Ведут свои игры со мной.

То крыльями машут лукаво,
 То хитрый предложат сюжет.
 А мне их веселье по нраву,
 А мне их кураж по душе.

Мне искренне хочется верить.
 Мне искренне хочется знать,
 К чему бы февральским метелям
 Со мной, как с котенком, играть?

И в пляске великого круга,
 С восторгом, как будто взаймы.
 Мы все понимаем друг друга,
 И в этом величье зимы!

О ПТИЦАХ

Я знал почему-то – мне птицы помогут.
 Как ветер, дул солнечный свет.
 С утра мне сегодня стелилась дорога
 И небо взлетало в ответ.

Я знал почему-то, что пение птичьё,
 Как звезды, горит в вышине,

Что верить в такое совсем неприлично,
 Не верить – гораздо страшней.

Я знал почему-то, и мне так казалось,
 И мне так хотелось, чтоб я,
 Как птица, взлетал – хоть на самую малость –
 На гребень волны бытия.

Вениамин СЛЕПКОВ

г. Петрозаводск



В КРАЮ ВОДОПАДОВ И ЛЕБЕДЕЙ

Осенняя дорога не скучна – сентябрьское разноцветье радует взор, рисуя все новые и новые картины чистыми красками, зеленая стена леса становится пестрой, разбавляется золотом берез, багрянцем осин и рябинок, время от времени за окном автомобиля мелькают синие озера и реки, темные ламбы, белеют штрихи облаков на сияющем голубишной небе...

В этом законном разнообразии путь становится легким и приятным. Во всяком случае на мой, пассажирский, взгляд. Впрочем, наш водитель Влад Ганюк тоже не жалуется, хотя ехать придется почти целый день. Сначала от Петрозаводска до Лоухи по трассе, а это 600 километров. Затем нужно свернуть на Пяозеро и проехать еще сотню километров, потом 60 до Национального парка «Паанаярви», куда мы и направляемся. И мы еще не знаем, что после этих шестидесяти предстоят еще 18 до моста через Олангу, а потом еще 6 до места, где стоит неподалеку от озера Паанаярви наш домик...

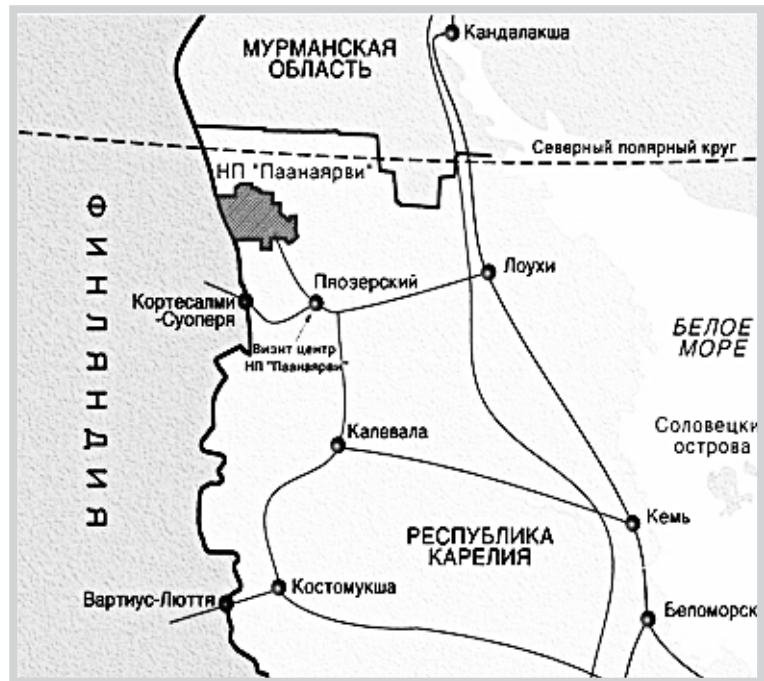
Едем втроем, инициатором поездки стал мой старый друг, известный фотограф и издатель Михаил Скрипкин, с которым мне приходится пу-

тешествовать по Карелии не впервые. Он постоянно пополняет свои огромные коллекции снимков и на этот раз решил обновить собрание видов Паанаярви, где не бывал уже десяток лет. Не удивительно, что так долго, путь неблизкий. Но на этот раз нам повезло, пусть далеко, но не так трудно, как могло бы быть, проходит дорога. Прокатиться с нами взялся мой товарищ Влад, ему интересно. Он впервые едет в этот северный национальный парк, как и я. Мои друзья быстро нашли общий язык, обсуждают места, по которым мы проезжаем, пока я просто люблю дорогу. Влад терпелив и, в отличие от многих других водителей, стремящихся скорее добраться до цели, с готовностью останавливается по просьбе Михаила, когда тот время от времени замечает удачный сюжет для нового снимка.

Национальный парк «Паанаярви» был создан постановлением Правительства Российской Федерации в 1992 году, но места эти были известны и прежде – еще на рубеже XIX – XX веков эту местность называли «финской Швейцарией», тогда территории относились к соседней Фин-

ляндии. Впрочем, на протяжении веков они не раз меняли хозяев. В средние века территории входили в сферу влияния Великого Новгорода, затем отошли к Швеции, как и другие финские земли. В 1809 году Финляндия стала частью Российской империи, сорок лет спустя, когда уточнялись границы Великого княжества Финляндского, озеро Паанаярви осталось за ним. Позже, во времена, когда Россию и Финляндию разделяли войны, менялась и граница. В 1917 году, когда Финляндия получила независимость, государственная граница здесь была весьма прозрачной, никто не хотел нарушать давние экономические связи, существовавшие у местных жителей как с финскими городами, так и с Беломорьем. Но в Карелии разразились события, взгляд историков на которые и сейчас различен. Иные называют их «карельской авантюрой», а кто-то – гражданской войной. В начале 20-х годов прошлого столетия Карелия тоже разделилась на «красных» и «белых» и брат шел на брата... В 1922 году граница была закрыта, Паанаярви стало частью Финляндии, по мирному Московскому договору 1940 года отошло к СССР, в годы Великой Отечественной здесь были финны, в 1944-м снова стало советским.

В 60-х годах в Карелии была построена Кумская ГЭС, а для нее было создано Кумское водохранилище, включающее в себя Пяозеро, Топозеро и другие озера и реки на севере республики. При строительстве ГЭС уровень воды в Пяозере был поднят на 9 метров, несколько деревень, в том числе находящаяся в устье реки Оланга, ушли под воду. Несколько позднее, уже в 80-х, стали обсуждаться планы создания водохранилища с использованием Паанаярви, а на самой высокой горе Карелии Нуорунен хотели организовать горнолыжный центр. Но тогда общественность республики выступила против этих планов. Благодаря настойчивости ученых, экологов, общественных деятелей было принято решение создать Национальный парк «Паанаярви», который включил в себя и озеро Паанаярви, и горы Нуорунен, Мянтютунтури, Кивакка, и реку Оланга, и другие реки с красивейшими водопадами. Национальный парк примыкает к границе с Финляндией, за которой также расположен национальный парк –



«Оуланка». Замена буквы в названии не должна смущать – это следствие особенностей произношения. В действительности через финский и российский национальные парки протекает одна река, которая у нас зовется Олангой, а за рубежом – Оуланкой. И по этой реке проходит уникальное стадо кумжи, не знающей границ, которая гуляет в российском Пяозере, а нереститься возвращается по Оланге в Финляндию...

Обо всем этом мы узнаем, когда делаем остановку в поселке Пяозерский, где расположен визит-центр парка «Паанаярви». Интересна история возникновения поселка. Мне рассказал ее один из известнейших специалистов лесопромышленного комплекса России Юрий Александрович Ягодников, немало лет работавший в Карелии. В конце 60-х – начале 70-х годов было решено организовать на севере Карелии Пяозерский леспромхоз. Его спроектировали, но думали, как строить. Все-таки север, не очень-то комфортные условия. В это время в газете «Правда» было опубликовано обращение компартии Финляндии с просьбой оказать содействие в трудоустройстве жителей северных районов Финляндии.

– Я пришел к первому секретарю Карельского обкома партии Ивану Ильичу Сенькину, говорю: «Сам Бог нам послал!» – рассказывал Юрий Александрович. – Иван Ильич поддержал идею, мы

направили свои предложения в Москву. Вскоре были приняты решения, мы вступили в переговоры с финнами. Наконец договорились. К этому времени у нас в Пяозерском было построено несколько деревянных домов. Мы предложили поселить в них финских строителей. Сначала соответствующие российские органы забеспокоились – как же людей с Запада поселить без ограничений в СССР? Мало ли что может случиться! Надо, мол, создать закрытую зону. Но мы протестовали, можно ли запираить людей? Мы гарантировали, что никаких проблем не возникнет, убедили органы. И финны приехали – 400 человек. В августе 1972 года состоялась приемка первой очереди: десять 40-квартирных домов, школа, детский сад, торговый центр, небольшая больница. В домах была горячая вода, система канализации и очистных сооружений, электроплиты и другие бытовые удобства. Мне позвонили из Совмина: «Ты что там построил? Дом отдыха? Там же нет производства!» Я тогда объяснил, что если есть дома, есть поселок со всем необходимым, то рабочие появятся. Производство мы и без финнов можем сделать. А в производстве без жилья смысла нет.

Эти финские аккуратные четырехэтажные дома и сейчас стоят в Пяозерском. Пожалуй, этими, не совсем обычными для России, домами он напоминает Костомушку, тоже построенную финнами.

Но сейчас Пяозерский леспромхоз не играет той роли, какую играл прежде. И, скорее, градообразующим предприятием для поселка является как раз национальный парк. Мы беседуем с Натальей Владимировной Бижон, сейчас она занимает должность главного специалиста по связям с общественностью. Это не случайно – парк она знает в совершенстве и сама стояла у истоков его организации.

– Национальный парк «Паанаярви» – федеральное государственное учреждение, финансируется Министерством природных ресурсов, – рассказывает Наталья Владимировна. – Мы сохраняем эту удивительную территорию, обеспечивая к ней доступ туристов из России и зарубежья, сохраняем для наших детей и внуков. Одно из важных направлений работы – экологическое просвещение. Это длительный процесс, но он дает свои плоды. Вы увидите, проезжая по дороге до парка, что даже на территории, прилегающей к парку вдоль дороги, уже нет мусора. Очевидно, что люди, побывавшие у нас, уже хотят, чтобы и везде вокруг природа сохранялась в чистоте.

Позднее мы убедились в правоте Натальи Вла-

димировны, действительно, обочины дороги, ведущей к парку, чисты. А в самом парке повсюду есть аккуратные ящики для мусора, более того, отдельные ящики для стекла, пластика... Этот мусор вывозится из парка на свалки, не остается там.

– Инфраструктура парка построена так, чтобы не вмешиваться в природу, не нарушать ее целостности, – продолжает Наталья Владимировна. – Для посетителей проложены специальные маршруты. Всего парк «Паанаярви» посещают примерно пять с половиной тысяч туристов в год, и это количество стабильно. Руководство «Паанаярви» не стремится увеличить поток, чтобы не нанести вред уникальной природе.

– Тогда могут ли все желающие к вам попасть? – волнуясь, уже планируя поездку с семьей.

– Это нетрудно, – успокаивает меня Наталья Владимировна. – Нужно только позаботиться заранее и заказать домик.

Всего в штате парка трудятся 46 человек, на них лежит вся работа, в том числе реализация многих программ. Так, одним из первых парк «Паанаярви» начал активную работу с детьми, развивая на своей особо охраняемой природной территории движение экологических лагерей. Постоянно осуществляются, причем на внебюджетные средства, различные проекты. Наталья Владимировна приводит в пример последние на данный момент: обучающие семинары по экологическому просвещению, проведенные совместно с финскими коллегами и специалистами других особо охраняемых природных территорий Карелии, ихтиологический проект по исследованию кумжи.

– Последнее в Карелии натуральное стадо кумжи находится в Пяозере, а ее нерестовые пути проходят по рекам на территории парка, – говорит Наталья Владимировна. – Два года мы занимались мечением кумжи, на рыбу крепились особые чипы, позволяющие наблюдать за ее передвижением. Наблюдение за стадом проходит постоянно, мы видим, что стадо стабильно сохраняет численность.

– А рыбаки могут ее ловить? – вспоминаю, что в машине у нас лежат спиннинги, хотя последний раз рыбачить приходилось, пожалуй, в детстве.

– Да, но рыбалка регламентирована. На Оланге вы порыбачить не сможете, но, может быть, удача улыбнется на Паанаярви.

Третий проект, о котором нам рассказали, это обустройство инфраструктуры парка – строительство кордона, создание туристской тропы на Киваку, организация выставки в визит-центре,

на открытие которой 18 декабря 2014 года приехали гости из Финляндии и России.

Мы познакомились с этой выставкой, скорее – небольшим музеем, где представлены не только стенды с информацией о парке, но и следы пребывания человека на этой территории от скребков, которыми пользовались древние люди, до почти современных прялки, домашних жерновов, топора, мотыги, деревянного ковша для сбора ягод и даже патефона, радовавшего жителей столетие назад. Тут же размещена фотовыставка, на которой мы с удовольствием находим несколько снимков Михаила.

Начальник отдела по экологическому просвещению Анастасия Викторовна Протасова рассказывает о растительном и животном мире парка:

– У нас произрастают 623 сосудистых растения, из них 17 растут в Карелии только у нас, например краснокнижный качим пучковатый. Есть мхи, лишайники. Порядка 60 видов растений занесены в Красную книгу Карелии. В парке можно встретить более 400 видов птиц, в том числе включенных в Красную книгу орланов белохвостых, беркутов, скоп, филинов, неясителей. Очень много воробьиных, околотовных, та же краснозобая гагара. Животных в парке 37 видов – классические таежные. А лебедям так нравится в «Паанаярви», что они часто остаются на зимовку парами, живут здесь на болотистых закрытых местах рядом с водоемами.

Все же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Простившись с гостеприимными хозяевами визит-центра, выписав разрешения на рыбалку, обзаведясь проспектами и буклетами, мы продолжаем дорогу. И, еще не добравшись до парка, начинаем знакомство с его животным миром. По просьбе Миши, вновь начавшего колдовать над фотоаппаратом, делаем небольшую остановку у речки, пересекающей путь, и замечаем, как две норки, завидев нас, метнулись к прибрежным камням. Одна из них исчезла сразу, а вторая, спрятавшись, все-таки всунула мордочку и несколько секунд рассматривала непрошенных гостей.

Миновали озеро с песчаным берегом и частой водой. И вот в створе дороги вырастает вдалеке гора. Придорожные деревья уже прячутся в тени, а гора освещена солнцем. Сосны, ели, березы, осины на ней напоминают глубокую сцену в театре, когда один за другим видны декорации для разных картин – вот желтый занавес, за ними темный, потом золотящийся на солнце, следующий – серо-фиолетовая гора и, наконец, светлоголубое прозрачное небо...

Это гора Кивакка, одна из самых высоких в парке и в Карелии. Она хорошо видна от шлагбаума, преградившего дорогу, хотя добираться до нее еще довольно долго. Из большого бревенчатого нового дома нам навстречу идет мужчина в камуфляже. По рации – поскольку здесь нет иной связи и наши мобильники молчат – сообщает о нашем прибытии инспектору, ожидающему у моста через Олангу.

Мы продолжаем путь по грунтовой дорожке, где не развить большую скорость. Влад печалится, что взял машину с низкой посадкой, а не внедорожник, который хоть на трассе и потребляет больше, но по лесам на нем ездить удобнее. Ничего, в следующий раз учтем.

Вот и пост – несколько домов, в которых живут туристы. Возле одного из них стоит ладья, сейчас она просто служит украшением, а несколько лет назад возила гостей по Паанаярви. Ныне ее сменило другое судно. От ладьи к нам спешит Татьяна Егоровна Юнгина, тепло здоровается с Михаилом – они встречались во время его последнего визита. Знакомимся, планируем завтрашний день. Осталось преодолеть последний отрезок пути – самый короткий, но самый трудный. Дорога суживается, время от времени круто поднимается в горку, преодолевает преграды. Мы слышим, как стучат камешки по днищу машины. Сгущается темнота, мы едем над Олангой, свет фар выхватывает мощные сосны, суровые замшелые камни, реже – желтолистые березки. А вот и место стоянки!

На территории парка есть несколько групп туристических домиков, рассчитанных на группы аж до 18 человек. Как правило, возле каждой группы домиков поставлена баня, организована стоянка для автомобилей.

Выгружаем вещи, рассуждая, что напрасно по дороге не запаслись березовыми вениками. И я делюсь с детства усвоенной мудростью:

– Веники вязать надо, пока лист на березе...

– С пятикопеечную монету! – заканчивает Влад. (Разумеется, речь идет о советском пятике, сейчас нужно бы говорить о монете пятирублевой.) – На самом деле это ерунда. Веники можно вязать в любое время, когда на березах нет сережек, а то они в парилке растрещатся и все тело покрывают.

Не спорю с Владом, он вырос в поселке, а не в городе, и в таких вопросах разбирается, наверное, лучше нас.

Знакомимся с местностью уже в глубоких сумерках. Миша, привычный к путешествиям, захватил два довольно мощных фонарика, и это упрощает дело. Нас поселили в доме, рассчитанном на девять человек. Называется он «Поплавок», видимо, потому что находится в нескольких шагах от Паанаярви. Срублен дом из сухой сосны, теплый, уютный. Посредине стоит печь, разделяющая помещение пополам. В одной половине – большой стол и лавки, одна из них довольно широкая – спальное место. Во всю ширину второй половины раскинулись полаты с четырьмя матрасами. Столько же матрасов и на чердаке.

Рядом с домом стоит дровяник, срубленный из такой же сосны, он смотрится сказочной избушкой. Топор и колун лежат тут же. Неподалеку обустроено кострище – толстая металлическая сетка на кирпичках, на скамейках рядом поставлены закопченные кастрюли, два чайника. Недолго решаем, где будем греть чай – на улице или в доме. Метрах в пятнадцати сквозь деревья мы видим, как весело пляшет костер у наших соседей. Вроде бы они близко, но, отделенные соснами, кажутся далекими и потому не мешают.

Все же решаем топить в доме, все равно перед ночью надо согреть помещение. Я пробую растопить печку, нащепав лучинку от полена, но огонь не хочет разгораться. Найденная в кармане пачка от сигарет сгорает, не запалив дерева. Ворчу, мол, дрова сырые, и выхожу к машине за вещами, а Влад идет навстречу с рюкзаком... когда я возвращаюсь, огонь в печке уже гудит.

– Дрова только сверху сыроваты, – объясняет Влад. – Наколоч, лучинки нащепал из середины.

Молча беру ведра и иду к озеру. С огнем не вышло сразу, так с водой получится! На берегу стоит домик инспекторов. В нем уютно горят окна – у них электричество есть, работает генератор. Говорят, для зимних туристов такая возможность предусмотрена – генератор можно привезти с собой или взять здесь, но в сентябре можно обходиться и без него. На самом берегу Паанаярви, блестящим под небом, на котором стали появляться звезды, стоит баня. Мостки от нее ведут прямо в озеро, и я зачерпываю полные ведра. Мысленно пытаюсь убедить себя, что отсутствие привычных удобств – это радость. В конце концов, не так уж часто удается окунуться в тишь без Интернета и мобильной связи, без электричества и газовой плиты...

Поставив воду у дверей, захожу и вижу, что Влад уже ставит на столе набор чистых котелочков и походную плитку, работающую от газовых баллончиков.

– А я всегда их с собой вожу на всякий случай, – объясняет, перехватив мой взгляд.

Миша уже достал взятые нами припасы, а теперь расчехляет штатив для фотоаппарата, готовясь к вечерней съемке:

– Татьяна Егоровна сказала, что вчера северное сияние было в полнеба. Может, мы увидим.

...Сначала оно показалось каким-то неясным туманом, растянутом в небе под Большой Медведицей. Потом вдруг заиграло – вытянулось в один луч, и вот уже многие лучи, словно испускаемые неведомой невидимой звездой, пронизывают сумеречную небесную ткань. Потом вновь превращаются в протяженное белесое облако, а затем начинают играть оттенками радуги... Северное сияние бывает видно и в Петрозаводске, но там оно бледнее и часто почти неотлично от неясной туманной дымки. Здесь, конечно, красивее. Когда-то в детстве я прочел книжку о Крайнем Севере, говорилось в ней и о северном сиянии, а на картинках так ярко были изображены цветные сполохи, что я вижу мысленным взором эти иллюстрации и сейчас. Правда, не думал, что получится узреть цветное северное сияние воочию. И вот – сбылось.

– Звезда падает, – говорит Влад.

– Успел загадать желание? – спрашиваю и тоже вижу падающую звезду. Она стремительной искрой прочеркивает небо и скрывается за лесом – никакое желание загадать не успеешь... Повернувшись, вновь вижу звезду, на этот раз неспешно опускающуюся на землю. И устаю перечислять желания, пока она неторопливо летит по своему пути...

Северное сияние выгнулось петлей, захлестнувшей темноту, замелькало бледными зелеными, голубыми, алыми оттенками, то более яркими, то размытыми. Миша снимал, наверное, целый час. Затем мы отправились спать, но заснуть у меня не получалось, я слышал шум порога на Оланге, бегущей поблизости, и то и дело выходит на улицу, чтоб еще и еще раз увидеть, как играет в темном небе туманное чудо.

Когда я проснулся, Миши в домике уже не было – отправился на охоту за интересными кадрами. Семь утра, солнце уже встало, на улице светло и тихо, нет ни ветерка, все так же отчетливо слышен шум порога. На траве и ветвях еще нет инея, но кажется, что его не хватает – еще чуть-чуть и утра будут морозными. Это впечатление усиливает иван-чай, растущий прямо возле дома, он

чутко пригнулся от холода и влаги, белый пух, в который превратились цветы, лежит на зеленых стеблях как иней. Дом стоит среди могучих сосен и молоденьких елей, елочкам зябко этим утром, они застыли в безмолвии, меж стволов стелется черничник. Я пробую ягоды, но они не очень вкусны, видимо, перестояли, подмерзли.

Между домом и дорожкой, ведущей к озеру, разросся малинник, ягоды на нем тоже мелкие, хоть аж бордовые – они дозревали уже в прохладную погоду.

Иду за водой, левый берег Паанаярви покрыт высокими стройными островерхими соснами, он уже осветился солнечными лучами, а за единственным на озере островом, что закрывает вход в наш заливчик, вдалеке висят розоватые облака. За ними дальше берег не просматривается, только верхушки деревьев на высоком берегу виднеются в тумане, стелющемся над озером.

Входя в дом, автоматически хлопаю ладонью по стене.

– Что, выключатель ищешь? – улыбается Влад.
– Я тоже себя на этом ловлю.

Уже через час туман растаял, я вновь стоял на берегу Паанаярви, любясь освещенным ярким солнцем островом, на котором можно было рассмотреть каждое деревце, и сопками за озером, покрытыми стеной стоящими соснами. Стоял и думал, сколь обделен человек, лишаящий себя возможности постоянно видеть эту красоту природы, запирающий себя в городе. Почаще бы выезжать в такие места...

И ведь есть люди, чувствующие то же! Там, на берегу Паанаярви, мы встретили человека, который однажды решил, что и ему нужно чаще видеть природу. Московский врач Павел Иванович, которого здесь хорошо знают и зовут только Доктором, приезжает в эти места ежегодно с 2003 года. Однажды, будучи в депрессии, позвонил другу и попросил посоветовать, куда можно отправиться отдохнуть, – где хорошая экология и немного людей. Друг, бывавший здесь, и посоветовал Паанаярви. Нет, Павел Иванович бывал на российском севере и раньше. Но именно здесь, где люди друг другу не мешают, где природа не губится, а, напротив, живет по своим естественным законам, он нашел для себя любимое место.

– Помню 21 августа 2003 года, первые заморозки с шикарным северным сиянием, – рассказывает Доктор. – Я вышел к костровищу, стал рубить дрова скрюченными руками. Сцена, как в фильме ужасов, – темнота, из лесу выходит мужчина с бородой, в капюшоне, становится рядом и

молча наблюдает за моей работой... Огонь у меня стал чуть-чуть разгораться, и мужчина заговорщицки так: «У меня есть чем согреться!» Я говорю: «Давай!» Оказалось, это был главный охотвед одной из северных российских областей. После этого я перестал бороться с этой природой, перестал с ней воевать, вводить свои правила, а стал просто с ней сосуществовать. Это был первый момент, после которого я к этим местам прикипел. А второй... Приехал примерно в это время, было довольно холодно. Мы остались с инспектором, он истопил баньку, я напарился, налил себе коньячку, взял сигару, вышел, взглянул на закат... Вы сами баньку любите? Натопишь, попаришься, искупаешься и поймешь, что жизнь удалась. Таких красот я пока не видел нигде. Говорят, здесь энергетические места, я этого не понимаю, но то, что здесь глаз радуется и душа умиляется, – действительно так.

Павел Иванович уже собирался домой, но, едва отъехав, сломалась машина.

– И как вы?

– Встал на дороге, мимо проезжали ребята, я попросил, чтоб сообщили на кордон, что Доктор сломался. Через час сорок уже была помощь, машина в Пяозерском, ее местные умельцы ремонтируют. Сделают – поеду.

– А чем вы питаетесь тут месяцами?

– Я очень люблю рыбу, поэтому питаюсь просто. Беру с собой гречку, кофе, сливки, сигары, виски, а все остальное – что поймал. Приехал – был 98 кг, сейчас – 92, при этом ни в чем себе не отказываю. Динамика, бегаешь постоянно. Сломалась машина, но у меня большая радость, что вновь застану здесь осень. Осина – красная, береза – желтая, елки – зеленые... Северная красота.

– А как рыба? Что попадает? – интересуется подошедший к нам Влад.

– Попадает все! – машет рукой Павел Иванович. – Щука здесь фантастическая, по вкусу похожа на свинину, сиг, хариус, кумжа, а килограммовых окуней просто отпускаю!

Дорога проходит вдоль Оланги, мы часто останавливаемся, Миша фотографирует то ламбу, то хвойный лес в нарядах разных оттенков зеленого – от светло-салатового до почти черного. Справа поблескивает река, под рябью чистой воды темнеют гладкими спинами камни.

На мосту к нам в машину садится Татьяна Егоровна, и мы продолжаем путь вместе.

Татьяна Егоровна долгое время была в Кестеньгском лесхозе инженером по охране леса.

Кестеньга – это поселок на дороге от Лоухи до Пяозерского. В 1995 году Татьяну Егоровну пригласили на работу в национальный парк, и почти 20 лет она работала в отделе охраны государственным инспектором, смотрела, чтоб не было нарушений в парке, чтоб соблюдался режим особой охраны территорий.

– И браконьеры здесь бывали?

– Браконьеры есть, они и сейчас встречаются, – как-то грустно говорит Татьяна Егоровна. – Если человеку что-то делать нельзя, ему очень хочется это сделать.

Мне не хочется этому верить, когда я смотрю на проснувшуюся, пестрящую чистыми осенними красками природу.

Мы подъезжаем к Вартиолампи. Некогда, сотню лет назад, здесь было два десятка дворов, дома все как один смотрели окнами на Олангу и возвышающуюся над ней Кивакку. Это была деревня карельских староверов, торговцев, земледельцев, рыбаков и охотников. Сегодня о ней не так чтобы очень много сведений осталось, путешественники сюда заглядывали редко и не оставили воспоминаний. Но все же на табличках, установленных у дороги, размещено немало информации. Так, узнаем, что километрах в 20 отсюда проходил торговый путь, связывавший Вартиолампи с Беломорьем, деревенские коробейники торговали и в Архангельской губернии, и в Финляндии. Мужчины занимались на рыбную ловлю, могли добраться до Норвегии. Женщины оставались дома, выполняя всю работу по хозяйству в ожидании мужей и отцов. Здесь выписывали газеты из Оулу, хотя школы не было, но народ был грамоте обучен. Причем знали не только карельский язык, но и русский, и финский, и шведский, и норвежский – знание языков помогало зарабатывать.

Откуда же здесь староверы? В эти северные карельские леса уходили приверженцы старой веры после разгрома Соловецкого монастыря, сопротивлявшегося реформам патриарха Никона.

Жители Вартиолампи охотились, рыбачили, сеяли рожь, разводили коров, овец, лошадей, а кур и свиней не держали. Главным животным был олень, и семьи обеспеченные держали стада до двухсот голов.

С началом прошлого века в районе началось активное промышленное развитие, появились лесоразработки, строилась Мурманская железная дорога, на строительство которой из деревни ушли 9 человек.

Революция, конечно, внесла изменения – зак-

рылась часовня, был создан колхоз. Часть жителей ушла в Финляндию, от которой Вартиолампи отделяли 12 километров, часть осталась. С началом войны жителей эвакуировали, а в годы войны деревня была сожжена. Восстанавливать ее не стали, здесь не было дорог, а потому и смысла в отстройке нового жилья не увидели.

– А потомки жителей и сейчас живут в районе, – говорит Татьяна Егоровна. – Кто в Кестеньге, кто в Лоухи.

Место, на котором стояла деревня, поросло высокой травой, лес его еще не захватил. О деревне напоминают ямы от погребов, остатки фундаментов, скрытые в траве, да старый сеновал. На месте заброшенного кладбища вырос ельник, на месте часовни – березка.

Но теперь вдоль Вартиолампи проходит дорога, по которой мы приехали. Стоит здесь и новый дом, построенный по образцам прежних. Но в него мы заглянем на обратном пути, а пока проходим мимо.

Татьяна Егоровна рассказывает о детских экологических лагерях, проходящих именно здесь. Для ребят построено большое закрытое костровище, такой вигвам, где можно проводить занятия в непогоду. А занимались здесь дети под руководством ученых из Карельского научного центра РАН изучением природы, одни – растениями, другие – рыбами, третьи – муравьями. Одних муравейников на большой поляне насчитали 97!

Татьяна Егоровна быстро шагает, и мы стараемся поспевать за ней. Подтянутая, в камуфляже, она явно чувствует себя здесь как дома. Работа экскурсовода не сказать чтобы очень легка. По этой тропе хожено множество раз, да по другим тоже.

– Бывает, по два раза в день на Кивакку сбегает, – смеется наш экскурсовод. – А что делать? Туристы просят...

А после этих прогулок еще и забота о тех, кто приехал отдохнуть и погулять – в ведении Татьяны Егоровны четыре домика и четыре палаточных стоянки. Да и из других мест отдыхающие приходят за консультациями, поскольку знают, что лучше Татьяны Егоровны парк мало кто знает. А вечерами тем же отдыхающим нужно баню истопить, да не по разу.

Какое-то время идем по дороге, она является частью зимнего маршрута, по ней туристов возят на санях, прицепленных к снегоходу.

– В конце февраля – начале марта на наших горах красотища, – рассказывает Татьяна Егоров-

на. – Деревья укутаны снегом полностью, неземной пейзаж.

Но нам выпало побывать здесь в сентябре, о чем не жалею. Вдоль дороги угадываются некогда вручную вырытые жителями мелиоративные канавы. Землю нужно было осушать, чтобы она давала рожь, ячмень, даже пшеницу. Крестьянский труд не был легким, но жители здешних мест отличались трудолюбием. Теперь же в этих старых канавах уже растут деревья.

Дорога идет дальше. А мы сворачиваем к Оланге и идем по лесу, покрытому черничником, время от времени срывая ягоду, поджидая Михаила.

– Когда все идут четыре километра, фотограф проходит восемь: влево-вправо, вверх-вниз, – смеется Миша, догоняя нас.

А мы не спорим, эти остановки дают возможность осмотреться, не мельком увидеть, а впитать в себя красоту осеннего леса, познакомиться с ним. Тропинка покрыта переплетением корней елей и берез. И вот Татьяна Егоровна обращает наше внимание на пример борьбы за выживание: за место под солнцем борются елочки и березы. Хлипкие вроде бы ветви березки охлестывают молодую ель, выбивая у нее верхушечки. Еловый подрост погибает, перед нами – сохнувшие елочки, а победившие в этой схватке березы тянутся ввысь. На делянках, там, где после вырубки ведется лесовосстановление, листовые породы вырубает, чтоб они не мешали расти более ценным сосне и ели. А здесь, в естественных условиях, каждый отвечает за себя...

Минуем полянку, на которой некогда стоял карельский хутор. Сейчас об этом можно догадаться только по тому, что лес еще не подобрал полянку в себя, она покрыта зарослями иван-чая.

Останавливаемся на пригорке, покрытом таволгой, распушившей свои белые цветочки-елочки, и васильками, но не привычными синими, а розовыми, вырастающими будто из маленькой ананасной шишечки. Впрочем, васильков существует семьсот видов, и тот, на который смотрим мы, весьма распространён в наших местах. А слева Оланга степенно несет свои воды к недалежному порогу, шум которого уже слышен. Идем дальше и сквозь деревья видим противоположный берег с золотящимися под солнцем деревьями. У берега коленчатыми пиками оцетинился хвощ, зеленеют островки осоки.

Через влажные и мшистые места на тропинке проходим по тротуарам из мощных плах, соединенных деревянными нагелями. Такое соединение надежнее, чем гвозди. Те вскоре начнут вы-

лезать из дерева, а нагеля намокают и сохнут вместе с плахами тротуара. Тропинка обустроена тротуаром не столько для нашего удобства, сколько для сохранения растительного покрова. Нас, туристов, может быть много, вытоптать растительный покров легко.

– А лебедей мы встретим? – интересуется Михаил.

На мосту через Олангу, где мы встретились с Татьяной Егоровной, один из туристов сообщил, что каждый день встречает в лесах парка лосей. Не знаю, так ли это, но о встречах с лосями рассказывают и другие. Нам же из животных попалась только мышка-полевка, перебежавшая дорогу. А Михаилу, конечно, хочется снять кого-то иного.

– Лебедей здесь много, – говорит Татьяна Егоровна. – Но если специально пойдешь их фотографировать, вряд ли встретишь...

И тут в лесной тишине над Олангой раздаётся громкий, отчетливый крик лебедей!

– Лебеди летят, лебеди! – не сдерживаюсь я, и Миша вскидывает фотоаппарат, щелчок за щелчком снимая грациозных птиц, летящих над самой водой. Пара лебедей летит на фоне Кивакки, раскинув белые крылья и вытянув длинные красивые шеи...

Я не жалею, что не взял с собой фотоаппарат. Во-первых, есть снимки фотомастера, а во-вторых, мне было обидно смотреть на птиц через эту машинку, работая, а не просто любясь их природной красотой, потому что лебеди, летящие над Олангой, это одно из самых ярких впечатлений путешествия, запомнившееся надолго. У национального парка много символов, это и горы, и редкая краснокнижная орхидея Венерин башмачок, и кумжа, и водопады, но для меня теперь с «Паанаярви» ассоциируется именно эта картинка – парящий вдоль реки лебедь.

Мы проходим мимо укрепленного на дереве сооружения, напоминающего скворечник, только размером побольше.

– Это гоголятник, – поясняет Татьяна Егоровна, – для уток.

– Гоголь – утка, нечто среднее между чирком и кряквой, – говорит Влад, когда я удивляюсь, протиснется ли утка в сделанный для нее домик сквозь небольшое отверстие.

Гоголятники строили в этих местах издавна, укрепляли их на достаточной высоте, чтобы хищные звери не могли достать. Татьяна Егоровна рассказывает:

– Карелы не держали кур, считая их грязной птицей. Курица не моется в воде, только пырхает в пыли, а утка – в воде постоянно. Домашней птицы не было, но местные жители собирали яйца чаек и уток, при этом был строгий закон – больше трети кладки не брать. Так наши предки сохраняли животный мир для нас, теперь нам бы его сохранить для детей и внуков. Кстати, когда по этой тропе идут детские экскурсии, ребятам дают задание на внимательность, им нужно сосчитать, сколько здесь построено гоголятников. Попробуйте и вы, – предлагает наш экскурсовод.

Сразу скажу, что я увидел только два, но Татьяна Егоровна сообщила, что их больше, а точное количество не назвала, предложив приехать еще раз и повторить попытку. И я думаю, что с удовольствием вновь здесь побываю, даже если так и не увижу все сооруженные сотрудниками парка гоголятники. Просто снова хочется увидеть эти места, которые сейчас, после поездки, встают перед мысленным взором, и я вспоминаю блестящую рябь Оланги, суровые камни, поросшие лишайником, молодую елочку на берегу, изогнувшую ствол, будто устремленную в полет за лебедями...

Слева от тропы построили себе огромный дом муравьи, этот муравейник высотой, наверное, чуть ли не в метр и в диаметре метра полтора. По поверхности, усыпанной сухими березовыми листочками и сосновыми иголками, деловито в разных направлениях снуют хозяева, каждый занят своим делом: кто-то тащит обломки веточек, кто-то кантует уже неживую мушку...

– Не устали? – спрашивает у нас Татьяна Егоровна. – У муравья – самого сильного существа на свете – мы можем попросить силы и помощи.

Она растирает ладони, чтоб немного разогреть их, тихонько кладет на муравейник, и любопытные муравьишки сразу забегают на руки, исследуя незнакомое явление. Подержав ладони на муравейнике с минуту, Татьяна Егоровна говорит:

– Спасибо, ребята, теперь я возвращаю вас обратно!

Она несколько раз энергично взмахивает ладонями, а потом подносит их к лицу и делает глубокий вдох.

По ее примеру я делаю то же самое. Муравьи щекочут кожу, стряхиваю их через некоторое время и вдыхаю запах... Никакого нашатыря не нужно, когда есть этот природный запах, резкий, но, я бы сказал, очень свежий, будто очищающий голову.

– Сильно щиплет? – спрашивает Михаил, опасно наблюдая за моими манипуляциями.

– Совсем не щиплет, – честно отвечаю я, и мой товарищ повторяет действие.

– А теперь, – рассказывает Татьяна Егоровна, – мошка не будет садиться на руки и лицо, это такая давняя естественная защита.

Наверное, так и есть, правда, паанаярвские комары и мошки и так нам не особенно досаждали. Может, сентябрь для них уже достаточно холодный месяц, чтобы проявлять активность.

Впереди мы слышим шум бурлящей воды, но это еще не водопад, это Иванов, или Мельничный, порог. Свое название он получил от имени мельника Ивана, некогда державшего здесь мельницу, на которую свозили зерно из округи. Мы располагаемся на большом каменном выступе, наблюдая, как вода Оланги, густая-густая, будто масло, входит в порог, как играют на ней солнечные блики, как в камнях вода взбивается белой сливочной пеной. На камни выходят сосны и елочки, можжевельник, аккуратно заползают кусты брусники, будто не решаясь проникать дальше на солнце из своего тенистого укрытия. Мы любимся золотистыми деревьями в створе реки.

В заливчике у порога с тихим плеском заиграла рыба.

– Это хариус, – поясняет Татьяна Егоровна. – Кумжа играет иначе, она выпрыгивает из воды и, поворачиваясь в воздухе, падает на воду плашмя, будто массаж себе делает.

Пьем воду и не можем остановиться, настолько она чиста и вкусна, даже кажется сладкой.

На другом берегу реки видим сосну с шарообразным наростом из ветвей вблизи верхушки. Это так называемая «ведьмина метла», проявление заболевания дерева, когда ветви на определенном участке начинают делиться в геометрической прогрессии, образуя шар. Татьяна Егоровна говорит, что чаще такие наросты бывают на березе, а здесь – на сосне. Мне приходилось видеть такие «ведьмины метлы» на лиственных деревьях на юге, в Карелии же встречаю впервые.

– У финнов это явление имеет более романтическое название, – рассказывает Татьяна Егоровна. – Они называют такие шары из ветвей гнездами ветра.

Трудно перечислить все природные красоты, которые встречаются нам на пути. И вот еще одна – выступающий из воды валун.

– А это русалочий камень, не хуже, чем в Копенгагене, – сообщает Татьяна Егоровна. – Часто бывает, что, когда я подхожу, русалка сидит на нем, но, услышав мое приближение, ныряет в реку, прячется, не хочет, чтоб ее видели.

Тон Татьяны Егоровны спокойный, будничной, я не понимаю, правду она говорит или на ходу придумывает легенду.

– Но однажды я русалку увидела, – продолжает Татьяна Егоровна. – Мы шли с молодой парой из Петербурга, и я рассказывала им об этом камне, говорила, что очень хотела бы застать там русалку. Мы с паренком стояли здесь, а девочка отлучилась ненадолго, мы озираемся и вдруг слышим плеск у камня, смотрим – на нем сидит русалка, плавно поглаживая волосы... Посмотрела на нас, подмигнула. Соскользнула с валуна и скрылась в реке... Жаль, что девочка русалку не увидела, она подошла только несколько минут спустя.

Татьяна Егоровна рассказывает эту историю очень серьезно, только в конце хитро улыбается.

– А водяные здесь не водятся? – подыгрываю я, раздумывая, не слишком ли холодна вода.

– Нет, они пониже встречаются, – говорит Татьяна Егоровна. – Может, увидим их.

Но вместо водяного мы встретили на тропе браконьера. Сначала навстречу нам с лаем выскочил серо-черный сеттер, а за ним мы увидели мужчину в камуфляже с ружьем.

– Вертикалка двенадцатого калибра, – определяет Влад. – У меня такая же дома.

Мужчина явно смущен встречей.

– Здравствуйте, вы знаете, что находитесь на территории национального парка? – подходит к нему Татьяна Егоровна.

Мужчина начинает объяснять, что находится здесь случайно, мол, приплыли с сыном на лодке со стороны Пяозера, что не знает о заповедной территории, а ружье вообще не заряжено...

– Извините, но вас сейчас встретят, – говорит ему Татьяна Егоровна и тут же по рации связывается со своими коллегами и сообщает им о нелегальном «госте». – Здесь два человека с собакой.

– Собаку не трогайте! – громко возмущается охотник.

Но никто ее трогать не собирается, просто просят взять на поводок. Нахождение собак на свободном выгуле недопустимо, как нам позже рассказали. В национальном парке поддерживается естественная среда обитания для животных, собаки в таком лесу, которые могут, например, заразить местных обитателей своими болезнями или сами стать пищей для рыси или волка, конечно, неуместны.

Татьяна Егоровна просит нас подождать, а сама уходит с охотником.

– Забавно, – говорит Влад. – Тропа деревянны-

ми плахами выложена, стенды с информацией стоят, очевидно, что территория охраняется, а этот товарищ говорит, что не знает об этом. Все равно что в зоопарк пойти поохотиться...

Проходит несколько минут, и Влад начинает беспокоиться:

Татьяна Егоровна одна, а мужик – с ружьем...

Я тоже об этом думаю и поднимаюсь с камня, на котором мы сидим:

– Пойдем!

Но только мы встали, как показалась наш экскурсовод. Она рассказала, что «гости» переданы в надежные руки, что теперь им грозит штраф и хорошо, если они окажутся без охотничьей добычи, а то штраф многократно увеличится. Впрочем, выстрелов мы не слышали.

– Это только кажется, что здесь нет людей, – улыбается Татьяна Егоровна. – На самом деле любого браконьера очень скоро увидят и, конечно, накажут.

Мне трудно описать чувства от встречи с этим «человеком с ружьем», настолько он был чужд в тихой природе парка. Слон в посудной лавке, осиновый кол, торчащий из именинного пирога... Да, когда-то в этих местах охота и рыбалка обеспечивали местное население пищей, но даже тогда жители относились к природе осторожно. Чего стоил неписанный закон не брать больше трети кладки птичьих яиц! Теперь же появиться здесь с ружьем – это нанести оскорбление не только людям, охраняющим заповедный край, но и памяти о предках, самой природе...

Однако природа умеет зарубцовывать раны, так затягиваются и неприятные воспоминания, остается только тихая радость от того, какими пейзажами радовал нас Национальный парк «Панаянви».

Перешагивая через широкие камни, окруженные по сторонам брусничником, мы постепенно поднялись на скалу, с которой открывался красивый вид на вершину водопада Киваккаоски. Водопад получил свое название от горы, возвышающейся за Олангой, а слово «коски» по-фински означает порог, падун, водопад. Справа от нас скалистый остров, поросший елями и березками, река разделяется, перед тем как броситься со скалы вниз, разбиться о камни, а после еще и еще раз повторить этот трюк.

Проходим чуть дальше по течению и оборачиваемся – по обеим сторонам реки вырастают скалы, здесь можно осознать мощь реки, пробившей себе путь сквозь каменные толщи. К водопа-

ду склоняется рябинка с покрасневшими листьями, а навстречу ей с другой стороны тянется золотистая березка. Под верхним уступом водопада небольшая чаша, в которой кумжа набирается сил, чтобы затем совершить прыжок вверх, преодолевая валы бурлящей, пенящейся белыми кудрями воды.

Спускаемся по берегу, постоянно оборачиваясь, каждый шаг – и новый прекрасный вид. И вот мы миновали Киваккаоски, стоим на остатках каменной стены, сложенной столетие назад вручную, когда по реке шел сплав леса. Может, и не гиганты укладывали эти камни, но точно строители были людьми, имевшими великое терпение, силу, надежду, трудолюбие. Такой труд не может быть скорым и легким.

Обернувшись, мы смотрим на карельский Игуасу, раскинувшийся во всей красе – семью уступами с высоты в дюжину метров разлившаяся на сто метров Оланга устремляется вниз. Над водопадом висит туманное облачко водяной пыли, в камнях играет пенное варево. Остается только удивляться, как может настойчивая кумжа преодолеть такое препятствие! Киваккаоски считается самым мощным в Карелии нерегулируемым порогом, каждую секунду вниз падает около 63 кубометров воды. Конечно, это средний объем, меняющийся в течение сезонов.

Далее вода спешит в Пяозеро, находящееся в четырех километрах, откуда и возвращается по Оланге кумжа.

Татьяна Егоровна обращает наше внимание на небольшую иву, и кажется, что дерево из последних сил цепляется своими корнями за камни, рискуя быть смытым бурным потоком.

– Каждый год гадаю, удержится ли, – улыбается Татьяна Егоровна. – Крепко стоит!

Это напряжение воли, упорство чувствуются здесь во всем – в усилиях ивы, растущей корнями в скалу, в кумже, способной преодолеть такие препятствия, в Оланге, пробившей себе русло сквозь камни, в каждом дереве и цветке, растущем под северным небом... Но при этом зримо ощущается и спокойная мужественность карельской природы, рождающей терпеливые, настойчивые и нешумные характеры.

Мы почти достигли конечной точки нашего маршрута, остается сделать всего несколько шагов, и мы отдыхаем на маленькой полянке. Сидя на камне, замечаем, как из лесу подмигивают красными глазками земляника и костяника.

А потом мы купаемся. И вода, конечно, холод-

на, но тот не может считаться жителем Карелии, кто осенью не рискнет искупаться. А будет это теплая лесная ламба, студёные воды Онего или Белого моря – это уж как повезет. Нам не хочется и отставать от Татьяны Егоровны, хоть она и купается в Оланге ежедневно, утверждая, что река дарит ей силу и здоровье.

На обратном пути делаем остановку в Вартиолампи. Навстречу нам идет пожилая пара, тепло приветствующая Татьяну Егоровну. Они делятся планами на вечер:

– Мы идем посмотреть на закат. Там дальше есть два замечательных пенечка, посидим, полюбуемся...

Влад тихо спрашивает у меня:

– По-твоему, это счастье? Ты бы хотел так в их возрасте?

– Конечно, счастье! – не сомневаюсь я. – Прожить долго, а на склоне дней приехать с женой в Паанаярви, чтоб любоваться закатом – что может быть лучше?

Влад пожимает плечами и о чем-то задумывается...

Мы подходим к дому, построенному в традиционном стиле. Это Karjalan Talo – карельский дом, где можно услышать рассказ о жизни в здешних местах в прежние годы. Но кто же нам расскажет?

Татьяна Егоровна просит немножко обождать на улице, заходит в дом. Мы располагаемся во дворе у колодца, рассматриваем сушилку для сетей, лодку, стоящую у дома, большой плуг, найденный в этих местах. Вскоре видим, как из трубы над крышей начал виться дымок. Ложимся на траву, глядя в чистое голубое карельское небо, и я вспоминаю, что не смотрел вот так в небо уже много лет.

И вот к нам выходит хозяйка. Татьяна Егоровна? Она и не она. В дом заходила наша знакомая современная женщина в камуфляже, а вышла карельская хозяйка в сарафане, платочке. Кланяется гостям, просит войти.

Но сначала я прошу ее рассказать о наряде, и оказывается, что Татьяна Егоровна сшила его по образцу семейной реликвии, а семья жила хоть и не в Вартиолампи, а в другом селении, но тоже в Лоухском районе. Такой же наряд, сарафан с подкладом, носила в конце XIX века ее прапрабабушка. И бабушка его берегла, в годы войны увозила с собой в эвакуацию. Разве что цвет у нового наряда не тот, новый сарафан пошит из светло-зеленой ткани, а прабабушкин был красным,

но это не главное. Ткань столетие назад была шерстяной, покупной, хотя и здесь пряли шерсть. Чуть позже Татьяна Егоровна показала нам, как овечью шерсть чесали, как сучили нить. В доме стоит старинная прялка в рабочем состоянии.

Украшением наряда служили жемчужные бусы, а жемчуг добывали в здешних быстрых реках, высматривая раковины на дне с помощью длинной берестяной трубки. Жемчуг когда-то служил не только украшением, но и средством платежа, использовался вместо денег.

Татьяна Егоровна показывает карельское коромысло, оно короче, чем традиционные русские, похоже на доску, в которой специально выдолблено место под плечи, сделана выемка для шеи. Мне кажется, что управляться с ним несколько легче, удобнее. Позднее я узнал, что такие коромысла были распространены на Русском Севере, есть они и в Архангельской области.

В доме можно увидеть различные хозяйственные вещи, которые необходимы были местным жителям в их нелегком труде. В сених на стенах висят пилы-лучковки, деревянные

ковши для сбора ягод, хомут, весла. А вот берестяной кошель, заменявший некогда рюкзак, знакомая вещь, их ведь делали еще совсем недавно. Дедушка моей жены, живший на юге Карелии, в Пудожском районе, плел из бересты такие же...

В горнице стоит большая традиционная карельская печь, от русской ее отличает наличие в углу открытого с двух сторон местечка *piisi*, где можно быстро разогреть пищу, а большей частью используемое для освещения – именно здесь вечерами, а зимой и днем, горели мелкие полешки или лучины, давая необходимый свет.

На стенах развернута выставка работ карельского художника Осмо Бородкина, известного многим и многим читателям по его иллюстрациям в

«Калевале». Совсем недавно я видел работы художника на выставке карельской акварели в Музее изобразительных искусств Республики Карелия в Петрозаводске и, конечно, не ожидал встретить их здесь. Но это оттого, что я был плохо знаком с биографией Осмо Бородкина. Суровые неброские краски природы Карелии перешли на его калевальские иллюстрации, поскольку были знакомы художнику с детства. В этих местах, в деревне Оланга, он родился в 1913 году.

Мы слушаем рассказ Татьяны Егоровны, рассматривая люльку и тряпичную куколку, какими играли некогда ребяташки, приглядываемся к старинной ручной кофемолке... Карелы, как и финны, кофе очень любили, да и сейчас любят, а варили, добавляя соль.

Выходим, когда солнце уже собирается садиться, любуемся Киваккой в закатном свете. Высота этой горы составляет 499,5 метра, гора имеет семь вершин, говорят, что до сих пор на поверхности земли можно различить борозды скольжения, оставленные ледником, шедшим с запада. Я не различаю этих борозд, вижу лишь осеннее разноцветье

листвы и хвои по склонам. Побывать на горе тоже хочется, там есть немало интересного, например, висячие болота на склонах в местах выхода родников, или сейды – огромные камни, служившие культовыми местами для древних жителей. Мы прошли только по одному маршруту, а в Паанаярви их несколько. Это дорога на хутор Арола, походы на Кивакку и Нуорунен, прогулка по самому озеру Паанаярви. И хочется побывать везде...

Смотрю на Кивакку в вечернем свете, дунул ветер, с сухим шорохом опадают на землю листья с берез, как опадают суетные желания, растворяясь в умиротворенности природной тишины, которую не нарушает, а подчеркивает отдаленный шум Киваккакоски.



Татьяна Егоровна Юнгина — хозяйка карельского дома

К дому возвращаемся на красном закатном солнце, пылающем сквозь сосны.

А вечером была баня. И мы, напарившись, выбегали на берег Паанаярви, в воде которого отражалось темно-синее небо, в сгустившихся сумерках угадывались очертания острова Раясаари, ныряли с мостков в прохладные сумеречные воды. А потом на небе вновь засверкало северное сияние.

После бани Миша вновь вооружился фотоаппаратами и отправился снимать переливающиеся небеса, а мы с Владом поставили чайник и слушали, как шумит Оланга на недалеком пороге. И Влад сказал:

– Знаешь, здесь все просто замечательно! Только одного не хватает – чтоб рядом была жена. Потому что разделить эту красоту хочется с самым близким человеком.

И я с ним согласен. Только мне до сих пор не верится, что в самом северном районе Карелии в сентябре я купался в озере, да еще под северным сиянием...

Но наше путешествие продолжается, впереди – новый день и новые впечатления.

Кораблик «Оланга» плавно отходит от берега. Мы минуем Раясаари и выходим в открытое Паанаярви. Однако как-то неловко использовать эпитет «открытое», поскольку озеро кажется таким небольшим, уютным, домашним... Оно довольно узко – ширина достигает только полутора километров, а потому и левый, и правый берега хорошо просматриваются. Слева за островом – второй исток Оланги, здесь она шумит на пороге, и этот мягкий шум мы слышим у домика, а впадает она в озеро в другом конце, мы туда не дойдем. Длина озера – 24 километра, мы пройдем только восемнадцать. Справа мы видим зарастающую просеку – это бывшая граница между СССР и Финляндией, существовавшая до 1940 года. Когда идешь по этому уютному Паанаярви, трудно представить, что под килем – 128 метров... Это же сорокатрехэтажный небоскреб! Озеро могло возникнуть из-за тектонического разлома – следствия произошедшего в древние времена землетрясения. Какие стихии здесь когда-то бушевали, какие природные силы сходились в безжалостных схватках! Теперь это можно только угадывать, наблюдая тихие картины. Глубина обеспечивает большой объем воды, которая остывает неспешно, а потому зима на озеро приходит позднее.

Паанаярви за его чистоту называют северным

Байкалом, но я бы воздержался от таких сравнений, думаю, каждая река, каждое озеро, каждое дерево – неповторимы, как неповторим каждый человек. И эпитет «самый» можно применить к каждому озеру. Вот Паанаярви – самое глубокое среди малых озер на территории Фенноскандии.

Сравнивают Паанаярви с фьордом, и это, скорее, не сравнение, а факт. Некогда озеро было связано с Белым морем, было частью длинного, вытянутого на запад фьорда.

Мы идем на прогулочном теплоходе, заменившем старую ладью, виденную нами на вечном причале возле моста через Олангу. Теплоход построен в Петрозаводске, он рассчитан на 20 мест, а нас только пятеро – Татьяна Егоровна с раннего утра успела прошагать шесть километров, чтоб познакомить нас с другими волшебными уголками национального парка. А пятый, или, вернее, первый – это инспектор Валерий Кононов, наш капитан. Валерий прошел Паанаярви сотни раз, он работает в нацпарке пятнадцатый год. Зимой – на шлагбауме, охраняющем въезд в заповедную зону, а летом – на этом корабле. Скорость – 14 километров в час, что позволяет внимательно рассматривать берега.

А на берегах среди леса то и дело попадаются полянки – это места бывших финских хуторов. Вот полянка справа, озерные воды омывают песчаный пляжик. На этом месте сейчас обустроена палаточная стоянка, а от нее идет тропа на хутор Арола, вместе с Вартиолампи являющийся частью краеведческого маршрута. На хуторе восстановлены сауна, дровяник, сарай, установлены информационные знаки, там можно познакомиться с традиционной финской крестьянской культурой, подразумевавшей автономное существование хозяйства. Но нам придется отложить знакомство с хутором Арола до следующего раза.

А пока мы смотрим на поляны, разбросанные по берегам.

– До 1944 года здесь располагалась деревня Паанаярви, одна из самых богатых в общине Куусамо, – рассказывает Татьяна Егоровна. – Но история территории, конечно, глубже.

Вместе со всей Северной Лапландией она вошла в земли Великого Новгорода. Когда Иван III разгромил вольное княжество, территория осталась без хозяев, и потихоньку ее присоединили шведы. Почти столетие земля, можно сказать, пустовала, но в 1673 году Лапландию открыли для переселения и даже предоставляли переселенцам освобождение от всех налогов на 15 лет. На западном конце озера возникло хозяйство

Каллиониemi, которое в 1769 году купил у карела Миронова финн Терминен – так здесь появилось первое финское поселение. За ним стали возникать и другие. В 1809 году Финляндия, а с ней и Паанаярви стали частью Российской империи.

Жители возделывали землю, занимались животноводством. Кстати, в одном из хозяйств выращивали лук, причем столько, что его хватало на всю округу.

Конечно, занимались рыболовством. Ходили по озеру под парусами, а в 30-е годы на Паанаярви появилось несколько моторных лодок. Были в деревне мастера – швеи и портные, кузнецы и сапожники. Были торговцы, местные жители покупали в магазине кофе, манку, рис – то, что здесь не вырастить, а кроме того, спички, соль и масло для ламп.

Торговля шла активно, в Оулу вывозили мясо и шкуры оленей. В 20-е годы, когда случались неврожаи, хлеб доставляли на оленьих упряжках из Архангельска. В деревне было более 700 жителей, имелись свои церковь, погранзаезда, больница, три школы, четыре магазина, почта, банк, полиция.

Еще с конца XIX века Паанаярви стало модным курортом, «финской Швейцарией». Молодой тогда художник Аксели Галлен-Каллела, впоследствии известный иллюстратор «Калевалы», провел здесь несколько месяцев с семьей и был этим счастлив. Он впоследствии писал: «Гостя с семьей в глуши Паанаярви, я ни разу не скучал, а, наоборот, горел желанием углубиться еще дальше в уютную чащу». Несколько полотен, появившихся в результате этой поездки, хранятся и теперь в Хельсинки...

Перед нами открывается величественная картина – синее озеро, сдавленное с обеих сторон высокими скалами, поросшими соснами, среди которых свечами горят золотые березки. Но вот слева мы видим скалу, на которой стоят лишь редкие деревья. Отчего так? Оказывается, это место восстанавливается после пожара, случившегося в 1992 году от удара молнии. Мне доводилось слышать от экологов, что и лесные пожары могут быть полезны. Но только когда природа самостоятельно определяет место и время этого пожара. Удар молнии – причина естественная. Такой пожар служит своеобразному очищению леса, а после него на это место среди обгорелых деревьев поселяются насекомые, которые только в таких условиях и могут жить. И это служит развитию биологического разнообразия. Однако сейчас девять из десяти пожаров возникают в ре-

зультате деятельности человека, а потому природа страдает гораздо больше, чем это необходимо. Потому с пожарами приходится бороться, в том числе и с теми, которые возникают по естественным причинам. Вот и в 1992 году пожар очень быстро перешел в верховой, когда огонь передавался по кронам деревьев, огнем было охвачено более 70 гектаров леса. В борьбу с огнем вступили пожарные парашютисты, применив для остановки пожара встречный пал. Сейчас природа восстанавливается, а этапы восстановления леса после пожара изучают российские и финские ученые.

Наше судно замедляет ход, мы приближаемся к шестидесятиметровому каменному выступу, это скала Ruskeakallio – красная или коричневая скала. Она напоминает каменный поток, стекающий в озеро. И цвет ее благодаря красным доломитам и оранжевому лишайнику действительно оправдывает название.

Один из выходов скалы слегка темнее других, будто влажный.

– Это место называли Вдовьей скалой, – поясняет Татьяна Егоровна. – Есть и легенда, рассказывающая, что некогда рыбачка не дождалась мужа, вышла на берег да так и окаменела от горя в бесплодном ожидании. Она плачет, а потому и скала влажная.

А может, есть где-то наверху родничок, но легенду разрушать не хочется. Обойти же эти места по суше могут только ученые и – при необходимости – сотрудники парка. Туристам здесь лучше не гулять, не нарушая спокойную жизнь леса. Поэтому мы смотрим на Рускеакаллио с воды.

Вот два узких выступа, и о них тоже есть легенда.

– Однажды сын местного шамана полюбил девушку-беломорчанку, привез ее в дом. Но чем-то шаману невестка не приглянулась, а может, позабавил он сына и велел прогнать девушку. Парень же так ее любил, что не мог с ней расстаться, и молодые решили бежать. Шаман пустился в погоню и настиг их прямо на этом берегу. «Вы хотите быть вместе? Нет! Вы будете рядом, но вместе – никогда!» – с этими словами жестокий старик обратил их в камень.

Несколько десятков метров разделяют два выступа скалы. Приглядевшись, можно увидеть в правом фигуру парня, а в левом – девушку в сарафане...

Корабль подходит к месту стоянки. Видим дровяник, а рядом сосну с длинными оголенными корнями, с определенной точки кажется, что это

дровяник стоит на них как избушка на курьих ножках.

Причаливаем неподалеку от устья Мянтю – одной из шести рек, впадающих в Паанаярви. Мянтюйоки – порожистая, здесь водится форель. Переходим реку по мостику, установленному в метре над водой. Во время разлива случается, что вода сносит этот переход, и его вновь восстанавливают.

По корням, присыпанным сосновыми иглами, идет пружинистая тропинка, окруженная деревьями, давшими название реке. Мянтю – это сосна, и речка проложила себе русло в чаще зеленых великанов. Кстати, хоть на берегах Паанаярви и жили люди, нетрудно увидеть, что природа здесь древняя. В национальном парке есть хвойные деревья, возраст которых достигает 450 лет, они помнят, как здесь возникали первые поселения.

Не только сосны окружают тропинку, вот мы минуем небольшой участок маленьких ив и осин.

– Это лосиная столовая, – поясняет Татьяна Егоровна. – Присмотритесь, все верхушки деревьев объедены лосями.

Еще несколько шагов, и – ох! Красота какая! Невольно замираем, увидев пятиступенчатый водопад Мянтюкоски. Он совсем не похож на водопад под Киваккой, гораздо уже, но в нем есть неповторимая прелесть, не зря его изобразил на одном из своих полотен Галлен-Каллела. Жемчужиной Карелии называют известный водопад Кивач, но «Паанаярви» показывает, что такого «жемчуга» в Карелии – россыпи. Говорят, высота Мянтюкоски – восемь метров. Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что она в два раза больше.

Местные жители использовали силу реки и поставили здесь мельницы. Остатки нижних звеньев сруба и сейчас выступают от берега, разбухая от хлопьев пены и брызг. К водопаду по крутому, покрытому черничником склону горы ведет удобная лесенка, я спускаюсь и смотрю на песчаное дно Мянтюйоки. Моя тень хорошо видна на нем сквозь рябь воды. И вдруг рядом на дне вырастает тень другого человека. Невольно вздрагиваю – не хозяин ли давно разрушившейся мельницы пришел взглянуть на незнакомцев. Оборачиваюсь и не вижу никого за своим плечом, только несколько секунд спустя понимаю, что эта вторая тень – от Татьяны Егоровны, стоящей выше на лесенке в нескольких метрах от меня. Лесной полумрак, журчание Мянтюкоски, остатки старой мельницы на берегу, рябь речной воды и вырастающая рядом с моей тень на желтом песчаном дне, как напоминание о том, что прошлое и нас-

тоящее в таких местах тесно переплетаются... Трудно забыть такую картину.

Водопад сам – как узкая лестница с гигантскими каменными ступенями, на которых высоко подпрыгивают воздушные клочья пены, будто жалящие вырваться из водной среды, взлететь, но, рожденные в водной стихии, вновь падают и разбиваются о камни. Мы поднимаемся чуть выше и видим на противоположном берегу каменную стену, вдоль которой низвергается вода. Скала освещена солнцем, а сам водопад уже прячется в тени высоких сосен. Следующий уступ, и новое лесное чудо – над водой расцветает маленькая радуга...

Поднимаюсь еще выше на гору. Нет, на водопад лучше смотреть снизу, но зато отсюда можно увидеть, как торопливо бежит меж деревьями Мянтюйоки, спеша раствориться в спокойных водах Паанаярви.

Некоторое время, пока греется чайник на костровище, мы гуляем по берегу. Пройдя узкой тропкой, выходим к остаткам фундамента школы, в которой учились окрестные дети. Кроме фундамента от нее ничего не осталось, в угадываемых классных комнатах подрастают осинки и сосенки.

Школа была двухэтажной, на втором этаже располагался интернат для тех, кто жил далеко. На некотором отдалении стоял цех по производству щепы, дети могли подрабатывать на упаковке и получали немного денег, будучи счастливыми от того, что могут помочь своим родителям.

Крутой берег Паанаярви от школы нынче зарос соснами, когда-то он был открытым, зимой ребята на лыжах съезжали на лед.

Обо всем этом рассказывают Татьяне Егоровне финны, приезжающие навестить родные места. Многое здесь связывает их с детством: первые радости и горести, первая любовь, первые уроки. Один из гостей рассказывал:

– Однажды я вон в том углу стоял два часа! Дело было в декабре, на льду выступила вода. Я толкнул девочку, и она замочила валенки. Учительница валенки высушила, а меня наказала. И тогда я на всю жизнь запомнил, что девочек толкать нельзя – ни на льду, ни на земле.

Бывает, приезжают сюда и потомки тех финнов, что жили тут раньше. Молодой парень как-то набирал воду в Мянтюйоки, чтобы крестить своего малыша. А один из прежних жителей сказал Татьяне Егоровне:

– Татьяна, к вам приезжают люди из разных стран, люди разных национальностей. Ты говори

им – пусть умоются у Мянтюкоски или попьют водички, потому что эта вода – святая.

Наверное, здесь нет смысла размышлять о том, почему так происходит, что люди лишаются своей родины. И на этих землях не раз менялись племена и национальности. Но история бывает безжалостна к человеку, и мы можем только посочувствовать этому конкретному человеку, приезжающему в места, где родился, только ненадолго в гости.

И об этом мы беседуем за фирменным чаем Татьяны Егоровны. Собственно, это не чай – в чайнике заваривались вереск и чабрец, иван-чай и малина, а также изрядная порция брусничного листа, добавленная Владом. И было вкусно!

Вернувшись, мы отдыхали недолго. Быть на озере, где ходят кумжа и хариус, и не порыбачить – такого позволять себе нельзя! Пусть мне жаль причинять рыбе боль, пусть Мише интереснее снимать процесс рыбалки, чем самому тягать рыбу, но мы таки взяли моторку и вновь вернулись на озеро. Нас напутствовали инспекторы и Доктор, который рассказал, что в прошлом году прямо здесь рядом – между берегом и островом – жила огромная древняя щука, гонявшая уток. Однажды Доктору удалось зацепить ее на блесну, щука долго не показывалась, но наконец выплыла у лодки и сурово косилась на того, кто попытался ее потревожить. А после мотнула головой, оборвав губу, и скрылась в глубине... Такая вот местная Несси живет в заливе.

Спросили у инспекторов, будет ли клев и где лучше ловить.

– Сегодня вернувшийся рыбац сказал, что поклевка была, но рыба сорвалась. А рыбачить – вон от первого хутора до третьего вдоль берега!

Интересно, что крестьянских хозяйств давно нет, только зарастающие полянки о них напоминают, а люди все равно называют эти места хуторами.

Ничего мы не поймали. Однажды мне показалось, что была поклевка, но это блесна зацепила траву. Возвращаясь, увидели на берегу рыбаков, тягавших на удочку хариусов и плотву. И когда мы с Михаилом отправились отдыхать, рыбацкая душа Влада не выдержала. С удочкой он отправился на берег к рыбакам. Червей у нас не было, не водятся они и в парке, но Влад стрельнул опарышей у щедрых рыбаков. И вытащил все-таки пару окушков, которых рыбакам и оставил. В общем, теперь я честно могу говорить, что рыбачил на Паанаярви.

Вечером мы долго смотрели на звездное небо, над нами плыли Большая Медведица, Кассиопея, Млечный путь и множество созвездий, названий которых я не знаю.

Утром нас ждала обратная дорога. У шлагбаума на границе парка мы постояли, бросив прощальный взгляд на Кивакку.



Вениамин Алексеевич СЛЕПКОВ

родился в 1969 году в Петрозаводске.

Окончил Петрозаводский государственный университет.

Член Союза журналистов с 1991 года.

Работал корреспондентом, заведомом, редактором в газетах Карелии.

В настоящее время – редактор отдела публицистики журнала «Север».

Автор многих книг прозы, поэзии, публицистики.

В журнале «Север» публикуется с 2009 г.



«ЗАГОВОР финского генштаба» — полицейское испытание при переходе к «массовым операциям»

**Константин
БЕЛОУСОВ**

г. Петрозаводск

В истории Советской Карелии 20–30-х годов есть два, на наш взгляд, тесно взаимосвязанных события, которые давно привлекают внимание исследователей как России, так и Финляндии, прежде всего историков.

Это так называемая «Карельская авантюра», или «Карельское восстание», 1921–1922 годов и «Заговор финского генштаба», «вскрытый» органами ОГПУ в начале 30-х годов.

История «Карельской авантюры» достаточно описана еще в советский период, новые подходы к освещению этих событий возникли в 90-е годы прошлого века, что коснулось не только их оценки, но и терминологии. Сегодня, например, часто используются наименования «Карельское восстание» или «Карельский мятеж»¹.

Для молодой Карельской Трудовой Коммуны (КТК) эти события стали серьезным испытанием, как военным, так и политическим. Любопытно, что современная энциклопедия Республики Карелия уделила лишь пару абзацев в статье о КТК этому вооруженному конфликту.

Одним из последствий этих драматических событий стал уход части коренного населения на территорию Финляндии. По данным Карельского отдела ГПУ, за границу ушло 10–12 тысяч карелов в дополнение к приблизительно 3 тыс. беженцев, перебравшихся туда в основном из Олонецкой Карелии в 1919 году.

Более половины беженцев вернулись назад после объявления ВЦИК РСФСР 30 апреля 1923 года «Амнистии карельским беженцам». Финское посольство в Москве констатировало возвращение около 5 тысяч беженцев по амнистиям 1923–1925 гг., руководители Советской Карелии называли 8 тысяч человек.

В обвинительном заключении по делу Отдельной Карельской егерской бригады (ОКЕБ) будет указано, что «после ликвидации всех этих авантур в Финляндию отступило около 18000 карельских и ингерманландских беженцев-эмигрантов, из коих около половины впоследствии вернулось по амнистии и нелегально в Советский Союз...»²

Значительной части этих «возвращенцев» будут в начале 30-х годов предъявлены обвинения в ак-

тивном участии в широкомасштабном «Заговоре финского генштаба» (ФГШ).

Однако прежде чем говорить о событиях 30-х годов, отметим, что вернувшиеся на Родину люди в начале 20-х годов прошли проверку в фильтрационных лагерях и практически все были поставлены на оперативные учеты в ГПУ.

Ник Барон³ в своем исследовании отметил, что об этих списках «...вспомнили во время массовых репрессий 1937–1938 гг., чтобы произвести аресты». Он ошибся. Вспомнили уже в начале 30-х годов, о чем свидетельствуют материалы дела о заговоре ФГШ.

В Национальном архиве Республики Карелия хранится документ, имеющий заголовок «Торжественное Обязательство». Это формализованный бланк, в котором предусмотрено указание персональных данных лица, возвращающегося «из пределов Финляндии в Карельскую Трудовую Коммуну», принимающего на себя обязательство неукоснительно соблюдать законодательство РСФСР и КТК, гарантирующего это «своей честью». При этом всякое «возмездие со стороны Советской власти за нарушение данного обязательства» подписавший документ признавал «законной репрессией».

Возможно, что именно эти сведения стали основой для оперативных учетов органов госбезопасности либо концентрировались и в органах власти, и в ОГПУ.

В служебных документах ГПУ-ОГПУ КАССР сведения и прогнозы о финском шпионаже зазвучали еще тогда, когда вооруженный конфликт не был погашен, и продолжены в 20–30-е годы, равно как и заявления о финской военной опасности и опасности «карельского сепаратизма».

Можно согласиться с исследователями, утверждающими, что миф о возможности очередной «Каравантюры» будет преследовать органы безопасности Карелии все 1920–1930-е годы, что связано с опасением ряда государственных деятелей СССР и Карелии о том, что Финляндия намерена захватить Советскую Карелию⁴.

Была ли основа для таких опасений? Безусловно. Финляндия, конечно, не являлась главным военным противником СССР. В то же время полити-

ческое и военное руководство этой страны вполне осознанно участвовало в мероприятиях, направленных на ослабление Советского государства. К их числу относятся, в частности, разработка на основе данных военной разведки оперативным отделом финского генерального штаба и утверждение в 1930 году плана совместных боевых действий Финляндии и Эстонии против СССР.

Этот план предусматривал и активное сотрудничество в военной сфере с Латвией и Польшей. С 1933 года активизировалось военное, в том числе и по линии разведок, сотрудничество Финляндии и Германии.

О первой ширококомасштабной операции по пресечению финского шпионажа ГПУ АКССР доложило в Центр в апреле 1925 года, констатируя, что «имевший ранее место шпионаж в погранполосе южного района Карелии... проведенной операцией... почти ликвидирован».

Позднее карельское ГПУ, учитывая активность, с которой финские спецслужбы вели работу с зарубежными карельскими и ингерманландскими организациями для их использования в антисоветской работе, приняло меры по локализации и пресечению этой деятельности не только на территории СССР, но и за его пределами.

В марте 1927 года заместитель начальника ГПУ АКССР Рудольф Нельке отдал приказ начальнику отдела контрразведывательных операций (КРО) Мартину Состе принять от Секретного отделения все дела-формуляры на «белоактивистов» и в течение месяца завершить их техническую обработку для заведения на них дел-формуляров на основе имеющихся материалов. Исследователь Э.П. Лайдинен справедливо отмечает, что с этого момента началась подготовка к проведению операции на бывших жителей Карелии, противников большевистского режима, проживающих в Финляндии, а также на карельские зарубежные организации и финские спецслужбы, использующие их в разведывательной работе на территории Карелии.

На протяжении 1928–1929 гг. ГПУ Карелии вело интенсивную переписку с руководством Полномочного Представительства ОГПУ в ЛенВО. Главная её задача – убедить в росте антисоветских настроений и реальности военного вторжения в приграничные районы республики, усилении активности финских спецслужб, направленной на подготовку новой авантюры.

Уже весной 1929 года карельская контрразведка начала планирование массовой операции по изоляции «караванюристов» и их пособников.

Начало операции по «противодействию финскому шпионажу и военному вторжению» пришлось отсрочить в связи с тем, что основные усилия, органов ОГПУ в том числе, были брошены на выполнение решений советских и партийных органов о борьбе с кулачеством. Это, однако, позволило приобрести боль-

шой практический опыт осуществления крупных «оперативных» мероприятий. Специальное заседание Президиума ЦИК КАСССР в сентябре 1931 года отметило четкую работу органов ОГПУ.

Таким образом, к началу 30-х годов замысел операции в отношении агрессивных планов финского генштаба был окончательно сформирован. Для его реализации было готово все, в том числе проведено серьезное кадровое усиление органов ГПУ Карелии. Николай Шершевский, назначенный новым начальником карельских чекистов, вероятно, получил и конкретные указания ПП ОГПУ по проведению операции.

Отдельного приказа на проведение операции не отдавалось, во всяком случае он к настоящему времени не обнаружен. В то же время очевидно, что замысел этой операции и созрел, и был одобрен (иначе не был бы осуществлен).

На наш взгляд, материалы дела свидетельствуют о том, что его «конструкция» была заранее определена.

По версии следствия, «контрреволюционная диверсионно-повстанческая организация» охватила 15 районов Карелии и 8 районов Ленинградской области, в состав 23 «контрреволюционных ячеек» которой вошли преимущественно лица карельской и финской национальности. Их главными задачами были шпионаж, подрыв основ советского строя, прямая вооруженная борьба, целью которой являлось свержение власти.

Всего по делу о заговоре ФГШ репрессировано около 1000 человек. Из них 727, по подсчетам О.Репуховой, были осуждены⁵; в том числе 561 карел; 8 – финнов; 146 – русских. Из числа осужденных 508 – бывшие «караванюристы»; приговорены к высшей мере наказания – 76 человек. Большую часть осужденных составили крестьяне – 485 человек.

Эта фактическая часть «заговора», как уже отмечалось, подробно описана.

Открытыми, на наш взгляд, остаются другие вопросы:

- каковы основные силы «заговора»;
- являлся ли он «частной инициативой» карельских и ленинградских чекистов и почему именно в начале 30-х годов возникла потребность в «заговоре»;
- можно ли говорить о том, что на самом деле в названных выше целях были задействованы оперативные средства и силы финских спецслужб;
- наконец, «заговор» – это стопроцентная фальсификация или нет?

Попытаемся найти ответ.

Основной силой «заговора» его создатели, карельские и ленинградские руководители органов ГПУ, объявили «активных караванюристов». Только материалы следственного дела №455–33 г.⁶ относят к этому «активу» 508 человек. В постановлениях о предъявлении обвинения и избрании меры

пресечения, как правило, указывалось на это обстоятельство.

Возникновение дела о «Заговоре финского генштаба» объясняют разными причинами.

Его напрямую связывают с проведением органами госбезопасности СССР операции по очистке нашей пограничной полосы, непосредственно соприкасающейся с территориями ряда государств, в том числе Финляндии. Выдвигают также «инициативную версию», указывая, что активное планирование «заговора» чекистами началось уже в 1927 году.

Исследователи особо отмечают, что отдельные акции карельского ОГПУ по борьбе с «буржуазной националистической контрреволюцией» шли с особым размахом и вылились в дело о «Заговоре финского генштаба»⁷. Разгром «контрреволюционных ячеек», по мнению следствия, и позволил ликвидировать «заговор».

В докладной записке от 25 декабря 1933 года № 50948 «О ликвидированных с 1930 по 1933 год наиболее важных контрреволюционных организациях по СССР» заместитель председателя ОГПУ Г. Ягода информировал И.В. Сталина об их разгроме, поставив «Заговор финского генштаба» на третье место.

Исследователи, как правило, утвердительно отвечают на вопрос о реальном интересе финских специальных служб к советской Карелии, подчеркивая системный и постоянный характер их разведывательной деятельности. Это в полной мере относится и к вопросу об использовании агентуры. Так, Э.П.Лайдинен указывал, что по неполным данным «... за период с 1918 по 1939 год финские спецслужбы направили в Карелию 135 агентов»; Ю.М. Килин отмечает, что существовавшие в 20-е годы «карельские банды» вели в том числе и активную разведку, а позднее «...когда в Карелии стала более активно работать контрразведка... многие из них стали двойными и даже тройными агентами. Но к 1939 году после проведенных зачисток НКВД в Карелии практически не осталось никого из числа этих людей».

При этом специалисты обоснованно утверждают, что, обвиняя, например, карельских беженцев в бандализме, ГПУ Карелии одновременно бездоказательно обвиняло их и в шпионаже.

Ключевой вопрос – можно ли называть дело «полностью сфальсифицированным»? Очевидно, что в ходе разработки и следствия по заговору финского генштаба были допущены грубейшие нарушения процессуальных норм, порядка ведения следствия и осуществления оперативно-разыскных мероприятий.

На наш взгляд, особенность такой «оперативной работы» как раз и состояла в том, что была создана и обкатана методика, позволяющая, используя реальные эпизоды, конструировать дела о заговорах и целенаправленно формировать мнение о политической нестабильности, засилье шпионов, диверсантов и вреди-

телей. Именно эта методика стала основой для проведения так называемых «массовых операций» 1937–1938 годов и подготовила необходимую базу для их осуществления.

Так, например, специалисты военной разведки, равно как и исследователи, занимающиеся историей советской военной разведки, связывают провал резидентуры ГРУ в Финляндии в октябре 1933 года (так называемая «резидентура Марии Шуль-Тылтынь») с предательством Армаса Утриайнена, позднее арестованного и расстрелянного по делу финского генштаба. Провал советской военной разведки в Финляндии произошел 10 октября 1933 г. В Хельсинки финская полиция арестовала нелегального резидента IV (Разведывательного) Управления Генштаба РККА Марию Юрьевну Шуль-Тылтынь и ее помощников – Арвида Якобсона, Юхо Эйнара Вяхью и Франса Яако Клеметти, а также значительную часть советской агентурной сети. Незадолго до провала бывший начальник Пункта разведывательных переправ 4-го отдела штаба Ленинградского ВО Армас Густавович Утриайнен был разоблачен как финский агент. Он выдал финской полиции всю известную ему агентурную сеть в Финляндии и линии связи резидентуры. Мария Шуль-Тылтынь была осуждена финскими властями на 8 лет заключения и умерла в тюрьме.

Другой пример: по делу ОКЕБ проверкой комиссии штаба ЛенВО установлены факты пропажи десятков совершенно секретных документов, включая мобилизационные, что вряд ли можно объяснить одной лишь халатностью (См.: Архив УФСБ РФ по РК., Фонд уголовных дел, д. 275., т. 3., л. 255 об.)».

Заметим, что «Заговор финского генштаба» – наиболее масштабная фальсификация начала 30-х годов, носящая национальный оттенок, но далеко не единственная. Известно «вскрытие» контрреволюционной буржуазно-националистической шпионской организации «СОФИН» (Союз освобождения финских народов) в Удмуртии; националистических повстанческих организаций в Западно-Сибирском крае.

На наш взгляд, и другие факты подтверждают тезис о фальсификации дела о заговоре. Например, репрессии по чисто формальным признакам, таким как социальное происхождение или положение.

Таким образом, дело о заговоре финского генштаба, как и другие чекистские «инициативы» начала 30-х годов, можно рассматривать как пролог Большого террора и полигонное испытание средств и методов его осуществления, примененных против отдельных целевых групп населения.

Были разработаны обоснования для проведения в последующем «массовых операций». Таковыми стали утверждения об активизации на территории СССР деятельности разведок иностранных государств, перерастании этой деятельности из разведывательной в диверсионно-террористическую и повстанческую.

В чекистской среде такие операции воспринимались как борьба с резонансными преступлениями. Так в одном из приказов ОГПУ КАССР проведение «...операции в связи с ликвидированным делом «Заговор Финского Генерального штаба»» оценивалось как событие, когда «население города устремленно следило за каждым движением ГПУ».

Эти инициативы были поддержаны вышестоящим руководством, как чекистским, так и партийным, именно потому, что позволяли отработать механизм, формы и методы осуществления превентивного террора, осуществлявшегося путем выявления и подавления «заговоров».

Примечания

¹ Килин Ю. Карелия в политике Советского государства. 1920-1941. – Петрозаводск, 1999; Бутвило А.И. Карельская Трудовая Коммуна. – Петрозаводск, 2011; Барон Н. Власть и пространство. Автономная Карелия в Советском государстве, 1920–1939. – М., 2011; Неизвестная Карелия: документы спецорганов о жизни республики. 1921–1940 гг. – Петрозаводск, 1997.

² Архив Управления ФСБ России по Республике Карелия (далее – АУФСБ РФ по РК). Фонд уголовных дел (далее – ФУД). Д. 275, Т. 3. Л. 250 об.

³ Барон Ник – адъюнкт-профессор в Школе истории Ноттингемского университета (Великобритания), специалист по истории России.

⁴ Лайдинен Э.П. Органы безопасности Советской Карелии (1918–1941) /Органы безопасности Карелии: исторические очерки, воспоминания, биографии. – Петрозаводск, 2008. С. 57; его же: Из рукописи «Карельская контрразведка против финских спецслужб на террито-

рии Карелии (1918–1939)» / Барышников Н.И., Лайдинен Э.П. Избранное. Из истории советско-финляндских отношений. – СПб, 2013. С. 415.

⁵ Репухова О. Дело о контрреволюционном заговоре в Карелии в 1932–1933 гг. («Заговор финского генштаба»). [Электронный ресурс].

URL: <http://www.memo.ru/library/books/korni/chapter6.htm> (дата обращения: 25.02.2014).

Заметим, что И.Р. Такала в книге «Финны в Карелии и России. История возникновения и гибели диаспоры». – СПб., 2002, (С. 58) приводит несколько иные цифры, но следует отметить, что точные цифры репрессированных и осужденных по делу ФГШ назвать крайне трудно. Поэтому большая часть исследователей называет именно «около 1000 человек». См., например, Старков Б. Инструментарий национальной политики ВКП(б) и его применение/В семье единой: Национальная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 20–50-е годы. – Петрозаводск, 1997. С. 93.

⁶ При ведении оперативной разработки «Заговор финского генштаба» было заведено несколько десятков следственных дел, например, № 455-1933 г.; 6170-1933 г.; 4246-1933 г. и другие.

⁷ Такала И.Р. Национальные операции ОГПУ/НКВД в Карелии/В семье единой: Национальная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 20–50-е годы. – Петрозаводск, 1997. С. 176.

Константин Федорович БЕЛОУСОВ

родился в 1957 году в Вологде.

С 1983 года живет и работает в Петрозаводске.

Окончил исторический факультет

Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова.

С 1986 по 2002 год – в органах безопасности СССР и России.

Подполковник.

Преподает в ПетрГУ на юридическом факультете.

Более 20 лет профессионально занимается

историей отечественных спецслужб.

Автор 15 научных публикаций, один из авторов

и научный редактор книги «Органы безопасности Карелии. 1918–2008.

Исторические очерки. Воспоминания. Биографии» (Петрозаводск, 2008).

Совавтор книги «Судьба страны. Судьба чекистов.

Из истории органов безопасности

Республики Карелия» (Петрозаводск, 2012).

